

Юрий МАНН

# ГОГОЛЬ

*Завершение пути:*  
1845—1852



**АСПЕКТ ПРЕСС**

Москва

2009

**УДК 821.161.1.09Гоголь**  
**ББК 83.3(2Рос=Рус)5-8Гоголь Н.В.**  
**М23**

Издано при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям  
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

**Манн Юрий Владимирович**

**М23** Гоголь. Завершение пути: 1845–1852 / Юрий Манн. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 304 с.

ISBN 978–5–7567–0541–6

Заключительная книга охватывает последний период жизни великого писателя — с 1845 по 1852 год. Много важных событий произошло в этот промежуток времени: прощание Гоголя с Италией; паломничество через Средиземное море и по ближневосточным землям в Иерусалим к Гробу Господню; окончательное возвращение — после почти двенадцатилетнего пребывания за границей — на родину; встречи на Украине, в Петербурге и Москве со многими выдающимися деятелями отечественной культуры; посещения Оптиной пустыни и т.д.

И самое главное — продолжение работы над «Мертвыми душами». В книге раскрывается полная трагического напряжения история второго тома поэмы, закончившаяся уничтожением его белой рукописи и последующей затем смертью писателя.

Книга адресована всем интересующимся литературой и прежде всего учителям словесности и школьникам как чтение и образец глубокого филологического исследования.

**УДК 821.161.1.09Гоголь**  
**ББК 83.3(2Рос=Рус)5-8Гоголь Н.В.**

ISBN 978–5–7567–0541–6

© Манн Ю. В., 2009

© Оформление. ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2009

Все учебники издательства «Аспект Пресс» на сайте

[www.aspectpress.ru](http://www.aspectpress.ru)

*Литературно-художественное издание*

**Манн Юрий Владимирович**

**ГОГОЛЬ**

Завершение пути: 1845–1854

Ведущий редактор *Л. Н. Шипова*. Корректор *А. А. Баранова*.

Художник *Д. А. Сенчагов*. Компьютерная верстка *С. А. Артемьевой*

Подписано к печати 19.02.2009. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура Newton.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 19. Заказ №

ЗАО Издательство «Аспект Пресс». 111141, Москва, Зеленый проспект, д. 8.

E-mail: [info@aspectpress.ru](mailto:info@aspectpress.ru); [www.aspectpress.ru](http://www.aspectpress.ru). Тел. (495)306-78-01, 306-83-71

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200, Можайск, ул. Мира, 93.

## ОТ АВТОРА

Предлагаемая книга является последним томом осуществленного автором обширного труда. Первый том под названием «Сквозь видный миру смех... Жизнь Гоголя. 1809–1835 гг.» был издан в 1994 году Московским институтом развития образовательных систем. Второй том вместе с доработанным первым под названием «Гоголь. Труды и дни: 1809–1845» опубликован в 2004 году издательством «Аспект Пресс».

Настоящее издание представляет собою третий, завершающий том указанного труда.

Мы оставили Н. В. Гоголя на рубеже 1845–1846 годов во время очередного пребывания его в Риме.

Позади было посещение (или как говорил Гоголь) «чтение» многих городов и стран — и Италии, и Франции, и Германии...

Позади было несколько пережитых Гоголем кризисов, из которых последний — в конце лета 1845 г. едва ли не поставил его на грань жизни и смерти.

Позади были десятилетия вдохновенного и мучительного труда, создание почти всех произведений, которые составят творческое наследие Гоголя.

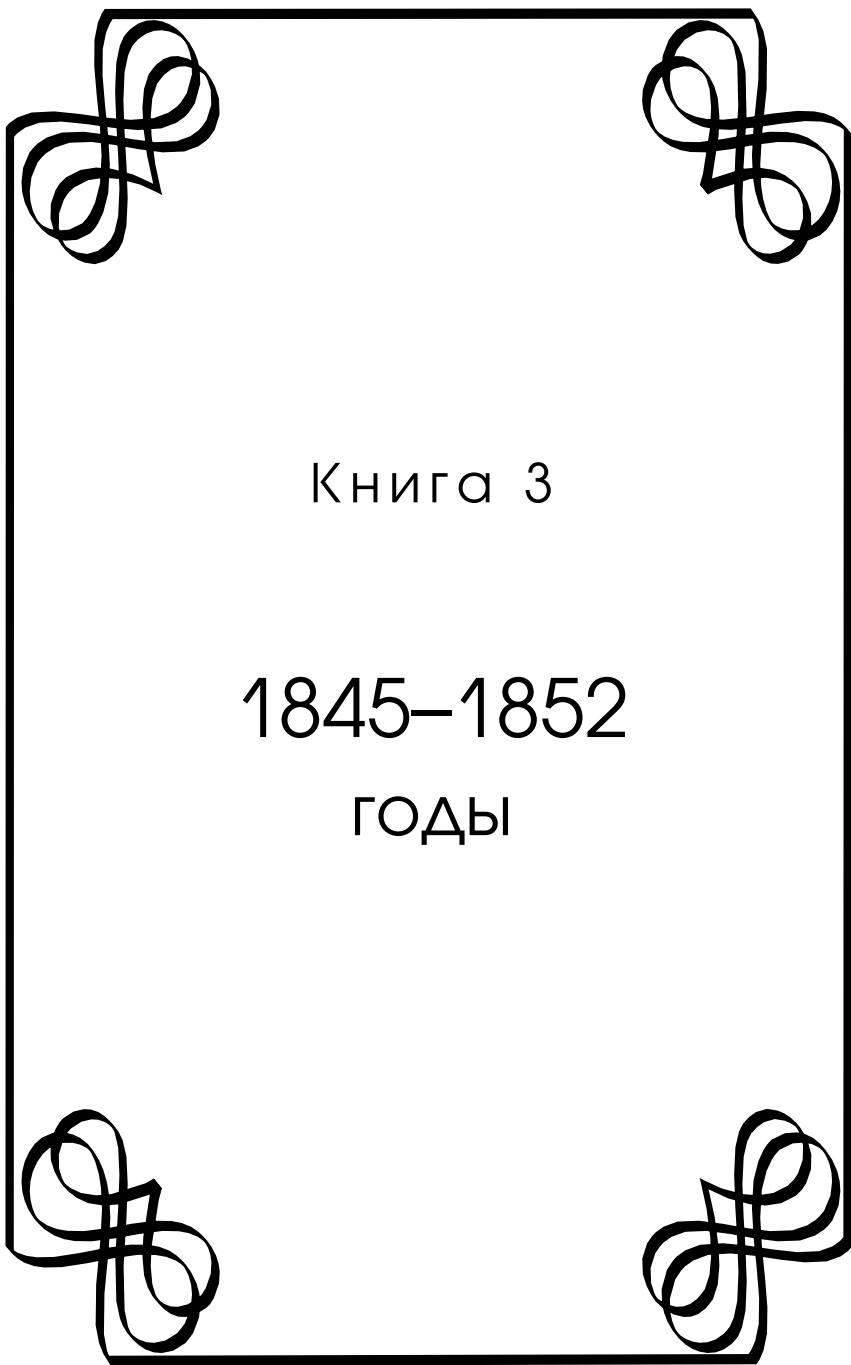
Уже были достигнуты не только слава на родине (Гоголь — «глава литературы, глава поэтов» — сказано еще в 1835 г.), но и общеевропейское признание.

Гоголь вполне отдавал себе отчет, что означают это признание и слава, и он всеми силами стремился оправдать их, а это значит выполнить свое предназначение, раскрыть тайну своего существования.

Как? Каким путем? Прежде всего завершением «Мертвых душ» — главной книги своей жизни, а это было равнозначно череде напряженных поисков, беззаветному труду, невероятным душевным затратам энергии, нервным срывам и изнуряющим сомнениям и притом постоянной готовностью начать все сначала.

Ответить на вопрос, как протекал этот процесс — задача настоящей книги.





Книга 3

1845–1852

ГОДЫ





## Часть первая

### РИМ: ЗИМА И ВЕСНА 1846 ГОДА

Первые месяцы нового 1846 года, вплоть до начала мая, Гоголь проводит в Риме, в обжитой уже квартире в палаццо Понятовского, иначе говоря, в доме № 81, что на Via de la Croce.

Приступы болезни — необыкновенная зябкость, опухание ног, — начавшиеся еще в конце предыдущего года, повторялись; порою недомогание усиливалось до такой степени, что «повеситься или утопиться казалось как бы похожим на какое-то лекарство или облегчение» (XIII, 38). А между тем творческие силы не покидали писателя, посреди тяжких физических мучений выдавались «небесные минуты», «перед которыми ничто всякое горе». «Мне даже удалось кое-что написать из «М<ертвых> душ», которое все будет вам в скорости прочитано, потому что надеюсь с вами увидеть<ся>» (XIII, 43), — сообщает он 16 марта н. ст. Жуковскому. В планах Гоголя — уже традиционное для него летнее путешествие в края Центральной Европы, с посещением не только Франкфуртана-Майне, где жил Жуковский, но и страны, в которой он еще не, бывал — Англии.

Параллельно со вторым томом «Мертвых душ» Гоголь продолжает вынашивать замысел новой, «дельной» своей книги, о которой сообщил еще в апреле предыдущего года Смирновой (см.: Труды и дни, с. 719 и далее). Теперь в эти планы посвящается еще один близкий Гоголю человек — Н. М. Языков: «Письма мои к тебе, особенно последние, где какие-нибудь места, относящиеся к литературному делу, <сбереги>. Я не оставляю намер<ения> издать *выбранные места из писем*, а потому, может быть, буду сообщать к тебе отныне почаще те мысли, которые нужно будет пустить в общий обиход. Но это, говорю попрежнему, между нами» (XIII, 62). Так формулируется название будущей книги. Декларируется и уста-

новка гоголевских писем, формально адресованных отдельному лицу, а фактически публичных, годных на то, чтобы быть пушенными «в общий обиход». Подспудно такая установка существовала задолго до замысла книги, так что к ее написанию Гоголь был подведен органически, всем строем и стилем своего прежнего общения с корреспондентами.

Среди читателей «Выбранных мест...», а также, конечно, будущего второго тома поэмы одними из первых должны были оказаться цензоры. В это время Гоголь особенно напряженно думает о взаимоотношениях с цензурой, что вылилось в своеобразную апологию цензуры в статье «Карамзин» (вошла в «Выбранные места...», датирована 1846 г.): «Он [Карамзин] первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга, и ему везде просторно. <...> Какой урок нашему брату писателю! И как смешны после этого из нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды...» (VIII, 266–267). На этот «урок», уже не Карамзина, а самого Гоголя резко прореагировал Шевырев. Он напомнил, что сочинение того же Карамзина, записка «О древней и новой России», врученная в 1811 году Александру I, еще не напечатана и когда он, Шевырев, «вздумал из нее немного (не самое важное) привести на лекции, то получил за это выговор от попечителя». Словом, «мы еще не доросли до высокой правды...» (Переписка. Т. 2. С. 345).

Но у Гоголя была своя точка зрения относительно возможности высказывать «высокую правду». Обычно проблема принорования к цензуре означала умение ее обойти, протащить сквозь строгие преграды свой «товар», — это была проблема искусной манеры выражения, получившей наименование эзопова языка. Для Гоголя это тоже искусство выражения, но не в смысле преодоления препон. В коллизии «цензор—автор», по Гоголю, виноват пострадавший, т.е. автор. «Сам же не сумеет сказать правды, — пишет Гоголь Языкову 5 мая н. ст. 1846 года (это письмо предшествует упомянутой статье из «Выбранных мест...»), — выразится как-нибудь аляповато, дерзко, так что уколет не столько правдой, сколько теми словами, которыми выразит свою правду, словами, знаменующими *внутреннюю неопрятность невоспитавшейся своей души*, и сам же потом дивится, что от него не принимают правды» (VIII, 61). Категории морального, нравственного плана здесь вполне на месте: проблема цензуры в конце концов переходит в проблему самовоспитания, потому что не кто другой, как сам художник должен привести себя в такое состояние, так осмыслить и выразить правду, чтобы ее могли воспринять все, «от царя до последнего подданного» (там же, 62).

Всего через несколько месяцев, когда «Выбранные места...» будут проходить через цензуру, выяснится, что все это намного сложнее...



Встречавшиеся в это время с Гоголем отмечают в нем очевидные перемены. Один из них — Александр Скарлатович Стурдза (1791—1854), бывший чиновник Министерства иностранных дел, памятный по двум пушкинским эпиграммам: «Вкруг я Стурдзы хожу...» и «Холоп венчанного солдата...». С Гоголем он виделся еще осенью 1836 года в Швейцарии около Берна в доме русского посланника Д. П. Северина, но тогда, по выражению Стурдзы, он довольствовался лишь ролью «немного свидетеля» встречи (Труды и дни, с. 460). Теперь в Риме, встретившись в русской посольской церкви во время великого пятка, Гоголь и Стурдза возобновили знакомство и закрепили его «взаимными посещениями и беседами лицом к лицу». Значит, произошло это 5 апреля (пасха пришла в тот год на 7 апреля).

«Тогда-то, к моему изумлению, — продолжает мемуарист, — я нашел в Гоголе не колкого сатирика, не изобретательного рассказчика и автора умных повестей, а человека, стоявшего выше собственных творений, искушенного огнем страданий душевных и телесных, стремившегося к Богу всеми способностями и силами ума и сердца» (М. 1852. Т. V. № 20. С. 224—225).

Стурдза добавляет, что все эти беседы «отразились *потом*, как в зеркале», в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Но, наверное, очередность событий не была только такой: Гоголь уже работал над книгой, он уже приготовил значительную ее часть и в беседах со Стурдзой повторял и развивал некоторые ее положения.

Перемены в Гоголе зафиксировал и Ф. П. Толстой, граф, вице-президент Академии художеств, встретивший его в Риме после большого перерыва. Гоголь виделся с ним в начале 1830-х годов, посещая занятия в Академии художеств (см.: Труды и дни, с. 192); в конце же 1845 года Толстой в Риме представлял русских художников Николаю I, но к Гоголю все это не относилось, и вообще, мы знаем, публичных встреч в это время он избегал. Поэтому увиделись они лишь спустя полтора месяца на обеде у С. П. Апраксиной, о чем свидетельствует запись Толстого, датированная 5/17 февраля 1846 года: «Я сначала его не узнал, он мне показался моложе и лучше оттого, что гораздо опрятнее, нежели прежде, как бывал у меня в Петербурге. Несмотря на то, что он болен, что утверждает и Розенберг, его лечащий, у него цвет лица очень хорош, свежий, здоровый ...» Но внешность, продолжает Толстой, не соответствует самочувствию: «...У него странный припадок, он по временам холодеет весь, и этот холод сопровождается у него самым неприятным чувством, во всем его составе...», — обо всех этих симптомах известно и от самого Гоголя, не скрывавшего от собеседников и корреспондентов свои воровости.

Но главные перемены Толстой обнаружил в поведении писателя. «И это с Москвы, где Гогель /так!/ изменил прежним своим правилам и

образу мыслей, которые выражались во всех прежних сочинениях, и перешел в ханжи и познакомился и сдружился с сыном Софьи Петровны (очевидно, не с сыном, а с братом — А. П. Толстым. — Ю. М.), вполне ханжою». «Гоголь здесь (в Риме. — Ю. М.) кинул всех своих знакомых художников и других, с которыми был короток до перемены образа мыслей и правил жизни <...>. Теперь он играет роль в аристократических домах, которые он посещает, какого-то углубленного в думы человека и потому по большей части все молчит, как и сегодня — и за столом, и после стола, почти ничего не говорил. — Зато хозяйка с дочерьми с подобострастием слушают его *молчание*. Они слышали, что он замечательный русский писатель, и им как русским, хотя совсем почти не знающим русский язык, не оказывать уважение человеку, отличившемуся в русской литературе!» (ЛН. Т. 58. С. 698; курсив в оригинале).

Встреча Ф. П. Толстого с Гоголем осталась, по-видимому, единственной. «Он обещался непременно зайти ко мне, но мне сдается, что он у меня не будет» (там же, с. 699).

Детали поведения Гоголя в доме Апраксиной передает и О. С. Аксакова, которая почерпнула эти сведения от брата Константина, а тот, свою очередь, от приехавшего из-за границы Н. П. Боткина. Мол, Гоголь «иначе не ходит, как потупя взор, и ему говорят тихо, с подобострастием: “Николай Васильевич, Николай Васильевич, хорошо ли это блюдо?” А он, кушая, отвечает: “*Софья Петровна, думайте о душе Вашей*”» (там же, с. 698; курсив в оригинале).

Совет Гоголя, содержащий противопоставление души и материального предмета (здесь это еда, «блюдо»), находит выражение и в его забавном упреке А. П. Толстому, который, страдая от зубной боли, безуспешно лечился у разных докторов и даже подумывал по этому поводу о поездке в Англию. «Оставьте в сторону дрянные ваши зубы, которые не стоят гроша даже и тогда, если б были хороши. *Душа лучше зубов...*» (XIII, 368–369).

И все же приведенные свидетельства, Стурдзы или Федора Толстого, — это взгляд на Гоголя со стороны. Реальная картина его общения с соотечественниками была несколько иной.

«Русских наехала сюда куча, — сообщает он А. О. Смирновой 27 января н. ст., — но таких, с которыми я выдаюсь, немного. Чаше бываю у гр<афов> Чернышевых-Кругликовых, потому что они мои старые знакомые, потому что больные и потому что, сверх того, очень просты и добры. Часто бываю у Апраксиной, Соф<ьи> Петровны, потому что она также очень добра и притом сестра моего любезного Александра Петровича (гр<афа> Толст<ого>)...» (XIII, 34). Далее Гоголь называет еще три имени, но это те, которых он видит реже, — поэтому вначале скажем о людях более ему близких.

Иван Петрович Чернышев-Кругликов (1787–1847) — участник Отечественной войны, вышедший в отставку полковником; впоследствии

тайный советник. Первую часть своей фамилии, а заодно и графский титул, он получил, женившись в 1832 году на графине Софье Петровне Чернышевой (1799—1847). Гоголь знал его с петербургских времен: 10 декабря 1834 года вместе с Пушкиным, Мих. Виельгорским, В. Ф. Одоевским и А. И. Тургеневым он присутствовал на вечере у Жуковского (РЛ. 1964. № 1. С. 133!). Гоголь довольно полно объясняет подоплеку своей симпатии к Чернышевым-Кругликовым как людям простым и добрым; участвовало в этом и чувство сострадания к больным людям: через каких-нибудь несколько месяцев супругам, один за другим, предстояло уйти из жизни.

Софья Петровна Апраксина тоже привлекала Гоголя своей добротой, об этом говорит и Смирнова: «...она сама по себе оч<ень> добра» (Смирнова, 1989, с. 40). Со стороны Федору Толстому казалось, что Гоголь в доме Софье Петровны только капризничает и проповедует; на самом деле он еще искал у нее (и у Чернышевых-Кругликовых) внутренней поддержки и теплоты; ведь ему, не избалованному лаской и одинокому, как поняла Смирнова (эти слова нам уже знакомы — см.: Труды и дни, с. 737), «всегда надобно пригреться где-нибудь, тогда он и здоровее и крепче духом...».

Теперь о других лицах из римского окружения Гоголя. Писатель называет трех женщин — Дурново, Нессельроде и Ростопчину. Все они принадлежали к высшему свету, как говорил Стурдза, — к «аристократическим домам».

Александра Петровна Дурново, урожденная княжна Волконская (1804—1859), была замужем за Павлом Дмитриевичем Дурново, камергером, впоследствии гофмейстером и тайным советником. Гоголь мог видеться с нею еще летом 1836 года, посетив Аахен, где проживала небольшая русская колония (см.: Труды и дни, с. 432), но в Риме они познакомились ближе. «Дурнову я видел несколько раз, — сообщает он 27 января 1846 года Смирновой. — Она неразговорчива, но в лице ее много доброты».

Скорее всего впервые увидел Гоголь в Риме Марию Дмитриевну Нессельроде (1786—1849), урожденную графиню Гурьеву, дочь министра финансов при Александре I Д. А. Гурьева и жену министра иностранных дел К. В. Нессельроде. В том же письме к Смирновой Гоголь говорит: «Графиня Нессельрод /так!/ мне понравилась с первого раза именно лицом, в котором много душевного прекрасного выражения. Вы знаете, что я знаток, и если проступила уже хоть сколько-нибудь душа внаружу, она не скроется от меня, я вижу ее на лице прежде, чем откроются уста говорить» (XIII, 34). Эти слова совпадают с отзывом Смирновой: «У графини Нессельроде был веселый, громкий, детский смех, а это лучший знак доброго сердца и высокой души». «Она была полна души и сердца» (Смирнова, 1989, с. 427, 426).

Вообще примечательно, что у всех упомянутых женщин (включая и Ростопчину) присутствует такое важное для Гоголя качество, как доброта, — и тем не менее они остались ему далеки, в отличие от Апраксиной и Чернышевых-Кругликовых. Возможно, давала себя знать социальная дистанция, но главную причину указал сам Гоголь в своем более подробном отзыве о Ростопчиной.

Графиня Евдокия Петровна Ростопчина (другое написание — Рас-топчина; 1811—1856), урожденная Сушкова, была замужем за А. Ф. Ростопчиным, сыном знаменитого московского генерал-губернатора Федора Ростопчина. Весной 1845 года Евдокия Петровна с семьей отправилась в заграничное путешествие, с посещением Италии и Рима; именно в это время (4 января 1846 г.) Смирнова в письме из Калуги советует ей внимать урокам Гоголя при восприятии художественных впечатлений — «он поразительно чувствует искусство» (см.: Труды и дни, с. 645). Гоголь, видимо, не раз встречался с Ростопчиной в Риме, и у него сложилось о ней определенное мнение. «Она, при доброте и уме, пустовата. Это вовсе не *книга*, написанная о каком-нибудь одном и при том дельном предмете, а сшитые лоскутки всего: *tutti frutti*. Она, разумеется, всякий день по балам то у Торлони, то у Дория, то у посланников, словом — повсюду, где скука» (XIII, 35; курсив в оригинале).

Ростопчина была признана как талантливый, самобытный поэт, ее талант высоко ценил Пушкин, что, возможно, было известно Гоголю. Во всяком случае он не отрицает ее «ума». Но Гоголю неприемлемо направление этого «ума», или интересов, или поэтического творчества; тут он воспроизводит довольно устойчивую репутацию Ростопчиной, сложившуюся, надо сказать, не без ее подсказки: «Я только женщина... гордится тем готова.../Я бал люблю! отдайте балы мне!..» В связи с этим Белинский писал в рецензии на первую часть ее «Стихотворений» (1841): «Исключительное служение «богу салонов не совсем выгодно и для музыки графини Ростопчиной. Наши салоны — слишком сухая и бесплодная почва для поэзии» (Белинский, т. 5, с. 458). В приверженности к свету упрекала Ростопчину в связи с ее стихотворением «Искушение» и такой близкий ее друг, как Смирнова: «...Я не понимаю, как при твоём необыкновенном уме, можно сожалеть о ничтожной и бессмысленной жизни нашей красивой столицы. Или ты намеренно была неясна, или же у тебя действительно в основе то неисчерпаемое легкомыслие, которого я не понимаю и не хочу предположить в лице избранного круга» (Колосова, с. 275). «Неисчерпаемое легкомыслие» — это очень близко резкому эпитету, которым наградил Ростопчину Гоголь — «пустовата».

И вот, так сказать, гоголевский суммарный приговор: «С этими тремя дама<ми> (т.е. с Дурново, Нессельроде и Ростопчиной. — Ю. М.) я вижу реже только единственно потому, что не вижу, каким образом и

чем именно могу быть им в текущую минуту полезен. Мне трудно даже найти настоящий дельный и обоюдно-интересный разговор с теми людьми, которые еще не избрали *поприще* и находятся покаместь на дороге и на станции, а не дома. Для них, равно как и для многих других людей, готовятся “Мертвые души”...» (XIII, 35).

Слово «поприще» в этом объяснении ключевое: справедливость и гармония человеческих отношений обуславливаются достойным и честным служением каждого на своем поприще, о чем в это время с публицистической прямоотой Гоголь пишет в «Выбранных местах...». «Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит». Есть свое поприще и у женщины, в том числе и светской — этой проблеме Гоголь посвящает «письмо», которое так и называется «Женщина в свете» (датировано 1846 г.): «Вы говорите, что всем другим женщинам предстоят поприща, а вам нет <...> Знайте же, что это общее ослепление всех. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого и только не может сделать это в своей должности».

Женщина «в светской должности» делает добро уже одним своим благородным настроем, своей молчаливой, ненавязчивой душевной активностью — своей женственностью. «Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть...» «Влетайте в него смело, с той же сияющей вашей улыбкой...» «Не болтайте со светом о том, о чем он болтает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите...» (VIII, 227, 228) и т.д. С этими наставлениями по принципу контраста связан гоголевский упрек одной из «трех дам», Александре Дурново — в «апатии и душевной недеятельности» (XIII, 34).

И еще одно ключевое слово в характеристике тех, кто находится на перепутье, — скука (Ростопчина «повсюду, где *скука*»). К середине 1840-х годов это понятие (намеченное еще в «повести о ссоре» — вспомним ее финал) становится для Гоголя одним из центральных. Это не только «тягостное чувство от косного, праздного состояния души, томление бездействия», как определяет скуку В. Даль. Это утрата связи с высшим началом, обесмысливание, опустошение, ощущение мертвенности. И ощущение не одного человека, но множества, всеобщее. «И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мельчает, и *возрастает только в виду всех исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста*. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в твоём мире!» (VIII, 416). В безудержном возрастании «образа скуки» отразилась та особенность современной жизни, что силы зла приняли в ней будничный, вседневный вид, что все человечество «погрязло в болоте и бездорожье» (тоже излюбленный образ Гоголя).

Противостоять этому состоянию Гоголь стремится и «Выбранными местами...» и особенно продолжением его главной книги. «Только тогда уяснятся глаза у многих, которым другим путем нельзя сказать иных истин. И только по прочтении 2 тома “Мертвых душ” могу я заговорить со многими людьми сурьезно» (XIII, 35).

## «НОВЫЙ ГОГОЛЬ ЯВИЛСЯ...»

**В** начале 1846 года в Рим Гоголю пришло известие о появлении нового писателя — Ф. М. Достоевского, только что опубликовавшего в изданном Н. А. Некрасовым «Петербургском сборнике» (СПб., 1846) роман «Бедные люди». Первым, 18 февраля, об этом написал Гоголю Языков: «В Питере, по мнению «Отечественных записок», явился новый гений — какой-то Достоевский; повесть его найдешь ты в сборнике Некрасова. Прочти и скажи мне свое мнение...» Сам Языков не торопился прочитать, потому что его «здешние (т.е. московские. — Ю. М.) благоприятели, читавшие ее, не похваляют ее!» (Переписка, т. 2, с. 425). Затем известие пришло и из Петербурга; 4/16 марта Плетнев писал Гоголю: «Здесь Белинский с Краевским беснуются за какого-то Достоевского» (Переписка, т. 1, с. 261). Таким образом, первое, что мог узнать Гоголь о новом писателе, это то, что он очень нравится партии Белинского, Краевского и Некрасова и не нравится его друзьям. Правда, Плетнев в письме Я. К. Гроту от 9 февраля того же года отзывался о романе более благосклонно (см. там же, с. 261), но Гоголю это свое мнение не сообщил.

В связи с «Бедными людьми», еще до выхода их в свет, возникла и тема соперничества молодого писателя с Гоголем. Возникла буквально с первой фразы Некрасова, которую он произнес, передавая рукопись романа Белинскому: «Новый Гоголь явился». И потом эта фраза варьировалась и передавалась от одного к другому, в том числе и среди лиц, знакомых или близких Гоголю.

М. Карташевская — В. С. Аксаковой, из Петербурга, 31 октября 1845 года: «Говорят, еще явился новый автор, вроде будто бы Гоголя...» (ЛН. Т. 58. С. 675). Та же Карташевская, уже по прочтении романа, 28 января 1846 года — тому же адресату: «...Это далеко, далеко не Гоголь! <...> У Достоевского нет, кажется, большого таланта, но он, кажется, не лишен способностей, и, главное, он без штук, и видна любящая душа в его повести...» (там же, с. 680). В. С. Аксакова, 25 февраля 1846 года, — М. Карташевской: «Мы также прочли Достоевского, и я согласна с тобой. Странная повесть с большим достоинством, хотя вовсе почти не дает тех освежительных высоких наслаждений художеством, которые мы находим во всяком слове Гоголя...» (там же).

Несколько иную ноту в общий хор голосов внесла А. М. Виельгорская. «А проpros, Николай Васильевич, — писала она 18–21 марта из Петербурга, — с первым фельдъегерем мы вам пошлем повесть Достоевского (молодого человека 22 лет) “Бедные люди”, которая мне очень понравилась. Прочтите ее, пожалуйста, и скажите мне ваше мнение» (Переписка, т. 2, с. 219). Отзыв Анны Михайловны предельно краткий, не содержит никаких подробностей или сопоставлений, но зато весьма определенный («очень понравилась»). Тут уместно напомнить, что Гоголь считался с ее умом и вкусом.

Вывранные из сборника страницы с произведением Достоевского Гоголь получил еще в Риме, но ответил Виельгорской уже с дороги, из Генуи, 14 мая н. ст.: «“Бедные люди” я только начал, прочел страницы три и заглянул в середину, чтобы видеть склад и замашку речи нового писателя <...>. В авторе “Бедных людей” виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе: все бы оказалось гораздо живей и сильнее, если бы было более сжато. Впрочем, я это говорю еще не прочитавши, а только перелистнувши» (XIII, 66). Отзыв Гоголя, как говорят, положительный, но умеренный. Капитальных достоинств, нового слова в дебюте молодого писателя он не увидел. Или еще не успел увидеть...

Прочитал ли Гоголь «Бедных людей» полностью — неизвестно. Но известно еще одно свидетельство о его отношении к роману, зафиксированное в воспоминаниях А. О. Смирновой: «В 48-м году (т.е. в 1846-м. — Ю. М.) печатался роман Достоевского “Макар Девушкин”, который огорчил покойника. “А у него есть большой талант, жаль, что его перо пишет без остановки, но без руководства. Макар Девушкин оставляет в душе невыразимое чувство безотрадной грусти”» (Смирнова, 1989, с. 69). Если эти слова были услышаны самой Смирновой, то они относятся к более позднему времени; но возможно и то, что они восходят к приведенному отзыву в гоголевском письме к Анне Виельгорской, с которой Смирнова общалась. Во всяком случае отзыв, переданный Александрой Осиповной, развивает мотивы предыдущего: отмечены талант, душевная отзывчивость молодого писателя, но в то же время — погрешности общего построения и повествования. Надо сказать, что этот упрек, усиленный во втором отзыве («огорчил покойника»), отвечал художественным критериям Гоголя, требовавшего, чтобы писатель владел своим воображением, как араб своим скакуном...

Вообще же проявленный Гоголем внимание к первому роману Достоевского (его отзывы о других произведениях молодого писателя, в частности о «Двойнике», неизвестны), обусловливался общим интересом к современной литературе — тут внимание Гоголя привлекли к себе «Тарантас» и «Воспитанница» В. А. Соллогуба, произведения В. И. Даля,

И. С. Тургенева и др. «Мне теперь сильно хотелось прочесть повестей наших нынешних писателей, — пишет он 21 апреля н. ст. 1846 года Н. М. Языкову. — Они производят на меня всегда действие возбуждающее <...> В них же теперь проглядывает вещественная и духовная статистика Руси, а это мне очень нужно» (XIII, 52). Или в уже известном нам письме к А. Виельгорской: «Напрасно вы оторвали одних “Бедных людей”, а не прислали весь сборник, я бы его прочел, мне нужно читать все новые повести; в них хотя и вскользь, а все-таки проглядывает современная наша жизнь» (там же, с. 66; упомянутый «Петербургский сборник» был выслан Гоголю позднее с отправлявшимся за границу М. Ф. Самариним. — Переписка, т. 2, с. 222).

Словом, его интерес имел определенную практическую направленность. Современники, например художник Ф. И. Иордан, жаловались, что Гоголь утилитарно подходил к друзьям и знакомым, рассматривая их как источник и стимул для своих художественных впечатлений («...он все только брать хочет» — см.: Труды и дни, с. 638). Несколько похожим было в это время и его отношение к литературным произведениям. Поэтому для Гоголя, говоря его словами, имели «много цены даже и те повествован<ия>, которые кажутся другим слабыми и ничтожными относительно достоинства художественного». Поэтому он мог не увидеть или не отметить нового слова, содержащегося в художественном дебюте Достоевского. Поэтому никак не прореагировал или остался равнодушным к начинавшей входить в моду параллели «Достоевский—Гоголь», к тому, что в молодом писателе видели его соперника или подражателя. Разве что прореагировал на эту параллель своеобразно, произвольно дав повод для довольно комического эпизода.

... Чуть позже, 20 июня н. ст. 1847 года, находясь уже во Франкфурте-на-Майне, Гоголь обратился к проживающему в Петербурге Прокоповичу с просьбой: «Разузнай, пожалуйста, какой появился другой Гоголь, будто бы мой родственник. Сколько могу помнить, у меня родственников Гоголей не было ни одного, кроме моих сестер, которые, во-первых, женского рода, а во-вторых, в литературу не пускаются». Видно, Гоголя больше всего встревожило то обстоятельство, что самозванец «пущен в литературу», и поэтому он заканчивает свое письмо прямой угрозой: «Тому же, кто выступает под моим именем, не худо бы как-нибудь дать знать стороной, чтобы он выступал под собствен<ным> именем <...> Верно же будет ему неприятно, если я сделаю какое-нибудь печатное объявление» (XIII, 325–326).

Однако необходимость в «печатном объявлении» отпала. «Поручение твое о появившемся здесь <...> твоим однофамильце я выполнил, — сообщал Прокопович 27 июня того же года, — но никаких следов его здесь не отыскалось, никто ни о чем подобном в Петербурге не слышал, и не знаю, откуда к тебе дошли эти вести» (Переписка, т. 1, с. 128).



Очень может быть (как предположил И. Волгин), что все эти слухи («вести») возникли на почве той реакции, которую вызвал литературный дебют Достоевского: «новый Гоголь явился»...

## «БЕСПРЕРЫВНАЯ ДОРОГА»

**О**коло 5 мая 1846 года Гоголь покинул Рим. Началась опять разъездная жизнь: Франция, Бельгия, Германия... В Италию он вернется только в ноябре.

Причина отъезда обычная: Гоголь бежит от изнуряющей летней жары. И еще: надежды на целительную силу дороги. «Еду я для того, чтобы ехать. Езда, как вы знаете, мое всегдашнее средство...» (5 мая н. ст., С. Т. Аксакову — XIII, 62).

Следуют знакомые города: 10 мая Гоголь во Флоренции, 14-го — в Генуе, 15-го — в Ницце. Он направляется во Франкфурт, к Жуковскому, но на пути решает заехать в Париж, «единственно для того, чтобы взглянуть на моего доброго гр<афа> А<лександра> П<етровича> Толстого» (XIII, 65). Толстой жил в той же гостинице Вестминстер на Rue de la Paix, где годом раньше останавливался и Гоголь. Здесь же он провел несколько дней и на этот раз — было это в конце мая.

В это время через Париж проезжал Анненков, случайно узнавший о приезде Гоголя и, конечно, не преминувший с ним встретиться.

Со времени их совместного пребывания в Риме в первой половине 1841 года, когда Анненков под диктовку Николая Васильевича переписывал «Мертвые души», прошло пять лет. «Гоголь постарел, но приобрел особого рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось по-старому длинными, густыми волосами до плеч, в раме которых глаза Гоголя не только что не потеряли своего блеска, но, казалось мне, еще более исполнились огня и выражения».

Гоголь направлялся из гостиницы Вестминстер в Тюильрийский сад и предложил Анненкову его проводить. «На пути он подробно расспрашивал, нет ли новых сценических талантов, новых литературных дарований, какого рода и свойства они, и прибавлял, что новые таланты теперь одни и привлекают его любопытство: “старые все уже выболтали, а все еще болтают”. Он был очень серьезен, говорил тихо, мерно, как будто весьма мало занятый своим разговором» (Анненков, 1983, с. 115–116).

Обратим внимание: разговор этот имел место вскоре после знакомства Гоголя с «Бедными людьми»; следовательно, говоря о «новых талантах», он мог иметь в виду и роман Достоевского. И еще: о литератур-

ной ситуации, о новинках Гоголь выспрашивает человека другой, нежели он сам, ориентации, представителя «партии Белинского», той самой, которая, по словам Языкова, подняла на щит «Бедных людей». Гоголь делает подобное не в первый раз: его интересуют разные мнения, он не хочет привязывать себя к точке зрения одного кружка или группы. Это не противоречит его прагматизму в отношении к писателям или книгам. Наоборот: по примеру Мольера, он хочет брать свое добро там, где оно найдется (эта фраза, приписываемая французскому драматургу, получила во времена Гоголя широкое хождение).

Состоялась и еще одна, вторая встреча Анненкова с Гоголем — «в большом обществе, в гостиной семейства, которому он сопутствовал», т.е. в номере А. П. Толстого отеля Вестминстер<sup>1</sup>. «Николай Васильевич сидел на диване и не принимал никакого участия в разговоре, который вскоре завязался около него. Уже к концу беседы, когда зашла речь о разнице поучений, какие даются наблюдением двух разных народов, английского и французского, и когда голоса разделились в пользу того или другого из этих народов, Гоголь прекратил спор, встав с дивана и проговорив длинным, протяжным тоном: “Я вам сообщу приятную новость, полученную мною с почты”» (там же, с. 116). И затем Гоголь «прочел новую “Речь” одного из известных духовных витий наших. “Речь” была действительно недурна, хотя нисколько не отвечала на возникшее прение и не разрешало его нимало».

«Прение» о французских уроках («поучениях») касалось социально-политической роли Франции в современной истории, роли радикальной и революционной. Поскольку «прение» было связано с разговором, завязавшимся «около него», т.е. Гоголя, то повторилась ситуация, имевшая место пять лет назад в Риме и уже описанная Анненковым. Тогда Гоголь выступил с определенным «отрицанием Франции», хотя и не стал настаивать на своем мнении (см.: Труды и дни, с. 591). Новое теперь — появившаяся «английская карта», вызванная, возможно, планами поездки в Англию А. П. Толстого, но главное — собственными раздумьями Гоголя о роли Англии: через несколько месяцев он будет заинтересованно обсуждать эту тему и с Хомяковым и с тем же Анненковым. Но пока Гоголь решил уклониться от спора, переключив внимание на новое произведение Филарета (В. М. Дроздова): «один из известных духовных витий наших» — это, конечно, митрополит Московский и Коломенский<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Отклик на эту встречу — в более позднем (около середины августа н. ст. 1847 г.) письме Гоголя А. П. Толстому: Гоголь упоминает Анненкова, «который — помните? — был у меня в Париже при вас...» (XIII, 368).

<sup>2</sup> Возможно, подразумевается «Слово по освящении Храма явления Божией Матери преподобному Сергию» <...>, говоренное синодальным членом Филаретом, митрополитом Московским (М. 1843. № 1). Об этой «отлично-прекрасной проповеди» Гоголя известил Н. М. Языков 27 февраля 1844 г. (Переписка, т. 2, с. 380).

Из Парижа, как и было обещано, Гоголь в начале июня едет к Жуковскому во Франкфурт-на-Майне, но задерживается здесь не надолго: он спешит для лечения в Греффенберг. По дороге Гоголь продолжает обдумывать «Выбранные места...», продолжает работать; так, его огромное письмо из Праги от 6 июня н. ст. 1846 года по существу является черновой редакцией статьи «Что такое губернаторша». «Друг мой, — обращается Гоголь к Смирновой, — вспомните вновь мои слова <...> глядеть на Калугу, как на лазарет. Глядите же так! Но прибавьте к этому еще кое-что, а именно: уверьте себя, что больные в этом лазарете ваши родные, близкие сердцу вашему, и тогда все перед вами изменится: вы с ними примиритесь и будете враждовать только с их болезнями». И не следует считать, что «болезни эти неизлечимы» — нужно только найти сведущего доктора. Ну хотя бы его, Гоголя. Ведь признавалась же Александра Осиповна, что он помог ей «в душевном деле». «Неужели вы думаете, я не сумел бы так же помочь и вашим неизлечимым больным? Вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть и до Бога, Бог может послать уму моему вразумление, а ум мой, вразумленный небесной милостью его, может распутать и это дело так же, как распутывал и другие» (XIII, 69). Этот пассаж почти дословно был включен Гоголем в текст книги.

Около 16 июня Гоголь — в Греффенберге-Фрейвальдау, на курорте в австрийской Силезии, в гористой местности, славившимся своею водолечебницей. Гоголь уже лечился здесь около года назад по методу Винсента Присница, но на этот раз — без осязаемого результата. И окружение не способствовало подъему настроения. «И Греффенберг и Фрейвал<ь>дау грустны, почти ни души; кроме бедного Дегалета, который еле ходит с закрытыми глазами и ничего не видит, только двое русских. Один армейский полковник Быков, другой какой-то Лосев» (XIII, 81). О Быкове и Лосеве ничего не известно, о Дегалете же — лишь то, что он адъютант кн. А. С. Меншикова, лечившийся от апоплексического удара, по словам А. О. Россета, «очень добрый и простой малый» (Шенрок, т. 4, с. 340).

Пребывание в Греффенберге-Фрейвальдау скрасила Гоголю встреча с кн. Александром Ивановичем Барятинским (1814–1879), «умным и замечательным человеком» (XIII, 81). Они виделись и раньше: в конце 1838 — начале 1839 года Барятинский находился в Риме в свите наследника; тогда он, между прочим, встречался и с большим Иосифом Вильгорским, разделяя его интерес к материалам по русской истории. В Греффенберге, по словам Гоголя, они с Барятинским сошлись «ближе», и это впоследствии подсказало писателю мысль привлечь князя к филантропическому предприятию: «У него душа добрая <...> Мне кажется, что ему недостает для полного себя укомплектованья близкого знакомства с половиной страждущей людей и практического познания

затруднительных их положений под условием прижимающих и гнетущих их обстоятельств» (там же, 122). В такой несколько витиеватой манере Гоголь подразумевает свой план переиздания «Ревизора» в пользу бедных.

К концу пребывания на курорте Гоголь пришел к выводу, что «дорога действует лучше», чем лечение. «Видно на то воля Божья, и мне нужно более, чем кому-либо, считать свою жизнь непрерывной дорогой и не останавливаться ни в каком месте иначе, как на временный ночлег и минутное отдохновение» (там же, 84). С этой мыслью он отправился в Карлсбад, продолжая обдумывать и сочинять свою новую книгу. Из Карлсбада, в частности, он посылает Плетневу (4 июля н. ст.) письмо «Об Одиссее, переводимой Жуковским», которое должно было появиться вначале в виде отдельной статьи<sup>1</sup>, а потом войти в «Выбранные места...».

Из Карлсбада Гоголь направился в Швальбах, чтобы вновь встретиться с Жуковским, принимающим здесь ванны, а заодно и самому попробовать это средство, но по пути, в Бамберге, снова увиделся с Анненковым. Странствующий любитель искусства, Анненков заехал в Бамберг, чтобы осмотреть расположенный на горе знаменитый собор в романском стиле, и когда, уже полный впечатлений, он спускался с горы, то заметил вдали поднимающегося человека, очень похожего на Гоголя. Невольно Анненков впал в тон гоголевского стиля мышления, т.е. он «с изумлением подумал об этой *странной игре природы*, которая из какого-нибудь почтенного бюргера города Бамберга делает совершенное подобие автора “Вечеров на хуторе”». Однако это было не подобие, а сам оригинал: Гоголь ехал в дилижансе, очевидно, в Швальбах, и воспользовался часовой остановкой для осмотра собора.

Пришлось Анненкову вновь подниматься в гору к собору, чтобы поделиться с Гоголем только что полученными впечатлениями и сведениями, но Николай Васильевич от такой помощи отказался: «Вы, может быть, еще не знаете, что я сам знаток в архитектуре».

В Бамберге Анненков провел с Гоголем еще меньше времени, чем в Париже, час или несколько больше, но этого было достаточно, чтобы заметить в писателе разительные изменения: «Это был совсем другой Гоголь, чем тот, которого я оставил недавно в Париже, и разнился он значительно с Гоголем римской эпохи». Иными словами, «разнился» не только с Гоголем пятилетней давности, но и с тем, каким он был всего два месяца тому назад! «Все в нем, — продолжает мемуарист, — установилось, определилось и выработалось».

В Париже Гоголь уклонился от разговора об уроках Франции и Англии для современного мира, — надо полагать, для России прежде всего.

---

<sup>1</sup> Статья появилась в течение 1846 г. в трех изданиях: в «Современнике» (т. 43), «Московских ведомостях» (№ 89) и «Москвитянине» (№ 7).

В Бамберге он рассуждал на эти темы охотно и определенно — «с какой-то задумчивостью, исполненной еще страсти и сосредоточенной энергии <...>, мерным, отрывистым, но пламенным словом стал делать замечания об отношениях современного европейского мира к быту России <...>. “Вот, — сказал он раз, — начали бояться у нас европейской неурядицы — пролетариата... думают, как из мужиков сделать немецких фермеров... А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с землею?.. Какое же тут пролетариатство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидав землю свою; некоторые ложатся на землю и целуют ее, как любовницу. Это что-нибудь значит?.. Об этом-то надо поразмыслить”. Вообще он был убежден тогда, что русский мир составляет отдельную сферу, имеющую свои законы, о которых в Европе не имеют понятия» (Анненков, 1983, с. 119).

Определенность суждений Гоголя обуславливалась тем, что он во многом закончил работу над «Выбранными местами...»; обуславливалось и значением, которое придавалось им этой книге. Отсюда — многозначительные намеки и обещания на будущее.

Анненкову Гоголь посоветовал приехать на зиму в Неаполь, где он и сам собирался провести время: «Я открою тогда секрет, за который вы будете меня благодарить». Анненков подумал, что этот «секрет» связан с предстоящим путешествием писателя к Гробу Господню, о чем многие знали, и с поисками попутчика, но Гоголь возразил: «Конечно, это дело хорошее... мы могли бы вместе сделать путешествие, но прежде может случиться *еще нечто такое, что вас самих перевернет...*»

Реплика, переданная мемуаристом, хорошо вписывается в контекст письменных обращений Гоголя к своим корреспондентам в это время: тот же таинственный тон, провиденциальность, торжественность. Ю. Ф. Самарину, начало июля н. ст.: «Благодарю вас весьма много за ваше письмо <...>. Ответ на него будет потом <...> вами неожиданным образом» (XIII, 86). П. А. Плетневу, 4 июля н. ст.: «Приходит уже то время, когда все объяснится» (там же, 85). Н. М. Языкову, 21 июля н. ст., в связи с его стихотворением «Сампсон»: «Твой “Сампсон” прекрасен; от него дышит библейским величием. Но смысл его я понимаю так: Сампсон, рассерженный своими врагами, глумящимися над его бессилием, происшедшим от забвения высшего служения Богу, ради всяких светских мелочей, потрясает наконец храмину, дабы погубить в своих врагах врагов себе и вместе с ними погубить прежнего самого себя, дабы на место его явился вновь еще сильнейший силач, служащий Богу» (там же, 90). Е. А. Свербева, узнавшая о гоголевском отзыве от Языкова, заметила: «...Видится в этих словах это новое его сочинение» (ЛН. Т. 58. С. 685), т.е. обещанные «Выбранные места...».

Последнюю декаду июля Гоголь проводит в Швальбахе вместе с Жуковским. Отсюда же 30 июля н. ст. высылает Плетневу первую тет-

радку с рукописью «Выбранных мест...» и настоятельно просит: «Все свои дела в сторону, и займись печатаньем этой книги <...>. Она нужна, слишком нужна всем...» (XIII, 91–92).

Необходимо соблюдение строжайшей тайны, только занятый изданием Плетнев и цензор должны быть посвящены в дело. Плетнев — «как наивернейший друг», цензор — по необходимости.

«Выбранные места...» должны выйти к середине сентября, тогда же, когда и второе издание «Мертвых душ» со специальным предисловием, которое будет послано позднее. К этому времени, т.е. к середине сентября, Гоголь рассчитывает быть в Неаполе и получить в руки первые экземпляры. Этим и объясняется приглашение Анненкову приехать именно в Неаполь.

В том же письме Плетневу Гоголь просит его озаботиться вторым изданием «Выбранных мест...»: он уверен, что «книга эта разойдется, более чем все мои прежние сочинения».

Продолжая свое путешествие, Гоголь к 1 августа н. ст. приезжает в Эмс, откуда отправляет письмо А. В. Никитенко, — именно ему поручается роль цензора. Просьба все та же — хранить тайну, «чтобы осталось только между вами и Плетневым» (там же, 93).

В Эмсе, между прочим, у Гоголя состоялась еще одна встреча с земляками — это брат А. П. Толстого Иван Петрович с молодой женой Софьей Сергеевной (урожденной гр. Строгановой), которая лечилась в эмских водах. «Они, кажется, обоюдно счастливы, — сообщал Гоголь А. П. Толстому, — хотя оба не весьма знакомы с опытной жизнью грешного мира сего» (там же, 94). И граф и графиня показались Гоголю «очень добрыми людьми»; общение с ними он продолжит и позже, в Неаполе.

## ОСТЕНДЕ — ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

**И**з Эмса Гоголь в первых числах августа едет в Остенде, где задерживается примерно на месяц, чтобы пройти курс лечения. Он уже бывал здесь двумя годами раньше, с большой пользой купаясь в прохладных водах Северного моря, и надеялся, что эта процедура благотворно подействует на него и в этот раз.

Две-три «морские бани» Гоголь принял «без отвращения», но и «без особенного удовольствия» (там же, 96), но дней через десять почувствовал желаемое освежение. А это значит, что можно с новыми силами приниматься за работу.

В Эмс Гоголь решил приехать и потому, что здесь больше бывает русских. «Мне же особенно нужно бежать от тоски, которая меня наиболее одолевает тогда, когда нет с кем провести вечер и сколько-нибудь позабыть в беседе, тягость и трудность дня» (там же, 81). И действительно, в окружении Гоголя в Эмсе оказалось несколько земляков: Нико-

лай Иванович Мещерский (1798–1862), гвардии подполковник, разбитый параличом; его жена Александра Ивановна (ум. 1873), урожденная княжна Трубецкая. Затем еще Софья Ивановна Борх (1809–1871), дочь французского эмигранта и крупного чиновника графа И. С. Лавалея, фрейлина, бывшая замужем за дипломатом Александром Петровичем Борхом. Супругов Борхов, а также еще все семейство Лавалей знал Пушкин. Была знакома с ними и Смирнова-Россет.

Однако сколько-нибудь тесных контактов с земляками у Гоголя не возникло, и он ждет не дожидается приезда А. П. Толстого, о чем просил, а может быть, и договорился с ним еще раньше. «Что с вами? Где вы? И отчего до сих пор от вас ни одной строчки?» (Там же, 93) — пишет он Толстому из Остенде 6 августа н. ст.

Желание увидеться с ним было так велико, что Гоголь сам на несколько дней отправился в Париж. Сделать это было не так трудно: из Остенде до Парижа лишь «день езды <...> по железной дороге» (там же, с. 270), о чем позднее Гоголь сообщал Плетневу, явно на основе собственного опыта. Эта поездка приходится на промежуток времени между 10 и 20 августа. В Париже, между прочим, Гоголь познакомился с Михаилом Федоровичем Самариным (1824–1848), который передал ему письмо от Юрия Федоровича<sup>1</sup>.

А затем для возвратившегося в Остенде Гоголя наступили радостные дни: кончилось его одиночество, когда сюда, наконец, приехал граф А. П. Толстой — и не один, а с братьями Мухановыми, почти на целый месяц, — «ради морского купания» (там же, 97).

Братья Мухановы — это два сына сенатора Алексея Ильича Муханова (ум. 1836). Старший из них, Николай Алексеевич (1802–1871), был адъютантом петербургского генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова, поручиком лейб-гвардии Гусарского полка, позднее товарищем министра народного просвещения и министра иностранных дел, членом Государственного совета и сенатором. Тремя годами младше был его брат Владимир Алексеевич (1805–1876), камер-юнкер и «архивный юноша», т. е. один из молодых служащих Московского Главного архива Министерства иностранных дел, где он занимал должность переводчика. Нужно еще добавить, что оба брата были хорошо знакомы с Пушкиным.

Знала Мухановых и Смирнова-Россет, восхищавшаяся их взаимоотношениями: «Братья обожали друг друга, не говорили друг другу ты и называли всегда по имени-отчеству» (Смирнова, 1989, с. 395).

---

<sup>1</sup> О вторичном приезде Гоголя в Париж в 1846 г., между 10 и 20 августа н. ст., ранее не было ничего известно; впервые на этот факт указала А. Н. Михайлова, автор комментариев в первом академическом Полном собрании сочинений Гоголя (см.: XIII, 468). Дополнительным аргументом в пользу этой версии является то обстоятельство, что Михаил Самарин отправился за границу 30 июня (см.: Переписка, т. 2, с. 222); следовательно, он не мог встретиться в Париже с Гоголем во время его первого приезда сюда в мае того же года.

Гоголь был подготовлен ко встрече с Мухановыми письмом А. О. Россета от 29 июля 1846 года: «Я их вам рекомендую; оба очень хорошие люди; особенно со вторым, мне кажется, вы бы сошлись» (Шенрок, т. 4, с. 390). И Гоголь действительно «сошелся», и не только со вторым, т.е. Владимиром Алексеевичем, но с обоими. Они стали видаться чуть ли не ежедневно, причем от Мухановых не укрылись перемены в умонастроении писателя.

29 августа н. ст. Владимир Муханов сообщал сестрам из Остенде: «Здесь мы нашли Гоголя, с которым познакомились. Он очень замечательен, в особенности по набожному чувству, христианской любви и складной, правильной речи...» И несколько позже, в письме от 5 сентября н.ст.: «Продолжаем довольно часто видаться с Гоголем; он внушает сочувствие и особенно приятен, как человек истинно-верующий и которого Бог посетил своею благодатью». Владимиру вторит Николай Муханов в письме от 20 сентября н. ст.: «Здесь Гоголь, которого мы довольно часто видаем. Никак нельзя сказать, чтобы это был автор “Тараса Бульбы”, “Старосветских помещиков” и “Записок сумасшедшего», — прочих его творений я не люблю. Впрочем, он очень теперь набожен, что, вероятно, переменит и направление его сочинений» (Миловский, с. 9–11).

В том же письме, где говорится о наследовании Гоголем высшей благодати, Владимир Муханов передает и такой эпизод. «На днях я встретил его [Гоголя] на берегу моря, вечер был прекрасный и месяц светил чудесно <...>.

— Знаете ли, сказал он, что со мной сейчас случилось? Иду и вдруг вижу перед собой луну, посмотрел на небо, и там луна такая же. Что же это было? Лысая голова человека, шедшего передо мною» (там же, с. 10).

При всей набожности юмор и склонность к балагурству не оставили Гоголя...

Мухановы в курсе планов и намерений писателя. «Через несколько дней, — сообщает Владимир Алексеевич 26 сентября н. ст., — едет он в Франкфурт для свидания с Жуковским, оттуда в Италию, где проживет два, три месяца и потом отправится в Иерусалим. Он жалуется на здоровье и даже с трудом может переносить римскую зиму» (там же, с. 11).

Общение Гоголя с братьями Мухановыми продолжится и по возвращении его на родину, когда он будет посещать их московский дом на Остоженке, в приходе церкви Воскресения. По-видимому, особенно близок Гоголю (как предвидел А. О. Россет) стал Владимир Алексеевич; это подтверждается тем фактом, что при намеченном переиздании «Ревизора» в пользу бедных писатель назвал его в числе лиц, «принявших на себя раздачу вспомоществований» (Гоголь, ак., т. 4, с. 103).

... Улучшившимся самочувствием, подъемом настроения Гоголь спешит воспользоваться, чтобы закончить «Выбранные места...». «Работаю от всех сил над перечисткой, переделкой и перепиской» (XIII, 98), — сообщает он Плетневу 25 августа н. ст. Одновременно высылается вто-



рая тетрадка рукописи, а затем с двухнедельными интервалами — третья и четвертая тетрадки. В Остенде Гоголь, очевидно, пишет и предисловие ко второму изданию «Мертвых душ», которое высылает Плетневу уже 3 октября н. ст., по прибытии во Франкфурт-на-Майне.

Город этот был хорошо знаком Гоголю: он приезжает сюда уже в шестой раз, начиная с лета 1836 года. Четыре последних посещения связаны с пребыванием здесь Жуковского, у которого Гоголь останавливается и на этот раз, в уже знакомом ему доме: Saxenhausen, Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor. Прожил он здесь примерно двадцать дней, с 3 по начало двадцатых чисел октября.

Все это время прошло в напряженном ежедневном труде. Гоголь пишет «Развязку Ревизора», «Предуведомление» к задуманному новому изданию той же комедии, но больше всего занят завершением «Выбранных мест...».

Гоголь видит себя накануне важного события — сбора заслуженной «жатвы». «Приходит время, когда должна объясниться хотя отчасти свету причина моего молчания и моей внутренней жизни» (А. О. Смирновой, 15 октября н. ст. — XIII, 109). «Друг мой, я действовал твердо во имя Бога, когда составлял мою книгу, во славу его святого имени взял перо, а потом и расступились перед мною все преграды...» (П. А. Плетневу, 20 октября н. ст. — (там же, 112). Даже несколько расстроившееся по сравнению с пребыванием в Остенде здоровье не печалит его: «...Бог все творит, верно, к какому-нибудь новому душевному добру» (там же, 109).

16 октября н. ст. Гоголь высылает Плетневу пятую, заключительную тетрадку «Выбранных мест...». Одновременно дает распоряжения и советы, как обойти возможные преграды: если цензор Никитенко проявит робость, то напечатать корректурные листы и поднести их «на прочтение государю». Тут надо привлечь и Смирнову-Россет с ее связями при дворе: «она сумеет, как это устроить». Если же возникнут осложнения по части духовной цензуры, то не действовать официально, но в обход, полагаясь на человеческие связи, т.е. призвать к себе духовного цензора и потолковать с ним «лично».

Пришло время подумать и о дарении книг. Плетневу поручается по выходе «Выбранных мест...» «приготовить экземпляры и поднести всему царскому дому, до единого, не выключая малолетних, всем великим князьям, детям наследника», т.е. Александра Николаевича, «детям Марьи и Николаевны», т.е. дочери Николая I, «всему семейству Михаила Павловича», т.е. брату императора. При этом Плетнев должен объяснить, что дарящий не связывает с этим никаких практических целей, не ждет для себя никаких благ (ибо «вследствие и болезненного своего состояния, и внутреннего состояния душевного, меня не занимает все то, что может еще шевелить и занимать человека, живущего в

свете»), но делает это лишь потому, что «все, относящееся к их дому, стало близко моей душе...» (XIII, 113).

Что касается продажи книги, то связанную с этим практическую цель Гоголь не скрывает — собрать деньги для предстоящего путешествия на Восток, к Гробу Господню.

Намечается и новый срок паломничества — первые числа февраля следующего, 1847 года. Но и этот срок не будет выдержан.

Последние дни пребывания Гоголя в доме Жуковского были омрачены болезнью Елизаветы Алексеевны, жены поэта. Вначале это было физическое недомогание, потом другое, психическое; о ее проявлениях Жуковский сообщал Гоголю уже по его отъезде: наступила болезнь «мучительная, неотступная, та, которую вы слишком знаете, но которую знаете в другом и, я думаю, менее суровом виде, — нервы ее сильно расстроены; беспрестанная тоска физическая, выражающаяся в страхе смерти, и беспрестанная тоска душевная, выражающаяся в совершенной безнадёжности. Никакая сила не может оторгнуть от нее этих черных мыслей» (Переписка, т. 1, с. 196). Да, Гоголь «слишком знал», что это за болезнь, но, к счастью, ему не пришлось на этот раз быть ее свидетелем: обычно он обостренно, в тон реагировал на состояние Елизаветы Алексеевны.

Перед отъездом из Франкфурта Жуковский подарил Гоголю записную книжку, на обороте переплета которой стоит дата: «1846, 8 (20) октября» (VII, 427). Гоголь тотчас же ответил запиской: «Нельзя было лучше и кстати сделать подарка. Моя книжка вся исписалась. Подарку дан был поцелуй, а в лице его самому хозяину» (XIII, 111).

Гоголь отправлялся в дорогу с сознанием выполненного долга: все пять тетрадок его новой книги отосланы в Петербург и теперь можно было ожидать ответной реакции.

## «ИСХОДЫ, СРЕДСТВА И ПУТИ...»

**В** ходе работы над «Выбранными местами...» Гоголь укрепился в тех принципах, с которыми с самого начала связывалось написание книги. Это должно быть произведение особого жанра, практического, активного, с установкой на непосредственное, прямое воздействие на читателей. По отношению же к «Мертвым душам» произведение выполняло роль некоторой компенсации, поскольку в краткой, так сказать, итоговой форме сообщало «идеи» его главной книги; и в то же время — роль упреждающую, провокативную, пробную, поскольку должно было обнаружить, в какой мере автор готов высказать свое новое слово, а публика готова его принять и усвоить. Все эти качества Гоголь обозначал одним определением — «дельный» («первая моя дельная книга...»), и по мере реализации замысла «дельность» его направления раскрывалась все отчетливее.

«Выбранные места...» часто называют утопией: «это — не “реальная политика”, а чистая романтическая утопия...» (Мочульский, с. 100); это «бюрократическая утопия»; «патриархальная утопия», «утопия феодальная» (Гиппиус, 1966, с. 186) и т.д. Но в строгом, жанровом отношении все обстояло как раз наоборот: утопия резко противостоит реальности как воображаемая сущность, как *другая* действительность; уже самой этимологией этого понятия задана установка на такое восприятие (утопия — по-греч.: место, которого нет)<sup>1</sup>. Отсюда выбор и сценической площадки, резко отграниченной от «нашего» мира (остров, иной материк или иная планета), и мотивировка «попадания» на это место (сон, видение, дальнее, подчас космическое путешествие и т.д.). Отсюда и особое время утопии — отдаленное прошлое или не менее отдаленное, запредельное будущее, о чем говорят уже названия (роман Л. Мерсье «Год 2440», роман А. Ф. Вельтмана «МММСДХLVIII [т.е. 3448] год. Рукопись Мартына Задеки»). Кстати, по тому же принципу временного или пространственного отдаления строятся и антиутопии: неприступный остров-утес в «Городе без имени» В. Ф. Одоевского, будущее у Дж. Оруэлла в романе «1984» [написан в 1948 г.] и т.д.

Но в «Выбранных местах...» все должно было быть заведомо узнаваемое, т.е. свое, близкое, российское и русское. Чтобы увидеть этот мир, не надо никуда лететь или плыть, достаточно уметь пристально посмотреть вокруг себя, так как это умеет (и учит) автор. И обращается автор к своим современникам, часто названным по имени или легко узнаваемым (ср.: Егоров, 2007, с. 185–186).

Укорененность в настоящем — чуть ли не лозунг Гоголя периода «Выбранных мест...»; ради этого он даже готов поступиться даром ясновида, визионера, угадчика — в пользу вседневной и прозаической работы наблюдателя. «Велика важность угадать! Стоит только попристальнее взглянуться в настоящее, будущее вдруг выступит само собою. Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего: он или соврет, или скажет загадку» (XIII, 79). Это, между прочим, чуть ли не специально сказано об авторах утопий с их фантастическими, подчас таинственными видениями, целящими «мимо настоящего». «Оттого и беда вся, — продолжает Гоголь, — что мы не глядим в настоящее, а помышляем о будущем <...> Все позабыли, что пути и дороги к этому светлому *будущему* сокрыты именно в этом темном и запутанном *настоящем*, которого никто не хочет узнавать, считает его низким и недостойным своего внимания!» (XIII, 79; курсив в оригинале). По причине неисполнения этого требования Гоголь, как мы уже знаем, обрек на сожжение в 1845 году первую

---

<sup>1</sup> Тем самым я уточняю и соответствующее место в моей статье «Гоголь — критик и пулицист» (*Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1986. Т. 6. С. 468), где говорилось об утопии в «Выбранных местах...».

редакцию второго тома «Мертвых душ»: «...Нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости...» (VIII, 298). Скрыт в этом упреке и элемент самокритики, адресованной прежним своим произведениям, прежней авторской позиции: «Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходил тогда в уныние от многого в России, и мне за многое становилось страшно. С тех же пор, когда я стал побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом. Передо мной стали обнаруживаться исходы, средства и пути» (XIII, 80).

Прежде всего: в чем же «исходы»? В исконной социальной структуре России, представляющей совершенный, идеальный план государственного строения и жизнестроения. «Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей». Метко замечено исследователем: «Основная категория у Гоголя есть *служба* — даже не служение...» (Флоровский, с. 266; курсив в оригинале). Служба в тех учреждениях, которые уже существуют. А в чем «средства и пути»? В том, чтобы «ввести всякую должность в ее законные границы и всякого чиновника губернии в полное познание его должности. В последнее время все почти губернские должности нечувствительным образом выступили из пределов и границ, указанных законом. Одни слишком стали обрезаны и стеснены, другие раздвинулись в действиях в ущерб прочим...» Нужно каждую из них преобразовать в соответствии «с первообразом ее, который уже почти вышел у всех из головы» (VIII, 354, 353, 354). Гоголь говорит о «губернских должностях», поскольку предмет этого «письма» — «Занимающему важное место» — устройство дел в губернии; но по существу подразумеваются *все* должности, вся общественно-государственная система, поверяемая божественным планом. В России «все места святы», «всякое звание и место требуют богатства» (там же, 292, 291).

Значит, этот план отмечен национальной, русской печатью, что особенно видно из тех поправок, которые Гоголь впоследствии внес в упомянутое «письмо». О дворянстве в первоначальной редакции было сказано: «Сословие это в своем ядре прекрасно, несмотря на шелуху, его облекающую». Стало: «Сословие это *в своем истинно русском ядре* прекрасно, несмотря на временно нарощую *чужеземную* шелуху». Было: «Государь любит это сословие больше всех других, но любит в его истинном виде». Стало: «Государь любит это сословие больше всех других, но любит в его *истинно русском значении*, в том прекрасном виде, *в каком оно должно быть по духу самой земли нашей*» (XIII, 105).

Словом, «должности» — это идеальные в своей основе предназначения, или поприща, как в административном, так и семейно-личном аспекте; поэтому, как мы уже говорили, «женщина в свете» (название одного из «писем») — тоже должность, не менее важная, чем «прокурор» или «губернатор». И такая же должность — «жена» в семье, предписание для которой содержится в специальном письме: «Чем может

быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России».

В этом письме, между прочим, Гоголь дает совет, каким образом вести в семье денежные дела: «Разделите ваши деньги на семь почти равных куч. В первой куче будут деньги на квартиру, с отопкою, водой, дровами и всем, что ни относится до стен дома и чистоты двора. Во второй куче — деньги на стол и на все съестное с жалованьем повару и продовольствием всего, что ни живет в вашем доме. В третьей куче — экипаж: карета, кучер, лошади, сено, овес, словом — все, что относится к этой части. В четвертой куче — деньги на гардероб, т.е. все, что нужно для вас обоих, чтобы показаться в свет или сидеть дома. В пятой куче будут ваши карманные деньги. В шестой куче — деньги на чрезвычайные издержки, какие могут встретиться: перемена мебели, покупка нового экипажа <...> Седьмая куча — Богу, т.е. деньги на церковь и на бедных. Сделайте так, чтобы эти семь куч пребывали у вас несмешанными, как бы семь отдельных министерств. Ведите расход каждой особо, и ни под каким предлогом не занимайте из одной кучи в другую» (VIII, 338—339).

Пассаж этот был отнесен некоторыми современниками к числу курьезов; так, Белинский увидел в письме «Чем может быть жена для мужа...» «истинный перл по советодательной части» (Белинский, т. 10, с. 68). Между тем гоголевские наставления и выкладки были теснейшим образом связаны с установкой на практицизм, реалистичность и, так сказать, на преодоление антиутопизма. Что может быть проще, чем разделить деньги на «семь кучек», а ведь от этого, по Гоголю, зависит оптимальное ведение хозяйства, причем не только семейного (образный план рассуждений — сравнение с «семью отдельными *министерствами*» — весьма симптоматичен). Зависит в широком смысле самодисциплины, самоорганизации. «Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось» (VIII, 341), — сказано в заключение того же письма. Строгое соблюдение статей семейного бюджета — одна из первичных форм уплотнения и «зашнуровки». А значит, и возвращения к предназначенному поприщу или должности.

(Другое дело: кто бы смог выдержать характер и не нарушить запрета, т.е. не занять в случае необходимости денег из другой «кучи»? Характерна реакция на это место москвича Д. Н. Свербеева: «...Ну, как заставить и меня делить на семь кучек мои скромные доходы, да еще запретить, не взирая ни на какую крайнюю нужду, занимать из одной кучи для другой <...> Виноват, я тоже человек; может быть, и рассержусь на такие печатные предписания». — Шенрок, т. 4, с. 520. Но сам Гоголь, наверно, эти «предписания» выдержал бы, — только не пришлось ему быть «мужем для жены» и, соответственно, причастным к семейным расходам...)

И конечно, должность — это и сословие в целом, что видно из приведенных выше суждений о дворянстве. Таким коллективным должно-

стям Гоголь посвящает примыкающую к «Выбранным местам...» специальную статью «О сословиях в государстве». Здесь вновь самым энергичным образом подчеркнута предназначение русского дворянства: оно «должно быть сосудом и хранит<елем> высокого нравственного чувства всей нации, рыцарями чести и добра...». Затем следует самый «многочис<ленный> класс — крестьяне»; затем «сословие граждан», еще не получившее «определенное выражение», это, возможно, горожане, разночинцы, — Гоголь не закончил статью и не дал более четкого обозначения, равно как не успел описать и другие «должности» — военных, купцов и т.д.

Основа русского государства, его стеновой хребет — отношения помещиков и крестьян, «истинно русские отношения», — не забывает добавить Гоголь. А это значит, что он не воспринимает крепостничество как анахронизм, что для него не возникает даже намек на необходимость отмены крепостного права — проблема, над которой задумывались уже и некоторые высшие российские чиновники. Больше того, Гоголь готов в этом отношении противопоставить Россию Западу, «потому что теперь не на шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которые стихии исчезли повсюду, кроме России, и начинают гласно говорить о преимуществах нашего крестьянского быта, испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних для их улучшения» (VIII, 362).

Среди «задумавшихся» европейских писателей Гоголь имел в виду маркиза А. де Кюстина, автора сенсационной книги «La Russie en 1839» («Россия в 1839»), vol. 1–4, Paris, 1843. Кюстин, правда, о преимуществах российского сельского «быта» не говорил, но на некоторые моральные достоинства крестьян действительно обратил внимание, чем не преминул воспользоваться Гоголь в «Выбранных местах...» (в статье «В чем же наконец существо русской поэзии...»): «Как пораженный, останавливался он /маркиз Кюстин/ перед нашими маститыми, беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому» (VIII, 405<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> Соответствующее место из книги маркиза де Кюстина в пересказе В. Нечаева звучит так: «Среди мужчин, впрочем, нередко попадались головы красивой формы и безукоризненно правильные черты лица. Особенною красотою, в своем роде, отличались старики: Кюстин любовался их румяными лицами, серебристыми волосами, обрамлявшими голое темя, и белыми, шелковыми бородами, ниспадавшими на грудь, и признавал, что даже Рубенс, Рибейра и Тициан не создавали более прекрасных голов» (Записки о России французского путешественника маркиза де Кюстина, изложенные и прокомментированные В. Нечаевым. М.: СП Интерпринт, 1990. С. 80).

С другой стороны, гоголевская картина сельских отношений восходит и к представлениям Карамзина, которого автор «Выбранных мест...» особенно ценил как выразителя независимого образа мысли. В «Историческом похвальном слове Екатерине» Карамзин высказывал опасения за судьбу крестьян в случае получения ими свободы. Хороший хозяин заботится о своих подопечных, в то время как упразднение крепостного права поставит их в зависимость от менее образованных и совсем не гуманных чиновников. И по мнению Гоголя, власть над крестьянами дана помещику «в предположении, что такой человек, кто лучше других понял высокие чувства и назначение, может лучше править, чем какой-нибудь простой чиновник, выбираемый в заседатели или капитан-исправники» (VIII, 492).

Но полностью точка зрения Гоголя с карамзинской не совпадает: Карамзин в принципе не был против освобождения крестьян, он лишь считал такое изменение преждевременным. Крестьянин в России не приспособлен к жизни в качестве свободного гражданина, поэтому надо подготовить его к самостоятельной хозяйственной деятельности. Гоголь тоже за гуманизацию, за совершенствование и облагораживание человеческих отношений — но в рамках существующих помещичьих хозяйств, когда владетель крепостных душ будет заботиться о них, «как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих». Метафоры родства — существенный элемент гоголевской картины жизнестроения: отцами оказываются «занимающее важное место» чиновники («Будьте же с ними, как отец с детьми...» — 359), отцом всех своих подданных является император, отцами «своих детей», т.е. крестьян, выступают помещики. «Сим только одним могут возвесть они [помещики-отцы] это сословие в то состояние, в каком следует ему пребыть, которое, как нарочно, не носит у нас названия ни вольных, ни рабов, но называется хрестьянами от имени самого Христа» (VIII, 362).

Гоголь отчетливо сознает, что всего этого нет, — но *должно* быть; отсюда интонация долженствования и побуждения, пронизывающая всю «Переписку» и отраженная уже в самих названиях: «*Нужно* любить Россию», «*Нужно* проездиться по России», «*Напутствие*», «*Советы*» и т.д. Но все это не только *должно*, но и *может* быть, потому что предопределено национальной моделью общества, а та, в свою очередь, божественным впечатлением. Гоголевские построения не свободны от налета идеализации, что вовсе не противоречит тому, что это в строгом (жанровом) смысле — не утопия. Напротив, в утопиях идеализация не столь явна или сведена на нет уже тем, что это заведомо *другой* мир, не претендующий на подмену или смешение. Действительность «Выбранных мест...» — образуется из *этой* действительности, подобно тому как будущее (согласно исходной авторской установке) прорастает из *настоящего*.

Но при всей склонности к идеализации Гоголь порою поразительно трезв в оценке бюрократических возможностей системы. Он, например, совсем не верит в пользу умножения контролирующих инстанций: «Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров наместо одного. Да и вообще система ограничения — самая мелочная система» (VIII, 357). Правда, тут же, в духе славянофилов или, скажем, Шевырева, писавших о естественном, ненасильственном образовании и развитии русского государства<sup>1</sup>, Гоголь относит этот порок к другим странам, «которые составились из народа всякого сброда, не имеющего национальной целизны и духа народного...», — но ведь конкретно речь идет о стране, якобы имеющей все эти достоинства, т.е. о России, и адресовано не кому другому, как лицу, «занимающему важное место» в этой стране (возможно, А. П. Толстому).

Вместо системы дублирования чиновничьих должностей Гоголь продумывает меры по разделению функций и независимости друг от друга различных ведомств. Так, прокурор «есть отдельное лицо, от всех независимое, долженствующее держать себя от всех в стороне, даже и от самого губернатора». Или, как гласит помета в одной из записных книжек Гоголя, прокурор «не должен даже водиться с губернатором и подчиняться какому-нибудь его влиянию» (VII, 353). Ведь и «за самим губернатором могут завестись грехи», и тут вмешивается этот самый прокурор, который подотчетен лишь министру юстиции, т.е. центральной власти. С другой стороны, «весь снаряд юстиции, как-то: все суды уездные, так и высшая их инстанция — гражданская их палата, находясь в полном заведывании своего министерства, кажутся в независимости от губернатора», но последний может вмешаться, если заподозрит «злоупотребленье» (VIII, 356, 355). Словом, хотя и в зачаточном виде и непоследовательно, Гоголь нащупывает то, что называют равновесием и разделением властей. Так тесно переплелись в его образе мысли элементы идеализации с трезвостью и реализмом!

Из «должностей» — особое место в гоголевской системе отводится духовенству и императору.

Русская православная церковь не только восходит к божественному предначертанию, но и осталась ему верна, в отличие от других христианских конфессий. «Эта церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первона-

---

<sup>1</sup> Ср. дневниковую запись С. П. Шевырева (1831 г.): «Россия основана не завоеванием, а добровольным уступлением власти варягам. В этом, мне кажется, должен быть главный источник различий» (опубл. И. М. Тойбиным — см. кн.: Проблемы историзма в художественной литературе. Курск, 1975. С. 37).



чальной чистоте своей, эта церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа...» Отсюда ее особая конструктивная роль по отношению к другим составляющим российского общества — она призвана их восстановить, т.е. «заставить у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы» (VIII, 246). А это будет восстановлением связанного с Россией всего божественного замысла, поскольку в ее социальной структуре ничего не нужно менять («...не изменив ничего в государстве...»).

Исключительна и роль российского императора, которую Гоголь определяет с помощью пространного рассуждения, якобы слышанного им от Пушкина. «Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона далеко не уйдешь <...> Государство без полномочного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» (VIII, 253)<sup>1</sup>. В противопоставлении права формального, ложного, западного — праву внутреннему, истинному, исконно-русскому Гоголь близок к славянофилам, в частности И. В. Киреевскому. Но есть в этом противопоставлении и излюбленная гоголевская нота, связываемая им на этот раз с верховной ролью монарха. «Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди их одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт» (там же). Словом, монарх — «всего оживитель, верховодец верховного согласия», носитель идеи гармонии и цельности.

Однако обращает на себя внимание и другая особенность гоголевских размышлений. «*Оставим личность императора Николая* и разберем, что такое монарх вообще...» — этот риторический оборот означает, что Гоголь восходит к категории «монарха» как божественному предопределению, как «должности»; собственно, так же он поступает и в отношении «нашей церкви». Но важны и некоторые оттенки: церковь мыслится Гоголем вполне сохранившей свое предопределение, как некая объективная данность; русский император — мыслится в понятиях обобщенных («монарх вообще»). Этот оттенок долженствования усилен в примыкающей к «Выбранным местам...» статье «О сословиях в государ-

---

<sup>1</sup> С этими словами перекидается высказывание Пушкина о Соединенных Штатах в статье «Джон Теннер»: «Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству» (Пушкин. Т. 6. С. 449). Эти слова могли быть знакомы Гоголю (статья «Джон Теннер» появилась в «Современнике» // 1836. Т. 3).

стве»: монарх — «лицо, которое уже *должно* жить другою жизнью, нежели обыкновенный червь. Он *должен* отречься от себя и от своей собственности», как монах; его пищей *должно быть* одно благо его — счастье всех до единого в государстве; его лицо не иначе, как священ<но>» (там же, 491). Гоголь далек от того, чтобы в чем-то упрекать или критиковать власть предрежашего, но все же выдвигает понятие монарха как некую идеальную норму, которая впереди, к которой *должно* стремиться.

Все беды России от того, что разные звания, поприща, должности вышли из своих пределов, изменили своему предназначению, а значит, уклонились от божественного замысла, «от духа земли своей» (там же, 361). Гоголя с молодых лет угнетало ощущение дисгармонии, разлада, сумбура, вылившееся в проблему «целого и арабесок» (см.: Труды и дни, с. 328 и далее); теперь это ощущение не только обострилось, но и воспринималось в категориях общественного, сословного и национального разлада и сумбура: «Все перессорилось: *дворяне* у нас между собой, как кошки с собаками; *купцы* между собой, как кошки с собаками; *мещане* между собой, как кошки с собаками; *крестьяне*, если только не устремлены побуждающей силой на дружную работу, между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать» (VIII, 304–305).

Положение усугубилось тем, что трещины прошли сквозь слой образованных, мыслящих людей («споры» славянофилов и западников служили тут Гоголю наглядным примером): «...Никогда еще различие образований и воспитания не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений» (там же, 303). Создается впечатление что страна впала в состояние тяжелой болезни: «Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни» (там же, 301). С этим чувством автор «Выбранных мест...» знаком лично, на горьком опыте общения с окружающими: такое переживание «можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, что его погребают живого, и не может даже пошевелинуть пальцем и подать знака, что он еще жив» (там же, 334). В более поздние времена все это назовут отчуждением и состоянием некоммуникабельности...

Такое состояние — не региональное, не одной страны или народа, но всей новой эпохи, «нашего девятнадцатого века» («В Одиссее услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца...» — там же, 243–244). О кризисности этой эпохи Гоголь говорил еще в середине 1830-х годов в связи с картиной К. Брюллова «Послед-

ний день Помпеи»: «Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы...» (там же, 109; оригинальное преломление этой «мысли» — в художественных принципах «Ревизора», — см.: Манн, 1966, с. 169 и далее). В картине мира, отраженной в «Выбранных местах...», центробежные силы приумножились; человечество вступило в «тяжелую годину всемирного землетрясения, когда все помутилось от страха за будущее» (VIII, 278). «Всемирного» — значит и русского тоже. Добавим, что и в упоминавшемся выше гоголевском «исполинском образе скуки» видится тот же всеобщий, всемирный смысл: «Боже! Пусто и страшно становится в твоём мире!» (там же, 416). Во всем Божьем мире — значит и в русском мире тоже. А ведь эти пронзительные гоголевские слова, как было уже замечено, предвосхищают и демонические образы Достоевского, и мироощущение современного экзистенциализма (Сечкарев, с. 179).

Правда, в Западной Европе положение еще запутаннее, перспективы еще страшнее. В виду назревающих революционных событий, свидетелем которых довелось быть Гоголю, он адресует «графине ...ой» (очевидно, Л. К. Виельгорской) предостережение: «Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся <...>, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство...» (VIII, 343–344). А вот России — «поможет», должна помочь, и «средство» к этому известно: «На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на кормщика небесного» (там же, 344). Это и означает восстановить высшее предназначение и каждого поприща, сословия, звания, и российской государственной структуры в целом.

## «ГОМЕРОВСКИЙ ВОПРОС»

Речь идет не о «гомеровском вопросе», как он обычно понимается, хотя в «Выбранных местах...» мельком затронута и эта, традиционная тема: в статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским» Гоголь с иронией упомянул о «немецких умниках» (подразумевается прежде всего Ф. А. Вольф), выдумавших, «будто Гомер — миф, а все творения его — народные песни и рапсодии!» (VIII, 241). Но сейчас речь пойдет о другом — о стихотворении Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один...», толкование которого у Гоголя связано с его концепцией «должностей» и званий.

Появились эти стихи еще в 1841 году в посмертном издании пушкинских Сочинений (СПб., т. 9, с. 159), но смысл их, по мнению Гоголя, остался не разгаданным, в том числе и для самого публикатора — Жуковского. В письме «О лиризме наших поэтов» (адресовано тому же Жуковскому) Гоголь решил приоткрыть «тайну»: мол, это стихотворение — не что иное, как «ода императору Николаю». Собственно об этом он уже говорил в «Учебной книге словесности для русского юношества» (датируется 1844–1845 гг.; опубликована значительно позднее — в 1896 г.), где среди примеров оды значится: «Императ<ору> Никола<ю>, Пушки<на>» (VIII, 484). В «Выбранных местах...», в упомянутом письме, Гоголь аргументирует свой вывод, рассказывая историю «происхождения» оды.

«Был вечер в Аничковом дворце <...> Все в залах уже собралось; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул Илиаду и увлекся нечувствительно ее чтением в то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатление, и плодом его была следующая величественная ода...» (VIII, 253–254; далее следует пушкинский текст).

Утверждение Гоголя вызвало бурную реакцию Шевырева: «Как ты мог сделать ошибку, нашед в послании Пушкина Гнедичу совершенно иной смысл, смысл неприличный даже? — пишет он 30 января 1847 года из Москвы. — Не знаю, как Плетнев не поправил тебя. Послание адресовано к Гнедичу: как же бы Пушкин мог сказать кому другому «ты проклял нас»?» (Переписка, т. 2, с. 345). Мнение о Гнедиче как адресате послания фигурирует здесь как общеизвестное, — это подтверждается тем, что и Белинский упоминал и цитировал стихотворение как «свидетельствующее о его [Пушкина] уважении к труду и имени переводчика “Илиады”» (Белинский, т. 7, с. 255). Затем это мнение было решительно поддержано литературоведами (В. Ф. Саводник, Н. О. Лернер, Н. Ф. Бельчиков и др.). «Не может быть никаких сомнений в том, что стихотворение связано с Гнедичем» (Есипов, с. 265).

Связь с Гнедичем — и это тоже уже отмечено исследователями — подтверждается преемственностью стихотворения по отношению к другому пушкинскому тексту — опубликованному в «Литературной газете» (1830, № 2, 6 января) библиографическому извещению об издании «Илиады». Уже здесь намечены важнейшие тезисы будущего стихотворения: во-первых, момент долгого обостренного ожидания («Наконец, вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожидаемый перевод...»); во-вторых, контраст, с одной стороны, благоговейного служения искусству и вдохновенного

труда, а с другой — слепого следования «моде», изготовления «блестящих безделок». Все это превращает поступок переводчика в «высокий подвиг», художественный и общественный (Пушкин, т. 7, с. 97–98).

Собственно то главное, что добавлено в стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один...» — это терпимость героя (поэта) к своим современникам, прятие им жизни во всех проявлениях, снисходительность:

О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты  
Скрываться в тень долины малой,  
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты  
Жужжанию пчел над розой алой.

(Там же, т. 3, с. 238.)

Но, помимо этого добавления, бросается в глаза перестройка стилистической структуры, а именно введение библейского, ветхозаветного фона: «И светел ты сошел с таинственных вершин / И вынес нам свои скрижали». «Скрижаль» — в словоупотреблении Пушкина — это иногда просто «доска, плита с письменами» (В. Даль) — иначе говоря, предмет, на котором пишут, как, например, в черновой редакции VIII главы «Евгения Онегина»: «И Дмитрев не был наш хулитель; / И быта русского хранитель, / *Скрижаль* оставя, нам внимал...» (Пушкин, т. 5, с. 549). Но в данном случае это еще и отсылка к пророку Моисею: «...И сошел Моисей с горы; в руке его *были* две скрижали откровения...» «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою...» (Исх. 32; 15, 19; курсив в оригинале). Эта отсылка, этот библейский фон сообщают стихотворению «высокий стилевой регистр, исключаяющий слишком конкретное толкование реалий» (Вацуро, с. 24, 273)

И все же позволительно задать вопрос: кто является героем стихотворения? Дело в том, что обозначение «поэт» («прямой поэт») фигурирует только в предпоследней, пятой строфе, которая вместе с последней строфой была обнародована много позже, в 1855 году:

Таков прямой поэт. Он сетует душой  
На пышных играх Мельпомены —  
И улыбается забаве площадной,  
И вольности лубочной сцены.  
То Рим его зовет, то гордый Илион,  
То скалы старца Оссиана,  
И с детской легкостью меж тем летает он  
Во след Бовы иль Еруслана.

Остается неясным, почему эти строфы были зачеркнуты Пушкиным (по мнению Анненкова, зачеркнуты «как портящие стихотворение», хотя никак не объяснено, в чем состоит эта «порча». — Анненков, 1855, с. 468). Может быть, дело именно в излишней конкретизации образа, доходив-

шей даже до включения некоторых реалий из творческой биографии Гнедича, что противоречило заданному «иносказательному плану» (Вацуро) стихотворения. Однако сама установка на героя стихотворения именно как на *поэта* была уже определена ранее и остается в силе, — присмотримся внимательнее к приведенной выше четвертой строфе.

Здесь происходит любопытное явление — если можно так сказать, минимизация прегрешений толпы, поскольку ее изображение привязано к главному персонажу, поэту, а не царю и тем более божеству, дано в его аспекте. Поэтому среди откликов современников на гоголевскую трактовку попадаетея и такой, принадлежащий, по словам Д. Н. Свербеева, одному «умному, скромному и религиозному читателю» — тот «был удивлен непонятым применением стихов Пушкина к идеалу царя, изображенному Гоголем» (Шенрок, т. 4, с. 522). В самом деле: пребывание людей в тени «долины малой», внимание к «жужжанью пчел» — это не «безумство суетного пира» и пляски вокруг золотого тельца; проклятия такие поступки действительно не заслуживают. И в реакции лирического героя, помимо снисхождения, есть еще другая нота: живой интерес к самым разным сторонам бытия, как высоким, так и прозаическим (именно *прозаическим*, даже категория «низким» выглядела бы здесь чрезмерной). А это — реакция истинно художническая; поэтому начало следующей, пятой, вычеркнутой строфы: «Таков прямой поэт» — выглядит логичным продолжением сказанного и переходом к характеристике еще более широкого, разноликого творческого диапазона поэта.

Теперь вернемся к гоголевской интерпретации стихотворения. То обстоятельство, что Гоголь не знал двух последних строф и полагал, что цитирует «оду» полностью («всю»), способствовало «переадресовке» им произведения — от Гнедича к императору Николаю; в этом свете детали четвертой строфы — «Ты любишь с высоты скрываться в тень долины малой...» и т.д. — воспринимались им как знак человечности и открытости монарха. Это могло быть вполне искренним убеждением; Гоголь мог действительно полагать, что нашел верный ключ толкования (тем более что стихотворение было напечатано под названием, отсутствовавшим в рукописи: «К Н\*\*\*»). Современная исследовательница говорит по этому поводу, что Гоголь «творит миф о Пушкине <...> И сам верит в созданный им миф...» (Белоногова, с. 89). Я бы переформулировал эту мысль: Гоголь *интерпретирует* факты и предположения и сам безусловно *верит* в эту интерпретацию.

Вместе с изменением адресата, т.е. героя, трансформировалась вся концепция произведения. Ибо, конечно, «скрижали» в руках поэта и императора — совсем разные «предметы»: Гнедич «вынес нам» свой высокий вдохновенный труд, Николай I — нечто более существенное.

Конкретно предметом внимания Николая, говорит Гоголь, послужила «Илиада», т.е. перевод Гнедича, вышедший в 1829 году. Правда,

согласно тому же Гоголю, всеобъемлющее произведение Гомера — «Одиссея», «Илиада пред нею эпизод», но говорить о чтении императором «Одиссеи» было бы нереально, ее перевод еще долго будет у Жуковского в работе (опубл. в 1849 г.). Однако в пушкинском стихотворении конкретное произведение не названо, и отсылка к Гомеру могла, с точки зрения Гоголя, подразумевать воображаемый диалог с ним вообще («С Гомером долго ты беседовал...») и извлечение императором из этого диалога общезначимого «гомеровского» урока.

Что это был за урок — читатель узнавал тут же, из помещенной в тех же «Выбранных местах...» статьи «Об Одиссее, переводимой Жуковским». Это напоминание о верности своему «званию» или «попришу» (сквозная мысль «Переписки!»), т.е. о том, «что человеку везде, на всяком поприше предстоит много бед, что нужно с ними бороться...» (VIII, 239). И еще это тот завет патриархальности, мудрого устройства основ национальной жизни, которые утрачены «страждущими и болеющими» европейцами, но сохранены в зародыше русскими. И потому через посредство древнегреческого поэта «многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли» (там же, 244). «Разнесется» — с помощью самодержца, при его содействии.

Однако «гомеровский» урок помножается на урок Священного Писания, ведь, по мнению Гоголя, своего героя, т.е. Николая I, поэт уподобляет «древнему боговидцу Моисею». Но уподобляет с существенной поправкой: монарх мог бы, «подобно ему, разбить листы своей скрижали, проклявши ветрено-кружащееся племя», но не сделал этого. «...Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества...» Вымолило «криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить нам — и забвение долга нашего, и самый ропот наш, — все, что не прощает на земле человек...» (там же, 254–255). Словом, монарх как ветхозаветный пророк преобразуется в духе Нового Завета. Но и это еще не последняя веха в цепи его изменений.

В черновой редакции письма «О лиризме наших поэтов» есть обширное рассуждение, не вошедшее в печатный текст, но непосредственно связанное с трактовкой пушкинского стихотворения (на эту связь, кажется, еще не обращалось внимания). Здесь тема любви и всепрощения монарха достигает наивысшей степени. В печатном тексте говорилось, что «все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и званья», император готов обратиться «все что ни есть в нем, как бы в собственное тело...» (там же, 256). В исключенном пассаже эта картина была еще более впечатляющей: советуя монарху — пусть он «возьмет в образец своих действий действия самого Бога», — Гоголь

говорит и о его высшем проявлении такой любви: «...И наконец, видя, что все уже тщетно, и ничто не в силах образумить их, и нет средства укрыть людей от их неотразимой правды, сам [решается] решится самого себя принести в жертву за всех, чтобы ценой такой жертвы [и любви] победить и самую природу свою, показав людям, что такая любовь есть уже выше всего, что ни есть...» (там же, 679, 680).

Это уже подвиг распятия! Это уже сам Спаситель!..

Соответственно с эволюцией образа меняется и символика схождения. У Пушкина это схождение поэта: «И светел ты *сошел* с таинственных вершин...», «Ты любишь с *высоты* Скрываться в тень долины...». У Гоголя вначале, в описании вечера в Аничковом дворце, это схождение императора к своим подданным («Сошел на бал...»); потом, в истолковании пушкинского текста, схождение с Синая пророка Моисея, с скрижалью в руках; потом, в исключенном пассаже, схождение Бога к избранному им народу («Дай сойду сам на землю и рассмотрю, точно ли так велика неправда!»); и наконец, в заключение того же пассажа, сошествие Спасителя ко всему человечеству. И все это повышение символики, ее сакрализация бросают свой ответ на образ монарха. Тут уместно напомнить, что Гоголь, называя пушкинское стихотворение «одой», определял этот жанр в «Учебной книге словесности...» следующим образом: «...Предмет од или сам источник всего — Бог или то, что слишком близко высотой чувств своих к божественному» (VIII, 473).

Гоголь, однако, велел исключить из статьи упомянутый пассаж, где возвышение «должности» монарха граничило с обожествлением. «Нужно выбросить все то место, где говорится о значении власти монарха, в каком оно должно явиться в мире, — пишет он Плетневу 16 октября н. ст. 1846 года. — Это не будет понято и примется в другом смысле <...> Теперь выбросить нужно ее непременно, хотя бы статья была и напечатана...» (XIII, 111). Настойчивость Гоголя вызвана боязнью превратного понимания, которое, во-первых, может проистекать из подозрения в угодничестве автора по отношению к власти. А во-вторых, в том, что утверждаемая Гоголем искомая норма («...в каком оно *должно явиться* в мире...») будет принята за уже существующее, осуществленное. Ведь писатель, в полном соответствии с установкой «Выбранных мест...», лишь перебрасывает мостик от настоящего к будущему, намечает к этому будущему «исходы, средства и пути», но не выдает желаемое за действительное<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ю. Я. Барабаш полагает, что эпизод, о котором повествует гоголевское стихотворение, «отмечен слишком явной печатью придворной мифологии» (Барабаш, 1993, с. 147). Но в таком случае об этом знал бы Жуковский (да и Плетнев), который был гораздо ближе ко двору, чем Гоголь. Достаточно спорно и рассуждение другого исследователя: «Но кто же рассказал Гоголю об этом? Слова Гоголя о тайне позволяют предположить, что это мог быть Пушкин» (Есипов, с. 269).



## О ТАЙНЕ «ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ»

В русле «Выбранных мест...» развивается еще один, несколько таинственный сюжет — история неизвестного гоголевского произведения. Собственно об этом произведении, называемом «Прощальной повестью», читатели узнали лишь в начале 1847 года, после выхода «Выбранных мест...». Именно здесь, в первой главе, озаглавленной: «Завещание», писатель сообщил, что создал «лучшее свое сочинение, под названием *Прощальная повесть*», которую, однако, издавать не будет. Причина одна: «что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни» (VIII, 220, 222).

Критика не обратила особого внимания на упоминание «Прощальной повести»: ей хватало хлопот и с «Выбранными местами...» (об этом разговор впереди). Белинский лишь заметил, говоря о «Завещании», что «тут, между прочим, говорится, как о венце творений Гоголя, о какой-то *прощальной повести*, написанной им в назидание, поучение и услаждение высоких душ...» (Белинский, т. 10, с. 61). Да еще Н. Ф. Павлов в одной из статей, посвященных «Выбранным местам...», обращаясь к их автору, коснулся и «Прощальной повести» в свойственной критике издевательской манере: «...Конечно, вам не следовало бы упоминать, что вы плакали над нею, будучи еще дитятей: назначая ее на великое дело поучения людей взрослых, вы даете им право требовать, чтобы она была задумана и оплакана в менее нежном возрасте» (Шенрок, т. 4, с. 473).

Однако же после смерти Гоголя вспомнили о его заявлении. 26 мая 1852 года Марья Ивановна Гоголь писала М. П. Погодину: «Скажите мне, пожалуйста, существует ли прощальная повесть моего сына, о которой он упоминает в последней своей книге?» (ЛН. Т. 58. С. 765). С аналогичным вопросом обращалась Елизавета Алексеевна Елагина, сводная сестра братьев Киреевских, к своей мачехе Авдотье Петровне Елагиной: «Пересмотрели Вы бумаги Жуковского? Не нашлись ли в них «Мертвые души» или прощальная повесть Гоголя?»<sup>1</sup>

Рукописи второго тома «Мертвых душ», хотя и в виде черновых неполных редакций пяти глав, в бумагах Гоголя нашли; нашли и другие произведения: «Авторскую исповедь», «Размышления о Божественной литургии», «Учебную книгу словесности для русского юношества» и т.д., — а вот «Прощальная повесть» так и не обнаружилась. Поэтому со временем возобладало мнение, что такого произведения просто не существовало. «*Прощальная повесть*, о которой Гоголь говорит в IV пункте Завещания, очевидно, так и не была им написана» (VIII, 787), — за-

---

<sup>1</sup> Чарушикова М. В. Фрагмент романа Н. В. Гоголя «Гетьман» // Государственная библиотека им. В. И. Ленина: Записки отдела рукописей. М., 1976. С. 187.

мечает Л. М. Лотман в комментариях к первому академическому Полному собранию сочинений Гоголя.

Встал вопрос и о том, что побудило Гоголя сделать такое заявление. Наиболее подробно на этот вопрос отвечал Ф. М. Достоевский, увидевший в гоголевских словах о «Прощальной повести» прямую неправду и связавший поступок писателя с психологическим феноменом «подполья». В набросках «Для предисловия» (к роману «Подросток») Достоевский писал: «Подполье, подполье, *поэт подполья* — фельетонисты повторяли это как нечто унижительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда. Это то самое подполье, которое заставило Гоголя в торжественном завещании говорить о последней повести, которая выпелась из души его и которой совсем и не оказалось в действительности. Ведь, может быть, начиная свое завещание, он и не знал, что напишет про последнюю повесть. Что ж это за сила, которая заставляет честного и серьезного человека так врать и паясничать, да еще в своем завещании. (Сила эта русская, в Европе люди более цельные, у нас мечтатели и подлецы.)»

И как вывод: «Причина подполья — уничтожение веры в общие правила. “Нет ничего святого”» (Достоевский, т. 16, с. 330; курсив в оригинале)<sup>1</sup>.

Не трудно догадаться, что современные исследователи Гоголя с таким суровым приговором не согласились. «...Нельзя не заметить, — говорит В. Д. Носов (П. Г. Паламарчук), — что уже одно лишь описание ее [«Прощальной повести»] сделано с такой силой и непосредственностью, что повесть эта явственно встает перед глазами словно живая. Как-то трудно поверить, что, прощаясь с читателями перед уходом в вечность, великий писатель решил солгать, а солгав, сумел сделать это столь искренне».

Какое же это произведение конкретно? «Вряд ли можно при-  
нять <...> предложение отождествить с повестью “Выбранные места из переписки с друзьями”, — это собрание статей и писем Гоголь никогда не называл художественным произведением»<sup>2</sup>. Речь идет о некоем сокровенном, совокупном итоге последних гоголевских планов и раздумий, увенчанных известной предсмертной его фразой: «Лестницу, поскорее давай лестницу!..»<sup>3</sup>. «Если взглянуть на последние слова Гоголя

---

<sup>1</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 16. С. 330. Показателен и тот контекст, в котором упоминается «Прощальная повесть» в «Бесах». Здесь Лебядкин говорит: «Ведь судьба-то моя какова! Даже стихи перестал писать <...> Написал только одно стихотворение, как Гоголь “Последнюю повесть”, помните, где он возвещал России, что она “выпелась” из души его. Так и я, пропел и баста» (Там же. Т. 10. С. 209).

<sup>2</sup> Носов В. Д. «Ключ» к Гоголю. Опыт художественного чтения. London, 1985. С. 66. Вошло в кн.: Паламарчук П. Г. Свиток. М., 2000.

<sup>3</sup> Напомню, что эта фраза зафиксирована лечащим писателя врачом А. Т. Тарасенковым в его воспоминаниях «Последние дни жизни Н. В. Гоголя» (см. кн.: Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 524).

одновременно и как на завершающую фразу его ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ, то это даст возможность связать образ лестницы с образом города в один общий символ пути духовного роста и совершенствования, лежащий в основе всех его поздних произведений»<sup>1</sup>.

В этих интересных рассуждениях замечается примечательная последовательность: оборот «Если взглянуть на последние слова Гоголя...» и т.д. предполагает определенную степень условности утверждения. В то же время оказывается, что это не условность, не допущение, но факт: «В отличие от неоконченных «Мертвых душ», конечные слова ненаписанной ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ *хорошо известны*: это <...> знаменитая фраза его о “лестнице”»<sup>2</sup>. Тем самым ненаписанная «Прощальная повесть» приобретает хотя бы частично — или, может быть, правильнее сказать: в какой-то части — статус существовавшего текста (курсив мой. — Ю. М.).

Таким статусом, — уже не частично, а полностью — обладает «Прощальная повесть» для другого исследователя — Ю. Я. Барабаша, считающего, что речь идет именно о «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Решусь на чистосердечное признание. Лично для меня в этом вопросе не было (нет и сейчас, после Бог знает какого по счету прочтения книги) никакой особой загадки. Я не видел и не вижу, что, кроме “Выбранных мест...”, пусть даже еще только замышлявшихся, мог иметь в виду Гоголь, говоря в “Завещании” о “Прощальной повести”» (Барабаш, 1993, с. 260).

Более сложный ответ на вопрос о «Прощальной повести» предложен Павлом Михедом. По его мнению, «повесть» соотнесена как с «Выбранными местами...», так и с «Авторской исповедью», но соотнесена в разной степени. «Я склонен думать, что, еще работая над “Выбранными местами”, Гоголь замыслил книгу, которая могла бы объяснить происшедшую с ним метаморфозу, в результате которой писатель обратился к прямому Слову и отважился проповедовать». Однако «Выбранные места», продолжает исследователь, «содержали лишь часть авторства или писательства. Другая ее часть, и основная, изложена в “Авторской исповеди”». Так акцент решительно смещается в сторону «Авторской исповеди»: «...Без полного завершения “Мертвых душ”, оставленный набело переписанный текст “Авторской исповеди” и был вариантом “Прощальной повести”, объясняющий Путь писателя. Осталось лишь дать заглавие прощальной повести писательства или авторства Гоголя, что и сделал С. Шевырев...» (Михед, с. 339, 340).

Прежде всего: о чем говорит название предполагаемого гоголевского произведения?

---

<sup>1</sup> Носов В. Д. Указ. соч. С. 89.

<sup>2</sup> Там же. С. 71.

*Повесть*, помимо определенной жанровой дефиниции (в прозе это средний, промежуточный жанр, между романом и рассказом или новеллой), несла на себе печать личного повествования, рассказа о себе: «Послушай: расскажу тебе /Я повесть о самом себе» (А. С. Пушкин, «Цыганы»<sup>1</sup>). Иногда — рассказа весьма обширного, охватывающего всю жизнь или значительный ее этап, как, например, в сочинении А. В. Никитенко «Моя повесть о самом себе и о том, “чему свидетель в жизни был”» (1851, опубл. в 1888–1892 гг.).

В качестве личного повествования повесть нередко приобретала черты исповедальности и становилась синонимом исповеди как жанра (это обстоятельство уже неоднократно подчеркивалось, в частности Павлом Михедом). Так — в известном письме Е. А. Баратынского к В. А. Жуковскому (от конца 1823 г.), где поэт рассказывает о мрачном эпизоде в своей биографии (участии в краже): «Требуя от меня *повести* беспутной моей жизни, я уверен, что вы приготовились слушать ее с тем снисхождением, на которое, может быть, дает мне право самая готовность моя к исповеди, довольно для меня невыгодной» (Баратынский, с. 463). Или в стихотворении Лермонтова (датировано 1837 г.): «Я не хочу, чтоб свет узнал / Мою таинственную *повесть*; / Как я любил, за что страдал, / Тому судья лишь Бог да совесть!..»

Надо сказать, что и Гоголь не раз имел повод исповедоваться в каком-либо странном и «невыгодном» событии своей жизни, как, скажем, во внезапном путешествии за границу в августе—сентябре 1829 года, по возвращении из которого он спешит «повергнуться в объятия» матери, чтобы «излить <...> изрытую и опустошенную бурями душу свою, рассказать всю тяжкую *повесть* свою» (X, 151).

И затем сходная ситуация повторялась в жизни Гоголя неоднократно. В ответ на откровенные письма своего давнего друга А. С. Данилевского и его жены Гоголь пишет (18 марта н. ст. 1847 г.): «Хотелось бы вам заплатить тем же, т.е. *повестью* о себе, но *повесть* эта так чудна, так необыкновенна, что нужно слишком собраться духом и привести себя в очень покойное расположение <...> Но теперь во внутреннем доме моем происходит еще столько мытья, уборки и всякой возни, что хозяину просто невозможно быть толкову в речах...» (XIII, 261). Таким образом значения личного повествования и исповедальности дополняются еще значением нравственного самовоспитания и совершенствования: «Уже самая своя собственная душевная *повесть*, — говорит Гоголь в статье “О Современнике” (1846), — предметом которой будет взято собственное пробуждение от мертвенного застоя, заставляющее с ужасом взглянуть человека на животное-истраченную жизнь свою, может быть высоким предметом для романа» (VIII, 426).

---

<sup>1</sup> Слово «повесть» в цитатах здесь и далее выделено курсивом мною. — Ю. М.

А что означало первое слово, определение, в названии «*Прощальная повесть*»? То, что это произведение последнее, возникшее на грани жизни и смерти и даже тогда, когда человек заглянул за эту грань. Голос уходящего и ушедшего приобретает особую убедительность и непрерываемость. «Мои слова должны иметь силу, ибо я от вас отдален. Они подобны голосу из гроба и должны быть священные» (XII, 128), — писал Гоголь в ноябре 1842 года из Рима неустановленному лицу (возможно, С. Т. Аксакову). Гоголь тогда уже вживался в эту роль, вживался гипотетически, ибо Рим — это все-таки не тот свет; теперь ему довелось «проиграть» ее с большим основанием и, увы, большим приближением к действительности: «...Человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира» (VIII, 221). Это сказано уже непосредственно в связи с «*Прощальной повестью*». Раньше, под знаком смерти, Гоголь обращался к конкретным лицам — такие обращения он будет практиковать и позже, например 14 ноября н. ст. 1846 года он просит сестер «свято исполнить, как бы последнюю волю уже умершего их брата» (XIII, 139). Теперь своей «*Прощальной повестью*» Гоголь говорит *sub specie mortis* со всем читающим миром. А это в свою очередь определяет тональность всей книги, «*Выбранных мест...*», в которой упомянута «*Прощальная повесть*». В своей «*Переписке*», подметил Шевырев, Гоголь «говорит как умирающий, на такой высоте, с которой слова имеют уже другое значение» (М. 1848. № 1. С. 3).

Что еще можно извлечь из авторской характеристики «повести»? Что она «лучшее из всего, что произвело перо мое», значит лучше и «Мертвых душ», над вторым томом которых он в это время работал и которые считал своей главной книгой. Что она возникла не вдруг, но вынашивалась долгие годы, была «источником слез, никому не зримых, еще от времен детства», вобрала в себя весь духовный и душевный опыт автора. Что ее действие, эффект естественно вылились в «поучение», но это никого не должно смущать или оскорблять: «Я писатель, а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям» (VIII, 221).

Гоголь действительно нигде не говорит, что это художественное произведение, но он нигде и не говорит, что это произведение другой, нехудожественной, в категориях нашего времени, публицистической природы. С этой стороны жанр «*Прощальной повести*» никак не определен. Зато определено другое — ее естественное, спонтанное, как сказал бы Аполлон Григорьев, органическое происхождение. «Клянусь, я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал сам Бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкий родственник вам всем» (там же, 221–222). Эти слова, особенно глагол

«выпелась», заставляют вспомнить характеристику привезенной из Италии картины русского живописца во второй редакции «Портрета»: «Видно было, как все, извлеченное из внешнего мира, художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника устремил его одной согласной, торжественной *песнью*» (III, 112). «Прощальная повесть», как ее хочет представить автор, — не только последнее, но и совершенное, может быть, самое совершенное его произведение, неотразимый и неоспоримый шедевр.

И тут видны важные отличия в авторской ориентации применительно к «Выбранным местам...». «Выбранные места...» — тоже книга страданий, кризиса, даже смертельного кризиса, но страданий, идущих на убыль, кризиса преодоленного. Отсюда характеристика «Выбранных мест...» как книги полезной, нужной, дельной, даже, может быть, гоголевской «единственной дельной книги», «первой моей дельной книги». В «Выбранных местах...», говорит писатель, заключилась «часть моей исповеди», но исповеди, которая не столько потрясет, сколько научит, *что* и *как* «должно делать». В составлении книги Гоголь также видит участие высшей силы, Божественного чуда, но чуда восстановления и преображения: «Это просто чудо и милость Божия, и мне будет грех тяжкий, если стану жаловаться на возвращенье трудных, болезненных моих <припадков>» (XIII, 112). Со временем же, после первой читательской реакции на «Выбранные места...», Гоголь будет готов признать и неполноту, предварительность своего опыта, который отзовется более значительными сочинениями, его собственными или других авторов. «Не смотря на то, что сама по себе она [книга] не составляет капитального произведения нашей литературы, она может породить многие капитальные произведения» (XIII, 243).

И еще одно отличие: «Выбранные места...» — книга не прощальная, не последняя, но скорее промежуточная. Это книга мучительного передельывания, перестраивания себя — в этом духе Гоголь интерпретировал «Сампсона» Н. М. Языкова: «Сампсон, рассерженный своими врагами, глумящимися над его бессилем, происшедшем от забвения высшего служения Богу, ради всяких светских мелочей, потрясает наконец храмину, дабы погубить в своих врагах врагов в себе и вместе с ними погубить прежнего самого себя, дабы на место его явился вновь еще сильнейший силач, служащий Богу» (XIII, 90). В то же время книга вызвана к жизни, чтобы объяснить и мотивировать длительное молчание Гоголя, задержку давно ожидаемого и обещанного второго тома «Мертвых душ»; чтобы предложить и опробовать некоторые коренные идеи гоголевской поэмы, изложенные более непосредственно, языком умозаключений и публицистики. По словам Н. С. Тихонравова, писатель приподнимал «для публики завесу с того нового направления, которое должно было выразиться полно и рельефно в новой редакции второго тома

“Мертвых душ”»<sup>1</sup>. Автор «Выбранных мест...» вовсе не ставил точку, не прощался. Напротив, за ними должны были последовать другие его сочинения и прежде всего — две части поэмы. «Вся моя книга, — говорит Гоголь в письме от 22 февраля н. ст. 1847 года к А. О. Смирновой, — должна была быть пробою <...> Не забывайте, что у меня есть постоянный труд: эти самые “Мертвые души”...» (XIII, 223–224).

Совершенно иная гоголевская ориентация — по сравнению с «Прощальной повестью» — заметна и в отношении «Авторской исповеди», не говоря уже о том, что ко времени, когда была объявлена «повесть», такого сочинения еще не существовало (написано в мае—июле 1847 года; напомним еще раз, что заглавие — «Авторская исповедь» — принадлежит редактору С. П. Шевыреву). Несмотря на то что и здесь фигурирует слово «повесть» («...решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства...» — VIII, 438), это тоже не *прощальная* повесть. Отважившись на откровенные и мучительные объяснения по поводу своего «авторства» и своей последней книги («Выбранные места...»), Гоголь держит в уме и перспективу дальнейшей писательской карьеры, — то время, когда «выйдет второй и третий том Мертвых душ» и когда «все будет объяснено ими» (там же, 463).

Словом, «Прощальная повесть», по установке Гоголя, — это не «Выбранные места...», не «Авторская исповедь» и, конечно, не некая совокупность гоголевских текстов и замыслов последнего времени. Очевидно, что подразумевалось *другое* произведение. И не только подразумевалось, но подчеркивалось: не забудем, что о «Прощальной повести» объявлено в рамках «Выбранных мест...» и что «лучшим» произведением она признана автором и по отношению к этой книге. Гоголю важно было, чтобы у читателя создалось твердое впечатление: речь идет об особенном, уникальном и, увы, утаенном от него тексте.

Гоголь датировал «Завещание», содержащее сообщение о «Прощальной повести», 1845 годом, тем самым указав в ее истории верхнюю хронологическую границу. Это была действительно страшная пора — июль и август того же года, когда Гоголь, по его выражению, заглянул в лицо смерти, когда он готов был признать тщету и «бесполезность» всего им прежде напечатанного, когда возникла потребность решительного и последнего объяснения с «соотечественниками» (см. подробнее: Труды и дни, с. 724 и далее). «Я был тяжело болен; смерть уже была близка», — сказано об этом времени в «Предисловии» к «Выбранным местам...». Такое объяснение и вылилось в замысел «Прощальной повести». Замечание автора,

---

<sup>1</sup> Гоголь Н. В. Сочинения. 10-е изд. М., 1889. Т. 3. С. 545–546 (раздел «Примечания редактора и варианты»); см. также: Манн Ю. В поисках живой души. «Мертвые души»: Писатель—критика—читатель. 2-е изд. М., 1987. С. 200 и далее.

что замысел этот он носил «долго в своем сердце», «от времен детства», сказанному не противоречит: «повесть» выростала из глубин души, вбирала в себя пережитое и прочувствованное за *всю* жизнь<sup>1</sup>.

Нет никакой возможности утверждать, что «Прощальная повесть» была написана полностью или хотя бы частично; однако уже то, что она была задумана и пережита Гоголем, давало ему моральное право говорить о ней как о биографическом и литературном факте. Тут гораздо корректнее не слова Достоевского о прямой неправде («начиная завещание, он и не знал, что напишет про последнюю повесть»), а его же замечание о воображении и мечтании («...в Европе люди более цельные, у нас мечтатели...»).

Однако кризис 1845 года был преодолен, «небесная милость Божия, — как сказано в “Предисловии” к “Выбранным местам...”, — отвела от меня руку смерти» (VIII, 215). «Выбранные места...» создаются в другом психическом и эмоциональном настрое, и Гоголь теперь признает неуместной публикацию «Прощальной повести». Но в то же время в виде специального IV параграфа «Завещания» он дает о ней подробное упоминание. Фактор утаенной «Прощальной повести» переходит в другой гоголевский жизненный и творческий контекст, и ему, этому фактору, придется теперь новая ударная роль.

Весьма возможно, что какие-то элементы гоголевского замысла перешли или отразились в «Выбранных местах...», но не *весь* замысел и не его *установка*.

Вернемся еще раз к упоминанию «повести». Оно содержит описание не столько самой повести, сколько того действия, которое она оказывает — должна оказать! — на читателей. И тут Гоголь не скупиться на самые сильные выражения, на высочайшую приподнятость тона. «...Сотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чужа исполнинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся... Может быть, Прощальная повесть моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкой, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны» (VIII, 221).

К этому месту у Гоголя можно найти не одну параллель, например, уже приводившуюся выше характеристику (в письме к А. О. Смирновой от 27 января н. ст. 1846 г.) светских русских дам, «которые еще не

---

<sup>1</sup> Ср.: *Bernstein Lina*. Gogol's Last Book: The Architectonics of «Selected Passages from Correspondence with Friends». Birmingham, 1994. P. 56.



избрали поприще и находятся покамест на дороге и на станции, а не дома. Для них, равно как и для многих других люд<ей>, готовятся “Мертвые души”» (XIII, 35). Однако есть существенное отличие: в цитируемом письме речь идет о произведении, известном читателю (или таком, которое станет известным, т.е. продолжении поэмы), в «Завещании» же — о тексте, который «не может явиться в свет» и для читателя не существует.

«Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту, — продолжает Гоголь свою речь о “Прощальной повести”. — Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог <...> во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою Прощальную повесть» (VIII, 221). «Выслушать» ее невозможно, но затребовано к ней высочайшее внимание, полная открытость; предполагается и соответствующее неотразимое ее воздействие.

Все это обуславливает особую роль «Прощальной повести» в отношении других текстов, созданных или только создающихся.

Гоголю второй половины 1840-х годов был свойствен такой мыслительный ход: мол, нечто сказано им неполно, неточно, даже плохо; но в основе своей все это верно и справедливо; читатель должен сам преодолеть несовершенство формы, приникнуть к животворящей истине. Отсюда постоянные призывы к своим корреспондентам вновь и вновь перечитывать его письма и произведения. Показательно начало статьи «О лиризме наших поэтов», включенной в «Выбранные места...»: «Мне стыдно, когда помыслию, как до сих пор еще я глуп и как не умею заговорить ни о чем, что поумнее <...> Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на противоречие» (VIII, 248–249). Но своей «Прощальной повестью» Гоголь «на противоречие» своих читателей уже не вызовет и не вызывает, потому что не объявлено, что и как он сказал, — объявлено лишь впечатление, повторим, неотразимое впечатление, которое она произведет. «Прощальная повесть» предлагает и определенную модель поведения читателя: внимая автору, он в то же время внимает самому себе, причем не столько достраивая текст, сколько дооформляя и усиливая свое ощущение.

Утаивание текстов — популярный прием гоголевско-пушкинской эпохи, сложившийся в атмосфере романтизма и стернианства. Таково опущение строк и строчек в «Евгении Онегине», заменяемых цифрами. «В этих цифрах даются как бы эквиваленты строк и строк, наполненных любым содержанием; вместо словесных масс — динамический знак — неопределенный, загадочный семантический иероглиф, под

углом зрения которого следующие строфы и строки воспринимаются усложненными, обремененными семантически. Какого бы художественного достоинства ни была выпущенная строфа, с точки зрения семантического осложнения и усиления словесной динамики — она слабее значка и точек...» (Тынянов, с. 60).

Своеобразие гоголевского «приема» в том, что были опущены не строчки и фрагменты, а целое произведение, причем не существенно, написано и закончено ли это произведение или нет (лакуны в пушкинском романе в стихах тоже не всегда были строго эквивалентны реально существовавшему тексту). Важен был сам факт демонстративного опущения, создающего «угол восприятия» другого текста, причем этот угол — еще одна оригинальная черта гоголевского «приема!» — был предуказан, предопределен описанием того действия, которое проистекало из утаенного произведения.

Наконец, важно и то, что представляемый «Прощальной повестью» «динамический знак» обращен был не к одному произведению, — как пушкинские «динамические знаки» обращены к «Евгению Онегину», — но ко *всему* гоголевскому творчеству, включая и «Выбранные места...», и продолжаемые «Мертвые души». Рядом с другими произведениями, уже написанными и будущими, возникало произведение умопостигаемое, совершенное, идеальное. Это тоже была норма «должности» или «поприща», но на этот раз собственно гоголевских, его писательской судьбы, его достижений, его будущего. Если не бояться современных категорий, то можно сказать, что объявленное произведение существовало в виртуальном пространстве, бросая оттуда на другие гоголевские тексты свой отблеск и заставляя воспринимать последние в их высшем значении.

Правда, после «Выбранных мест...» Гоголь уже не упоминал «Прощальную повесть», а в «Авторской исповеди» признал публикацию «Завещания» (где содержался соответствующий пассаж) довольно «неосторожным» шагом (см.: VIII, 465). Однако дезавуировать «Прощальную повесть» как фактор своей литературной судьбы он уже не мог, даже если бы и хотел. «Прощальная повесть» уже существовала как, по пословице, выпущенный на волю воробей, несмотря на то, что этого «воробья» никто не видел и, очевидно, не должен был увидеть.

## «СРЕДИ РАЗЪЕЗДОВ, СРЕДИ ХЛОПОТ И ДЕЛ...»

**Н**о вернемся к хронологической канве биографии Гоголя. Путь его из Франкфурта-на-Майне в Рим, занявший около трех недель, с начала 20-х чисел октября до 11 ноября, пролегал через Страсбург, Ниццу, Геную, Флоренцию...

Гоголь мысленно все время возвращается к тексту «Выбранных мест...», внося в него поправки и уточнения. «Не сердись и не гневайся

на меня <...>, — пишет он Плетневу 2 ноября н. ст. из Нишцы. — Что же делать? Сам видишь, каким образом составлялась эта книга: среди лекций, среди разъездов, среди хлопот и дел...» (XIII, 123). «Разъезды» и «хлопоты» все продолжались, а вместе с ними не унималось и беспокойство по поводу тех или других фраз и оборотов.

Так, в статье «Русской помещик» Гоголь просит Плетнева выбросить выражение «Выбрани немцем, если не хватит другого слова», потому что это могут принять «в смысле моего личного нерасположения к немцам». В рукописи к слову «немец» уже имелось пояснение: «Немцем называет русской народ всякого, кто не умеет говорить по-русски, а не то, чтоб он разумел под этим какую-нибудь германскую нацию» (VIII, 695). Но теперь писателю показалось этого мало и, опуская упоминание «немец», он мотивирует свое решение в духе довольно резкой национальной самокритики: «По мне, между нами есть гораздо более русских такого рода, которых бы следовало назвать немцами и которые повели себя *гораздо хуже* немцев» (XIII, 123). Как видим, дело не только в незнании (или знании) языка.

Особенно показательны советы и замечания, сделанные в связи с предполагаемой постановкой «Развязки Ревизора», — они все сводятся к требованию соблюдать естественность действия и правду характеров. Реплики «должны быть сказаны твердо, с полным убеждением в их истине, потому что это — спор, и спор живой, а не нравоученье». В связи с этим Гоголь рекомендует актерам ориентироваться на какие-либо реальные лица, так, «играющему Петра Петровича» — «придерживаться американца Толстого», а исполнителю роли Николая Николаевича — «придерживаться Ник<олая> Филипповича Пав<лова>» (письмо М. С. Щепкину от 24 октября н. ст. из Страсбурга).

Оба реальных лица заняли свое место в истории восприятия и истолкования гоголевских произведений, в частности «Ревизора». Ф. И. Толстой («Американец») публично говорил, что автор комедии — «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь» (Воспоминания, с. 122). Сложнее была позиция Н. Ф. Павлова, сочувствовавшего Гоголю, но в то же время ревниво относившегося к его успехам, в частности театральным (см. сводку данных: Гоголь, ак., т. 4, с. 849–850). Все это было хорошо известно в литературных кругах, но тем не менее Гоголь упоминает обоих отнюдь не в связи с их отношением, отрицательным или сдержанным, к «Ревизору», но потому, что Толстой принадлежит к «говорящим лучше всех по-русски», а у Павлова «самый ровный и пристойный голос из всех наших литераторов». Тут следует совет и исполнителю роли Семена Семеныча, по авторской ремарке, «человеку <...> немалого света, но в своем роде» — «дать более благородную замашку, чтобы не сказали, что он взят с Николая Миха<й>лова<ича> Заг<оскина>» (XIII, 118). Все это преследует одну цель — избе-

гать карикатуры, «личностей», добиваться полноты и пристойности. Художественной объективностью Гоголь стремится уравновесить усилившийся моральный и проповеднический пафос. Выведение уроков из «Ревизора» — объявленная цель «Развязки...» — должно было производиться теми же средствами, что и построение самого «Ревизора».

Кстати, и для самого «Ревизора» у Гоголя находятся яркие краски в духе намеченной ранее интерпретации комедии. Так, Хлестакова, — объясняет Гоголь Сосницкому в письме из Ниццы 2 ноября н. ст., — непременно нужно сыграть в виде светского человека *comme il faut*, вовсе не с желанием сыграть лгуна и шелкопера, но, напротив, с чистосердечным желанием сыграть роль чином выше своей собственной, но так, чтобы вышло само собою, в итоге всего, и лгунишка, и подляшка, и трусишка, и шелкопер во всех отношениях» (XIII, 127–128).

Но и стремление к вразумлению и наставлению современников не оставляет Гоголя, обдумывающего в этой связи многоступенчатую акцию. Вначале должны появиться «Выбранные места...», которые пробудят желание вновь увидеть «Ревизора» на сцене (XIII, 119); ко дню представления выйдет и «Ревизор» «отдельно с “Развязкой”»; появится и новое издание «Мертвых душ». «Выбранные места...» должны сыграть ударную роль, роль своеобразного эпитафия к другим гоголевским произведениям.

Не ограничиваясь тем общим зарядом наставничества, который держала в себе «Переписка», Гоголь решил снабдить некоторые из даримых им экземпляров еще советами персонального свойства, в его категориях — снабдить индивидуальными «упреками-ободрениями». Так, сестры Гоголя получили совет увеличить «ко всем ласковость и приветливость, гораздо в большей степени, чем прежде», а Лиза, сверх того, еще и предостережение от нескромности, ибо брат заметил у нее «что-то похожее на кокетничество, когда ей случалось говорить с молодыми мужчинами или просто быть при них». Гоголь строго приказывает: «Чтобы это было выброшено из головы. Чтобы на всех молодых людей глядели они [речь идет уже о всех сестрах] так, как сестра глядит на брата; чтобы были с ними искренни, простодушны, говорливы и говорили так просто, как бы со мною...» (там же, 139).

Но особенно оригинальное напутствие адресовалось Погодину (Гоголь сделал надпись на отдельном листке и поручил Шевыреву приклеить его на первую страницу книги). Погодину было вспомнано все: и своевольная публикация гоголевского портрета, и намеки и просьбы Гоголю об участии в «Москвитянине». Можно сказать, перефразируя Хлестакова («...еще ни один человек в мире не едал такого супа»), — еще никто и никогда не получал такой дарственной надписи: «Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, ничего не примечающему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и

того не видящему, Фоме неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей дарит сию книгу в вечное напоминание грехов его человек, так же грешный, как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого» (Барсуков, т. 8, с. 544). Моральной компенсацией Погодину должна была служить последняя фраза: он, Гоголь, оказывается ничуть не лучше, а в чем-то и хуже Погодина...

Получив подобное посвящение, Погодин записал в дневнике: «Он считает своею обязанностию учить всех. Вот научил и меня! Христианство с аплике, а не серебряное, Бог с ним. Рад, что не сержусь» (там же).

Краткое пребывание Гоголя в Ницце прошло под знаком воспоминаний о событиях трехлетней давности: дом возле Мраморного креста (Croix de Marbe), где жила Смирнова-Россет; дом Мазари, где квартировали Соллогубы; и конечно, Paradis, т.е. дом госпожи Пароди, где жили Виельгорские и куда переехал Гоголь. Обо всем этом Гоголь напомнил в письме к Анне Виельгорской.

Для обращения к Анне Михайловне был и деловой повод — нашлось поприще и для нее в связи с задуманной писателем акцией: «...Все выслушайте внимательно и все исполните усердно, что ни скажу, помолвившись прежде покрепче Богу...» Речь идет о раздаче денег бедным из тех средств, которые будут выручены за новое издание «Ревизора» вместе с «Развязкой...». Среди «раздателей» Анна Виельгорской отводится роль организатора: «Старайтесь особенно склонить из женского пола таких, которых вы знаете как сострадательных, рассудительных и умных женщин». Гоголь называет и конкретное имя — Софью Андреевну Дашкову (ок. 1820 — после 1908): «...У ней есть особенная светлость душевная, постоянно разлитая в чертах ее лица...» (XIII, 120–121).

В тот же день, 2 ноября, Гоголь обращается с письмом к Щепкину и просит его связаться с Анной Виельгорской, причем не только по поводу раздачи денег: «Расскажите ей обо всем относительно постановки “Ревизора”». И поясняет: «Она умна, многое поймет и на многое подвигнет других» (там же, 126, 127). И чуть позже, 5 января н. ст., из Неаполя, советуя Плетневу познакомиться с Анной Михайловной: «У ней есть то, что я не знаю ни у одной из женщин: не ум, а разум; но ее не скоро узнаешь; она вся *внутри*» (там же, 171; курсив в оригинале).

По пути в Рим Гоголь провел дня четыре, по 10 ноября, во Флоренции, отправившись далее дилижансом и ялеса, что не выбрал ранее морское сообщение — он бы давно уже был у цели, т.е. в Неаполе.

Краткое пребывание Гоголя в Риме ознаменовалось встречей с графом Д. Н. Блудовым, одним из учредителей «Арзамаса», а также крупным чиновником. Гоголь был знаком с ним еще по Петербургу, когда, будучи министром внутренних дел, тот помогал ему в хлопотах о месте в Киевском университете (см.: Труды и дни, с. 304).

В Риме Гоголь встретил Блудова в посольской церкви во время обедни. «Он немного постарел, но нынешнее выражение лица его мне очень понравилось: в нем что-то приятное и благостное. Он меня принял очень хорошо», — сообщал Гоголь позднее, 24 ноября н. ст. Жуковскому.

Эта встреча оказалась, по-видимому, единственной; на другой день Гоголь зашел к Блудову, но не застал его дома; поэтому, — продолжает Гоголь свое письмо Жуковскому, — он не может «больше рассказать о нем ничего», но все же вынес впечатление, что Блудов «доволен своими делами с папой, о котором отзывается с большим уважением» (XIII, 144).

«Дела с папой» проистекали из того, что незадолго перед тем, 14 марта 1846 года, Блудов был назначен членом комитета для рассмотрения дел и предположений, относящихся к сношениям России с Римским двором по духовной части. А 21 июля он стал его императорского величества уполномоченным для переговоров с Римским двором об устройстве и управлении римско-католической церковью в Империи и Царстве Польском. С этой целью он и прибыл в Рим в середине октября. В результате переговоров 22 июля/3 августа 1847 года будет заключен конкордт с главой католической церкви. Произойдет это уже тогда, когда Гоголь покинет Италию.

На этот раз Гоголь задержался в Риме всего на несколько дней, с 12 по 14 ноября н. ст. — он спешил в Неаполь. И при этом не без удивления заметил перемену своих чувств: город, в который он «приезжал всякий раз как бы на родину свою», теперь проследовал как «дорожную станцию» (XIII, 143).

Изменение гоголевского отношения к Риму в пользу Неаполя связано с тем, что последний рисовался ему теперь как «прекрасное перепутье», т.е. преддверие дороги в Святую землю. Однако на этот путь он вступит еще не скоро: из Неаполя Гоголю вновь пришлось совершить путешествие на Север, в страны Центральной Европы.

## НЕАПОЛЬ: КОНЕЦ 1846 — НАЧАЛО 1847 ГОДА

**Н**о впереди было еще почти полгода жизни под неаполитанским небом. С первых же минут Гоголь ощутил необычайный прилив сил. «...Как только приехал я в Неаполь, все тело мое почувствовало желанную теплоту, утихнули нервы...». «Желанная теплота» проистекала не только от неаполитанского климата, но и от присутствия близкого душе Гоголя человека — графини Софьи Петровны Апраксиной: писатель приютился в ее доме — Palazzo Ferandini. «Душе моей, еще немощной, еще не так, как следует укрепившейся для жизненного дела, нужна близость прекрасных людей затем, чтобы самой от них похорощеть» (из письма Жуковскому, 24 ноября н. ст. — XIII, 144). Гоголь по-

мнил, какое благотворное воздействие оказала на него Софья Петровна еще во время прежних встреч в Риме, осенью и зимою 1845 года.

И в Риме и теперь в Неаполе Апраксина опекала свою большую дочь Наталью Владимировну (1820—1853), которой, по наблюдениям Гоголя, сделалось «гораздо лучше» — неаполитанский «воздух ее целит видимо» (VIII, 147). То же самое Гоголь мог бы сказать и о себе.

Хорошему настроению Гоголя способствовало и то, что в Неаполе основалась русская посольская церковь и настоятелем ее был весьма симпатичный ему человек — Тарасий Федорович Серединский (1822—1897), выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей, магистр богословия.

«Когда я приехал в Неаполь, — вспоминал впоследствии Серединский, — в то время (1846 г.) жила там генеральша А. [подразумевается С. П. Апраксина]. Вскоре после моего первого к ней визита, я был приглашен к ней на обед. Перед обедом, когда слуга доложил, что обед готов, генеральша сказала, скажите господину Гоголю. Потом, когда явился этот господин, она представила его мне. Лицо его было совершенно простое, обыкновенное, не представляющее ничего особенного, une figure commune, как говорят французы. Украшением его служили усики и эспаньолетка. Череп его был несколько остроконечный, конусообразный. На темени был у него вихор. За обедом он говорил очень мало. В разговоре обнаруживалась его наблюдательность и меткая характеристика лиц, однако ж все было так просто, что я был сдержан в разговоре, боясь попасть впросак, признав его знаменитым писателем. Через несколько дней он был у меня. Я бывал у него. Однажды он прислал мне записку об отслужении литургии и молебна <...> В бытность свою в Париже г. Гоголь отозвался обо мне своему свояку протоиерею Вершинскому так: “очень серьезен в служении и совсем другой в общественной жизни”» (Материалы, т. 1, с. 115).

Кстати, гоголевская записка Серединскому «об отслужении литургии и молебна» сохранилась (см.: XIII, 420). Подтверждается и высокая оценка, данная Гоголем Серединскому: несколько позже, 24 сентября н. ст., уже из Остенде, он сообщал М. А. Константиновскому, что «в Неаполе <...> основалась русская церковь и очень хороший священник» (там же, 392). Что касается отзыва, сообщенного настоятелю русской церкви в Париже Вершинскому, то это могло быть около 27 мая 1847 года, когда Гоголь на пути из Неаполя останавливался во французской столице. Возможно, слова Гоголя стали известны Серединскому от Вершинского: оба были однокашники, питомцы Санкт-Петербургской духовной академии и, наверное, переписывались.

Между тем о перемене в состоянии Гоголя узнали и в Риме. «...Он совершенно здоров, и ничего нет об нем странного...» (ЛН. Т. 58. С. 692), — сообщает Ф. В. Чижов Н. М. Языкову 7 января н. ст. 1847 года.

Гоголь уточняет свои ближайшие планы. 24 ноября н. ст. — А. П. Толстому: «...Обстоятельства так устраиваются, что, может быть, поезд мой, точно на несколько времени отдалится» (XIII, 148). Значит, поездка («поезд») в Святую землю будет уже, возможно, не в 1847, а в следующем году. В письме к матери 25 января н. ст. 1847 года он говорит уже совершенно определенно: «...в Иерусалим <...> я отправлюсь в начале будущего 1848 года...» (там же, 195).

Мотивы переноса срока очевидны. «...Несравненно нужно сделать больше того, что сделал я, для того, чтобы ехать с совестью покойной в этот путь. Божья милость дала мне силу уже сделать одно <...> верю, что даст она же мне силу сделать и другое, которое более подвинет вперед, т.е. к готовности в дорогу» (там же, 148). «Одно» — это «Выбранные места...». «Другое» — второй том «Мертвых душ». Гоголь спешит воспользоваться поправлением здоровья, чтобы решительно продвинуть работу над поэмой. Он даже рассчитывает дописать второй том («кончить мое сочинение» — там же, 195), чтобы вернуться в Россию через Иерусалим с уже готовым трудом.

Творческого настроения Гоголя не разрушило даже горестное известие, полученное им в начале нового, 1847 года: 26 декабря в Москве умер Н. М. Языков.

Сообщивший об этом Гоголю Шевырев всячески постарался смягчить удар. Прежде всего, зная о благотворном влиянии на Гоголя Софьи Петровны, он написал ей письмо, — «чтобы она с свойственной ей мягкостью и любовью приготовила» Гоголя «к этой вести и утешила в горе». Самому Гоголю Шевырев не поспешил на подробности, — поскольку «подробности <...> в таком горе, я знаю, бывают усладительны».

Выбор «подробностей» тоже определенный. «Кончина его была самая тихая, без страданий. Он уснул, а не умер». Вид покойного был прекрасен и величествен: «Какой чудный лоб! <...> Какие уста! Ими как будто объяснялся его чудный стих». Сами поминки пройдут как бы в присутствии хозяина и при его главенстве: «Завтра после погребения мы будем обедать в комнатах у покойного, по его желанию, и есть те блюда, которые он сам для нас заказал своему повару» (Переписка, т. 2, с. 336, 337).

Но вопреки опасениям, Гоголь остался спокоен и невозмутим духом. «Самая смерть Язы<кова> не произвела во мне тревожных чувств печали, но что-то неопределенное и как бы светлое. Как будто бы он для меня не умер» (XIII, 207), — пишет он А. П. Толстому 6 февраля н. ст. И чуть раньше, 25 января н. ст. — матери: «Я лишился наилучшего моего друга, с которым я жил душа в душу, Н. М. Языкова, к которому я питал истинную родственную любовь <...> Еще за несколько лет перед сим эта смерть сокрушила бы меня, может быть совершенно. Теперь я принял эту весть покойно и, зная, что этот человек, за небесную душу свою, удостоен небесного блаженства...» (там же, 195).



Тут очень важна оговорка — «за несколько лет перед сим»: это, конечно, семь лет тому назад, когда смерть Иосифа Виельгорского действительно потрясла Гоголя, когда никакая вера в бессмертие души не могла смягчить его горе. Однако было бы неверно полагать, что только теперь изменилось его мироощущение: Гоголю издавно было свойственно двойное отношение к смерти. То он в связи с кончиной П. А. Трушковского, мужа сестры, Марии Васильевны (это было еще в 1836 г.), заявлял, что смерть близкого человека следует считать «за ничто, если хотим быть христианами»; или порицал родителей-Аксаковых за то, что они, мол, слишком тяжело переживают кончину семнадцатилетнего сына... То, напротив, при всей своей вере в загробное воздаяние и несокрушимости христианского мирозерцания, говоря словами Сергея Тимофеевича Аксакова, платил «полную дань своей человеческой природе», т.е. глубоко страдал о гибели близкого родного существа, предаваясь и жалости и скорбному чувству. Но верно то, что теперь Гоголь все решительнее вытеснял — старался вытеснить — это чувство на периферию сознания. Так он поступил весной 1846 года, когда узнал о смерти Анастасии Васильевны Якушкиной, дочери Н. Н. Шереметевой: «...Я утешился мыслью, — писал он убитой горем матери в апреле того же года, — что для христианина нет утраты...» (там же, 53). И вот теперь — смерть Языкова, из которой Гоголь хочет извлечь поучительный итог: если «этот человек, за небесную душу свою, удостоен небесного блаженства», то и он, Гоголь, должен стараться, чтобы «удостоил Бог быть вместе с ним», — и «через это у меня и бодрости больше в жизненном деле, и я гляжу светло вперед. Итак, вот что значит смерть и мысль о смерти...» (там же, 195).

И все же до конца одолеть силу удара не удалось, и смотреть «светло вперед» не получалось. Это стало ясно чуть позже, когда обнаружились сложности в самом «жизненном деле» Гоголя — в судьбе только что созданной и отправленной в печать его книги.

Гоголь предпринял все меры, чтобы «Выбранные места...» прошли через цензурные препоны побыстрее и без потерь. Поручил издание П. А. Плетневу, имевшему большой вес в бюрократических сферах (все-таки ректор Санкт-Петербургского университета и действительный статский советник!), в качестве цензора посоветовал привлечь А. В. Никитенко, поскольку он к Гоголю «благосклоннее других» (писатель помнил о его содействии при прохождении через цензуру «Мертвых душ»), написал письмо к самому Никитенко, убеждая его «в безвинности самой книги».

Незадолго перед тем появилось распоряжение министра народного просвещения о том, что светские сочинения должны предварительно проходить и через духовную цензуру (ВЛ. 2005. № 6. С. 205), — Гоголь и

на этот счет снабдил Плетнева необходимым советом: «Если же дойдет до духовной цензуры, то этого не бойся. Не делай только этого официальным образом, а призови к себе духовного цензора и потолкуй с ним лично; он пропуст<ит> и скорей, может быть, чем ты думаешь» (XIII, 110). Гоголь не знал, что буквально за три дня до того, как писались эти строки, выполнявший роль духовного цензора протоиерей Тимофей Никольский на рукописи двух статей из «Выбранных мест...» — «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» и «О том же» — начертал резолюцию: «Не может быть напечатано, потому что понятия о Церкви Русской и духовенстве конфузны» (ВЛ. 2005. № 6. С. 205).

Плетнев не смирился с этим решением и в день получения запретительной надписи — 1 октября — обратился со специальным письмом к обер-прокурору Св. Синода графу Н. А. Протасову. Действуя подобным образом, Плетнев, конечно, нарушал волю Гоголя, просившего до выхода книги в свет держать все в глубокой тайне, но, с другой стороны, именно такой шаг спас обе статьи от запрещения. Обер-прокурор Протасов лишь распорядился «переделать первое письмо» (с. 207), т.е. внести в него два-три сокращения (об их характере — речь впереди).

Однако до пропуска всей книги было еще далеко, и это промедление чрезвычайно беспокоило Гоголя. 20 октября н. ст. он набрасывает для Плетнева конспект речи, с которой следует обратиться к Никитенко: «Вы [т.е. Никитенко] — человек умный и можете видеть сами, что в книге содержится дело и предпринята она именно затем, чтобы возбудить благоговенье ко всему тому, что поставляется нам всем в закон нашей же церковью и нашим правительством. Вы можете сами смекнуть, что сам государь и двор станет в защиту ее. Перегляните и цензурный устав ваш, и все предписания прибавочные и покажите мне, против какого параграфа есть в книге противуречие» и т.д. (XIII, 112–113). Продумывает Гоголь и меры поощрения для Никитенко: близкую ко двору Л. К. Виельгорскую он просит 25 января н. ст. 1847 года употребить «все старания, чтобы цензор, пропустивший мою книгу, был награжден, чтобы досталась на его долю если не награда, то, по крайней мере, благоволение за доверие к благородству высокой души государя, которое показал он пропуском моей книги» (там же, 191–192).

К этому времени «Выбранные места...» действительно были пропущены — объявление об их выходе в свет помещено в «Московских ведомостях» от 9 января, — но без пяти статей: «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Что такое губернаторша», «Страхи и ужасы России» и «Занимающему важное место».

Как ни значительны эти потери, они составляли примерно лишь шестую часть книги; кроме того, при относительно свободном ее построении такие сокращения могли показаться не столь чувствительны-

ми, как, скажем, аналогичные сокращения в романе или поэме. Но Гоголь воспринял случившееся очень болезненно — как трагедию. Почему?

Прежде всего — в книге существовало внутреннее движение тем, мотивов, не столь заметное со стороны, но очевидное для автора. Всем этим пренебрегли, «последовательность и связь — все пропало» (там же, 216). Но главное даже не в этом, а в *самом факте* сокращения: почему в его текст вмешались столь решительно и бесцеремонно, почему выдрали из него большие куски; ведь в книге не содержалось ничего противозаконного или опасного, и Гоголь не хитрил, говоря, что не вступает в «противоречие» ни с самим «цензурным уставом», ни с предписаниями «прибавочными». «Плетнев приписывает все это его [Никитенко] глупости, — пишет Гоголь Смирновой-Россет. — Но я этому не совсем верю <...> Тут есть что-то покуда для меня непонятное» (там же, 222).

Непонятное, неожиданное, алогичное — вот что прежде всего поразило Гоголя. Цензор Никитенко оказался «в руках каких-то дурных людей, употреблявших все, чтобы произвести бессмыслицу...» (там же, 202). Мало сказать, «дурных» — статус этих сил вскоре был повышен: «Образовалось что<-то> вроде *демонского восстания* <...> Какие-то таинственные партии европейцев и азиатцев вместе совокупились, чтобы смутить и сбить с толку цензуру» (там же, 206). И это пишет Гоголь, который совсем недавно, в тех же «Выбранных местах...», утверждал, что в России проблемы цензуры не существует, что у нас все можно сказать, нужны только чистота помыслов и благородство устремлений!

И то и другое наличествовало, а взаимопонимания — нет; все дело в том, что один и тот же текст автор и власти видели по-разному. Скажем, в статье «Страхи и ужасы России» (одной из тех, что подверглась запрещению) говорилось о предстоящих бедствиях западноевропейских народов — Гоголь здесь замечательно ярко изобразил назревающую революционную бурю 1848 года, первые сполохи которой он наблюдал как очевидец: «Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у тех самых знаменитых государственных людей, которыми мы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые нам видятся теперь в России» (VIII, 343). У Гоголя в этом пассаже заключено противопоставление — России и Запада; с точки же зрения цензора — аналогия. Пусть еще не осуществившаяся, возможная, скрытая, но все равно аналогия двух миров, двух путей развития.

Характерно также следующее место в статье «Несколько слов о нашей церкви...», поправленное духовной цензурой, — речь идет о «за-

падных католиках», оппонентах «нашей церкви»: «Как нам защищать нашу Церковь и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие вопросы: “А сделала ли ваша Церковь вас лучшими *в сравнении с нами*? *Счастливы ли от вас государство ваше*? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг *внутри его*? *Двинулись ли у вас от содействия вашей Церкви искусства и науки, находящиеся повсюду в праздном застое*? *Упредила ли ваша Церковь развитие всех даров и сил, данных от Бога человеку*? *Вознесла ли вас на высоту совершенства вашего и вывела ли вас на ту законную дорогу, которую мы все так жадно ищем?*” Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва ли знаем ее даже и теперь. Владеем сокровищем, которому нет цены, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его» (ВЛ. 2005. № 6. С. 210).

Так вот: все, выделенное нами курсивом, было вычеркнуто (см.: VIII, 245), — спрашивается, почему? Мысль Гоголя отчетлива и совершенно не крамольна: православной церкви не страшны обращенные к ней вопросы, виной тому лишь «наше» незнание, «наше» пренебрежение владеемым сокровищем. Интересно, что констатация незнания и пренебрежения осталась, а сами вопросы были сняты, иначе говоря — утаены от читателя. Ибо, с официальной точки зрения, ставить неудобные вопросы — значит, допускать возможность и мотивированность обвинения.

Писатель полагал, что своей книгой он сослужит великую службу стране, правительству, императору. Замечательны его слова, обращенные к Плетневу, известившему о выходе «Выбранных мест...» и о вынужденных сокращениях: мол, тот воспринимает книгу «как литератор, с литературной стороны»; автор — как факт вмешательства в жизнь. «...Когда узнаешь, что есть такие страдания человека, от которых и бесчувственная душа разорвется, когда узнаешь, что одна капля, одна росинка помощи в силах пролить освежение и воздвигнуть дух падшего, тогда попробуй перенести равнодушно это уничтоженье писем». И далее — чуть ли не вопль отчаяния: «С меня сдирают не только рубашку, но самую кожу...» И вывод: «Какие вдруг два сильные испытания! С одной стороны нынешнее письмо от тебя; с другой стороны письмо от Шевырева с известием о смерти Языкова» (XIII, 204, 205). Значит, кончина Языкова не была для Гоголя столь безболезненной, как казалось раньше; теперь она встала в ряд с переживаниями по поводу «Выбранных мест...».

И в письме к А. О. Смирновой от 30 января н. ст. 1847 года: «...Недуги приступили ко мне вновь. Бессонницы, продолжающиеся уже более месяца, известие о смерти Языкова <...>, наконец известие о беде, постигшей мою книгу, и о *нелепом* ее появлении в свет, — все это изнурило меня» (XIII, 199; курсив в оригинале). Похоже, что тот творческий подъем, прилив сил, которые ощутил Гоголь при переезде в Неаполь, сходили на нет.

Самое страшное для Гоголя — ощущение хаоса или «бестолковщины»: «по делам моим произошла совершенная бестолковщина» (из того же письма к Смирновой); на сцену вылез, говоря словами из «Выбранных мест...», «сам черт путаницы, который как тут во всякое время...» (VIII, 358). С этим врагом Гоголь боролся с молодых лет, пытаясь укротить его и в жизненных перипетиях и в творчестве, — и вот опять та же опасность, та же угроза. «Друг мой, прошу вас, молитесь <...> о том, чтобы послал Бог необходимое спокойствие в мою душу, которое теперь слишком трудно будет восстановить...» (XIII, 198).

Чтобы «восстановить» справедливость, а значит и «спокойствие», Гоголь посылает письмо М. Ю. Виельгорскому с просьбой представить полный, несокращенный и нецензурированный текст «Выбранных мест...» самому императору. «Сердце говорит мне, что он почитит их вниманьем своим и велит напечатать» (там же). Получалось так, что именно от обремененного высшей властью зависела теперь возможность обретения Гоголем ощущения разумности и определенности бытия.

Обращению к Николаю I по поводу «Выбранных мест...» предшествовал другой эпизод. На исходе 1846 года, в начале декабря, Гоголь отправил императору письмо, в котором в связи с предстоящим путешествием к Гробу Господню просил выдать «пашпорт на полтора года, особенный и чрезвычайный», побуждающий «все власти и начальства Востока» оказывать паломнику всемерное покровительство. «Государь! — писал Гоголь, — знаю, что осмеливаться вас беспокоить подобной просьбой может только один именитый, заслуженный гражданин вашего государства, а я — ничто: дворянин, незаметнейший из ряда незаметных, чиновник, начавший было служить вам и оставшийся поныне в 8 классе, писатель, едва означивший свое имя кое-какими незрелыми произведениями. Но не я причиной ничтожности моей: десять лет тяжких недугов оторвали меня от тех трудов, к которым я порывался» (XIII, 423). Упоминание «десяти лет» возвращало память к 1836 году, когда Николай I оказал покровительство гоголевскому «Ревизору». Должен был вспомнить император и о денежном пособии, выданном им Гоголю годом позже, и в посольстве, назначенном ему в 1845 году (см.: Труды и дни, с. 487, 717). И вот теперь писатель питает надежду на новое покровительство: «Тайный, твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед вами, мой царственный благодетель, великодушный спаситель уже было погибавших дней моих!»

Обращение Гоголя к Николаю возымело свое действие: в письме от 9 января 1847 года гр. В. Ф. Адлерберг сообщил ему, что, хотя «таковых чрезвычайных паспортов» никогда не выдавалось, император повелел министру иностранных дел гр. К. В. Нессельроде снабдить Гоголя беспощлиным паспортом на полтора года и, кроме того, предложить русскому посольству в Константинополе и всем русским консулам в Тур-

ции оказывать ему необходимое покровительство (РМ. 1896. № 5. Отд. 1. С. 176; см. также: РС. 1880. Т. 29. С. 196).

Помимо объявленной цели обращения к императору (получение соответствующего паспорта), у предпринятой акции была цель и не объявленная и еще более важная: убедиться, что знаменательная связь между писателем и лицом, облеченным высшей властью, существует!

И реакция Николая I, о которой Гоголю стало известно, очевидно, от М. Ю. Виельгорского (именно он передал его просьбу императору), ободрила писателя: «...Добрый государь принял ее [«просьбу»] милостиво, расспрашивал с трогательным участием обо мне...» (из письма к Плетневу от 6 февраля н. ст. — XIII, 205). «...Он <...> расспрашивал обо мне с трогательным участием у Михаила Юрьевича Вьельгорского. Все это показывает мне, что рука Божья чьими-то чистейшими молитвами хранит меня!» (В. А. Жуковскому, 6 февраля н. ст. — XIII, 208). А если Божья воля так благосклонна, то можно отважиться и на другой шаг — попытаться спасти книгу.

Тем временем от Плетнева пришли неутешительные известия: 21 ноября /3 декабря 1846 года, он сообщил Гоголю, что посылал не пропущенные цензурой письма в Царское Село наследнику. «Его высочество призывал меня к себе и лично объявил, что по его мнению *лучше* не печатать этого» (Переписка, т. 1, с. 265; курсив в оригинале). При этом Плетнев отвел высказанное Гоголем ранее (в письме к нему от 16 октября н. ст. 1846 г.) предложение передать императору всю книгу «в корректурных листах» (XIII, 110): «О представлении книги в корректурных листах самому государю и подумать нельзя. Ты совсем позабыл, сколько у него дел поважнее наших» (Переписка, т. 1, с. 265).

Но Гоголь настаивает: «Государь должен видеть все письма, не пропущенные цензурой. Кроме того, что так следует, чтобы он знал образ мыслей моих и помышлений, — это законный ход дела» (Плетневу, 5 января н. ст. 1847 г. — XIII, 166). «...Никак не вижу причины, почему *лучше* не печатать тех писем, которые, мне кажется, заставят оглянуться на себя построже некоторых должностных людей <...> Еще я не вижу причины также, почему *нельзя и думать о представлении книги на просмотрение государя* (как ты выразился), присовокупляя, сколько у него дел поважнее наших. Дела его все же не о чем другом, как о его подданных; я также его подданный; я также имею право подать просьбу ему самому...» (Плетневу, 15 января н. ст. — там же, 174—175; курсив в оригинале).

И автор «Выбранных мест...» решает обратиться с письмом непосредственно к императору, как месяцем ранее обращался к нему по поводу паспорта. Вручить письмо должна Л. К. Виельгорская, «если другие не решатся». «Выбранные места...», — пишет он Луизе Карловне 16 января н. ст. 1847 года, — сочинены «в духе любви к государю и ко

всему, что ни есть доброго в земле русской. Цензура не пропускает именно тех самых писем, которые я более других почитаю нужными. В этих письмах есть кое-что такое, что должны прочесть и сам государь и все в государстве <...> Сердце мое говорит, что он скорей меня одобрит, чем укорит» (там же, 177–178).

Эту же мысль Гоголь развил в самом письме к императору: «Цензура находит, что статьи эти не вполне соответствуют цели нашего правительства; мне же кажется, что вся книга моя написана в духе самого правительства. Рассудить меня в этом деле может один тот, кто, обнимая не одну какую-нибудь часть правления, но все вместе, имеет чрез то взгляд полнее и многостороннее обыкновенных людей <...>, стало быть рассудить меня может один только государь» (там же, 424–425).

Ответ пришел не от императора и не от посредницы в этом деле Л. К. Виельгорской, а от Плетнева. «О представлении государю переписанной вполне новой книги твоей и думать нельзя, — сообщает он Гоголю 17/29 января 1847 года. — Иначе какими глазами я встречу наследника, когда он сам лично советовал мне не печатать запрещенных цензором мест, а я как будто в насмешку ему полезу далее». И затем следовал самый сильный аргумент: «Да и кто знает, не показывал ли он [наследник] этого государю, который, не желая дать огласки делу, велел, может быть, ему от себя сказать то, что я от него слышал» (Переписка, т. 1, с. 277). Был ли это тактический прием Плетнева или он на самом деле так думал, но очевидно то, что версия о неодобрении ряда писем императором должна была произвести на Гоголя тяжелое впечатление. С этого времени его тон в отношении книги, авторская самооценка заметно меняются. А тут еще ему стал известен другой факт.

Обращаясь в письме к А. М. Виельгорской от 16 марта н. ст. 1847 года с просьбой сообщать ему отклики на «Выбранные места...», Гоголь добавляет: «Не скройте от меня также отзывов того человека, который нам близок обоим. Я не знаю, почему ваш папилька скрывал от меня его мнение о “Мертвых душах”, которое я узнал уже случайно большим крючком, пять лет спустя после появления моей книги» (XIII, 256). Речь, конечно, идет о Николае I (что уже было указано комментаторами — см. там же, с. 500), но весь смысл этого эпизода еще требует объяснения.

Вопрос относительно «Выбранных мест...» стимулирован сведениями, сообщенными еще Плетневым: Гоголь хочет узнать, подтверждается ли реакция императора на его книгу и какова она конкретно. А вот вопрос о «Мертвых душах» имеет более давнюю историю: еще в 1845 году из разговора А. О. Смирновой с императором выяснилось, что тот не читал книгу, и Александра Осиповна посоветовала ему это сделать (см.: Труды и дни, с. 715). Очевидно, Николай I вскоре познакомился с «Мертвыми душами», увидев в них подтверждение того впечатления, которое

возникло у него после премьеры «Женитьбы» — о некоторой вульгарности и грубости гоголевской художественной манеры («...Я не прошая ему выражения и обороты слишком грубые и низкие»). Ставшее известным Гоголю только недавно («пять лет спустя после появления моей книги»), это мнение легло в общее русло неблагоприятных симптомов. Симптомы, характеризующих отношение к его творчеству человека, которого писатель готов был признать носителем высшей справедливости.

С этого момента, как мы сказали, тон гоголевской самооценки заметно меняется. В том же самом письме Л. К. Виельгорской, в котором Гоголь касается отзыва императора о «Мертвых душах», говорится и о «Выбранных местах...»: «Книга моя вышла не столько затем, чтобы распространить какие-либо сведения, сколько затем, чтобы добиться самому многих тех сведений, которые мне необходимы для труда моего, чтобы заставить многих людей умных заговорить о предметах более важных и развернуть их знания, скупно скрывааемые от других» (XIII, 256). Вот оказывается, как обстояло дело! — Книга вовсе не претендовала на вразумление сограждан, не содержала капитально важную для всех благую весть, но играла скорее роль провокативную — раговорить *других* и тем самым послужить вящей пользе ее автора. Акцент переносится на будущей «труд», т.е. на продолжение «Мертвых душ».

Что касается «Выбранных мест...» и исключенных цензурой глав, то Гоголь готов обвинить самого себя — свое неумение выразить все так, как надо. Это ощущение и ранее было ему присуще, сопровождая его писательскую деятельность, но проявлялось по-разному: то отступая, то выдвигаясь на первый план. Теперь оно усилилось почти до высшей степени и, соответственно, его планы относительно издания «Выбранных мест...» стали, по выражению Гоголя, «гораздо умереннее». Иначе говоря, он хотел бы, чтобы Вяземский и М. Ю. Виельгорский провели своего рода редактуру текста — «прочли два раза непропущенные статьи и выбросили из них все жесткие, дикие и оскорбляющие выражения». А «чтобы лучше заметить во мне все то, что следует умягчить и оговорить, я просил князя Вяземского не забывать при чтении писем моих, что их пишет чиновник маленького чина». Как будто для Вяземского важен был «чин» Гоголя!..

Только после этого должно быть решено — и не Гоголем, а его доверенными лицами, т.е. Вяземским и Виельгорским, — «что лучше обождать или даже отменить представление этих статей» императору, «и тогда это решение будет для меня [т.е. для Гоголя] совершенно удовлетворительно». А в данном Луизе Карловне поручении передать письмо императору Гоголь готов теперь раскаиваться: «Скажу вам искренно, что мною одолевала некоторая боязнь за неразумие моего поступка, но в то же время какая-то как бы неестественная сила заставила его сделать и



обременить графиню смутившим ее письмом» (там же, 268). Не та ли эта «неестественная сила», что учинила «демонское восстание» и кутерьму вокруг его книги?

## **«ВЫБРАННЫЕ МЕСТА...»: «МНЕ ТЕПЕРЬ ТЯЖЕЛО ВЗГЛЯНУТЬ НА МОЮ КНИГУ...»**

**К**ритическое отношение Гоголя к «Выбранным местам...» намечилось еще раньше, с поступлением первых негативных откликов на книгу, и усиливалось по мере умножения таких откликов.

К началу 1847 года пришло письмо из Москвы от С. Т. Аксакова; тот книгу еще не читал, но по одним слухам, распространявшимся из столицы, пришел в «неописанный ужас» (Переписка, т. 2, с. 76).

Конкретнее об этом «ужасе» пишет В. С. Аксакова в Петербург племяннице Сергея Тимофеевича М. Г. Карташевской, уже после первого знакомства с книгой (письмо от 16 января): «Боже мой, какое ужасное явление стоит перед нами. Это Гоголь <...> По прочтении первых же страниц нельзя сомневаться в однопредметном помешательстве Гоголя, а на нас это произвело глубоко горестные впечатления. В первую минуту даже страшно было читать, что за нелепости, что за сумасшедшая гордость, называющая себя смирением, что за проповеди, обо всем и всем, что за католический взгляд на женщину <...> Уже одно <...> печатание этой книги, этих писем есть доказательство нездорового рассудка <...> Ужасное и горестное явление. Может быть он сжег сокровища, которые уже не в состоянии произвести. — Но кто знает, может быть он и выздоровеет <...> Вот чем разрешились эти неясные чудные ожидания, впрочем, он все еще хочет продолжать М<ертвые> Д<уши>. Но что это будет!» (ИРЛИ, ф. 173, ед. хр. 10, 617, лл. 3 об. — 5). И в письме к той же Карташевской от 30 января: «...Дай Бог, чтобы оно было переходное состояние, признаюсь, я иногда совершенно в этом отчаиваюсь. Мне кажется иногда, что в нем погиб не только художник, но даже и человек. Мы перечли еще раз его книгу со вниманием, старались вначале откинуть все свои предубеждения и под конец еще более нашли несообразностей, нежели прежде» (там же, л. 10).

Теперь, по прочтении книги, подробнее о своем «ужасном» впечатлении смог сообщить Гоголю и С. Т. Аксаков. В письме от 27 января он признал ложным само направление книги: «...Вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, — оскорбляете и Бога и человека» (Пере-

писка, т. 2, с. 80). К этому письму Аксаков приложил еще письмо Д. Н. Свербеева, давнего московского знакомого Гоголя; тот изложил свои впечатления от книги «тремя на ней подписями: 1) унижение паче гордости, 2) гордость смирения, 3) надувательство». В связи с последним обвинением весьма кстати пришлось и реплика не названного читателя — Свербеев относится к ней несколько отстраненно (мол, этот читатель видно «был сердит на Гоголя за Ноздрева»), но сама реплика говорит за себя: «...во всеуслышание объявил, что автор писем отныне должен называться не Николаем, а Тартюфом Васильевичем» (Шенрок, т. 4, с. 522, 521).

Приложил Аксаков к своему письму и письмо жены Свербеева Екатерины Васильевны. «С грустным впечатлением оставила меня ваша книга, Николай Васильевич! Все кричат о ней, все удивляются этому учению христианскому, вашему призыву всем обратиться к Богу, и все это учение облекается самую страшную гордынею» (там же, с. 524). Упреки Свербеевой были для Гоголя тем чувствительнее, что она ссылалась на Языкова, который был знаком ей с детства и свидетельницей последних дней которого она являлась: оказывается, Языков перед смертью «много думал о вас, и сердечная тревога о вашем душевном состоянии не оставляла его. Не дожил он до вашей книги, но преждевременно заботился о ней и боялся ее появления» (там же, с. 524—525). А ведь Гоголь считал, что Языков был к нему ближе других и поэтому примет его книгу: «Из всех моих друзей у него больше других было тех *некоторых особенностей*, какие были и в моей природе...» (XIII, 213; курсив в оригинале).

Не одни Аксаковы и близкие к ним люди готовы были поставить крест на дальнейшей деятельности Гоголя как художника. А. В. Станкевич писал 20 февраля 1847 года Н. М. Щепкину, сыну великого актера: «Гоголь сделался Осипом, только резонерствующим в духе отвратительного ханжества <...> Вряд ли после такой книжицы дождемся чего-нибудь путного от Гоголя...» (ЛН. Т. 58. С. 700).

Московские знакомые Гоголя, прежде всего Аксаковы, готовы были объяснить все случившееся долговременным пребыванием писателя за границей, отдалением от прежних друзей в пользу новых. «О, недобрый был день и час, — писал С. Т. Аксаков 27 января 1847 года, — когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут Богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые маниловы, которые не только допустили и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение» (Переписка, т. 2, с. 81). Более поздний текст Аксакова — «История моего знакомства с Гоголем» — позволяет понять, кого конкретно он имел в виду. Прежде всего графа А. П. Толстого: «я считаю его знакомство решительно губительным для Гоголя». Затем — «дружеские связи с женщинами, большею частью выс-

шего круга» Эти женщины «сделали из него нечто вроде духовника своего, вскружили ему голову восторженными похвалами и уверениями, что его письма и советы или поддерживают, или возвращают их на путь добродетели. Некоторых я даже не знаю и назову только Виельгорскую [очевидно, Луиза Карловна], Соллогуб [Софья Михайловна Виельгорская, жена В. А. Соллогуба] и Смирнову» (Воспоминания, с. 207). Сергей Тимофеевич мог бы назвать и другие имена, например Софью Петровну Апраксину, в доме которой в Неаполе в это время жил Гоголь; но он действительно не был вполне осведомлен и оценивал круг общения писателя, так сказать, в общем и целом, принципиально.

Гоголь в ответ не стал уточнять характер своих взаимоотношений с окружающими, оставил без внимания рискованное заявление Аксакова, что Рим — «губитель русских умов и дарований», но к обвинениям в свой собственный адрес отнесся внимательно — и болезненно. Два пункта этих обвинений задели его особенно остро — об измене самому себе, направлению своей деятельности и о гордости, прикрытой смирением (в формулировке С. Т. Аксакова это прозвучало так: «гордынь в рубище смирения» — Переписка, т. 2, с. 74).

На первое обвинение Гоголь отвечал: «...Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности у меня была одна дорога, по которой иду» (XIII, 186). Второе обвинение парировал ссылкой на свою терпимость, на то, что с полным благорасположением, готов отнестись к самым беспощадным приговорам, готов даже благодарить авторов этих приговоров, как, например, С. Т. Аксакова или супругов Свербеевых. «...Человек, который с такой жадностью ищет слышать все о себе, так ловит все сужденья и так умеет дорожить замечаньями умных людей даже и тогда, когда они жестки и суровы, такой человек не может находиться в *полном и совершенном* самоослеплении» (там же, 241; курсив в оригинале). Упрек в самоослеплении и гордости Гоголь возвращает своим оппонентам и для наглядности рассказывает им такую притчу.

Некий повар вызвался приготовить гостям необыкновенно вкусный обед, который требует необыкновенных усилий и много времени. «Что следовало делать тем, которым обещано угощение? Следовало молчать и ожидать терпеливо. Нет, давай кричать: “Подавай обед!” Повар говорит: “Это физически невозможно, потому что обед мой не так готовится, как другие обеды, для этого нужно поднимать такую возню на кухне, о которой вы и подумать не можете”. Ему в ответ: “Врешь, брат!” Повар видит, что нечего делать, решил, наконец, привести гостей самих на кухню, постаравшись, сколько можно было, расставить кастрюли и весь кухонный снаряд в таком виде, чтобы из него хотя какое-нибудь могли вывести заключение об обеде. Гости увидели множество таких странных и необыкновенных кастрюль и, наконец, таких орудий,

о которых и подумать бы нельзя было, чтобы они требовались для приготовления обеда, что у них закружилась голова».

«Ну, что, если в этой повести есть маленькая частица правды?» — спрашивает Гоголь своего адресата, т.е. С. Т. Аксакова. И выводит мораль: «Друг мой! вы видите, что дело покуда еще темно» (там же, 241–242).

Однако напрашиваются и другие выводы. Ведь одно-то «блюдо» — «Выбранные места...» — приготовлено и выдано самим «поваром»; почему же гости не вправе судить о нем по всем правилам строгого вкуса? Потому что готовая книга, оказывается, вовсе не готовая, не совершенная и избилует изъянами. Тут уже виноваты не цензурные изъяны, а собственные, творческие, происходящие от автора, который не достиг еще необходимой простоты и безыскусственности, и поэтому на его книге «лежит какой-то фальшивый тон и неуместная восторженность» (Вяземскому, 28 февраля 1847 года — там же, 227). Но сравнение с кухней намекает и на то, что главное «блюдо» — «Мертвые души» — еще не готово, что «Выбранные места...» по отношению к ним — лишь промежуточное звено, временная замена, пробужденная желанием опробовать некий круг идей и мыслей или же даже «страхом за жизнь свою и за возможность окончить начатый труд», т.е. те же «Мертвые души». Эти мотивы Гоголь развивал еще при начале работы над новой книгой, затем, по мере осознания значительности и самостоятельности ее замысла, они отступали на второй план, а вот теперь снова приобрели актуальность.

«Друг мой, — обращается писатель к Смирновой 22 февраля н. ст. 1847 года, — не забывайте, что у меня есть постоянный труд: эти самые “Мертвые души” <...> Друг мой, искусство есть дело великое» (там же, 261). Тут к гастрономическому плану сравнений присоединяется еще и хозяйственно-домоводческий: «...Теперь во внутреннем доме моем происходит еще столько мытья, уборки и всякой возни, что хозяину просто невозможно быть толкову в речах даже и с ближайшим другом, — пишет Гоголь А. С. и У. Г. Данилевским 18 марта н. ст. — Покуда скажу тебе вот что, мой добрый Александр. Ты никак не смущайся обо мне по поводу моей книги и не думай, что я избрал другую дорогу писаний. Дело у меня то же, какое и было всегда и о котором *замышлял еще в юности* <...> Нынешняя книга моя есть только свидетельство того, какую возню нужно было мне поднимать для того, чтобы “Мертвые души” мои вышли тем, чем им следует быть» (там же). Чуть позже Гоголь скажет в «Авторской исповеди», что в юности он еще не помышлял о писательском поприще; здесь же речь идет именно о «дороге *писаний*» — утверждение, по-видимому, более соответствующее действительности (см. об этом: Труды и дни, с. 90 и далее). И эта дорога — прямоиком ведет к «Мертвым душам», а «Выбранные места...» — лишь ответвление («Что ж делать, если мне суждено сделать большой крюк...» — XIII, 265).

Среди причин, объясняющих появление книги писем, особенно любопытна следующая: «...Чтобы увидели наконец читатели и почитатели мои (увы! и самые друзья), что не следует торопить меня к печатанию, когда я сам чувствую, что не пришел еще в силы выражаться ясно и просто...» (Шевыреву, 10 марта н. ст. 1847 года, — там же, 250). Такими словами Гоголь обычно отвечал на напоминания о втором томе «Мертвых душ», но в данном случае подразумеваются «Выбранные места...». Читатели, оказывается, сами виноваты, что книга вышла столь несовершенной и уязвимой...

Иные из читателей, однако, во всем винили автора или, точнее, те недобрые силы, жертвою которых он стал. «...Издание писем ваших есть ошибка <...>, — пишет Владимир Владимирович Львов (1804—1856), князь, детский писатель, с которым Гоголь встречался в московских кругах. — Оно показывает, что ежели вы победили многое, то не видите еще самого сильного врага, *духа прелести*, который стоит всегда на страже у последних врат, ведущих от тьмы к свету <...> Что теряет публика в старом Гоголе? — любимого автора. Что приобретает она в обращении? — ничего!» (Шенрок, т. 4, с. 527; курсив в оригинале). По мнению публикатора этого письма (В. И. Шенрока), оно не имело «никакого серьезного влияния на Гоголя» (там же, с. 528). Ответное письмо Гоголя от 20 марта н. ст. свидетельствует о том, что это не так: «Нет, не допустит Бог впасть меня в ту *прелесть*, в которую подозревают меня падшим...» Порукой тому — глубокое недовольство своей недавней книгой: «Одно помышление о том, с каким неприличием и самоуверенностью сказано в ней многое, заставляет меня гореть от стыда». «Стыд этот мне нужен», — заключает Гоголь. Нужен, так как облегчает путь к главному его труду: «Труд у меня все один и тот же, все те же “Мертвые души”» (XIII, 264; курсив в оригинале).

Ко времени обмена Львовым и Гоголем письмами можно приурочить и другой знаменательный эпизод. След к нему ведет от более поздней дневниковой записи О. М. Бодянского (от 27 октября 1850 г.): «Гр. С. Г. Строганов рассказывает, что он, по просьбе Гоголя, через дочь его, графиню Толстую, бывшую с мужем за границей, написал свое мнение о “Переписке Гоголя с друзьями”, которое заключил так: “человек спасен, но автор погиб”. После чего Гоголь замолчал и был мрачен весь вечер. “Этот человек, по словам Строганова, в высшей степени самолюбивый”, что и я подтвердил со своей стороны» (РС. [№ 10]. Октябрь. С. 129).

С Иваном Петровичем Толстым и его женой Софьей Сергеевной, урожденной Строгановой (1824—1853), Гоголь встречался в Неаполе около 25 марта 1847 года (см.: XIII, 265). Следовательно, в это время он и услышал суждение Строганова, весьма строгое для Гоголя-писателя, но лестное для Гоголя-человека. Но автора «Выбранных мест...» оно не

утетило, ибо его вовсе не радовала перспектива личного спасения ценою пожертвования творческого дара...

Среди различных упреков Гоголю довелось услышать и обвинение в грехе и богохульстве, — «духу прелести» придавались здесь вполне определенные зловещие очертания. Такие обвинения исходили от духовных лиц — священника Матвея и монаха Игнатия.

Отец Матвей (Матвей Александрович Константиновский, 1792—1867) проживал в Ржеве; с 1836 года — священник Спасо-Преображенской церкви; позднее, с 1849 года — штатный протоиерей Успенского собора (Грещищев, с. 249—250). С Гоголем его заочно познакомил А. П. Толстой, и писатель еще до выхода в свет «Выбранных мест...» включил имя ржевского священника в число тех, кому следует послать книгу в первую очередь. Гоголь обратился к отцу Матвею с настоятельной просьбой: не затрудняться тем, что тот лично не знает автора, и не скрывать от него ничего: «Упреки мне сладки, а от вас еще будет слаще» (XIII, 231). Особой сладости, однако, желанный отзыв Гоголю не доставил...

Матвею Константиновскому доведется сыграть важную роль в последние месяцы жизни Гоголя, — поэтому более подробно о нем мы скажем позже. Пока же — краткая характеристика отца Матвея, данная его знакомым Константином Михайловичем Марковым, отставным поручиком, помещиком Лебединского уезда Харьковской губернии. Марков проживал в Ржеве, когда пришло письмо от Гоголя, находився близ Матвея Константиновского — это дало ему основание высказать «свое мнение о нем». «Сколько мне известно, — писал он Гоголю 20 ноября 1847 года, — вам рекомендовал его граф Толстой, но, вероятно, преувеличивал его достоинства. Как человек, он действительно заслуживает уважения; как проповедник он замечателен — и весьма; но как богослов он слаб, ибо не получил никакого образования. С этой стороны я не думаю, чтобы он мог разрешить сколько-нибудь удовлетворительно ваши вопросы, если они имеют предметом не чистую философию, а богословские тонкости <...> Отец Матвей может говорить о важности постов, необходимости покаяния, давно известных предметах, но тщательно избегает трактатов о сюжетах чисто богословских и не может даже объяснить двенадцати догматов наших, т.е. членов Символа веры...» (Шенрок, т. 4, с. 554—555).

Но Гоголь ждал от отца Матвея не ученого «трактата», не разъяснения «богословских тонкостей», а конкретной оценки пользы и значения его книги, — и оценка эта оказалась суровой.

Письмо Матвея Константиновского не известно, но о его содержании можно судить по ответному письму Гоголя от 9 мая н. ст. 1847 года: «Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга

моя должна произвести вредное действие и я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом...» (XIII, 301). Преступление перед Богом — в сознании Гоголя, это было не шуточное обвинение! «Полагаем, — заключает гоголевский биограф, — что в целом ряде жестоких ударов, нанесенных Гоголю по выходе “Переписки”, не было при его тогдашнем настроении ни одного столь ужасного для него, не исключая даже известного письма Белинского, как тот, который нанес ему о. Матвей...» (Шенрок, т. 4, с. 602).

Большую часть своего ответа о. Матвею Гоголь посвятил самооправданию: мол, благим замыслом повредило дурное исполнение. Так, в связи со статьей «О театре...», которая, видимо, больше всего возмутила Матвея Константиновского, Гоголь говорит, что писал ее «не с тем, чтобы приохотить общество к театру, а с тем, чтобы отвадить его от развратной стороны театра, от всякого рода балетных плясавиц», но «выразил все это таким нелепым и неточным образом, что подал повод вам думать, что я посылаю людей в театр, а не в церковь». Словом, всему причиной — «незрелость», «невоспитанье», которые теперь обернулись горьким раскаянием. «Моя книга есть точная мне оплеуха. Я не имел духу заглянуть в нее, когда получил ее отпечатанную: я краснел от стыда и закрывал лицо себе руками...» Закрывание лица рукою, между прочим, — характерный в поэтике Гоголя жест сокрушения и прозрения: вспомним молодого человека из «Шинели», услышавшего в словах Акакия Акакиевича — «оставьте меня, зачем вы меня обижаете» — другие слова — «я брат твой». «И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья...»

Другое обвинение пришло, мы говорили, от монаха Игнатия.

Игнатий (в миру: Брянчанинов Дмитрий Александрович; 1807—1867) получил образование в Главном инженерном училище в Петербурге, но военной карьеры не сделал: в 1827 году по болезни вышел в отставку в чине поручика, а спустя четыре года постригся в монахи. В 1834 году возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Троице-Сергиевой пустыни (близ Петербурга). Значительно позже, в 1857 году, стал епископом Кавказским и Черноморским.

В отзыве о «Выбранных местах...» Игнатий утверждал, что книга Гоголя «издает из себя и свет и тьму. Религиозные его понятия неопределенны, движутся по направлению сердечного вдохновения неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного. Он писатель, а в писателе непременно “от избытка сердца уста глаголют”, или сочинение есть непременно исповедь сочинителя, по большей части им не понимаемая» (Брянчанинов, с. 556). По замечанию историка русской философии, Брянчанинову, строгому ревнителю «аскетической традиции», не понравился у Гоголя «дух утопического активизма» (Флоровский, с. 393, 268), иначе

говоря, сооружаемая им система социального устройства общества, взаимодействия различных «должностей», т.е. сословий и личностей.

В ответном письме Плетневу от 9 мая н. ст. (именно он переслал отзыв Брянчанинова) Гоголь отдает «справедливость нашему духовенству за твердое познание догматов», — «это познание слышно во всякой строке его [Игнатия] письма», но с главной мыслью — о неразличении в «Выбранных местах...» света и тьмы — решительно не согласился: «...Чтобы произнести полный суд моей книге, для этого нужно быть глубокому душеведцу, нужно почувствовать и услышать страдания той половины современного человечества, с которою даже не имеет и случаев сойтись монах; нужно знать не свою жизнь, но жизнь многих. Поэтому никак для меня не удивительно, что им видится в моей книге смешение света со тьмой. Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та сторона, которая им незнакома; но об этом предмете нечего нам распространяться» (XIII, 305–306).

Это напоминает гоголевский упрек Плетневу, высказанный тремя месяцами раньше, — о чисто эстетическом, так сказать, барственном подходе к его книге: «Ты не знаешь, что делается на Руси, внутри, какой болезнью там изнывает человек, где и какие вопли раздаются и в каких местах. Тепло, живя в Петербурге, наслаждаться с друзьями разговорами об искусстве и о всяких высших наслаждениях» (там же, 204). Но в случае с Плетневым Гоголь парирует критику эстетического, литературного характера («...на книгу мою ты глядишь как литератор»); в случае с Игнатием — критику духовного, религиозного рода. В сущности Гоголь возвращает своему оппоненту упрек в неразличении добра и зла.

Одновременность гоголевских ответов отцу Матвею и архимандриту Игнатию (оба письма датированы 9 мая н. ст. 1847 г.) глубоко символична и свидетельствует о двойственности его сознания. Гоголь глубоко переживает ощущение своей греховности, готов смириться и покаяться и в то же время не может поступиться своим словом, ощущая его справедливость и правоту, — и поэтому на упрек готов ответить контрупреком, на обвинение — контробвинением.

Среди откликов, полученных Гоголем в Неаполе на его книгу, выделяются суждения А. О. Россета. Письмо последнего, посланное из Петербурга и датированное 12 марта 1847 года, не обратило на себя заметного внимания гоголевских биографов, а между тем это письмо очень содержательно: в нем не только углублены ходовые упреки — об отказе от художественной деятельности в пользу проповеднической, но и высказаны новые — об изменениях в характере самого художественного созерцания Гоголя, его колорита и направления.

Знакомый Гоголю еще с начала 1830-х годов по Петербургу, неоднократно встречавшийся с ним за границей (особенно сблизились они в



первые месяцы 1843 г. в Риме, куда Аркадий Осипович приехал вместе с сестрой А. О. Смирновой-Россет), он пользовался неизменным доверием писателя и выполнял его различные поручения. Одно из них — раздача средств, вырученных за планируемое Гоголем в 1846 году благотворительное издание «Ревизора» (Россет в это время, имевший чин штабс-капитана, жил в Петербурге), другое поручение — сбор сведений, касающихся реакции на «Выбранные места...». Эти сведения Россет систематизировал, снабдил собственным комментарием и в весьма доброжелательном, но нелицеприятном тоне довел до сведения автора.

Прежде всего, объясняет Россет, читателей отвратило от книги отразившееся в ней новое «направление». «Вы первый светский писатель выступили с решительным религиозным направлением и должны были тем сильнее поразить всех, что ваше прошлое не позволяло предполагать такого направления. Что ни говори, а перейти прямо с Хлестакова и Чичикова на Христа и душу — озадачит хоть кого. Вы пренебрегли и прошлым наших писателей и вашим прошлым, и тем что у нас привыкли видеть человека, говорящего о Христе, в рясе, а не во фраке, и выступили прямо учителем, да каким учителем! прямым проповедником с самым доктринерским тоном, почти без апелляций, которого советов все спрашивают и, получив, только слушают и благодарят» (Шенрок, т. 4, с. 544). Слова Россета предвосхищают более позднее замечание другого критика (Ивана Щеглова), также высказанное в связи с Гоголем: писатель может находиться вблизи амвона, но не его назначение — подниматься на амвон!

Другой сформулированный Россет тезис — о дороге, приведшей Гоголя к его доктрине. «Каким путем пришли вы к Христу? Путем болезни. Путь очень действительный для нас с вами, слабый для других. Убеждать человеку больному человека, который, слава Богу, здоров, самое ненадежное средство <...> Чем увлекали вы публику в прошлых сочинениях? Обилием жизни и внутренней силы; до мелочи касались, а читатель был весь ваш. — Какой господствующий тон настоящей книги? Тон болезненной слабости телесной, расстройства нервического, напуганного воображения, душевной скорби, какого-то уныния, тяжелого для читателя, когда оно длится почти без отдыха от первой страницы до последней. Мне кажется, что, представляя христианство в настоящем его духе, в духе света, крепости и силы, ныне скорее обратишь человека к Христу. Когда выступит наша церковь, просветлит или высветлит всего насквозь нам человека (эта страница ваша просто прелесть), человек этот выразится нам в противоположной вам форме» (там же, с. 544—545). Суждения Россет вновь предвосхищают более поздние концепции, например, с одной стороны, В. В. Розанова, с другой — И. А. Ильина.

По мнению Розанова, православная церковь искадила христианство. «Умирая, Византия нашептала детскому народу, принятому ею в «крес-

тильную рубашечку», все свои предсмертные стоны, всю патологию, всю органическую ненависть умирающего к жизни, к цветку, к обилию и опору сил. Гроб, монашество, отречение от мира — вот с чем она слила христианство. И от Грозного до Петра, и сейчас до последнего журналиста, все одинаково чувствуют эту роковую силу». И еще: «Ну, если, в самом деле, таково дело, если религия есть точно гроб и отречение — то государству не сдобровать, да и народу не сдобровать же; обществу, науке, искусству — всему не сдобровать». (НВ. 1909. № 10453, 10496).

По мнению же Ильина, это отчуждение от жизни вовсе не тождественно православию, но касается «истории христианской церкви в целом», в которой «имеется древняя “мироотречная” традиция». «И когда окидываешь взором историю культурного человечества за последние века и видишь этот процесс отхода масс от церкви и христианства, то иногда невольно спрашиваешь себя, не объясняется ли этот процесс, помимо массового духовного кризиса, еще и тем, что христианство доселе не побороло в себе этого *мироотречного* уклона, который учит покаянно уходить от мира и из мира, но не учит ответственно входить в мир и радостно творить в нем во славу Божию» (Ильин, с. 26, 29; курсив в оригинале).

Наконец, гоголевской книге, по мнению Россета, повредили разные «причуды и странности»; к ним относится, в частности, публикация завещания при живом завещателе. «Вы могли пренебречь приличиями, литературными обычаями, презреть общим мнением, но не должны были, ради пользы самой книги, пренебрегать слабостью человека. — Как быть, а человек уже так устроен, что, посмотрев на солнце, заговорит об этих пятнах. Что делают с солнцем, то делают и с вашей книгой. На вопрос: “читал ли Гоголя?” — каждый помимо всего заговорит о завещании, публичной исповеди, портрете, посмертных памятниках, просьбе раскупать книгу, раздавать ее всем и проч. и проч.» (Шенрок, т. 4, с. 545–546).

Интересно, что в ответном письме (от 15 апреля н. ст.) Гоголь фактически не отвечает ни на одно из сформулированных Россетом обвинений, повторив лишь уже ставшие привычными утверждения — о том, что он болеет «незнаньем» русской жизни, что «Выбранные места...» есть «пробный оселок», который поможет узнать эту жизнь, ибо — «без выхода нынешней моей книги никак бы я не достигнул той безыскусственной простоты, которая должна необходимо присутствовать в других частях “М<ертвых> д<уш>”, дабы назвал их всяк верным зеркалом, а не карикатурой» и т.д. Россету дается поручение продолжать сбор откликов на книгу и при этом еще завести специальный журнал, внося в него сведения о тех, чьи мнения довелось услышать. Например: «Сегодня я услышал вот какое мнение; говорил его вот такой человек; жизни он следующей; характера следующего (словом, в беглых чертах портрет его); если ж он незнакомец, то: жизни его я не знаю, но думаю, что

он вот что, с вида он казист и приличен (или неприличен); держит руку вот как; сморкается вот как; нюхает табак вот как» (XIII, 280, 279–280).

То, что Гоголь обошел молчанием суждения Россета, не означает, что он не обратил на них внимание. «Все смекнуто, соображено, замотано на ус и зарублено на стенке» (там же, 394), — заверит Гоголь своего корреспондента позднее, в письме от 20 ноября н. ст. 1847 года. Видимо, Гоголю не хотелось входить в столь трудные объяснения, ведь вопросы относились не только к отказу от художественной деятельности (тут достаточно было заверить оппонентов, что он от такой деятельности не откажется), но, как мы сказали, и к характеру самой художественной мысли, ее изменению и развитию. А это развитие было весьма прихотливым, обнаруживавшим новые качества, но сохранявшим преемственность. Например, в столь важном для писателя вопросе, как назначение женщины и ее красоты.

Этой темы коснулась В. С. Аксакова в уже упоминавшемся письме от 30 января 1847 года к М. Г. Карташевой. Вера Сергеевна увидела у Гоголя ложный, католический взгляд на женскую красоту. «...Он хочет примирить жизнь и весь порядок вещей с христианским стремлением, он ищет примирения и тут-то впадает в ложь, примером этого служит его письмо к женщине в свете, которое многих обольстило и которое есть великое зло тем самым. Оно точно прекрасно написано, особенно местами, но неужели, милый друг, ты не видишь того ложного взгляда, на котором оно основано. Возможно ли красоту женщины считать орудием от Бога, данным для внушения святых истин, для влияния благодатного на людей, если даже оно в самом деле так бывает в обществе, то это только показывает испорченность его, стало быть, Гоголь проповедует Католический взгляд, что для благого дела можно употреблять всякие орудия и возбуждать слабости человеческие для того, чтобы человек стал лучше, не заботясь о том, какая побудительная причина в нем действует и не думая о том, что он вносит этим самым порчу в человека, потому что затемняет чистоту его искренних, бескорыстных, святых побуждений, — Католики, конечно, так действуют <...> В самом деле, при первом чтении явился мне прекрасный образ этой женщины, но потом идут везде такие несообразные крайности, и возможно ли писать это в лицо кому-нибудь и печатать. Я даже скорее соглашусь с некоторыми, которые находят это письмо просто страстным письмом. — Не подумай, чтобы я говорила против примирения христианства с жизнью, я совсем далека от этого. Я утверждаю, что возможно примирение, только не в спокойном признании и извинении слабостей человеческих, а в непрестанной борьбе с ними, для этого не нужно оставлять мир, всякий на своем месте может это исполнить...» (ИРЛИ, ф. 173, ед. хр. 10.617).

М. Г. Карташевская не согласилась с этим мнением, что заставило Веру Сергеевну, в письме от 21 февраля, вернуться к той же теме. «Мне

жаль, мой милый друг, что мы расходимся во мнении насчет письма к Соллогуб<sup>1</sup> [т.е. к Софье Михайловне Соллогуб], впрочем, это только потому, что мы разное его понимаем, разное в нем видим. Ты прочла его только один раз, но перечти его еще, и я уверена, что впечатление будет другое <...> При повторном прочтении этой книги, когда передо мной открылся весь хитросплетенный состав его самолюбивого и самоуверенного мудрствования, я увидела ясно, что и это письмо выходит из одного же источника и что меня обольстил только на минуту прекрасный образ, который и сам даже ложен. Вспомни, милый друг, эти места: Но у вас есть другие орудия, с которыми все возможно. Во-первых, вы имеете уже красоту или дальше: Если уже один бессмысленный каприз красавицы ... к добру. Скажи, пожалуйста, разве не прямо он велит употреблять красоту как средство...» (там же; подчеркивания, означающие цитирование гоголевского текста, содержатся в оригинале).

Проблема, которой коснулась В. С. Аксакова, глубоко коренится в гоголевской биографии и в гоголевском творчестве. С молодых лет ему было свойственно острое ощущение женской красоты — источника вдохновений, бурных переживаний и одновременно опасного соблазна и губительной угрозы. Один из ранних, если не самый ранний эпизод, в котором выявились и переплелись эти силы, — то событие, которое Гоголь обозначил как встречу с красавицей-незнакомкой весной 1829 года. С тех пор его не оставляло ощущение трагического несоответствия красоты и моральной правды, но в то же время возникала и мучительная потребность преодолеть эту коллизию. Опору нужно найти в самой красоте, если поставить на службу высокой религиозной моральности всю силу женского очарования, бездну чувственности, небесного и в то же время вполне земного вдохновения. Аксакова увидела в этом влияние католицизма; с таким же правом можно было бы увидеть в нем и проявления средневекового, согласно эстетическим концепциям конца XVIII — начала XIX века, истинного романтизма, с его культом прекрасной дамы и рыцарского ей служения. Гоголю доводилось не раз касаться этой волнующей для него темы — последний раз в «Тарасе Бульбе», особенно во второй ее редакции, в сцене встречи Андрия и прекрасной полячки (см.: Труды и дни, с. 514 и далее), и в «Риме» — сцене с Аннунциатой. Теперь эта тема вошла в контекст «Выбранных мест...».

«Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определил, чтобы *всех равно поражала красота*, — даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему

---

<sup>1</sup> В. С. Аксакова считает Софью Михайловну Соллогуб адресатом письма Гоголя «Женщина в свете». В этой статье, однако, нашли отражения и советы, содержащиеся в гоголевских письмах к Смирновой-Россет (от 16 мая н. ст. 1844 г., от 28 июля н. ст. 1845 г. и др.).

не способны». Сравним всеобщее поражающее действие красоты Аннунциаты: «И, повстречав ее, *останавливаются как вкопанные*: и щеголь миненте с цветком за шляпой, издавши невольное восклицание; и англичанин в гороховом макинтоше, показав вопросительный знак на неподвижном лице своем; и художник с вандиковской бородкой...»

Из констатации могущества красоты в «Выбранных местах...» следует вывод (эти строки и имела в виду В. С. Аксакова): «Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наимумнейших людей, что же было бы тогда, если этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть, это орудие сильное» (VIII, 226). И затем — прямое наставление красавицам: «Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим; повелевайте самим бессилием своим <...>, повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина высшего света!» (там же, 227).

С точки зрения В. С. Аксаковой, это смешение греха со спасением или даже, точнее, употребление «греха» ради «спасения» (автор «Выбранных мест...» «велит употреблять красоту как средство»). Для Гоголя же это дозволенная практичность, соответствующая полезному, «дельному» направлению его книги. Красота становится атрибутом «поприща» или «должности», в данном случае «должности» женщины в свете. Замечательна амбивалентность гоголевского оборота «Бог недаром повелел...». В красоте — и высшая, божественная избранность, и своего рода назначение: некоторые женщины *назначены* быть красавицами, как иные лица — начальниками или крупными чиновниками...

Сказанным отчасти снимается сформулированное Россетом суждение о пропасти между прежним и нынешним Гоголем: особенности его развития в том, что тенденции последней стадии обычно заключены в предыдущей и само изменение происходит посредством переноса акцента, накопления новых нюансов и т.д. Но снимаются приведенные критические суждения именно отчасти: Россет прав в том отношении, что преимущественный угол зрения в гоголевской книге — это угол зрения болезни и смерти. Однако важно то, что и этот угол зрения Гоголь стремится разложить на разные, порою противоположные составляющие.

Письмо со значащим названием «Значение болезни» начинается с утверждения: «...Силы мои слабеют, *но не дух*. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны». Эта ситуация буквально соответствует состоянию Гоголя в первые месяцы 1846 года (письмо, кстати, датировано 1846 г.): с одной стороны, физическое изнурение; с другой — расположение к труду, к творчеству (см. наст. книгу, с. 7–8). Но при этом Гоголь благословляет свои «телесные недуги» не только потому, что они оставляют место для деятельности духа, но и побуждают особенно до-

рожить этой деятельностью: «...Ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная и среди самых страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего» (VIII, 228–229).

Угол зрения смерти задан в начале книги и задан многократно: «Предисловием» («Я был тяжело болен; смерть уже была близко...»), «Завещанием» («...излагаю здесь мою последнюю волю»), наконец, особой, так сказать, внесюжетной ролью «Прощальной повести», о которой подробно говорилось выше. Гоголь оглядывает жизнь с роковой черты, с последнего рубежа, но все-таки рубежа уже преодолеваемого и преодоленного.

Услышанные отклики на книгу, рефлексия по этому поводу истощили душевные силы Гоголя. «...Мне случилось получить всякого рода поражений по самым чувствительным струнам души моей <...> Мне теперь тяжело взглянуть на мою книгу, мне кажется в ней все так напыщенно, неумеренно, невоздержно, что я от стыда закрываю вперед обеими руками лицо [опять жест закрывания лица — жест сокрушения!]. О, как мне трудно управляться в моем душевном хозяйстве!» (В. А. Жуковскому, 4 марта н. ст. 1847 — XIII, 232). Нестерпимо тяжело «получать письменные упреки от самых близких людей в лицемерии, ханжестве, надувании других и скорбные упреки в играньи комедии там и в том, что было священнейшею мыслью и любовью души» (М. П. Погодину, 4 марта н. ст. — там же, 236). «Появление моей книги разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому.<...> Я размахнулся в книге моей таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее» (В. А. Жуковскому, 6 марта н. ст., — там же, 243).

Слова о поражении, об оплеухе Гоголь повторяет с каким-то мазохистским наслаждением; ему доставляет удовольствие говорить и о своем небольшом чине (коллежского асессора), скромном общественном положении: «...Сам по себе я человек не велик, несмотря на великую возню, которая идет обо мне теперь в литературе...» (П. А. Плетневу, 6 марта н. ст. — там же, 247), говорить о том, что он, «чиновник 8 класса, слишком зарпортовался» (П. А. Вяземскому, 28 февраля н. ст. — там же, 227–228). Все это вновь непосредственно связано с комплексом Хлестакова, норовившего сыграть роль чином выше.

Но ведь были же отклики другого рода, и Гоголь их слышал! «...Ваши “Мертвые души” даже — все побледнело как-то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика» (РС. 1890. № 8. С. 282 !), — писала ему Смирнова-Россет. «...Она [книга писем], по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все до сих пор бывшее мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии.

Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет» (Переписка, т. 1, с. 271–272), — утверждал Плетнев. Почему же эти голоса не производили на Гоголя заметного действия?

Потому что изначально книга апеллировала если не ко всем, то ко многим, была рассчитана на их внимание, ответную реакцию, особенно реакцию власть имущих, начиная с самого императора. Похвалы отдельных знатоков или друзей ничего не решали, не решали и похвалы сугубо литературного свойства. «Не скрою, что я хотел произвести ею вдруг и скоро благодетельное действие на некоторых *недугующих* (Гоголь производит это слово от *недуг*. — Ю. М.), что я ожидал даже большего количества толков в мою пользу» (XIII, 279). Если этого не произошло, эффект потерян, книга не состоялась.

Начало мая 1847 года — последние дни пребывания в Неаполе — «самый трагический момент в жизни Гоголя: все воздвигнутое им здание учительства, государственного служения, общественной пользы — рушится сразу; возвращение к художественному творчеству невозможно; «как честный человек» он должен отказаться от всякого писательства» (Мочульский, с. 111). Наступило «двойное отречение» (там же).

В этом утверждении много верного, но есть и категоризм, не адекватный логике гоголевских изменений, всегда прихотливых, с «двойным дном», с подспудным встречным течением. Когда Гоголь в «Выбранных местах...» переходил на язык публицистики, он втайне лелеял мечту о новом подъеме его *художнической* энергии. «Бог недаром отнял у меня *на время* силу и способность производить произведения искусства, чтобы я не стал произвольно выдумывать от себя, не отвлекался бы в идеальность...» (XIII, 286–287). Именно «на время» и именно для того, чтобы избежать надуманности, «идеальности». И теперь, после поражения идеи «государственного служения», потребность в художническом труде становилась все сильнее и сильнее.

## ПОСЛЕДНИЙ ВОЯЖ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЕВРОПУ

Гоголь выехал из Неаполя дилижансом 11 мая н. ст. 1847 года. План его таков: «май в дороге; июнь во Франкфурте или в окружении его, на водах, словом — где будет Жуковский; конец июля, август или сентябрь (половина, если не весь) в Остенде. А потом опять в Неаполь, дабы отсюда уже в Иерусалим» (там же, 309–310). Так оно в общем и получилось.

На другой день Гоголь был уже в Риме. И потом — привычный маршрут: Флоренция, Генуя, Марсель. Около 27 мая н. ст. прибыл в Париж, где состоялась, наконец, новая давно желанная встреча с А. П. Толстым — он жил по-прежнему в гостинице Westminster на Rue de la Paix. Виделся Гоголь и с Михаилом Сергеевичем Скуридиным (1795–1872),

отставным майором, возможно, знакомым ему еще по Петербургу, и с братьями Мухановыми, с которыми прошлым летом познакомился в Остенде.

Время и обстоятельства пребывания Гоголя в Париже выясняются из письма В. А. Муханова от 28 мая (9 июня) к сестрам: «Отсюда в воскресенье [т.е. 5 июня н. ст.] уехал Гоголь, который провел здесь неделю в одной гостинице с нами. Мы почти каждый день обедали с ним у Толстых, здоровье его совершенно поправилось; он все время был разговорчив и бодр, одним словом — другой человек, а не тот, которого мы встретили прошлым летом в Остенде». Тут же Муханов поясняет, что Гоголь после критики «Выбранных мест...» «не только вовсе не раздражен, но, напротив, покойнее и светлее духом прежнего» (Миловский, с. 11–12).

Впечатления Муханова подтверждаются собственными словами Гоголя. «Будьте покойны насчет меня относительно моей книги. Я совершенно тверд» (Смирновой-Россет, 20 мая н. ст. — XIII, 312). «Я сам тоже спокоен. Путь мой, слава Богу, тверд <...> Дорога моя все одна и та же» (П. А. Плетневу, 10 июня н. ст. — там же, 319). «Я разъял себя анатомически, рассмотрел себя строго и расспросил себя еще раз, поставляя себя мысленно как бы пред суд самого того, кто будет судить меня...» (С. П. Шевыреву, 25 мая н. ст. — там же, 315). «Я сам пришел в положение человека, могущего о себе слышать все хладнокровно» (Смирновой-Россет, 20 июня н. ст. — там же, 329). Так совершенно «хладнокровно» прочитал он статьи Аполлона Григорьева и Н. Ф. Павлова — эти статьи, опубликованные соответственно в газетах «Московский городской листок» и «Московские ведомости», Гоголь получил от Шевырева буквально перед отъездом из Неаполя.

В одной статье — Аполлона Григорьева — гоголевская книга была взята под защиту, в другой — Николая Павлова — подвергалась уничтожающей критике. Но Гоголь не пришел в восхищение от первой статьи и не вознегодовал на вторую. «Статья Григорьева, довольно молодая, говорит больше в пользу критика, чем моей книги. Он, без сомнения, юноша очень благородной души и прекрасных стремлений. Временный гегелизм пройдет, и он станет ближе к тому источнику, откуда черплет-ся истина. Статья Павлова говорит тоже в пользу Павлова и вместе с тем в пользу моей книги» (там же, 314–315). Словом, часть правды у защитника книги, часть — у ее хулителя, часть — у самого автора, а полная истина только у Бога.

Похоже, Гоголь выдержал удары и обрел душевное равновесие, — но надолго ли?..

Около 10 июня н. ст. Гоголь — во Франкфурте-на-Майне, у Жуковского. В доме Василия Андреевича беспокойно: болеет жена, нужно везти ее на лечение в Швейцарию, и по этой причине отменяется празд-



нование предстоящего юбилея — пятидесятилетия литературной деятельности поэта. Но у Гоголя свои понятия о юбилеях: «следует помышлять о юбилее небесном», а не земном, и блажен тот, кто готов «к переселенью», т.е. «купил себе уже имение в другой губернии, отправил туда все свои пожитки и сундуки и сам остался налегке, готовый пуститься вслед за ними. Его не в силах смутить тогда никакая земная скорбь и огорченья от всякого мелкого дрязга жизни» (там же, 319).

Разумеется, Гоголь говорит прежде всего о себе. «Я, слава Богу, покоен довольно и, мне кажется, даже здоровьем несколько получше» (там же, 335), — сообщает он из Франкфурта А. М. Виельгорской 8 июля н. ст. Эти слова находят подтверждение со стороны Жуковского, писавшего 15 июля н. ст. Смирновой-Россет: «Наш Гоголь теперь во Франкфурте; он пополнел, поздоровел, но вместо жаркой Палестины едет к южным берегам Северного моря, в котором надеется утопить последний остаток своего нервического недуга» (Смирнова, 1929, с. 351).

Но еще до желанного длительного пребывания у Северного моря Гоголь предпринял краткосрочную поездку в Гомбург вместе с братьями Мухановыми; об этом мы узнаем из письма В. Муханова к сестрам, из Бадена, 1 июля (20 июня): «...Провели день с Гоголем, который ездил вместе с нами в Гомбург <...> Много говорили с ним о последней его книге <...>. Ему многие ставят в вину, что <...> он вздумал быть всеобщим наставником. Между тем ему никогда подобная мысль не приходила в голову <...> Он издал свою переписку, чтобы вызвать толки и прения. Цель его достигнута. Он получил множество писем с замечаниями на книгу» (Миловский, с. 13). Нетрудно увидеть, что Муханов воспроизводит версию, которую в это время усиленно развивает сам Гоголь — о провокативной и вспомогательной (по отношению к «Мертвым душам») роли «Выбранных мест...».

Во Франкфурте Гоголь работает над сочинением, получившим впоследствии редакторское название «Авторская исповедь», — задумана она была еще в Неаполе «как необходимое объяснение на мою книгу» (XIII, 304), т.е. на «Выбранные места...». Теперь чуть ли не основной целью «исповеди» становится опровержение «утвердившегося, неизвестно почему, мнения», будто он, Гоголь, «возгнушался искусством, почел его низким, бесполезным и тому подобное» (там же, 320). Наоборот, он видит свою силу именно в художественном творчестве, а слабость — в попытке заменить его проповедью и рассуждениями. Или, как сказано в «Авторской исповеди»: «Из боязни, что мне не удастся окончить того сочинения, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения» (VIII, 434).

Многосторонность, объективность, уравновешенность — любимые категории Гоголя: «...Бог есть середина всего» (XIII, 335). И еще снисходительность — показательна его реакция на статью Вяземского «Языков — Гоголь», в которой критикам «Выбранных мест...» был адресован упрек: «Русский человек даже и обидевшему его говорит: Бог простит! а Гоголь только тем перед вами и виноват, что вы не так мыслите, как он» (Санкт-Петербургские Ведомости. 1847. № 91. С. 422). Вяземский защищает Гоголя от его «нападателей», Гоголь защищает «нападателей» — от Вяземского. «Бог знает, — пишет он Вяземскому из Франкфурта 11 июня н. ст., — может быть в существе многие из них добрые люди и влекутся даже некоторым, хотя отдаленным, желанием добра <...> Бог знает, может быть и нам будет сделан упрек в гордости за то, что мы несколько жестоко оттолкнули их...» (XIII, 321). Гоголь прежде всего подразумевает Белинского, чью статью о «Выбранных местах...», опубликованную во 2-м номере «Современника», он прочитал в те же дни.

К опасениям показаться несправедливым прибавилась еще боязнь показаться неблагодарным, «потому, что, как бы то ни было, человек этот [Белинский] говорил обо мне с участием в продолжении десяти лет». И не только с участием! «Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которых не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним». Гоголь явно имел в виду людей из своего окружения, из славянофильского круга; сказать подобное кому-нибудь из них он бы не решился, но цитируемое письмо (от 20 июня н. ст.) адресовано Прокоповичу, человеку, далекому от этого круга и находившемуся в хороших отношениях с Белинским, и Гоголь может позволить себе быть откровенным. «И я заплатил бы этому человеку неблагодарностью, когда я умею отдавать справедливость даже тем, которые выставляют на вид и отыскивают во мне одни недостатки» (там же, 324).

Одновременно Гоголь посылает Прокоповичу письмо и для Белинского. В этом письме снова — и опасения показаться несправедливым и неблагодарным, и стремление быть объективным к своим оппонентам, но в то же время и огромная внутренняя боль от необъективности и несправедливости к *нему самому*, причем не со стороны одного лица, а большинства, чуть ли не всех. Гоголь хотел поставить себя вне «партий», вне славянофилов или западников, а получил удары ото всех. «Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять. Восточные, западные и нейтральные — все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобность его на собственной своей коже (всем нам нужно побольше смирения), но я не думал, что щелчок мой вышел так грубо-неловко и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора» (там же, 326). Во имя этого примирения Гоголь и Бе-

линскому говорит, что тот взглянул на книгу «глазами рассерженного человека». Автор «Выбранных мест...» и не догадывался, какую бурю вызовет этот упрек спустя несколько недель, когда он будет уже в Остенде...

В первых числах июля до Гоголя дошел и отзыв Иннокентия, сообщенный ему Погодиным. Этим отзывом продолжилась критика «Выбранных мест...» со стороны духовных лиц: отца Матвея и архимандрита Игнатия — с их письмами Гоголь познакомился еще в Неаполе.

В глазах Гоголя, глава Харьковской епархии архиепископ Иннокентий (впоследствии глава Херсонской епархии) был одним из самых уважаемых богословов и церковных деятелей; именно у него в последний свой приезд в Москву, пять лет назад, писатель принял благословение на путешествие в Святую землю (см.: Труды и дни, с. 627), и свою книгу — «Выбранные места...» Гоголь распорядился послать ему сразу же по ее выходе.

Надо сказать, что в целом отношение архиепископа Иннокентия к Гоголю оставалось благожелательным. «...Скажите, — просил Иннокентий Погодина, — что я благодарен за дружескую память, помню и нежно его люблю, радуюсь перемене с ним, только прошу его не парадировать набожностью: она любит внутреннюю клеть. Впрочем это не то, чтобы он молчал. Голос его нужен для молодежи — особенно, но если он будет неумерен, то она поднимет его на смех, и плода не будет» (Барсуков, т. 8, с. 562). Вот этот-то упрек в аффектации, а следовательно, в гордости и неискренности, которые вызовут насмешки, — этот упрек оказался для Гоголя довольно чувствительным.

Защищался он так же, как перед этим от обвинений Матвея Константиновского — указанием на свои «добрые» намерения и неудачное исполнение. «Парадировать набожностью я тоже не хотел <...> Уверю вас, что многое из того, что кажется высокомернейшею гордостью, есть просто ребячество и незрелость юности <...> Во всяком случае это для меня урок. Я дал себе слово остановиться писать, видя, что нет на это воли Божией.<...> Словом, нужно мне в это время притихнуть, исполнять просто какую-нибудь должность, самую незаметную, не видную...» (XIII, 343—344). Отречение от писательства выражено на этот раз определеннее и категоричнее; до сих пор у Гоголя всегда прочитывалась мысль об отречении *на время*, на какой-то срок, теперь этот срок никак не ограничен. И тем не менее — действительно ли это твердое решение? Непонятным уже представляется гоголевское намерение вместо писательства исполнять какую-то «не видную» должность... Какую именно?

Во всяком случае, очевидно, что для Гоголя вновь наступили тяжелые дни. 10 июля, примерно в то же время, что и архиепископу Иннокентию, Гоголь пишет С. Т. Аксакову: «Ради самого Христа, прошу вас теперь уже не из дружбы, но из милосердия <...> взойти в мое положение, потому что душа моя изныла, как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным <...> Друг мой! я изнемог...»

Еще совсем недавно Гоголь уверял, что он спокоен и тверд, что все главные тревожения позади — и вот вновь приступ душевной муки, вопль страданий... И вновь звучит мысль об отречении «надолго», если не навсегда: «Друг мой, тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нужно *надолго* отказаться от пера во всех отношениях и от всего удалиться» (там же, 347, 348). «Во всех отношениях» — значит и от публицистики, и от попыток объясниться в личном общении, в письмах, но в то же время и от художественного творчества.

Но колебания гоголевского настроения поразительны! Одновременно с этим решением, *в тот же самый день* (10 июля н. ст.) он осведомляется у Плетнева, куда послать ему «Авторскую исповедь», которую следует напечатать «в виде отдельной небольшой книжки», — а ведь в этом произведении, мы помним, Гоголь проводил мысль о последовательности своего развития и верности писательскому поприщу.

В это же время продолжились объяснения Гоголя с Щепкиным по поводу «Развязки Ревизора», эти объяснения начались годом раньше, когда писатель словно стремился смягчить учительный пафос этого произведения. Тогда Гоголь ставил своею целью избежать карикатуры, «личностей» в трактовке и исполнении «Развязки Ревизора»; теперь — отграничить «Развязку Ревизора» от самого «Ревизора».

«...Прочтя ваше окончание “Ревизора”, — пишет М. С. Щепкин Гоголю 22 мая, — я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев “Ревизора”, как живых людей <...> Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие живые люди <...> После меня переделывайте хотя в козлов, а до тех пор я не уступлю вам даже Держиморды, потому что и он мне дорог» (Переписка, т. 1, с. 468–469). На это Гоголь отвечает (около 10 июля н. ст.): «У меня не то в виду. “Ревизор” — “Ревизором”, а примененье к самому себе есть непременно вещь, которое должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не “Ревизора”, но которое приличней ему сделать <по> поводу “Ревизора”» (XIII, 348). Словом, делать выводы — прерогатива зрителя, а сам по себе текст произведения все-таки суверенен и не изменен. «Теперь осталось все при своем. И овцы целы и волки сыты. Аллегорья аллегор<ией>, а “Ревизор” — “Ревизором”» (там же).

И тут же Гоголь дает Щепкину замечательный урок эстетической нюансировки текста на примере роли Городничего, которую исполняет Щепкин: «Начало первого акта несколько у вас холодно. Не позабудьте также: у городничего есть некоторое ироническое выражение в минуты самой досады, как, например, в словах: “Так уж, видно, нужно. До сих пор подбирались к другим городам; теперь пришла очередь и к нашему”. Во втором акте, в разговоре с Хлестаковым, следует гораздо больше игры в лице. Тут есть совершенно различные выраженья сарказма» (там же, 349).

Последние дни июля — Гоголь готовится к отъезду из Франкфурта; путь его лежал через Эмс в Остенде.

В 20-х числах во Франкфурт, по дороге в Эмс, заглянул А. С. Хомяков с женою. «Здесь мы нашли Жуковского, который также будет с семьей в Эмсе, — сообщает Хомякова П. М. Бестужевой, — а теперь у нас сидит Гоголь» (ЛН. Т. 58. С. 703). Гоголь давно питал симпатию к Хомяковым, особенно к Екатерине Михайловне, сестре Н. М. Языкова. Теперь после смерти поэта она стала для Гоголя особенно близка.

По всей вероятности, виделся Гоголь и с Андреем Карамзиным, который вместе с женою, знаменитой красавицей Авророй, баронессой, урожденной Шернваль фон Валлен, заехал к Жуковскому как раз перед отъездом последнего в Эмс — об этом Жуковский известил Вяземского 3/15 июля (см.: РА. 1866. С. 1074).

А вот возможная встреча, которая, к сожалению, не осуществилась: прибывший во Франкфурт Ф. И. Тютчев сообщает своей жене Эрнестине Федоровне (письмо от 22 июля н. ст. из Баден-Бадена): «Жуковский и Гоголь, для которых я привез письма и посылки, уехали в самый день моего приезда» (Тютчев, т. 2, с. 134).

В Эмсе Гоголь провел несколько дней до 24 июля, вместе с четой Жуковских и Хомяковых, в спокойном душевном расположении, — насколько он вообще мог быть спокоен. «Знаешь ли, с кем я живу под одною кровлею в Эмсе? — писал Жуковский в упомянутом письме Вяземскому, — с Хомяковым. Он здесь с женою, которая лечит Эмсом свою больную грудь <...> Хомяков — живая, разнообразная, поэтическая библиотека, добродушный, приятный собеседник <...> К нам подъехал Гоголь, и мы на досуге триумвиратуем» (РА. 1866. С. 1074). Со слов Хомяковой, о пребывании Гоголя в Эмсе пишет и Е. А. Свербеева (17 августа, Шевыреву): «...Гоголь был у Хомяковых в Эмсе, где жил с своей семьей и Жуковский. Гоголь, пишет Катерина Михайловна, похудел, но здоров» (ЛН. Т. 58. С. 703).

Триумвиратствовать Жуковскому, Гоголю и Хомякову пришлось недолго: 13 июля н. ст. Эмс покинули Хомяковы, а вслед за ними уехал в Остенде Гоголь.

## НА БЕРЕГУ СЕВЕРНОГО МОРЯ

Гоголь прибыл в Остенде около 24 июля н. ст., поселившись по адресу Rue de Capucins, № 16; уехал же после 24 сентября. В течение почти двухмесячного пребывания на берегу Северного моря он надеялся окрепнуть и окончательно оправиться от душевных невзгод и потрясений.

Поначалу вышло не так — Гоголь совершенно «расклеился в здорovy». Ощущения примерно такие же, какие испытывал несколькими

месяцами раньше в Париже; поэтому он счел за лучшее обратиться (через посредство А. П. Толстого) к лечившему его тамошнему доктору Грубб-би, обстоятельно описав симптомы недомогания: «В месте, где сердце, урчанье и бурлыканье, как в животе; во рту точно как бы подымаются крошки съеденного хлеба, так что нужно беспрестанно глотать, — словом, как бы пища не сварилась. Слабость заметная во всем теле...» и т.д. (XIII, 352). Доктор Грубб-би выслал какой-то белый порошок и потребовал более подробных объяснений самочувствия, на что пациент, т.е. Гоголь, ответил запиской из семи пунктов. Так или иначе, но к началу августа «как будто стало несколько лучше» и Гоголь мог внимательнее приглядеться к окружению и к окружающим.

Остенде, портовый и курортный город, был хорошо знаком Гоголю: он бывал здесь уже дважды: летом и ранней осенью 1844 года и совсем недавно, летом и осенью 1846-го. Помимо лечения, это место привлекало Гоголя тем, что сюда съезжалось много русских; писатель же, после неудачи его последней книги, чувствовал потребность запастись новыми сведениями, особенно от тех, «которые поумнее и могли бы мне сообщить многое интересное». «Прежняя моя дикость исчезла, и мне теперь не трудно разговариваться» (там же, 270), — уверял Гоголь А. П. Толстого.

На этот раз русских в Остенде было меньше, но среди них находились лица, еще не знакомые Гоголю, например некто Глебов-Стрешнев, по словам писателя, «очень добрый человек» (там же, 365) — возможно, это Николай Петрович Глебов-Стрешнев, отставной конно-пионер, разбитый параличом (Ден, с. 76). Он был знаком А. П. Толстому и находился в каких-то родственных отношениях с Виельгорскими.

Впервые, видимо, встретился Гоголь и с княгиней Ольгой Карловной Сен-При Долгоруковой (ум. 1851). Она приходилась родственницей А. П. Толстому, но для Гоголя не меньший интерес могло представить то обстоятельство, что муж Ольги Карловны, Василий Андреевич Долгоруков (1804—1868), полковник и флигель-адъютант (впоследствии военный министр и начальник III отделения) был знаком с Пушкиным.

Однако встречи Гоголя с Глебовым-Стрешневым или Сен-При Долгоруковой были мимолетными и случайными. Уклад жизни в Остенде предоставлял возможность ненавязчивого общения, возможность «почти никого не видеть, если захотите», чему Гоголь дает объяснение в свойственном ему стиле: «Несмотря на маленькое место, занимаемое городом, люди никак не встречаются и не сталкиваются, именно потому, что по причине морского ветра всяк отворачивает свое лицо и прижмуривает глаза» (там же, 365).

С тем большим нетерпением ждет Гоголь приезда в Остенде близких людей.

Еще будучи в Неаполе, Гоголь заманивал в Остенде Смирнову-Росет, чтобы потом опять вернуться в Неаполь, а оттуда уже вместе — в Иерусалим. Приглашал в Остенде и Плетнева с перспективой последующего совместного путешествия в Лондон. Ни Смирнова, ни Плетнев в Остенде не приехали, зато не надолго приехал А. П. Толстой — 24 сентября н. ст. Гоголь сообщил, что виделся с ним один день «во время проезда его в Англию для совещанья с зубными докторами» (там же, 391).

На более длительное время приехали в Остенде Хомяков и братья Мухановы.

А. С. Хомяков вместе с женою, сыном Дмитрием и дочерью Марией прибыли в Остенде, согласно штампу в заграничном паспорте, 25 июля н. ст. (Хомяков, 1988, с. 430; комментарий Б. Ф. Егорова). 6 августа н. ст. Гоголь уведомляет А. П. Толстого: «Хомяков приехал <...> Мухановых и Тютчева еще нет» (XIII, 356; обоснование даты письма — с. 522).

Мухановы прибыли спустя несколько дней; 4(16) августа Вл. Муханов сообщал сестрам: «...Тотчас по приезде явился к нам Гоголь и виделись мы с Хомяковым. Несколько дней, проведенных с последним, были совершенным праздником. Какое сокровище знаний и остроумие, и вместе какая доброта, какое всегда ровное расположение! Правду говорит Гоголь, что этому человеку не с чем в себе бороться, нечего стараться побеждать в себе» (Миловский, с. 15).

О содержании бесед, которые велись во время встреч с Хомяковым, дает представление фраза из гоголевского письма к А. П. Толстому от 6 августа н. ст.: «О тульском дворянстве говорит он [Хомяков], что тульские помещики сами изъявили желание составить комитет» (XIII, 356). Гоголь обнаружил интерес к вопросу, которого почти не коснулся в «Выбранных местах...» — об отмене крепостного права и способах подготовки этой реформы. Возможно, это произошло не без влияния Хомякова; ведь Хомяков, в отличие от И. В. Киреевского или К. С. Аксакова, был сторонником скорейшей отмены крепостного права. «По его словам, безнравственность является главным злом рабства. Рабовладелец всегда отличается большей безнравственностью, чем раб: христианин может быть рабом, но не должен быть рабовладельцем» (Лосский, с. 57).

Конкретно же тульское дело состояло в следующем. Еще в начале 1844 года группа тульских помещиков (П. Мяснов, В. Муравьев, гр. Н. Н. Татищев и др.) заявили местному губернатору, что каждый из них готов передать в вечную собственность своим крестьянам и дворовым по одной десяatine земли на ревизскую душу. За это крестьяне, кроме подушной подати, должны были вносить по 3 рубля серебром с каждой десятины, и эти деньги пошли бы на погашение скопившейся задолженности помещиков в государственных кредитных учреждениях. «Таким образом, проект, повидимому, так легко разрешавший крестьянский вопрос, был составлен исключительно в интересах помещиков»

(Семевский, с. 241). Впрочем, идея эта не получила развития — согласно циркулировавшим в обществе слухам, ввиду сопротивления правительства (эту версию разделял и Белинский: «...движение тульского дворянства <...> было остановлено правительством с высокомерным презрением» — Белинский, т. 12, с. 426); согласно же объяснению историка крестьянского вопроса, остановлено ввиду того, что не было получено необходимого согласия на это самих крестьян (Семевский, с. 242).

Однако спустя несколько лет тульское дело вновь оказалось в центре внимания: в начале 1847 года тульский губернатор по повелению самого Николая I запросил инициаторов проекта, продолжают ли они его поддерживать, а в апреле того же года, получив их подтверждение, «объявил ходатайствовавшим о том лицам волю государя, чтобы они ограничились составлением проекта освобождения крестьян в своих собственных имениях» (там же, с. 243). Несомненно, именно эта стадия возобновившегося дела оказалась предметом внимания Гоголя.

Другая тема бесед подсказывалась предстоящей поездкой Хомякова в Англию; английская же проблематика естественно связывалась с комплексом религиозных идей. В этой области Хомяков имел репутацию глубокого и эрудированного интерпретатора, — мнение, которое разделял и Гоголь, познакомившийся с новой его работой, «Опытom катихизического изложения учения о церкви» (согласно замечанию издателя сочинений Хомякова, «первоначально автор выдавал свое произведение за найденную где-то древнюю рукопись»).

Как одну из важнейших новостей Гоголь сообщал А. П. Толстому 8 августа н. ст., что Хомяков «привез с собой катихизис /так!/, отысканный им на греческом языке в рукописи, и перевод его на русский, тоже в рукописи. Катихизис необыкновенно замечательный. Еще нигде не была доселе так отчетливо и ясно определена церковь, ее границы, ее пределы. Все в таком виде и в такой логической последовательности, что может сильно подействовать на немцев и англичан» (XIII, 359)<sup>1</sup>. Рассуждения Хомякова оказались чрезвычайно близки и гоголевским религиозным «определениям», фиксируя и постоянное, давно сложившееся в них и новое, только складывающееся.

Исходный тезис Хомякова — «Церковь одна» (именно так озаглавлен его трактат в рукописи). «Церковь называется *единою, святою, соборною* (кафолическою и вселенскою), *апостольскою*; потому что она едина и свята, потому что она принадлежит всему миру, а не какой-нибудь местности; потому что ею светятся все человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ, или одна страна; потому что сущность ее состоит в согласии и в единстве духа и жизни всех ее членов, по всей земле, признающих

---

<sup>1</sup> Чуть позже, в декабре 1847 г., рукопись труда Хомякова получил и Жуковский (см.: Жуковский В. А. Сочинения. 7-е изд. СПб., 1878. Т. 6. С. 640–641).



ее; потому, наконец, что в писании и учении апостольском содержится вся полнота ее веры, ее упования и ее любви» (Хомяков, 1900, т. 2, с. 5–6; курсив в оригинале). Все эти рассуждения, включая и формулу «церковь одна», мог бы повторить и Гоголь, — собственно он и говорил подобное десятилетием ранее, объясняя матери причину, по которой нет оснований «переменять религию» — православную на католическую (см.: Труды и дни, с. 507). Но тут же Гоголь добавлял, касаясь соотношения католической и православной конфессий: «И та другая истинна». «Катихизису» Хомякова, да и теперешним взглядам Гоголя эта мысль уже не соответствует.

Вначале — цитата из «Опыта катихизического изложения...»: «По воле Божией св. Церковь, после отпадения многих расколов и Римского патриаршества, сохранилась в епархиях /так!/ и в патриаршествах Греческих, и только те общины могут признать себя вполне Христианскими, которые сохраняют единство с восточными патриаршествами или вступают в их единство» (Хомяков, 1900, т. 2, с. 26). И по мысли Гоголя, «вполне христианским» осталось только православие. «Западная церковь, — говорится в “Выбранных местах...”», — сузила взгляд свой на жизнь и мир и не может обхватить их. Полный и всесторонний взгляд на жизнь остался на ее восточной половине, видимо сбереженной для позднейшего и полнейшего образования человека» (VIII, 285). К этому присоединяется еще и осуждение Гоголем театральности, аффектированности самой манеры поведения: «миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступать так перед народ, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, <...> все бы <...> в один голос заговорило бы к нему: Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей церкви!» (там же, 246).

И вместе с тем Гоголь сохранил ощущение терпимости, сегодня сказали бы — толерантности, в отношении «западной церкви». Само уподобление в «Выбранных местах...» западной церкви Марфе, а восточной — Марии говорит о многом: Мария, «отложивши все попеченья о земном», впитывала в себя высшую премудрость; Марфа же, «гостеприимно» хлопотавшая «около людей», передавала им «еще не взвешенные разумом слова господни», — но при этом они оставались сестрами и у каждой была своя «часть», и невольно напрашивалась мысль об их будущем единстве. Все это вновь заставляет провести параллель к Хомякову. «Хомяков рассматривал православие как одну истинную церковь, но ни в коей мере не был фанатиком. Он не понимал *extra ecclesiam nulla salus* (нет спасения вне церкви) в том смысле, что католик, протестант, иудей, буддист и так далее обречен на проклятие» (Лосский, с. 53).

Именно в силу терпимости и тактичности Хомякова Гоголь ждет успеха от его просветительской деятельности: «Хомяков может, по моему мнению, больше, чем кто-нибудь другой, поговорить с англичанами тол-

ково о православии. Он в продолжении последних пяти лет, как мы с ним не видались, имел множество новых диспутов с раскольниками в разных местах и везде славно побеждал, так что имя его пронеслось по Руси» (XIII, 352).

Неудивительно, что о способности Хомякова говорить с оппонентами Гоголь пишет не кому другому, как А. П. Толстому, которого он еще в начале 1845 года, будучи в Париже, просил «не обращать никого в православие» и внимательно выслушивать другую сторону (см.: Труды и дни, с. 712). И эпизод двухлетней давности и теперешнее гоголевское сообщение Толстому находится в русле той критики односторонности, которая велась в «Выбранных местах...»: «Друг мой, — обращался Гоголь к Толстому, — храни вас Бог от односторонности: с нею всюду человек произведет зло <...> Односторонний человек не может быть истинным христианином: он может быть только фанатиком» (VIII, 277).

Кстати, перспективу плодотворной деятельности Хомякова на британских островах (без уточнения ее характера) отмечал и В. Муханов: Хомяков из Остенде «пустился в Англию, где предстоит обширное поле его любознательности» (Миловский, с. 15).

Семейство Хомяковых отплыло в Англию 12 августа н. ст. на пароходе «Тритон», лучшем «из пароходов, содержащих прямое сообщение Остенде с Лондоном»; «Гоголь нас проводил и пожал нам руку на прощанье» (Хомяков, 1988, с. 168). А по словам Гоголя (из письма Л. К. Вильегорской от 14 августа н. ст.), он и сам «чуть было не уехал в Лондон с Хомяковым» и жалеет, «что этого не сделал» (XIII, 364) — так интересовала его в это время Англия и все что с нею связано...

Хомяков пробыл в Англии около месяца и вернулся в Остенде уже на пути в Россию. «Сейчас только проводил Хомякова, — сообщает Гоголь Шевыреву 8 сентября н. ст. — Как мне приятно было с ним встретиться! Приезд его был точно Божий подарок <...> Я не успел с ним наговориться и только по отъезде его почувствовал, что о многом не расспросил его» (там же, 386). Конечно же, среди тем разговора снова была Англия, теперь уже с опорой на личные впечатления Хомякова. Впрочем, о значении для Гоголя английской темы следует поговорить специально.

## АНГЛИЙСКИЕ МОТИВЫ

**Д**ля русских Англия не была в то время таким же местом паломничества, как Франция, немецкие земли или Италия, и все же в этой стране уже успели побывать многие из гоголевского окружения. Еще до Хомякова Англию четырежды посещал А. И. Тургенев — в 1826, 1828–1829, 1831 и 1835 годах<sup>1</sup>. Путешествуя по

---

<sup>1</sup> См. составленную М. И. Гиллельсоном «Краткую хронологию странствий А. И. Тургенева» (Тургенев, с. 505).

западноевропейским странам в 1838–1839 годах, в Англию заезжал П. А. Вяземский. С 1830 года в Лондоне жил Ф. И. Иордан, занимаясь гравированием (к 1834 г. он перебрался в Рим). В середине 1843 года Англию посетил П. В. Анненков, причем о своей поездке он известил Гоголя: «...Возвращаюсь восвояси через Лондон» (Материалы, т. 1, с. 127), — писал он из Парижа 11 мая 1843 года.

Вероятно, в разговорах Гоголя с ними возникала и тема Англии; но не меньшее, если не большее значение для него имел тот образ этой страны, который формировался в русской печати.

У истоков облика Англии в новой русской литературе стоит Н. М. Карамзин с его «Письмами русского путешественника» (1791–1792; полное изд. — 1801). Гоголь, как известно, проявлял постоянный интерес к творчеству Карамзина; скорее всего он не прошел мимо и соответствующих глав названной книги.

В этих главах была задана преобладающая идея английских описаний и сцен — уравновешенность, срединность, отсутствие резких контрастов и переходов. «Какая розница /так!/  
с Парижем! Там огромность, здесь простота с удивительною чистотою; там роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь единообразие общего достатка; там палаты, из которых ползут бледные люди в раздранных рубищах, здесь из маленьких кирпичных домиков выходят здоровые и довольные, с благородным и спокойным видом — лорд и ремесленник, чисто одетые, почти без всякого различия...» (Карамзин, т. 1, с. 435). Выбор Франции в качестве антитезы не случаен: на фоне революционных потрясений и резкого слома государственной машины Англия (как казалось Карамзину) открывала перспективу постепенности развития, гармонизации общественных отношений (потом, мы знаем, эта идея найдет отражение в гоголевских «Выбранных местах...») и правовой упорядоченности.

В связи с этим Карамзин не упускает возможности отметить преимущества английской юридической системы, суда присяжных, — обстоятельство, которое затем привлечет к себе внимание других русских путешественников. «...Друзья мои, отдайте пальму английским законодателям, которые умели жестокое правосудие смягчить человеколюбием, не забыли ничего для спасения невинности и не боялись излишних предосторожностей» (там же, с. 445). И еще: «В Англии никогда не возьмут в тюрьму человека по вероятности, что он вор; надобно поймав его на деле и представить свидетелей; иначе вам же беда, если приведете его без неоспоримых законных доказательств» (там же, с. 471). Тут уже не Франция, а Россия выступала в качестве подразумеваемой антитезы...

Что касается А. И. Тургенева, то ему довелось быть в Англии уже в другую эпоху, — когда разразился общественный кризис 1825 года, возникла безработица, происходили выступления рабочих. Но при всем том

бросалось в глаза — и было отмечено русским путешественником — относительное равенство сословий и лиц: «Бродил по городу, был в Гайд-парке и видел тысячи прекрасных экипажей и народ — и солнце! <...> Все одеты хорошо, и бедности ни в чем и ни в ком не заметно. Говорят, что император А<лександр> в Лондоне спросил: “Где же народ?” В самом деле его здесь нет, в русском смысле этого слова; но в смысле английском, он везде — и одно самодержавие мешает видеть его...» (Тургенев, с. 404). Тут снова Россия выступает в качестве антитезы, но уже не подразумеваемой, а явной.

Англия заняла существенное место и в размышлениях М. М. Сперанского о принципах разделения властей и функционирования самодержавной власти. Реально эта власть кажется абсолютной, но на деле она ограничена или должна быть ограничена традициями, обычаями и т.д. Ссылаясь на Дэвида Юма, Сперанский говорил, что своей прочностью английская конституция обязана традициям и определенному духовному строю английского народа.

Апогей воодушевления, можно сказать, восторга, переживаемого русскими по поводу Англии, — вырвавшаяся у П. А. Вяземского реплика: страна эта, писал он жене весной 1839 года, представляет собою «рай человеческий, рай рукотворный, умотворный, как Италия — рай небесный. Только эти две страны и стоят чего-нибудь, а все прочее хоть потопом залей» (ЛН. Т. 31–32. С. 119).

В стороне от наметившейся тенденции — образ Англии, рисуемый В. Г. Белинским. В этом образе зафиксированы резкие противоречия: «национальный эгоизм» и невольное служение благу всего человечества («...распространяя свои завоевания на всем земном шаре, она по всему лицу его разносит семена европейской цивилизации»); передовые «общественные учреждения» (возможно, Белинский подразумевал парламент и тот же суд присяжных) и приверженность «феодалным формам», «букве закона», «потерявшего смысл и давно замененного другим»; далее — развитие «индивидуальной свободы» и стеснение свободы «общественной»; наконец, «чудовищное богатство» — на одном полюсе и «чудовищная нищета» — на другом. По Белинскому, все эти противоречия не смягчаются, не уравниваются, но, напротив, чреваты непоправимыми коллизиями: «Нигде так не прочны общественные основы, как в Англии, и нигде, как в ней же, не находятся они в такой опасности ежеминутно разрушиться, подобно чересчур крепко натянутым струнам инструмента, ежеминутно готовым лопнуть» (Белинский, т. 5, с. 644, 665).

В чем Белинский совпадал с писавшими об Англии другими русскими, так это в высокой оценке английской литературы и, в связи с этим, характерном перечне имен, — в наше время этот перечень назвали бы «обоймой»: Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт; к ним присоеди-

нялся еще не названный Диккенс: «Англия — отечество юмора, который теперь более или менее привился ко всем европейским литературам...» (там же, с. 654). Далее, как мы увидим, в подобных контекстах обычно возникало имя Гоголя...

Точка зрения Белинского не могла быть известна Гоголю (статья, условно названная «Общее значение слова литература», откуда приведены цитаты, была напечатана лишь в 1862 г.). Зато он хорошо был знаком с концепциями славянофилов — И. В. Киреевского и А. С. Хомякова.

Киреевский посвятил положению Англии несколько страниц своего «Обозрения современного состояния литературы» (М. 1845. Ч. 1. № 1–3), встреченного Гоголем с большим интересом (см.: XII, 481–482). Хотя главная идея рассуждений Киреевского — интеграция Англии в «общеевропейскую образованность» и, следовательно, сглаживание специфических отличий, но он также отмечает гармонизацию общественной и религиозной жизни. Особенно это видно на примере тори, которые перестают быть ортодоксальными консерваторами. «Для пользы аристократии хотят они живого сближения и сочувствия *всех* классов; для пользы церкви англиканской желают ее уравнивания в правах с церковью ирландскою и другими разномыслящими <...> Одним словом, воззрение этой партии тори очевидно разрушает всю особенность английского торизма...» (Киреевский, с. 184; курсив в оригинале)<sup>1</sup>.

Еще больше внимания современному положению Англии уделил А. С. Хомяков — в «Письме в Петербург» (М. 1845. № 2) и в статье «Мнение иностранцев о России» (там же, № 4). Хомяков продолжил линию восхваления Англии (это «величайшая и бесспорно первая во всех отношениях из держав Запада» — Хомяков, 1988, с. 88), но уже с установкой не на антитезу России (как у А. И. Тургенева), а на сходство.

Таков, в частности, его подход к суду присяжных, в свое время обратившему на себя внимание Карамзина. Похвала Хомякова этому институту заострена в славянофильском духе, заострена двояко: во-первых, суд присяжных реализует начало истинной справедливости в противовес господствующей во многих европейских странах справедливости формальной и внешней («...бесконечная разница между большинством — выражением грубо вещественного превосходства, и единодушием — выражением высоконравственного единства...»); во-вторых, само происхождение этого института, правда в предположительной форме, выводится из славянского мира («...Англия приняла суд присяжных, как известно, от другого (кажется, славянского) начала...» — там же, с. 80, 81). В результате в суде присяжных Хомякову видится яв-

---

<sup>1</sup> Основательная характеристика взглядов И. В. Киреевского на западноевропейские страны, в частности Англию, дана в монографии: Müller Eberhard. Russische Intellekt in europäischer Krise. Ivan V. Kireevskij. (1806–1856). Köln, 1966. S. 216 и далее.

ление, родственное русской общине, — как известно, краеугольному камню славянофильского учения. Да и не только в суде присяжных отмечает он близкое и родственное, но и во всей внутренней жизни Англии, «у которой есть еще предание, поэзия, святость домашнего быта, теплота сердца» (там же, с. 88) — все то что изжито или изживается европейским рационализмом и утилитаризмом и сохранилось в своих основах лишь в России.

Посещение Британских островов укрепило Хомякова в этом убеждении, что нашло отражение в его статье «Англия» (М. 1848. № 7). Так, Лондон напомнил ему Москву своим разумным консерватизмом. «В обоих жизнь историческая еще цела и крепка». «Для обоих еще много впереди». А празднование воскресения в Лондоне? «...Два миллиона людей самых промышленных, самых деятельных в целом свете остановили свои занятия, перервали свои забавы, и все это из покорности одной высокой мысли». И вновь вспомнилось свое, родное: «Разве первый день пасхи в России не соблюдается так же строго, как воскресенье в Англии?» (Хомяков, 1988, с. 170, 171). Все это перекликается с безусловно известными Хомякову гоголевскими рассуждениями (в «Выбранных местах...») о значении для русского человека праздника Пасхи.

Все же рисуемая Хомяковым картина Англии не лишена оттенка пессимизма, обусловленного изменениями в стране религиозной жизни. Племена, населявшие Британские острова, приняли христианство «в его полной чистоте и содержали его с ревностью и любовью» — этим они напоминают Россию; но затем проявилось влияние «римского католицизма», который, в свою очередь, вызвал к жизни протестантство с его скептицизмом и отвержением авторитетов. Одновременно нарушается и равновесие между «торизмом» и «вигизмом», консервативными и либеральными элементами. Словом, — говорит Хомяков, — «я взшел на английский берег с веселым изумлением, я оставил его с грустною любовью» (там же, с. 195). Но есть и утешение, питаемое надеждой на возрождение плодотворных начал, и еще более — ощущением преемственности России по отношению к Англии: тут Хомяков вспоминает и «дух единомыслия», обнаруживаемый русскими в годину бедствий, и «домашнюю святыню семьи», и высоту православия, и, конечно, общину — «деревенский мир с его единодушною сходкою, с его судом по обычаю, совести и правде [внутренней]» (там же, с. 194; ср. также: Лосский, с. 58–59).

Все сказанное объясняет мотивы интереса к Англии со стороны Гоголя и восстанавливает контекст его суждений.

Еще в статье «О сословиях в государстве», примыкающей к «Выбранным местам...», Гоголь, говоря о подотчетности полиции гражданам, приводил в пример Англию: «Лучшая полиция, по признанию всех, в

Англии и то потому, что этим занимается город, выбирая для этого чиновника и платя ему жалованье от себя. Правитель города должен требовать от магистрата, чтобы сделано было так же точно; а магистрат уже сам размыслит, как это сделать так, чтобы тягость упала на все сословие» (VIII, 494). А затем, уже в письмах из Остенде (от 7 и 20 сентября н. ст.), Гоголь коснулся общей роли Англии в истории и в современном мире.

Адресат и одновременно оппонент Гоголя — П. В. Анненков. Гоголю, по прежней беседе с ним в Париже в мае предыдущего года, было известно, что тот считает источником прогресса Францию, противопоставляя ей Англию. Тогда, как мы помним, Гоголь уклонился от спора, теперь же смолчать по поводу столь жизненно важной темы просто не смог. Отмечая «неполноту» и «упущенья» во взглядах Анненкова, Гоголь указал и на причину: «...Вы сделали представителями всего для себя Париж и оставили совершенно в стороне Англию, где важная сторона современного дела. По моему разумению, вам почти необходимо туда съездить, и не то чтобы взглянуть только на Лондон, но именно прожить в Англии, затем избрать в предмет наблюдений не один какой-нибудь класс *пролетариев*, изученье которого стало теперь модным, но взглянуть на все классы, не выключая никого из них. Несмотря на чудовищное совмещение многих крайностей <...> местами является такое разумное слитие того, что доставила человеку высшая *гражданственность*, с тем, что составляет первообразную *патриархальность*...» (XIII, 384; курсив в оригинале).

Гоголь, конечно, помнил, что Анненков *был* в Англии, но, с его точки зрения, был, что называется наездом, не вникнув в жизнь страны и народа: отсюда гоголевский совет «именно *прожить* в Англии». Вместе с тем впечатления, оставшиеся у Анненкова от его поездки, не являлись столь уж одноцветными и поверхностными: он, например, отмечал и социальные контрасты («...Нищенство и нищета страшные»), и развитие промышленности («...все предприятия — гиганты»), и ухоженность, красоту, удобство («Просто всю Англию обратили в сад и сделали из нее изумрудный остров...») (Анненков, 1983, II, с. 450, 449<sup>1</sup>). Но, видимо, в общении с Гоголем Анненков сделал акцент на *сравнительном* значении Англии и вывел заключение в пользу Франции, что и вызвало возражения Николая Васильевича.

Эти возражения целиком находятся в русле отмеченного выше понимания Англии, полнее всего сформулированного Хомяковым, — тут и примирение крайностей, и соединение («слитие») традиционного с

---

<sup>1</sup> Приведенные цитаты взяты мною из исследования И. Н. Конобеевской «Парижская трилогия и ее автор», опубликованного в качестве сопроводительной статьи к указанному изданию «Парижских писем». В целом английские записи Анненкова, отмечает Конобеевская, «едва различимы» и еще не прочитаны (Анненков, 1983, II, с. 449).

современными гражданскими установлениями (не исключено, что подразумевается тот же суд присяжных) — словом, все то, что помогает не впасть в односторонность и обуславливает естественность и органичность развития. И гоголевский совет Анненкову съездить в Англию дан не без влияния только что совершенного и, по мнению Гоголя, плодотворного английского путешествия Хомякова и в свете собственных аналогичных, пусть и не сбывшихся, планов.

Знаменателен и гоголевский совет Анненкову — не замыкаться на изучении одного класса «пролетариев». Эту тему Гоголь поднимал в разговоре с Анненковым еще годом раньше в Бамберге, говоря о своеобразии русского мира и об отличии русского крестьянина от западного пролетария. Теперь появились новые обстоятельства, обострившие интерес к этому вопросу, — среди них прежде всего публикация в «Отечественных записках» за 1847 год (№ 1–4) цикла статей В. А. Милютина «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции». Эти статьи молодого талантливого экономиста обратили на себя широкое внимание; по крайней мере с двумя из них к этому времени мог познакомиться и Гоголь (24 апреля н. ст. 1847 г. он сообщил А. О. Россету, что получил два номера «Отечественных записок», в которых соответственно были опубликованы первая и вторая статья, — XIII, 289).

Милютин писал о конфликте интересов в западноевропейских странах, в частности в Англии: «Интересы капиталистов не только не тождественны с интересами работников, но даже противоположны им» (171), — и поэтому внешнее впечатление у наблюдателя обманчиво: «...Богатство, благосостояние и блеск <...> составляют одну только светлую и блестящую сторону современного быта, за которою кроется другая сторона — горестная, мрачная и безотрадная». «...Кроется язва нищеты и страданий, язва страшная и глубокая». «...Эта нищета и эти страдания постоянно тяготеют над рабочими классами <...> Никакая предусмотрительность, никакая деятельность, никакие добродетели не могут спасти их от этого рокового и неотвратимого жребия!» (160, 161). Картины, нарисованные Милютиным, произвели сильное впечатление на русское общество и, в частности, подготовили мнение Белинского, которое оформилось у него во время заграничного путешествия. «Что за нищета в Германии... — напишет он из Дрездена 7/19 июля 1847 года, — только здесь я понял ужасное значение слов *пауперизм* и *пролетариат*...» (Белинский, т. 12, с. 383; курсив в оригинале).

Надо сказать, что оценки Милютина современного развития капиталистической Англии (как и Франции) не были однозначно негативными и пессимистическими. Он, например, с похвалой отмечал, что англичане сами не скрывают своих пороков и анализируют их («Нет! не гниют те общества, которые рождают из себя беспрестанно и последовательно новые элементы жизни <...> Гнил только тот, кто вовсе не при-



мечает своей гнилости» — с. 162). Милютин, далее, вовсе не отвергал технический прогресс, считая, что зло проистекает не от машин, а от отношения «работника и капиталиста», отношения, которое должно «основываться на началах взаимной доверенности, тесной связи и справедливости» (там же, с. 211). В этом пункте Милютин был близок Гоголю, говорившему о сотрудничестве и «слитии» разных сил. Однако Гоголю не принимал чрезмерного сосредоточения внимания на «пролетариате», причем, возможно, этот акцент исходил именно от Анненкова.

Что отвечал Анненков, видно из второго к нему гоголевского письма (от 20 сентября н. ст.): Анненков упорствовал, повторяя, что в Англии «нет никакой замечательной борьбы и движения, могущих занять человека, наблюдающего успехи строящейся ныне *общественности*» (там же, с. 388; курсив в оригинале). Поэтому Гоголь вновь призывает своего оппонента к многосторонности знания, к осторожности выводов. «Иногда, даже вовсе не имея самоуверенности в познаниях наших, мы выражаемся так, как бы были совершенно уверены в том, что знаем окончательно вещь. В Соединенных штатах действительно вырабатывается теперь видней общественное дело, а потому не мудрено, что глаза наблюдающего большинства обращены теперь туды. Но и земля, в которых заключилось в громадных глыбах то, что уже уничтожено в других землях, и то, что еще и не начиналось в Европе, земля, которая несмотря на дикие крайности, вырабатывает, однако ж, безостановочно Байронов и Диккенсов, не может дремать в такое время, когда раздаются вопросы, так важные для человечества...» (там же, с. 388—389).

Различия в направлении мыслей спорящих об Англии очевидны. Анненков говорит о застое, об отсталости, о непримиримых крайностях. Гоголь: «...*несмотря* на чудовищное совмещение многих крайностей...» и т.д. Акцент перемещен Гоголем в перспективу будущего — на преодоление противоречий и гармонизацию общественных отношений.

Между прочим в гоголевском ответе Анненкову все значительно, начиная с упоминания Соединенных Штатов. Страну эту в качестве положительного примера (в противоположность Англии) упомянул, очевидно, Анненков. Гоголь прислушался к своему оппоненту, но тем самым он внес коррективы и в свои собственные суждения; ведь совсем недавно в «Выбранных местах...» было сказано, что Соединенные Штаты — «мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» (VIII, 253). Ан нет, оказывается и в этой стране заметен прогресс, вырабатывается «общественное дело». Так Гоголь на практике реализует свой принцип: «правду <...> усмотреть может только всесторонний и *полный* гений...» (XIII, 383; курсив в оригинале).

Вообще даже частные и, казалось бы, случайные упоминания, содержащиеся в гоголевских письмах Анненкову, находятся в силовом поле идеи «всесторонности», т.е. расширяются как аргументы в пользу

этой идеи. Он, например, пишет о находившемся в это время в Париже вместе с Анненковым А. И. Герцене: «Я слышал о нем много хорошего. О нем люди *всех партий* отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация в наше время [первоначально было: «время смут и недоразумений»]. Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непременно» (там же, с. 385; курсив в оригинале). Гоголь проявляет интерес к типичному западнику, человеку радикальных убеждений и фактически (с января 1847 г.) политическому эмигранту. В том же русле — другая гоголевская просьба к Анненкову: «Изобразите мне также портрет молодого Тургенева, чтобы я получил о нем понятие как о человеке; как писателя я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем *замечательный* и обещает большую деятельность в будущем» (там же, курсив в оригинале). На самом деле Гоголь, по крайней мере со времени пребывания в Москве в 1841–1842 годах, был знаком с Тургеневым и «как с человеком» (см.: Труды и дни, с. 618), но ему хотелось теперь узнать о нем еще больше, а самое главное — зафиксировать, сделать известным этот свой интерес — интерес к человеку, совсем иной, западнической ориентации. И наконец, совершенная мелочь: «Уведомьте меня, — просит Гоголь Анненкова, — женат ли Белинский или нет; мне кто-то сказывал, что он женился» (там же). Подтекст этого вопроса очевиден: обрел ли Белинский необходимое душевное спокойствие и равновесие, освободился ли от крайностей? (Жениться — остепениться, по известной поговорке).

Следует еще добавить, что гоголевское упоминание Диккенса (наряду с Байроном) в качестве свидетельства пробуждающейся в Англии творческой силы носит определенно личный характер: Гоголь, конечно, хорошо помнил, что в статье Хомякова «Мнение иностранцев о России» (1845) Диккенс фигурировал в таком же контексте, но при этом — с многозначительным уточнением: «Диккенс, *меньшой брат* нашего Гоголя» (Хомяков, 1988, с. 88). Затем эту параллель продолжил Ю. Ф. Самарин, заметивший, что у Гоголя и у Диккенса есть «единство мысли» и «у обоих она не вредит художественности» (рецензия на «Тарантас» В. Соллогуба, опубликованная в «Московском сборнике», 1846 г.). Так что у русского писателя обнаруживалась и родственная близость и к английской литературе и к английскому национальному духу...

К периоду пребывания Гоголя в Остенде приходится и его отклик на «Письма об Испании» В. П. Боткина — этот отклик во многом гармонирует с решением им английского вопроса.

Гоголь к этому времени мог познакомиться лишь с первым письмом цикла (С. 1847. № 3. Отд. 2. С. 32–62; ценз. разр. — 28 февраля), но уже здесь он увидел подтверждение своего тезиса о пользе непредвзятости и всесторонности. «...Автор мысленно занялся вопросом разрешить себе

самому, что такое нынешний испанский человек, и приступил к этому смиренно, не составивши себе заблаговременно никаких убеждений из журналов, не влюбившись в первый выведенный им вывод, как делают люди с горячим темпераментом...» (XIII, 363). Гоголь имеет в виду в первую очередь Белинского, имя которого тут же названо, но отчасти и своего адресата Анненкова, и «многих людей на Москве», т.е. представителей славянофильского лагеря, да и самого себя («случается» и «со мною грешным»). Гоголь требует объективности от людей разных партий и направлений.

Конкретно же внимание Гоголя в «Письмах об Испании» привлекло прежде всего описание народа. «Всего более заставляет верить в будущность Испании редкий ум ее народа, — пишет Боткин. — Когда имеешь дело с людьми из простого народа, совершенно лишенного всякого образования, невольно изумляешься их здравому смыслу, ясному уму, легкости и свободе, с какими они объясняются <...> Среди этих бесчисленных смут, раздирающих Испанию, чувствуешь какую-то необходимость беспрестанно оглядываться назад <...> для того чтоб сохранить веру в народ, который, несмотря на три несчастных века, умел сберечь в себе свои природные качества, столь прекрасные и драгоценные» (Боткин, с. 25). Гоголь почти буквально повторит эту мысль: письма «обнаруживают свежесть сил народа и характер, очень похожий на характер добрых простых народов, образовавшийся, однако ж, в это время смут, которые не допустили воцариться там ни новой гражданственности, ни новой роскоши» (письмо А. П. Толстому от 8 августа н. ст. — XIII, 359). В сравнении со своим же образом Англии Гоголь несколько смещает акцент: там говорилось о единении, «слитии» начал современной гражданственности и исконной патриархальности, здесь — только о верности традиции. Поэтому, — на первый взгляд, неожиданно, — описание испанцев сближается у Гоголя с описанием черкесов, содержащемся в том же письме. Ни жестокость русского правительства, ни, с другой стороны, просвещение («модное просвещение») применительно к черкесам неуместны: «Бог не даром сберегает простоту некоторых народов и хранит в ущельях и горах остатки патриархального быта» (там же, 358).

Интересно, что автор «Писем об Испании» похвалы Гоголя не принял (видимо, она сделалась известна ему со слов Анненкова). «Гоголь клеветлет на меня, — пишет он Анненкову из Москвы, между 24 и 25 августа 1847 года, — мне в голову не приходило задавать себе вопрос о нынешнем «испанском человеке». И в том же письме — уже о самом Гоголе: «Гоголь так погряз в доктринерстве, что уже не может понять всей прелести “бесцельности”» (Боткин, 1984, с. 277; курсив в оригинале). Получается, что автор отказывается от чести быть художником-мыс-

лителем, оставляя за собою лишь право на «бесцельность». Но все дело в том, что оценки Гоголя воспринимались в свете его последней книги и под «доктринерством» подразумевалось прямое подчинение художественного мышления моральным целям. Такой подход был неприемлем ни для Боткина, ни для Анненкова.

О переживаниях Гоголя после «Выбранных мест...», о его мучительных усилиях преодолеть собственную односторонность многие не знали, а кто знал, как тот же Анненков, не во всем ему верили. Перед лицом же гоголевского «доктринерства» и Боткин, и Анненков как автор другого сходного по жанру произведения — «Парижских писем» — готовы были считать свое творчество голым описательством, свободным от всяких «внутренних» задач (см. подробнее: Манн, 1987, с. 162–163). Но, с другой стороны, и для Гоголя вырвавшая внезапно стена непонимания еще более усугубляла его состояние.

Что же касается английской темы, то она еще раз аукнется Гоголю год спустя, в ноябре 1848 года, когда он уже окончательно вернется в Москву. Тогда в окружении писателя возникло подозрение, что тот вновь обдумывает дальнейшее путешествие, и прямодушный Константин Аксаков не смог сдержать своих чувств. «...Услыхав, что он опять собирается за границу, в Англию, — сообщает Константин Сергеевич брату Ивану, — я высказал ему свои ощущения касательно этих бесстыдных отъездов в чужие края, и он, кажется, обиделся» (ЛН. Т. 58. С. 715). Сильная фраза о «бесстыдных отъездах» живописно оттеняет различия позиции Константина Аксакова и, с другой стороны, Хомякова и Гоголя в отношении «чужих краев» и особенно Англии<sup>1</sup>.

Но вернемся к периоду пребывания Гоголя в Остенде в конце лета и начале сентября 1847 года.

Еще весной в Неаполе Гоголь мечтал о встрече с Виельгорскими, особенно с Анной Михайловной, вспоминая о совместном пребывании в Остенде в 1844 году: «О, если бы привел Бог вновь ощутить такую радость, как назад тому три года, — пишет он Анне Михайловне, — когда после долгих моих ожиданий привезла вас вдруг железная дорога и я увидел всех, всех милых сердцу моему» (XIII, 258).

Вначале Виельгорские побывали в Висбадене, где графиня-мать лечила глаза, а Михаил Михайлович — «небольшую ранку на ноге», а к

---

<sup>1</sup> Любопытные подробности к этому противостоянию добавляют воспоминания дочери А. С. Хомякова Марьи Алексеевны: «Раз у него [А. С. Хомякова] знакомые поставили вопрос: кто кем желал бы быть, если бы не был русским: отец, конечно, сказал, что англичанином, другие назвали другие нации, но когда дошла очередь <до> К. С. Аксакова, он сказал, ударив по обыкновению по столу: если бы я не был русским, я бы желал им сделаться» (Хомяковский сборник. Томск, 1998. Т. 1. С. 185; публикация Е. Е. Давыдовой).

1 сентября все трое (помимо названных, еще Анна Михайловна) приехали в Остенде (ЛН. Т. 58. С. 694), где они гуляли и принимали морские ванны. Уже по приезде в Неаполь Гоголь сообщил Смирновой-Россет, что в Остенде «виделся с графиней Виельгорской и ее дочерью, умницей Анной Михайловной. Море им помогло» (письмо от 20 ноября н. ст. — XIII, 396–397).

В связи с пребыванием Виельгорских в Остенде наметился было один небезынтересный сюжет.

Еще в начале 1847 года Гоголь передал с Апраксиным, направлявшимся в Петербург, письмо для Анны Виельгорской, а потом, высказывая пожелание о новом приезде ее в Остенде, как бы невзначай попросил: «Напишите мне, как вам показался Апраксин» (там же, 258).

Вместе с тем Гоголь «насел» и на Апраксина. 8/20 августа из Коксгавена Апраксин сообщает матери, что «получил письмо от Гоголя, который умоляет меня приехать; вчера я решился, и через час отправляюсь в Амстердам, Роттердам и Остенде, куда прибуду через двое суток» (ЛН. Т. 58. С. 694).

Интерес Гоголя к Виктору Владимировичу Апраксину (1822–1898), племяннику А. П. Толстого и сыну его сестры Софьи Петровны Апраксиной, обусловлен был прежде всего некоторыми достоинствами молодого человека. «Он на мои глаза показался совсем непохожим на других молодых людей, исполнен намерений благих и намерен заняться не шутя благосостоянием *истинным* своего огромного имения и людей, ему подвластных» (там же, 258; курсив в оригинале), — писал Гоголь А. М. Виельгорской. И еще раньше — 15 января н. ст., П. А. Плетневу: «...Весьма дельный молодой человек, вовсе не похожий на юношей-шелкоперов. Он глядит на вещи с дельной стороны и, будучи владелец огромного имения, намерен заняться благосостоянием его серьезно» (там же, 174). Интересно, что Гоголь характеризует Апраксина именно так, как и «Выбранные места...», — эпитетом «дельный», поскольку и от своей книги и от своего молодого друга ждет (или ждал, если говорить о книге) непосредственного, практического эффекта. Писатель повторяет эту характеристику и в письме от 21 августа н. ст. А. П. Толстому: «Он очень умный и очень желающий *действовать полезно*; только и думает, чтобы заняться деревней, хозяйством и благосостоянием крестьян» (там же, 368).

И вот тут-то в голове Гоголя возникла некая матримониальная идея — подумалось, «хорошо, если бы он [Апраксин] познакомился и узнал Ан<ну> Михайлов<ну>. Почему знать? Может быть, они понравились друг другу. У Виктора Вл<адимировича> желанье сильное сделаться помещиком и заняться не шутя благоустройством крестьян. В таком случае вряд ли ему во всей России найти где лучшую помощницу,

которая дейс<твует> и рассуждает так умно об этом деле, как я не встречал никого из нашей братьи мужчин» (там же, 359).

Вот, оказывается, в чем дело! Гоголь не просто хотел устроить судьбу молодых, но и реализовать идею, развиваемую им в «Выбранных местах...», особенно в статье «Женщина в свете». Общественно полезное дело осуществляется и мужем и женой; будет свое поприще у мужа, и какое поприще! — что может быть важнее, чем совершенствование и гармонизация сельской жизни, отношений помещика и крепостных; будет свое поприще и у жены — быть вдохновительницей и опорой этих усилий.

Гоголь, как мы знаем, давно уже простирал свое внимание и заботу на жизнь семейных пар: Маша Балабина и Вагнер; Софья Соллогуб (Виельгорская) и В. А. Соллогуб; А. О. Смирнова-Россет и Н. М. Смирнов, — и вот теперь, пока еще гипотетически, Анна Виельгорская и В. В. Апраксин. Во всех случаях женщине надлежало выполнить свое высокое предназначение, осуществить свое поприще, — но обстоятельства и изначальные условия были разные.

Обязанности Вагнера определялись и ограничивались его специальностью как чиновника железнодорожного ведомства; соответственно ограничивалась и сфера влияния Марьи Петровны. Муж Софьи Михайловны, отнюдь не чиновник и не служащий, но талантливый писатель Владимир Соллогуб, был привержен светским удовольствиям и рассеянию; поэтому от жены приходилось прежде всего ждать сдерживающего и облагораживающего влияния в семейной сфере. Крупным чиновником с большим диапазоном функций и действия был Н. М. Смирнов, ставший в 1845 году калужским губернатором, и Гоголь в общении со Александрой Осиповной постоянно имел в виду и те возможности, которые она вследствие своего положения приобретала. Но брачный союз Россет и Смирновой определился задолго до этого, еще в 1832 году и, разумеется, независимо от Гоголя.

А тут писатель волею судьбы оказывался у самого начала «эксперимента», который мог быть проведен в самом что ни на есть чистом виде...

Как реально складывались отношения Апраксина и Анны Виельгорской, сказать трудно, да и времени для общения выпало им немного. Около 10 сентября Виктор Петрович оказался в Лондоне, где он проживал вместе со своим дядей А. П. Толстым, что устанавливается из письма Гоголя к последнему (см.: XIII, 387). А в 20-х числах того же месяца, почти одновременно с Гоголем, Остенде покидали Виельгорские. Так или иначе, но «дело кончилось ничем» (В. Шенрок).

«Но в жизни Гоголя, — замечает тот же гоголевский биограф, — этот эпизод остался не без значения: раз запавшая мысль о пристроить Анны Михайловны, незаметно для него самого, развилась в особую при-

вязанность к ней, которую он принял было впоследствии за любовь» (Шенрок, т. 4, с. 458). Впрочем, об этом «эпизоде» мы поговорим в своем месте<sup>1</sup>.

## **«ДУША МОЯ ИЗНЕМОГЛА...»: СПОР С БЕЛИНСКИМ**

В период пребывания Гоголя во Франкфурте, Эмсе и Остенде летом 1847 года происходит его заочный спор с Белинским, обозначивший кульминацию в истории восприятия и оценки «Выбранных мест...» и стоивший их автору огромных душевных сил и переживаний. Последовательность событий была такой.

Вначале во второй книжке «Современника» появилась обширная рецензия Белинского на «Выбранные места...». Гоголь, возможно, прочел ее еще весной (к 24 апреля н. ст. он получил соответствующий номер журнала — XIII, 289), но откликнулся на нее лишь 20 июня н. ст., по приезде во Франкфурт. Промедление было вызвано не отсутствием реакции со стороны Гоголя, скорее наоборот: рецензия произвела на него более сильное впечатление, чем многие другие отклики. И на то были свои причины.

Прежде всего, это обуславливалось самим тоном и стилем рецензии. Белинский считал ее не совсем удачной ввиду того, что вынужден был оглядываться на цензуру и не мог, «зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству» (Белинский, т. 12, с. 340). Но как раз в этой вынужденной сдержанности заключалась сильная сторона рецензии, родственная тому эффекту, который обычно извлекает сатирик (Салтыков-Щедрин, например) из самого факта эзопова, «рабьего» языка. Эзопового стиля рецензия в себе не заключала (или заключала в небольшой мере), зато в изобилии пользовалась иронией, граничившей с издевкой и призванной обнаружить, с точки зрения критика, внутренние противоречия в гоголевских рассуждениях, выставить «товар лицом». А это воспринималось Гоголем особенно болезненно. Не случайно, что у одного из читателей (Н. П. Огарева) сложилось впечатление, что в ста-

---

<sup>1</sup> Для полноты картины пребывания Гоголя в Остенде следует еще упомянуть о его встрече с М. Д. Нессельроде, женой государственного канцлера К. В. Нессельроде. Как мы знаем, Гоголь встречался с нею еще в начале 1846 г. в Риме и отзывался с большой симпатией (см.: наст. книгу, с. 11). В Остенде Нессельроде привезла для Гоголя журналы и книги (см.: XIII, 395, 397). А вот с Ф. И. Тютчевым увидеться в Остенде не удалось, хотя такая встреча намечалась. 17/29 июля 1847 г. Федор Иванович писал Э. Ф. Тютчевой из Карлсруэ о своей возможной поездке в Остенде, где будут «две наши литературные знаменитости, — Хомяков и Гоголь» (*Тютчев Ф. И.* Соч. М., 1984. Т. 2. С. 137). Однако о приезде Тютчева в Остенде в период пребывания здесь Гоголя ничего не известно (см.: *Чулков Г.* Летопись жизни и творчества Ф. И. М.; Л., 1933. С. 71–72).

тье, собственно, нет «голоса критика», что она сплошь «состоит из выписок, за себя говорящих» (письмо А. И. Герцену от 13 марта <1847 г.> — ЛН. Т. 61. С. 756).

Но «голос критика» в рецензии, конечно, присутствовал, — ну хотя бы в том, как преподносилась и комментировалась мысль Гоголя, что взяточничество чиновников зависит «от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете, большом и малом, и требуют на то денег от мужей». «Мы, однако ж, не остановились на этом, — продолжает критик, — думая <...>, что еще будет лучше, если они вместе с тем навсегда оставят дурную привычку — поутру и вечером пить чай или кофе, а в полдень обедать, равно как другую не менее вредную привычку прикрывать наготу свою чем-нибудь другим, кроме рогожи или самой дешевой парусины <...> Исправление нравов было бы все совершенное...» (Белинский, т. 10, с. 62). Иронию против автора «Выбранных мест...» обращали и другие критики, например Н. Ф. Павлов, а еще раньше О. Сенковский, намекавший на психическую болезнь Гоголя («...я печален — Гомер, знаете, болен!» — БЧ. 1848. Т. 78. Отд. 6. С. 17), но ирония Белинского была тоньше и оттого чувствительнее. Гоголь, разумеется, не мог ее не заметить; в письме к критику (об этом письме ниже) он упомянет об «унижении», «в которое вы хотели меня поставить в виду всех». И, действительно, цель Белинского состояла в публичной демонстрации или, как сегодня сказали бы, *показе*, с его точки зрения, несостоятельности гоголевской книги.

«В виду всех» был провозглашен и связанный с этим вывод: «Тут дело идет только об искусстве, и самое худшее в нем — потеря человека для искусства» (там же, с. 60). Мысль о том, что Гоголь изменяет своему таланту художника, и вытекающие отсюда опасения за судьбу второго тома «Мертвых душ» выражали и другие, ну, например, А. В. Станкевич в письме Н. М. Щепкину (от 20 февраля 1847 г.): «Вряд ли после такой книжицы дождемся чего-нибудь путного от Гоголя» (ЛН. Т. 58. С. 700). Но Белинский придавал этой мысли и этим опасениям характер почти окончательного приговора, заявив, что «на этом новом пути ожидает его <Гоголя> *неминуемое падение*» или что «теперь он сам существует для публики *больше в прошедшем*». Причем — что очень важно — это был приговор не в частном письме, а публичный.

Гоголь ответил на обвинения Белинского в письме Прокоповичу (от 20 июня н. ст.), объяснив их тем, что критик «принял всю книгу на его собственный счет и прочитал в ней формальное нападение на всех разделяющих его мысли». Это, мол, не личная или, вернее, не только личная обида, но корпоративная — за партию западников. Но, по Гоголю, оснований для этого нет: «в книге моей, как видишь, есть нападение на всех и на все, что переходит в крайность», т.е. «нападение» и на славя-



нофилов тоже, когда они грешат «крайностями», — книга вне- или над-партийна.

Стремясь к объективности и беспристрастию, Гоголь отдает должное и своему оппоненту, Белинскому. «Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которые не заметили другие, считавшиеся на высшей точке разумения перед ним» (XIII, 324). Это, конечно, Шевырев и славянофилы; как ни высоко оценивал Гоголь их суждения по поводу своих произведений, но он признает и достоинства критики Белинского. Анненков зафиксировал еще более определенную похвалу: «Гоголь указывал <...> на статьи Белинского о его собственной, гоголевской деятельности как на образцовые по своей неотразимой истине и мастерскому изложению» (Анненков, 1983, с. 126). И поэтому он, Гоголь, не хочет показаться неблагодарным по отношению к Белинскому: «для меня этот упрек был тяжелее всех упреков, потому что в самом деле душа моя благодарна...»

И в связи с этим на Прокоповича возлагается посредническая миссия: «Пожалуйста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа относительно меня». Зная о личных отношениях Прокоповича с Белинским, Гоголь пытается вновь нащупать путь к критику, с которым в последний раз виделся пять лет назад, в Петербурге, в квартире того же Прокоповича, перед своим отъездом за границу в июне 1842 г. Тогда они расстались в весьма дружественном расположении друг к другу.

В письмо Прокоповичу Гоголь вложил другое — для Белинского. Здесь он вновь подчеркнул надпартийный характер своей книги, объясняя тем самым то, что упреки ее автору раздались со всех сторон: «Восточные, западные и нейтральные — все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них...» Своей обиды ввиду его публичного «унижения» критиком Гоголь не признал, указав на другую и в общем действительно имевшую место причину того, что его так расстроила рецензия: «...В ней слышится голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить даже не любившего меня человека, тем более вас, о котором я всегда думал, как о человеке меня любящем» (XIII, 326). В голосе Гоголя звучат теплые, сердечные ноты, он явно настроен на примирение, может быть, даже на продолжение отношений.

Такую цель — примирения и улаживания коллизии — явно преследовало и ответное письмо Прокоповича Гоголю (27 июня, Петербург). Прокопович начинает с известия, что гоголевское письмо не удалось вручить адресату в руки, так как болезнь заставила Белинского отправиться из Петербурга в Силезию, в Зальцбрунн. «...Только от нее одной [этой поездки] зависит спасение жизни его, бывшей, в продолжение пос-

ледней зимы, не один раз на волоске и сохранившейся в противность всех правил и приговоров медицины». Это пояснение должно было пробудить у Гоголя сочувствие к безнадежно больному человеку. Решительно отводит Прокопович и предположение о личной обиде критика. «Зная Белинского давно, я не могу не быть уверенным, что ни одна строчка его не назначалась мщению за личное оскорбление. Почему не судить проще и не принимать всего сказанного им встрече совершенно противоположных друг другу убеждений, искренних в нем и, конечно, не притворных и в твоей книге?» (Переписка, т. 1, с. 128). Прокопович определенно вступает за Белинского, так сказать, уравнивая его с Гоголем в главном: оба безусловно честны и достойны уважения при всем различии их позиций.

Однако Белинский не расслышал (или отвергнул) примирительные интонации гоголевского письма. Получив это письмо в Зальцбрунне около середины июля, критик расценил его как вызов, требующий решительного ответа. Именно таким словом — «вызов!» — определил ситуацию написания знаменитого зальцбруннского письма Анненков, бывший свидетелем этого события.

Когда Анненков ознакомился с письмом (датировано 15 июля н. ст.), то, по его словам, «испугался за Гоголя», так как ничего подобного тот «еще не выслушивал доселе, несмотря на множество перьев, занимавшихся разоблачением недостатков “Переписки”, попреками и браньями на ее автора» (Анненков, 1983, с. 355, 354). Это отличие часто видят в том, что Белинский подверг гоголевскую книгу критике с «точки зрения революционной демократии», в противовес критике либеральной, консервативной и т.д. О мировоззренческой «точке зрения», отразившейся в письме, речь впереди; пока же лишь о том, как оценена книга Гоголя и чем эта оценка могла его поразить.

Прежде всего Белинский подхватывает глубоко личную интонацию гоголевского письма к нему, подхватывает и усиливает, но с существенной поправкой. Начало письма Белинского звучит почти как объяснение в любви, но, увы, ушедшей в прошлое. «Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своею страной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса». В голосе Белинского чувствуется горечь обиды, переживание обманутой надежды, боль от сознания измены и отречения писателя, причем не только отречения от художнического поприща. Речь идет об измене и отречении куда более глубокого свойства.

В самом деле: резких слов, граничивших с инвективами, Гоголю уже приходилось услышать немало, ну, скажем, от Э. Губера, автора рецензии на «Выбранные места...» в «С.-Петербургских ведомостях» (1847. № 35. 14 февраля): мол, книга «поражает и самого неопытного читателя ничтожным содержанием, пустыми общими местами и нестерпимым

самолюбием, худо прикрытым под маскою ложного натянутого смирения... Никто еще не воздвигал такого странного памятника своему самолюбию, как Гоголь; никто еще под видом смирения не расточал себе таких похвал и не говорил читателям таких грубостей, как он». Однако обвинения Белинского пострашнее, тут уже речь шла не о психологии, но жизненной, сегодня бы сказали, экзистенциальной позиции: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете! Взгляните себе под ноги, — ведь вы стоите над бездною!..» Ощущение окончательности перемены в Гоголе, обозначившееся еще в рецензии Белинского на «Выбранные места...», было усилено в письме до ощущения катастрофы, неминуемой «бездны».

Это ощущение подкреплялось и тем, что в гоголевской позиции признавалось участие сознательного выбора, увы, затуманенного нездоровьем. На болезнь Гоголя указывали (или намекали) многие, писавшие о «Выбранных местах...», например тот же Губер («Понятия г. Гоголя о назначении русской литературы и мнения об Одиссеи высказывают необыкновенное состояние ума и воображения») или, как мы уже говорили, Сенковский. Касается мысли об «умственном расстройстве» Гоголя и Белинский, но затем, чтобы ее тотчас опровергнуть: в книге «сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимн властям предержавшим хорошо устраивает земное положение набожного автора». Обвинение в своекорыстии показалось чрезмерным даже единомышленнику Белинского В. П. Боткину. Знавший о споре Белинского с Гоголем от Анненкова, Боткин писал последнему (датируется 24—25 августа 1847 г.): «...Я всегда относил “Переписку с друзьями” более к гордости своей гениальности и невежеству, нежели к расчетливой подлости» (Боткин, 1984, с. 278).

Но из понимания гоголевской «набожности» как расчета следует, может быть, самый болезненный для писателя упрек в лицемерном и показном характере его широко оповещенного предстоящего паломничества к Гробу Господню: «Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжело зрелище угнетения чуждых ему людей, тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим». И все эти обвинения или откровенное пародирование (мол, писатель собирается идти «пешком в Иерусалим») звучали тем острее, что подавались на фоне преклонения и безмерного уважения к *прежнему* Гоголю; эпитеты и определения вроде: «великий писатель», автор «дивно художественных, глубоко истинных творений», «гениальный человек» и т.д. — звучали на протяжении всего письма.

О том, как мучительно далось Гоголю ответное письмо, свидетельствуют сохранившиеся черновые наброски. Анненков говорит, что Бе-

линский составлял свое письмо «три дня» — Гоголь, наверное, не меньше. Он начинает с того, что обращает против Белинского его же слова о катастрофе: «Опомнитесь, вы стоите <на краю> бездны!» Причина — в душевном состоянии критика; теперь Гоголю уже кажется недостаточным определение: «рассердившийся» человек, — «уста ваши дышат желчью и ненавистью». Именно ненависть побудила к обвинению, глубоко ранившему Гоголя, — в своекорыстии. «Своекорыстных же целей я и прежде не имел, когда меня еще несколько занимали соблазны мира, а тем бол<ее теперь>, когда пора подумать о смерти <...>Есть прелесть в бедности. Вспомнили б вы по крайней мере, <что> у меня нет даже угла, и я стараюсь только о том, как бы еще облегчить мой небольшой походный чемодан, чтоб легче было расстаться с <миром>. Вам следовало поудержаться клеймить меня теми обидными подозрениями, какими я бы не имел духа запятнать последнего мерзавца». Со своей стороны, Гоголь обвиняет критика в главном грехе — односторонности, выводя ее не только из свойства его натуры («ум», пылкий «как порох»), но и недостаточности знаний, — кстати, для Белинского, отчисленного из университета, это тоже был очень болезненный укол. «Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили даже университетского курса»; «<не>льзя, получа легкое журнальное образов<ание, судить> о таких предметах» (XIII, 435, 437, 445, 440). И Гоголь указывает и разъясняет эти «предметы»; они многочисленны: тут и оценка «европейской цивилизации», и назначение самодержавия в России, и роль православной церкви, и отношение к крепостному праву и т.д. — мы еще вернемся к этим темам, характеризуя существо спора Гоголя и Белинского.

Все это, повторяем, содержалось в черновых набросках гоголевского письма. Беловой вариант (датирован 10 августа н. ст., Остенде) примерно в шесть раз короче и занимает всего две печатных страницы. Письмо дышит страданием, изнурившим и обессилившим писателя. «Душа моя изнемогла, все во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн...» Ни в какие объяснения по существу Гоголь уже не входит; он лишь готов допустить, что оба спорящих «перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы?» Допускает Гоголь и то, что многое в современной России ему незнакомо. «А вывод из всего этого я вывел для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких *живых образов*, но даже и двух строк какого бы то ни было писанья до тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами...» (там же, 360; курсив в оригинале). Под «живыми образами» подразумевались художественные тексты, в данной ситуации прежде всего второй том «Мертвых душ»; под остальными «писаньями» — тексты публицистические; таким образом, косвенно и задним числом гоголевская критическая рефлексия распространилась и на «Выбранные места...».

Но это не был, как казалось некоторым современникам, отказ от писательства вообще; даже в самые мрачные минуты, вызванные реакцией на его книгу, Гоголь подразумевал временную задержку («...до тех пор, покуда...») ради будущего более успешного возобновления своего труда. Самокритика велась в духе излюбленной гоголевской идеи многосторонности: «Мне кажется даже, что не всякий из нас понимает *нынешнее* время, в котором так явно проявляется дух *построенья полнейшего*, нежели когда-либо прежде...» (там же, 361; курсив в оригинале). К многосторонности призывает Гоголь и Белинского.

Вообще при всей горечи и затаенной обиде гоголевское письмо вновь обнаруживает примирительные ноты. Гоголь призывает критика помнить о здоровье, советует оставить «на время современные вопросы» — «вы потом возвратитесь к ним с большею свежестью, стало быть и с большею пользою как для себя, так и для них» (там же). Этот совет невольно рифмуется и с той паузой, которую Гоголь в творческой деятельности определил и самому себе.

И еще любопытная деталь: в заключение Гоголь просит Белинского узнать, получил ли его письмо Анненков (обоим адресатам письма были посланы в Париж, куда Белинский и Анненков приехали из Зальбрунна). Гоголь, разумеется, знал, что, справляясь о письме, Белинский заинтересуется и его содержанием. Он таким образом вовлекал Анненкова в свой диалог с критиком, как перед этим вовлекал Прокоповича.

Впрочем, Гоголь и открыто говорил об этом в упомянутом письме к Анненкову (датировано 12 августа н. ст.): «Вы теперь при нем [Белинском]: отводите от него все возмущающее дух его. Убедите его прежде всего в той непреложной истине, что излишество теперь удел всех, кто сколько-нибудь имеет сердце не бесчувственное...» (там же, 362). «Все переливают через край», продолжает Гоголь, и он сам, «более других спокойный и хладнокровный, впал в излишество более других...» и т.д. Словом, Гоголь вновь проводит параллель между собою и Белинским, повторяя свое письмо к последнему. Почему же ему важно было, чтобы все это было сказано снова устами Анненкова?

Анненков в это время воспринимался им как некий противовес Белинскому. Он близок к критику, но не упрям, не догматичен; в нем, как пишет Гоголь в следующем письме Анненкову (от 12 августа), нет «пристрастия и сильной уверенности в истине своих выводов и заключений». В то же время он близок и к гоголевскому кругу начала 1830-х годов, и, как говорит писатель в том же письме, «люди, с которыми я повстречался в юности моей, становятся мне теперь, с каждым годом родственней и ближе — оттого ли, что способность воспоминания <...> при повороте дней моих к старости стала еще живей или оттого, что в самом деле любовь к человеку во мне увеличилась» (там же, 364). Заметим,

между прочим, что о повороте «к старости» говорит человек, которому едва исполнилось 38 лет...

И Гоголь оживляет в памяти те молодые годы, когда, с его легкой руки, Анненков, как и другие друзья-«однокорытники», носил прозвище знаменитого французского писателя, участвуя в своеобразном маскараде. «Прощайте, мой добрый Павел Васильевич, а по старому Жюль [т.е. Жюль Жанен]», — завершает Гоголь письмо Анненкову от 7 сентября н. ст. из Остенде.

Понятно, почему именно Анненкову выпала посредническая роль в отношениях с Белинским.

Однако если Анненков что-нибудь и сделал в таком качестве, особого эффекта это не имело. Может быть, оттого, что позиция Белинского, выраженная в зальцбруннском письме, была ему гораздо ближе, чем позиция Гоголя.

Получив в Париже гоголевский ответ, Белинский, по свидетельству Анненкова, прочел его «с участием» и «заметил только: “Какая запутанная речь; да он должен быть очень несчастлив в эту минуту”» (Анненков, 1983, с. 365). Эта реплика говорит о том, что критик отказался от своего мнения (или, по крайней мере, смягчил его) о притворстве и корыстном расчете автора «Выбранных мест...». Но отвечать на второе гоголевское письмо Белинский не стал. Его отношения с писателем фактически прекратились.

Теперь о существе спора. В не очень давнее время он интерпретировался чаще всего как столкновение революционно-демократической точки зрения с консервативной и охранительной. В последние десять—пятнадцать лет наметились изменения: собственно квалификация позиций осталась прежней, но поменялась их оценка — то, что подавалось со знаком «плюс» (Белинский), сопровождается знаком «минус», и наоборот. Но в таком случае непонятно, почему письмом Белинского восхищались не только, скажем, Герцен, но и люди, далекие от революционности и радикализма: Анненков, И. С. Тургенев и др. Либерал и «постепеновец» Тургенев, например, говорил: «Белинский и его письмо, это вся моя религия» (Аксакова В. С. Дневник. СПб., 1913. С. 42).

Однако все это не покажется нелогичным, если вспомнить сформулированные в письме задачи: «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». Ничего революционного в этих требованиях нет, и о законах говорится не новых, но о существующих. Под этими словами вполне мог бы подписаться тот же Тургенев.

Ю. Г. Оксман, серьезный исследователь Белинского, полагал, что сдержанность критика вызвана тактическими соображениями: «Пре-

дельно упрощая в своей полемике с Гоголем требования демократической общественности, Белинский считал, видимо, и бестактным, и бесполезным поднятие на данном этапе политической борьбы дискуссионных вопросов, могущих развалить или хотя бы ослабить антикрепостнический фронт...» (Оксман, с. 215). Но дело тут не столько в тактике, сколько в особенностях самой мысли Белинского.

Настроение Белинского периода зальцбруннского письма подробно характеризует Анненков: «Кто поверит, что когда Белинский писал его, он был уже не прежний боец, искавший битв, а, напротив, человек, наполовину замиренный...» (Анненков, 1983, с. 336). Нужно, однако, уяснить, в каком смысле — «замиренный». В России, как это явствует из письма, царят бесправие, произвол, презрение к человеческому достоинству — примирением критика с существующим положением и не пахнет. Формула официальной идеологии «православие, самодержавие и народность» произносится Белинским с величайшим негодованием. По поводу «самодержавия» высказан Гоголю язвительный совет — «созерцать его из вашего прекрасного далека: вблизи-то оно не так красиво и не так безопасно».

Анненков, внимательный читатель зальцбруннского письма, не мог всего этого упустить из виду. Его определение «замиренный» имеет продолжение: «...и потерявший веру в пользу литературных ошибок, журнальной полемики, трактатов о течениях русской мысли и рецензий, уничтожающих более или менее шаткие литературные репутации». Речь идет об уклонении от вседневной литературной борьбы, от решения внутренних литературных вопросов — ради более существенных знаний. Анненков называет их «новой *правдой*, провозглашаемой экономическими учениями» (курсив в оригинале), т.е., как сказано в другом месте, это «теории Прудона, Фурье, к которым позднее присоединился Луи Блан», а также Кабе и Леру. «...Эти и другие совершенно противоположные по духу сочинения служили Белинскому просто средством отыскать первые семена социализма, заброшенные переворотом 89 года на европейскую почву...» (там же, с. 198). В то же время важно и другое уточнение Анненкова: «о каком-либо приложении их к русскому миру» Белинский «не помышлял». Это особенно справедливо по отношению к Белинскому 1846–1847 годов, когда почти полугодовая поездка по России (с мая по октябрь 1846 г.), а затем и поездка за границу и некоторые другие факторы «окончательно освободила Белинского от элементов *утопического* мышления, еще тяготевшего над ним в середине сороковых годов...» (Егоров, 1982, с. 140; курсив в оригинале).

Словом, социалистическая перспектива сохранялась Белинским в самом общем виде как идея более гуманного общественного строения, но сохранялась вне насильственной и преждевременной детализации, без учета будущего и навязывания ему априорных идеалов. Нуж-

но было избежать идеализации и в то же время не воздвигать преград развитию мысли. Белинский, по словам Анненкова, негодовал, когда «встречался с суждением, которое под предлогом неопределенности или неубедительности европейских теорий, обнаруживало поползновение позорить труды и начинания эпохи» — в книге Гоголя критик увидел именно этот случай. Со своей точки зрения, он был прав, — но с точки зрения Гоголя, в контексте его мысли?

Спор их развивался по очень сложной логике, порою оппоненты весьма близко подходили друг к другу, особенно в констатации существующего. Белинский: «...страны, где <...> есть только огромные корпорации разных воров и грабителей!» Гоголь: «Если же правительство огромная шайка воров, вы думаете, этого не знает никто из русских?» Значит, Гоголь ничуть не отрицает этого утверждения, он его даже заостряет, относя определенно к властям предержавшим, к правительству. Но отчего же такое положение? По Гоголю, от всеобщей разладицы («мы все кто в лес, кто по дрова»), от всеобщего эгоизма («всякий думает только о себе и о том, как бы себе запастись потеплее квартирку»).

На это Белинский мог бы ответить примером, который он привел позже (в письме К. Д. Кавелину от 7 декабря 1847 г.) — о двух вариантах изображения честного губернатора. Писатель, склонный к идеализации, «представит удивительную картину преобразованной коренным образом и доведенной до последних крайностей благоденствия губернии». Писатель же, верный правде жизни, «представит, что этот, действительно, благонамеренный, умный, знающий, благородный и талантливый губернатор видит, наконец, с удивлением и ужасом, что не поправил дела, а еще больше испортил его...» (Белинский, т. 12, с. 460–461). Потому что есть нечто более могущественное, чем благие намерения человека — «невидимая сила вещей». Пример словно специально выбран Белинским в пандан к таким разделам гоголевской книги, как «Занимающему важное место» и «Что такое губернаторша». Но на это и Гоголь мог бы возразить словами своего письма (черновой вариант): «Нет, оставим подобные сомнительные положения <...> Будем отправлять по совести свое ремесло». Тогда все будет хорошо, и состоянье общества поправится само собою» (XIII, 444). Белинский же в ответ вновь напомнил бы о «невидимой силе вещей», сводящей на нет благородные устремления личности. И так — до бесконечности...

В конечном счете все сводилось к альтернативе: с чего начинать — с исправления структуры общества или всех ее составляющих, от монарха до последнего обывателя. Спор, как известно, вечный и при максималистской постановке проблемы до конца не разрешимый, но у него был конкретный и злободневный вопрос: как быть с крепостным правом? Для Гоголя помещик или крестьянин — те же «должности», те



же «поприща», и их добросовестное исполнение — залог благоденствия и справедливости общества. В своей книге он просто исходил из непреложности существующих сельских отношений, не вдаваясь ни в какие обоснования; критика же Белинского побудила его к защите этих отношений. «Что для крестьян выгоднее, правление одного помещика, уже довольно образованного <...> или <быть> под управлением <многих чиновников>, менее образованных, <корыстолюбивых> <...>? Следует <каждому из нас> подумать <...>, чтобы это осво<божде>нье не было хуже рабства» (там же, 442). Гоголь предвидел теневые стороны освобождения, но, отрицая его неотложную необходимость, он выступал вопреки чаяниям не только западников, но и части славянофилов, а также некоторых из властей предрежащих, включая самого императора, которые работали в это время над подготовкой крестьянской реформы.

Для Белинского же ликвидация крепостного права — самое насущное и вполне конкретное требование, веление дня (наряду, мы помним, с отменой телесных наказаний и соблюдением существующих законов); все другие — в его письме не уточнены, нарочито неопределенны.

И в эту неопределенность целит гоголевское ответное письмо (черновой вариант). «Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации <...> Хотя бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации. Тут и фаланстерьен, и красный и всякий, и все друг друга готовы съесть и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация?» Вновь отчетливо проявилась гоголевская способность предвидения — предвидения будущих потрясений и катаклизмов (в большой мере это было и результатом личных наблюдений и переживаний революционных событий приближающегося 1848 г.). Но в отношении Белинского Гоголь был не точен: там, где тот не договаривал и проявлял сдержанность, Гоголю казалось, что он валит все в одну кучу. Это особенно видно в приписываемом критику взгляде на «фаланстерьен». «Кто же, по вашему, ближе и лучше может истолковать Христа? — спрашивает Гоголь. — Неужели нынешние ком<м>унисты и социалисты, [объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и граб<ить> тех, которые нажили себе состояние?]

Белинский действительно истолковывал Христа в духе христианского социализма: «Он первый возгласил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения». Но идеи экспроприации и вообще насилия с этим учением не связывались; время, когда Белинский видел орудие прогресса в робеспьеровских действиях, было уже в прошлом. Есть все основания согласиться с Анненковым, утверждавшим, что в этот период все поступ-

ки и речи критика «не дают права узнавать в нем <...> любителя страшных социальных переворотов, свирепого мечтателя, питающегося надеждами на крушение общества, в котором живет»<sup>1</sup>.

Два момента особенно подтверждают этот вывод. Во-первых, Белинский считал, что освобождение крестьян должно осуществиться усилиями прогрессивных высших чиновников и волею императора («все зависит от воли г<осударя> и <мператора>, а она решительна»; он «один по своей мудрости и твердой воле способен решить его»). Если же «окружающие» помешают это сделать, то вопрос «решиться сам собою, другим образом, в 1000 <раз> более неприятным для русского дворянства» (Белинский, т. 12, с. 437, 438). Крестьянское восстание, насильственный отъем земли, социальный переворот видятся в это время Белинскому как величайшее бедствие. Соответственно к началу следующего, 1848 года весьма скептической становится и оценка Белинским самодеятельности народа. «Кстати, — писал он Анненкову 15 февраля 1848 года, — мой верующий друг (подразумевается М. Бакунин. — Ю. М.) и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ. Где и когда народ освободил себя? Все делалось через личности» (там же, с. 468).

И во-вторых (это тоже обозначилось к началу 1848 г.) Белинский пришел к признанию прогрессивной роли буржуазии. «Когда я, в спорах с Вами о буржуазии, — пишет он в том же письме Анненкову, — называл Вас консерватором, я был осел в квадрате, а Вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной, и народ тут может по временам играть пассивную роль». Соответственно Белинский определяет и перспективу буржуазного развития России: «...Теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазии» (там же).

Отчуждение от утопизма в пользу реальности и практицизма определяет склад мысли Белинского этой поры, еле сдерживающего негодование против прежних авторитетов: «...ежеминутно мысленно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи Блану» (письмо Анненкову от 15 февраля 1848 г. — Белинский, т. 12, с. 467). Но показательно, что и «Выбранные места...» видятся ему в свете критики утопизма: «Посмотрите на Ж. Санд в тех ее романах, где рисует она свой идеал общества: читая их, думаешь читать переписку Гоголя» (Кавелину, 7 декабря 1847 г. — там же, с. 462). И это при том, что гоголевский «идеал общества» подчеркнuto

---

<sup>1</sup> Ср. характерное мнение комментатора мемуаров Анненкова: последний «искажил» взгляды Белинского «отчасти по непониманию и очень часто по органическому неприятию революционно-демократических идей» (Дорофеев В. П. П. В. Анненков и его воспоминания // Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 25).

заострен против опасных фантазий современного социализма, а программа действий (как мы говорили выше; см. с. 27 и далее) подчеркнута прагматична, с четкими предписаниями действий и поступков каждому званию, должности или «поприщу». Но, по Белинскому, эта программа нереальна именно потому, что, отвлекаясь от перспективы социального строения, сосредоточена на личностном воспитании и совершенствовании. Со своей стороны, и Гоголь воспринимал позицию критика как непродуктивную в силу неоправданного, с его точки зрения, переноса центра тяжести в противоположном направлении — с личности на общество.

Сосредоточение на личностном воспитании позволило в «Выбранных местах ...» предвосхитить комплекс идей, которые, как писал Дмитрий Чижевский, составили «бессмертную славу Достоевского» — необходимость христианизации всей жизни, положение о сочетании эстетических и этических ценностей, а также о том, что безрелигиозная культура обречена на гибель (Чижевский, с. 75). При этом, однако, оценка этой «линии» (как и противоположной) не терпит абсолютизации, которую допускает, скажем, К. Мочульский. «Линия Белинского, — говорит он, — привела через интеллигенцию, народников и марксистов к современному коммунизму» (Мочульский, с. 93). Но такой фатальной одномерности вовсе не было: «линия Белинского» заключала в себе возможность и другой, неревOLUTIONционной и немарксистской тенденции; из нее, из этой линии, исходил и русский либерализм.

Что же касается Гоголя, то одним из результатов его спора с Белинским была попытка подняться над односторонностью — своей и оппонента. «Точно так же, как я упустил из виду *современные* дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком *усредоточился* в себе, так вы слишком *разбросались*» (XIII, 361; курсив в оригинале). «Усредоточиться» и «разбросаться» — это знаки противоположных направлений — центристского и центробежного, нуждающихся в нейтрализации, и Гоголь, провозглашающий эту мысль пока декларативно, питает надежду на то, что она воплотится в осязаемых формах вместе с реализацией его главного замысла, его книги жизни.

### **«БЛИЖЕ К ВЫГРУЗКЕ НА КОРАБЛЬ» (Неаполь, ноябрь 1847 — декабрь 1848 года)**

**В** октябре Гоголь покидает Остенде, в последний раз направляясь в Италию. Через Марсель едет в Ниццу, Геную, Флоренцию и Рим (РМ. 1896. № 5. С. 180), а в ноябре достигает цели своей поездки — Неаполя, в котором провел прошедшую зиму. «Перед мной опять Неаполь, Везувий и море!» (XIV, 33).

Но и Неаполь — не последний рубеж; просто «здесь мне как-то покойнее и отсюда я ближе к выгрузке на корабль» (XIII, 396). Этот корабль доставит его в Святую землю. Но пока еще предстояло прожить два-три месяца в Неаполе.

Гоголь приходит в себя от потрясений, вызванных его последней книгой. «О себе скажу только то, что покамест здоровьем слава Богу» (М. П. Погодину, 7 декабря н. ст. 1847 г. — там же, 401). «По крайней мере, я здесь чувствую себя не только лучше, чем в Германии, но даже, чем в Риме» (С. П. Шевыреву, 2 декабря н. ст. — там же, 397).

Остановился Гоголь в Hotel de Roma, который называет «трактиром»; живет «довольно уединенно и мирно», и круг общения его ограничен. Чаще всего видится с Софьей Петровной Апраксиной, проживавшей в Неаполе с двумя дочерьми, Наталией и Марией. В октябре появился еще один близкий Гоголю человек, А. П. Толстой, приехавший навестить сестру, Апраксину. В письме от 26 октября/7 ноября 1847 года Толстой сообщал: «Обедаю в 5 часов с Гоголем, а иногда с Циммерманом» (ЛН. Т. 58. С. 704; подлинник на франц. языке). Циммерман, согласно уточнению комментатора (Л. Р. Ланского) — врач, лечивший в Италии русских художников.

Гоголь полагал, что самочувствию Толстого, впавшего в очередной приступ хандры, поможет то обстоятельство, что в Неаполе при русском посольстве основалась православная церковь. Порадовало это и Гоголя, а ее настоятель, «очень хороший священник» (XIII, 392), вошел в круг общения писателя.

Речь идет о Тарасии Федоровиче Серединском (1882–1897), магистре богословия Петербургской духовной академии. С Гоголем Серединский встретился еще в прошлую зиму, так что в его воспоминаниях о писателе соединились впечатления и 1846 и 1847 годов.

«Когда я приехал в Неаполь, в то время (1846 г.) жила там генеральша А. (подразумевается С. П. Апраксина; мемуарист называет ее генеральшей, так как она была вдовой флигель-адъютанта. — Ю. М.). Вскоре после моего первого к ней визита, я был приглашен к ней на обед. Перед обедом, когда слуга доложил, что обед готов, генеральша сказала, скажите господину Гоголю. Потом, когда явился этот господин, она представила его мне. Лицо его было совершенно простое, обыкновенное, не представляющее ничего особенного, une figure commune, как говорят французы. Украшением его служили усики и эспаньолетка. Череп его был несколько остроконечный, конусообразный. На темени был у него вихор. За обедом он говорил очень мало. В разговоре обнаружилась его наблюдательность и меткая характеристика лиц, однако ж все было так просто, что я был сдержан в разговоре, боясь попасть впросак, признав его знаменитым писателем. Через несколько дней он был у меня.

Я бывал у него <...> Он провел две зимы в Неаполе» (Материалы, т. 1, с. 115; публикация В. В. Гиппиуса)<sup>1</sup>.

Гоголь собран, «сдержан» (по слову Серединского); он спокойно оглядывается на «последний год», особенно на «последнюю половину года» (XIII, 403), т.е. время, на которое пришелся пик полемики по поводу «Выбранных мест...», — и видит в себе благодетельные перемены. «...Думаю только о том, каким бы образом я мог прийти в мое нынешнее состояние без этой публичной оплеухи, которую я попотчевал самого себя в виду всего русского царства». «Оплеуха» привела к смирению; тут очень кстати оказался присланный Шевыревым второй том его «Истории русской словесности, преимущественно древней» (М., 1846): «Мне особенно понравилось, — пишет Гоголь автору 18 декабря н. ст. 1847 года, — что ты развил в своей книге мысль о *безличности* наших первоначальных писателей, умевших всегда позабыть о себе» (там же, 413, 412; курсив в оригинале). Гоголь же в «Выбранных местах...» выставил «на вид свою личность» и оттого был наказан; но парадокс в том, что и в смирении он не может не говорить в сокровенно личном тоне, обнажая глубины своей психики и ее противоречия.

Он, например, признается С. Т. Аксакову, что любил его «гораздо меньше», чем тот Гоголя, потому что любить мог предпочтительно «только из *интереса*», Аксаков же, дескать, ничего не сделал «для головы моей», т.е. не помог автору «Мертвых душ» необходимыми материалами. «Что же делать? — сокрушается Гоголь. — вы видите, какое творенье человек, у него прежде всего свой собственный интерес». Но затем утешает: «Мне кажется, что я все-таки люблю вас больше, нежели прежде...» Однако тут же оговаривается: «А на самом деле, и это ложь, и я ничуть не умею любить лучше, чем прежде» (там же, 416; курсив в оригинале).

Но в чем Гоголь действительно не сомневается, так это в сознании своей неправоты. Так, он просит прощения у Погодина — и было за что: и за нападки в связи с публикацией портрета, и за оскорбительную дарственную надпись к «Выбранным местам...». Просит прощение и тут же признается: «Странное, однако ж дело, я не чувствую, однако ж, ни стыда, ни раскаяния. Я только люблю тебя больше, именно от<того>, что чувствую себя не правым перед тобою, точно как бы мне теперь хочется любить только тех, кто великодушнее меня» (там же, 401).

В Неаполе Гоголь узнает, что против его книги «сильно восстает» А. И. Герцен; об этом сообщил А. Иванов, встретившийся с Герценом в Риме. В ответ Гоголь писал Иванову 14 декабря н. ст.: «Герцена я не знаю,

---

<sup>1</sup> Серединский добавляет: «В бытность свою в Париже г. Гоголь отозвался обо мне своему свояку протоиерею Вершинскому так: “очень серьезен в служении и совсем другой в общественной жизни”» (Материалы, т. 1, с. 115). Это могло быть в конце мая — начале июня 1847 г. (о Д. С. Вершинском см.: Труды и дни, с. 706, 707, 724).

но слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев». Гоголь строит защиту так же, как несколько ранее защищался от Белинского — критикой «европейских прогрессов», взятых суммарно и с негативной их стороны. Но в целом гоголевская реакция оказалась сдержанной; опыт спора с Белинским не прошел для него даром. В духе стремления к многосторонности и цельности Гоголь хочет узнать о взглядах Герцена поподробнее: «Напишите мне, каким он показался вам, что он делает в Риме, что говорит об искусствах и какого мнения о нынешнем политическом и гражданском состоянии Рима, о чивиках и о прочем» (XIII, 408; чивики — итал. *civico*, граждане).

Вместе с улучшением самочувствия оживились планы на продолжение второго тома. От мелькнувшей было идеи отказа от писательской деятельности, пусть даже отказа временного, не осталось и следа. «Много, много произошло всякого рода вещей, явлений в моем внутреннем мире, и все Божьей милостью обратилось в душевное добро и в предмет созданий точно художественных, если только даст Бог силы физические совершить то, что уже вызрело в душе и в уме» (там же, 401—402). В том, что вызрели в душе создания художественные, Гоголь не сомневается — на сцену он выйдет не с публицистикой, но «с моими живыми образами». «Тут ведь я буду посильнее, чем в “Переписке”». Там можно было разбить меня в пух и Павлову и барону Розену, а здесь вряд ли и Павловым, и всяким прочим литературным рыцарям и наездникам будет под силу со мной потягаться». Со своей стороны, жажда литературного труда подхлестывает жажду впечатлений. «Я очень соскучился по России и жажду с нетерпением услышать вокруг себя русскую речь» (там же, 398, 397). Пробудившееся в ходе полемики вокруг «Выбранных мест...» желание поближе познакомиться с современной русской жизнью приобретает очертания конкретных планов. «В продолженьи лета (речь идет о следующем, 1848 г. — Ю. М.) мне нужно будет непременно заглянуть в некоторые, хотя главные углы России. Вижу необходимость существенную взглянуть на многое своими собственными глазами» (там же, 393).

Но до этого времени предстоял еще отъезд в Святую землю, который Гоголь наметил на середину февраля 1848 года.

Страшась дальнего пути и морской болезни, Гоголь мечтает о попутчике. Прежние кандидаты: Погодин, А. П. Толстой — отпали. Идеальным вариантом была бы поездка вместе с Д. С. Вершинским — о его намерении отправиться в Иерусалим Гоголь узнал от Серединского и написал настоятелю посольской православной церкви в Париже записку: «Весьма буду рад, если придется нам вместе и совершить это путешествие» (XIV, 292). Но и этот план не состоялся, оставалось надеяться

на попутчика случайного, и 5 декабря н. ст. Гоголь просит А. А. Иванова разузнать в его римском окружении, «не отправляется ли кто также в Иерусалим», и если отправляется, то сообщить ему адрес Гоголя в Неаполе. Но и таковых не нашлось, и писатель стал собираться к путешествию в одиночку.

Гоголь пишет прощальные письма — матери и сестрам, М. А. Константиновскому, Н. Н. Шереметевой, А. А. Иванову. Лейтмотив этих писем — просьба о прощении и о молитве. «Друг мой, молитесь обо мне, молитесь крепче, чем когда-либо прежде!» (Шереметевой — XIV, 43). «Я требую от вас всех помощи, как погибающий брат просит у братьев. Соедините ваши моления и помогите воскреситься к Богу моей молитве» (М. И. Гоголь — там же, 44). «Молитесь, молитесь крепко обо мне, и Бог вам да поможет обо мне молиться!» (Константиновскому — там же, 42). Письмо к Матвею Константиновскому, кроме того, еще имеет характер исповеди, подведения итогов и в связи с этим защиты *своего* направления деятельности — деятельности как художника.

Константиновский в недошедшем до нас письме упрекнул автора «Выбранных мест...» в неоправданных притязаниях, в «учительстве». Гоголь принимает этот упрек, но только как упрек к своей книге, но не к деятельности в целом и ее характеру. «Я, точно, моей опрометчивой книгой <...> показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства». Но это произошло от того, объясняет Гоголь, что книга «есть произведение моего *переходного* душевного состояния». Значит, состояние это уже преодолено и автор возвращается к свойственной его природе деятельности. «Дело в том, что книга эта не мой род». И далее о «роде», который органичен для Гоголя и в котором осуществляется его поэма: «Я хотел представить только читателю замечательнейшие предметы русские в таком виде, чтобы он сам увидел и решил, что нужно взять ему, и, так сказать, сам бы поучил самого себя <...>. Вот вам исповедь моего писательства» (там же, 40, 41).

«Исповедь моего писательства» содержится и в другом отправленном Гоголем перед отъездом письме — В. А. Жуковскому. В общем оно развивает ту же мысль, что и письмо Константиновскому — о наглядности художественных произведений, отсутствии в них назидательности и прямого «учительства»: «Мое дело говорить *живыми образами*, а не рассуждениями. Я должен выставить *жизнь* лицом, а не трактовать о жизни». Однако, адресуясь к поэту-единомышленнику, Гоголь с наслаждением и с большей свободой, чем в письме к ржевскому протоиерею, рассуждает о самом эстетическом феномене. «Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом *искусстве*, для которого живу и для которого учусь теперь, как школьник». И устремляясь мыслью к далекому прошлому, к началу дружбы, Гоголь говорит: «Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства.

Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства» (там же, 33; курсив в оригинале).

Настоящее письмо (как это уже давно отмечено) является наброском будущей «Авторской исповеди». Вместе с тем оно служит известным коррективом к «Выбранным местам...» — Гоголь намеревался при переиздании «поставить [письмо] впереди книги», заменив им рискованное и шокировавшее многих «Завещание».

Гоголь отправился в путь около 20 января, двумя-тремя неделями ранее намеченного срока. Ускорила его отъезд докатившаяся до Неаполя революционная волна. «...Из Неаполя меня выгнали раньше, чем я полагал, разные политические смуты и бестолковщина, во время которых трудно находить<ся> иностранцу, любящему мир и тишину» (XIV, 47–48), — пишет Гоголь А. М. Виельгорской 23 января н. ст., находясь уже на Мальте. Днем раньше, также с Мальты, он призывает покинуть Неаполь и А. П. Толстого, если тот еще этого не сделал, и сообщает некоторые подробности революционных событий: «Дела короля (речь идет о Фердинанде II, короле Обеих Сицилий. — Ю. М.) совершенно плохи: Мессина, Катания — все восстало, и английские фрегаты повсюду, как у себя дома. Привезенную от короля индульгенцию, говорят, мессинцы разорвали в куски, в виду его же гвард<ии>» (там же, 46).

Перед отплытием Гоголя из Неаполя, говорит настоятель посольской православной церкви Серединский, он отслужил для писателя «напутственный молебен» (Материалы, т. 1, с. 115). Сохранилась записка Гоголя к Серединскому, относящаяся, по-видимому, к этому событию, — Николай Васильевич напоминает, что «молебен должен быть вместе с обедней», и «убедительно» просит: «...Если для вас все равно, начать обедню пораньше, а именно в 10 часов с четвертью» (XIII, 420)<sup>1</sup>.

Но одного молебна недостаточно, считал Гоголь. Чем больше людей попросят за него у Бога, тем вернее сбудется желание. И потому он просит Шереметеву, чтобы ее знакомый московский священник, «сверх того, что находится в обыкновенных молебнах», прочитал еще специальную молитву; с такой же просьбой обратился он к матери и сестрам. Текст этой молитвы, написанной Гоголем на отдельном листочке, гласил:

«Боже, содейлай безопасным путь его, пребыванье во Святой Земле благодатным, а возврат на родину счастливым и благополучным!

Преклони сердца людей на пути к доставленью ему покровительства, восстанови тишину морей, укротив бурное дыхание ветров!

Тишину же души его исполни благодатных мыслей во все время до роги его! Удали от него духа колебаний, духа помыслов мятежных и вол-

---

<sup>1</sup> Комментаторы первого академического Полн. собр. соч. Гоголя считают, что записка «точной датировке не поддается» и что она могла быть написана и ранее, зимой 1846–1847 гг. (XIII, 533).



нуемых, духа суеверия, пустых примет и малодушных предчувствий, ничтожного духа робости и боязни. <...>

И сподоби его, Боже, восстать от святого Гроба с обновленными силами, бодростью и рвением возвратиться к делу и труду своему, на добро земле своей и на устремление сердец к прославленью святого имени Твоего!» (Сочинения и письма, т. 6, с. 445–446; с некоторыми разночтениями — с. 448–449.)

## СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

**Г**оголь плыл на маленьком пароходе «Капри». Произошло то, чего он так боялся: хотя сильной бури не было, Гоголем овладел приступ морской болезни. «Рвало меня таким образом, что все до единого возымели о мне жалость, сознавая, что не видывали, чтобы кто так страдал» (XIV, 46).

На Мальту Гоголь прибыл около 22 января н. ст., «в прах расклеившийся». Остановился «в плохом отелишке», видимо, не очень удобным для проживания. Это разочаровало Гоголя, имевшего, как мы знаем, высокие представления об английском качестве жизни (Мальта с 1800 г. принадлежала Англии). «Противу всякого чаяния, в Мальте почти нет всех тех комфорт, где англичане: двери с испорченными замками, мебели простоты гомеровской, и язык нивесть какой. Аглиц<кого> почти даже и не слышно» (там же, 46).

Все же хорошо то, что можно взять паузу перед предстоящим четырехдневным плаваньем. Гоголь использует это время для отправки писем на родину. Лейтмотив их тот же, что наметился еще в Неаполе, — заверение в питаемом ко всем благоволении и любви. С. П. Шевыреву, 23 января н. ст.: «...Пожалуйста, передай это от меня всем, как близким друзьям, так и просто знакомым, что никакого неудовольствия ни против кого не питаю, что, напротив <...> любви у меня прибавилось скорее, чем убавилось...» Н. Н. Шереметевой: «Повторяю вам вновь, что ни против кого в душе не имею никакого неудовольствия. Напротив, всех люблю больше прежнего» (там же, 49, 51).

И 27 января н. ст., уже перед самым отправлением, ввиду ухудшающейся погоды («гремит гром и шумит дождь»), А. П. Толстому: «Каково-то будет мое плаванье? Спасет ли Бог меня недостойного? Во всяком случае еще раз приношу вам благодарность за все» (там же, 51).

Но на этот раз море было спокойное, и Гоголь чувствовал себя сносно. Гоголь выбрал не тот маршрут, на котором остановился вначале: вместо кратчайшего пути на Александрию, он отправился в направлении Константинополя на Смирну (отказался он и от высказанной еще раньше мысли посетить Грецию). Гоголь принял во внимание сведения, сообщенные ему проживавшим в Бейруте Базили: если плыть «из Алек-

сандрии сюда, надо здесь просидеть 12 дней в карантине, а из Смирны сюда карантин нет» (Шенрок, т. 4, с. 685)<sup>1</sup>.

В Смирне (современное название — Измир) Гоголь пересел на пароход австрийской компании Ллойда «Истамбул», следовавший курсом на Бейрут, и сразу же оказался в шумной компании направлявшихся к Святым местам паломников. На борту находились и члены недавно учрежденной в Иерусалиме Русской духовной миссии во главе с архимандритом Порфирием (Успенским) (1804—1885), впоследствии епископом Чигиринским, известным также своими трудами по археологии. Один из членов миссии священник Петр Соловьев обратил внимание на двух русских, державшихся несколько особняком от других пассажиров.

«Один из них был высокий, плотный мужчина в темносиней с коротким капюшоном шинели на плечах и с красною фескою на голове, другой же маленький человечек с длинным носом, черными жиденькими усами, причесанными а la художник, сутуловатый и постоянно смотревший вниз. Белая поярковая с широкими полями шляпа на голове и итальянский плащ на плечах, известный в то время у нас под названием “манто”, составляли костюм путника. Все говорило, что это какой-нибудь путешествующий художник. Действительно, это был художник, наш родной гениальный сатирик Николай Васильевич Гоголь, а спутник его — генерал Крутов» (Михаил Иванович Крутов был генерал в отставке).

От Петра Соловьева мы узнаем, что пассажиры корабля предприняли маленькую экскурсию на находившийся на пути остров Родос с целью осмотреть исторические постройки рыцарей-крестоносцев и «посетить местного прославленного митрополита». Мемуарист не уточняет, принимал ли в этом участие Гоголь, но некоторые последствия экскурсии коснулись и его.

Дело в том, что митрополит, принявший русских весьма радушно, на прощанье снабдил их «целою корзиною превосходных апельсинов из своего сада». «На пароходе, — продолжает Соловьев, — о. П. (т.е. отец Порфирий. — Ю. М.) поручил мне попотчевать родосскими гостинцами и земляков-спутников, что я не замедлил исполнить, отобрав десятка два лучших плодов. Гоголь и ген. Крутов не отказались от лакомства и поблагодарили меня за любезность. Тем дело и кончилось». Но не закончилось на этом общение Петра Соловьева с Гоголем.

---

<sup>1</sup> Утверждение, будто бы Гоголь, направляясь в Бейрут, доплыл до Константинополя — ошибочно — такое утверждение высказал Анри Труайя (см.: Труайя, с. 512). В этом случае Гоголю пришлось бы проделать огромный путь на Север, чтобы затем возвратиться назад. Ошибка основана на неправильном прочтении мемуаров П. Соловьева (о них — ниже): Соловьев определенно говорит о *своем* путешествии из Константинополя в Смирну, с Гоголем же он увиделся уже на другом пароходе, направлявшемся из Смирны в Бейрут (см.: Соловьев, с. 553).

Гоголь и Крутов поинтересовались у отца Порфирия, кто этот человек, который угостил их апельсинами, и тот, «вероятно... — продолжает свой рассказ Петр Соловьев, — отрекомендовал им меня яко художника, потому что, спустя полчаса, Гоголь вышел на палубу, где тогда я находился, и прямо направился ко мне. Не входя ни в какие объяснения, он показывает мне маленькую, вершка в два живописную (масляными красками) на дереве икону святителя Николая-чудотворца и спрашивает мнения, — искусно ли она написана? Затем он <...> поведал мне, что эта икона есть верная копия в миниатюре с иконы святителя в Барграде (Бары), написанная для него по заказу искуснейшим художником и теперь сопутствует ему в путешествиях, потому что святитель мирликийский Николай — его патрон и общий покровитель всех христиан, по суше и по морям путешествующих. Я полюбовался иконою, как мастерски написанною <...> и еще заметил, что у нас на православных старинных иконах святитель изображается несколько иначе, особенно по облачению, и что последнее прямо говорит о латинском происхождении барградского изображения святителя. На мой отзыв Гоголь ничего не возразил, но по всему видно было, что он высоко ценил в художественном отношении свою икону и дорожил ею, как святынею» (Соловьев, с. 553).

Реакция Гоголя характерна: хотя его позиция в отношении католичества заметно изменилась и писатель, вероятно, уже не сказал бы, как в 1837 году, — «...религия наша, так и католическая совершенно одно и то же» (см.: Труды и дни, с. 507), но его восприятие и художественных произведений и религиозно-культурных сохранило былую широту и терпимость.

В первые числа февраля «Истамбул» причалил в бейрутском порту и Гоголь сошел на берег.

## НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

**В** Бейруте Гоголя радушно встретил уже упоминавшийся К. М. Базили, старинный его приятель и соученик по нежинской Гимназии высших наук (см.: Труды и дни, с. 91–92, 290–291). Гоголю он был весьма полезен и как дипломат — Базили занимал должность русского консула (с 1844 г. генерального консула) в Сирии и Палестине — и как ученый, глубокий знаток проблем Ближнего Востока. Как раз в это время Базили работал над книгой «Сирия и Палестина под турецким правительством, в историческом и политическом отношениях» (2 части. Одесса, 1861–1862). Гоголь, ознакомившийся с книгой в рукописи, писал Жуковскому 16/28 февраля 1848 года из Иерусалима: «Знания бездна, интерес силен. Я не знаю никакой книги, которая бы так давала знать читателю существо края» (XIV, 53).

После небольшого отдыха в гостеприимном доме Базили (этому гостеприимству содействовала и жена хозяина дома Маргарита Александровна) Гоголь в сопровождении Константина Михайловича отправился в Иерусалим.

В дороге Гоголь был порою нетерпелив, капризен, не всегда считался с обстоятельствами и местными условиями. Об этом рассказал первый биограф писателя со слов самого Базили. «Б<азили>, занимая значительный пост в Сирии, пользовался особенным влиянием на умы туземцев. Для поддержания этого влияния он должен был играть роль полномочного вельможи, который признает над собою только власть “Великого Падишаха”. Каково же было изумление арабов, когда они увидели его в явной зависимости от его тщедушного и невзрачного спутника! Гоголь, изнуряемый зноем песчаной пустыни и выходя из терпения от разных дорожных неудобств, которые, ему казалось, легко было бы устранить, — не раз увлеклся за пределы обыкновенных жалоб и сопровождал свои жалобы такими жестами, которые, в глазах туземцев, были доказательством ничтожности грозного сатрапа. Это не нравилось его другу; мало того: это было даже опасно в их странствовании через пустыни, так как их охраняло больше всего только высокое мнение арабов о значении Б<азили> в русском государстве. Он упрашивал поэта говорить ему наедине что угодно, но при свидетелях быть осторожным. Гоголь соглашался с ним в необходимости такого поведения, но при первой досаде позабыл дружеские условия и обратился в избалованного ребенка. Тогда Б<азили> решился вразумить приятеля самым делом и принял с ним такой тон, как с последним из своих подчиненных. Это заставило поэта молчать, а мусульманам дало почувствовать, что Б<азили> все-таки полномочный визирь “Великого Падишаха”...» (Кулиш, 1856, т. 2, с. 164–165).

Дорога русских путешественников пролегла через Сидон, Тир, Акру и затем через Назарет, где прошли детские годы Христа. Этот путь до Иерусалима был самым прямым; воспользоваться им советовал Гоголю и побывавший на Ближнем Востоке Август-Карл Андреевич Бейне (1816–1858), выпускник Академии художеств, архитектор, впоследствии академик. По просьбе Александра Иванова Бейне послал Гоголю подробное письмо с изложением разных полезных сведений, касающихся его предстоящего путешествия (см.: Шенрок, т. 4, с. 685–687).

Впоследствии, уже будучи в России, Гоголь подробно описал свое путешествие Жуковскому:

«Подымаясь с ночлега до восхождения солнца, садились мы на мулов и лошадей в сопровождении и пеших и конных провожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по мокрому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень колодец, выложенное плитами водохранили-

ше, осененное двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезывающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима» (XIV, 167–168) .

Иерусалим открылся Гоголю с Элеонской горы: «Поднимаясь вместе с горою, как бы на приподнятой доске, он выказывается весь, малые дома кажутся большими, небольшие выбеленные выпуклости на их плоских крышах кажутся бесчисленными куполами, которые, отделяясь резко своей белизной от необыкновенно синего неба, представляют вместе с острыми минаретов какой-то играющий вид».

На Элеонской горе видел Гоголь и «след ноги Вознесшегося, чудесно вдавленный в твердом камне, как бы в мягком воске, так что видна малейшая выпуклость и впадина необыкновенно правильной пяты».

Еще Гоголю запомнился пейзаж, открывшийся уже по выезде из Иерусалима, когда «вдали, в голубом свете, огромным полукружьем предстали горы. Странные горы: они были похожи на бока или карнизы огромного, высунувшегося углом блюда. Дно этого блюда было Мертвое море» (там же, 167–169).

О Мертвом море Гоголь рассказывал и Смирновой-Россет; присутствовавший при этом Л. И. Арнольди записал рассказ: «На несколько десятков верст тянулась степь все под гору; ни одного деревца, ни одного кустарника, все ровная, широкая степь; у подошвы этой степи или, лучше сказать — горы, внизу виднелось Мертвое море, а за ним прямо, и направо, и налево, со всех сторон, опять то же раздолье, опять та же гладкая степь, поднимающаяся со всех сторон в гору. Не могу описать, как хорошо было это море при заходе солнца! Вода в нем не синяя, не зеленая и не голубая, а фиолетовая. На этом далеком пространстве не было видно никаких неровностей у берегов; оно было правильно овальное и имело совершенный вид большой чаши, наполненной какой-то фиолетовой жидкостью» (Воспоминания, с. 473–474)<sup>1</sup>.

Никакие другие виды, добавляет Гоголь в упомянутом письме Жуковскому, не поразили его. «Где-то в Самарии сорвал полевой цветок,

---

<sup>1</sup> К путешествию Гоголя относится и эпизод, имевший место осенью 1851 г. в Москве, во время последней встречи с Анненковым. «Он [Гоголь] взял с меня честное слово беречь роши и леса в деревне и раз вечером предложил мне прогулку по городу, всю ее занял описанием Дамаска, чудных гор, его окружающих, бедуинов в старой библейской одежде, показывающихся у стен его (для разбойничества), и пр., а на вопрос мой: какова там жизнь людей, отвечал почти с досадой: “Что жизнь! Не об ней там думается”» (Анненков, 1983, с. 535). Однако надо заметить, что других сведений, подтверждающих пребывание Гоголя в Дамаске, у нас нет. Как извещал Гоголя Бейне еще в письме от 1/13 января 1848 года, путь до Дамаска находился на расстоянии пятидневного путешествия от того маршрута, который выбрали Гоголь и Базили (см.: Шенрок, т. 4, с. 686).

где-то в Галилее другой; в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дни, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России, на станции» (там же, 167–169; в записной книжке Гоголь также отметил: «В Назарете дождь задержал нас двое суток» — VII, 375).

Картины эти словно увидены усталым взором, краски поблекли, впечатления приобрели характер обыденности («...как бы это случилось в России...»). Это объясняется тем, что отчет Жуковскому о своих переживаниях Гоголь давал много позже (28 февраля 1850 г.), когда обозначилось его глубокое разочарование в путешествии. Можно с уверенностью сказать, что вначале его переживания были другими — Гоголь с волнением ждал встречи с Гробом Господним (кстати, в упомянутой записной книжке зафиксировано: «Николай Гоголь — в св. Граде» — там же, 374). Вскоре после того, как это произошло, он писал из Бейрута (у Гоголя: Байрут) 6 апреля 1848 года тому же Жуковскому: «Уже мне почти не верится, что и я был в Иерусалиме. А между тем я был точно, и говел и приобшался у самого Гроба Святого. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Ты уже знаешь, что пещерка, или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста; в нее нужно входить, нагнувшись в пояс; больше трех поклонников в ней не может поместиться. Перед нею маленькое предверие, кругленькая комнатка почти такую же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем (на котором сидел ангел, возвестивший о воскресении). Это предверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нем один. Передо мною только священник, совершавший литургию. Диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами гроба. Его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее <...> Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, что я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моленья и так располагающем молиться. Молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщения меня, недостойного...» (там же, 57–58).

В знак посещения Гроба Господня Гоголь получил от митрополита Петра Мелетия и наместника патриарха в святом граде Иерусалиме две реликвии и следующую записку, удостоверяющую их подлинность: «1848, февраля 23. В граде Иерусалим, ради усердию, которую показывал к живописному Гробу Господня и на прочих святых местах духовный сын наш Николай Васильевич (Гоголь), в том и благословляю ему маленький части камушка от Гроба Господня и часть дерева от двери храма воскресения, которая сторела во время пожара 1808 сентября 30-го дня, эти частички обе справедливость» (Гиляровский, с. 32).

Еще надо сказать, что у Гроба Господня Гоголь помянул имена родных и близких; перечень имен он составил заранее:

«Чьи имена вспомнить у Гр<оба> Св<ятого>:

Матвея Александровича [т.е. Константиновского], Надежду Николаевну Ш<ереметеву>, всю родную семью мою, Александру Осиповну С<мирнову>, Степана Петровича Шев<ырева>, Михаила Петров<ича> Погод<ина>, Александра Петровича Толстого, Петра Алексеевича Плетнева, Василия Андреевича Жуков<ского>, Вьельгорских, Аксаковых и всех близких друзей и благодетелей» (VII, 374).

Из Иерусалима же 28 и 29 февраля н. ст. Гоголь отправил письма на родину — Жуковскому, Матвеем Константиновскому, Шереметевой и матери и сестрам. Шереметеву он, в частности, просил молиться о его будущем «деятелином вступлении на поприще с освеженными и обновленными силами», а Жуковского — об их будущем совместном житье-бытье в Москве.

Еще Гоголь отослал из Иерусалима письмо Маргарите Александровне Базили в Бейрут. Из письма видно, что у него хорошее настроение, что свою поездку он считает удачной: «Все совершенно обстоит благополучно. Ехали мы прекрасно, приехали и того лучше, собираемся ехать к вам с наслаждением» (XIV, 54–55).

Обстоятельства возвращения Гоголя в Бейрут не совсем ясны. По словам В. Б. Бланка, в обратный путь Гоголь отправился один, так как Базили, будучи генеральным консулом не только в Сирии, но и Палестине, должен был задержаться в Иерусалиме «по делам службы». Это вполне возможно: об огромном количестве дел, обрушившихся на Базили, говорил и Гоголь в только что упомянутом письме Маргарите Александровне, да и сам Базили сделал на письме краткую приписку: «...решительно некогда писать» (там же, 369).

О нескольких днях, проведенных Гоголем в Бейруте, известно от того же Бланка, который, по его словам, «часто навещал» Николая Васильевича. Бросается в глаза некоторая сдержанность и легкая печаль в облике Гоголя. «Он был очень приветлив, но грустен, был набожен, но не ханжа, никогда не навязывал своих убеждений и не любил разговора о религии. Часто посещал он жену Базили и приглашал меня показывать ему окрестности Бейрута».

По возвращении в Бейрут Константин Базили решил познакомить Гоголя с «бейрутским обществом, чтобы рассеять немного его грустное настроение». Но — безрезультатно. «Однажды, входя в дом консула, — продолжает мемуарист, — на лестнице я встретил уходившего Гоголя, и на мой вопрос, что он так рано уходит, он махнул рукою и отвечал: “ваше бейрутское общество страшную тоску не меня навело; я ушел потихоньку, пора домой; не говорите Базили, что меня встретили”» (Бланк, с. 215).

6 апреля н. ст. Гоголь вместе с Базили отплыл в Смирну, где несколько дней пришлось провести в карантине, а к 13 апреля прибыл в Кон-

стантинополь. Здесь его ожидала встреча с еще одним соучеником по нежинской Гимназии высших наук — Иваном Дмитриевичем Халчинским (см. о нем: Труды и дни, с. 298). Халчинский служил в это время советником русского посольства в Константинополе.

14 апреля н. ст. вместе с Базили Гоголь отбыл из Константинополя в Одессу. За несколько часов до отплытия парохода — фрегата «Херсонес» Гоголь писал Александру Иванову в Рим: «Путешествие мое в Иерусалим совершилось, слава Богу, благополучно» (XIV, 60). Вместе с тем «совершилось» и почти десятилетнее (если вычесть время двукратного приезда Гоголя в 1839—1840 и в 1841—1842 годах) пребывание его за границей.

Чувство неудовлетворенности предпринятым путешествием в Святую землю росло у Гоголя постепенно, особенно отчетливо проявилось оно уже по возвращении в Россию. Но проблески этого чувства возникли после моления у Гроба Господня. «...Никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревянность» (А. П. Толстому, 13/25 апреля — там же, 59). «...Еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима» (Матвею Константиновскому, 21 апреля — там же, 63).

Гоголевское недовольство собою, перепады настроения, переход от надежды к унынию и наоборот — все это обусловлено комплексом тех мотивов, которые стимулировали его паломничество на Святую землю. Эти мотивы менялись вместе с продвижением и судьбой его главного труда.

Начиная с весны 1842 года, когда Гоголь получил благословение Иннокентия, бывшего в ту пору епископом Харьковским, идея этого паломничества приобрела, так сказать, публичный характер и стала фактором его осуществляемого на глазах у многих жизненного пути (см.: Труды и дни, с. 627 и далее). О намерении Гоголя знали не только из устных рассказов близких к нему людей (Аксаковых или Н. Н. Шереметевой), но и из печати. Так, в «Московских ведомостях» (Прибавления к № 38 от 13 мая 1842 г., с. 567), в рубрике «Отъезжающие за границу», можно было прочитать: «В Италию и ко Святым местам, 8-го класса Николай Васильевич Гоголь; жительство имеет в доме Погодина на Девичьем поле». Словно Гоголь из Москвы уже двинулся в путь именно к Гробу Господню.

Вначале паломничество мыслилось писателем лишь «по совершенном окончании труда моего» (XII, 133). Это стало бы выражением благодарности Богу и в то же время актом высшего освящения созданного произведения. И возвращение на родину представлялось Гоголю возможным (вместе с написанной книгой, т.е. по крайней мере со вторым томом поэмы!) только через Иерусалим, — все ассоциации высокого мессианского плана, вытекавшего из такого шага, писателем, конечно, сознавались. Но Гоголь не был бы Гоголем, если бы он не ощущал и другое — величайшую ответственность и риск, вытекавшие из подобной ситуации, неминуемо перетекавшей в ситуацию рокового выбора и строжайшего испытания.



А что если его почин будет отвергнут Божественной волей и испытание не выдержано... Это как прыжок в неизвестность, таящую в себе неведомые и, может быть, превышающие его силы опасности. Неслучайно в Предисловии к «Выбранным местам...», еще более увеличивая элемент публичности своего решения, Гоголь объявлял, что его «жизнь» «на волоске» и что во время его «путешествия к Святым местам» «может все случиться».

Согласно В. Я. Проппу, путешествие в чужое пространство приравнивается к смерти, а возвращение — к воскресению. Гоголевское мироощущение сложнее этого архетипа! В далеком «пространстве» Гоголь ищет не смерти, а «жизни» и воскресения; но в то же время он страшится и смерти, причем в прямом, физическом ее смысле, и эти неутолимые ожидания ставят под вопрос и целительный эффект «возвращения». И на все это еще накладывался комплекс переживаний психологического и духовного свойства: боязнь смерти — как душевного и творческого оскудения и жажда воскресения — как обретения полноты чувств и художественной энергии.

Отсюда необычайная подвижность и изменчивость гоголевских мотиваций. Если не удалось завершить задуманный труд, освятив его пребыванием у Гроба Господня, то остается более скромное желание: «Теперь ничего другого не хочется, как только поклониться в тишине Святому гробу, принеся на нем благодарность за все со мной случившееся, испросить сил и мужества на свое дело и потом возвратиться прямо в Россию» (XIII, 396). «Возвратиться» если не с готовой рукописью, то хотя бы с желанием и силами ее завершить. И еще другой оттенок: «Съезжу в Иерусалим (чего стало даже и совестно не делать), поблагодарю как сумею за все бывшее...» (XIV, 38). Не ехать в Иерусалим — «совестно»! Это все равно, что быть уличенным публично в бахвальстве и обмане... Но опасения перед будущим и страх неудачи все-таки столь велики, что Гоголь готов отказаться от паломничества: «Признаюсь, что часто даже находит на меня мысль: зачем я поеду теперь в Иерусалим? <...> не будет ли оскорблением святыни мой приезд и поклоненье мое? Если бы Богу было угодно мое путешествие, возгорелось бы в груди моей и желание сильней <...> Но в груди моей равнодушно и черство, и меня устрашает мысль о затруднениях» (XIII, 399).

Нет никаких оснований видеть в этих колебаниях и противоречиях гоголевских объяснений «по большей части сфальсифицированные эксплицитные мотивировки поездки» (Паперный, с. 160). Это не симуляция, а действительная изменчивость и текучесть мотивов. Гоголь не притворяется, не играет роль; напротив, стремится к предельной откровенности, к необычной для него полной открытости, обнажая такие стороны души, которые невыгодны ему в общественном мнении, так как подрывают идею его духовного (не только художественного) избранничества.

Между тем паломничество к Гробу Господню подтвердило худшие опасения Гоголя, не ощутившего ни прилива сил, ни освежения души.

«Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, — и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное» (Жуковскому, 28 февраля 1850 г., — XIV, 167). «Я был недоволен состоянием души своей и теперь также. В ней бывает так черство!» (Матвею Константиновскому, 9 ноября 1848 г., — там же, 96).

Поэтому-то Гоголь с такой неохотой вспоминал о своем паломничестве («Что могут доставить <...> мои сонные впечатления?»). Когда в мае 1848 года в Васильевке съехавшиеся для встречи со знаменитым земляком соседи «начали спрашивать о св. местах», тот уклонился от разговора. «“В св. местах так много перебивало разных путешественников и в разное время и так много о них написано, что я ничего не могу сказать вам нового” — был ответ» (Б. 1880. № 268; рассказ соученика Гоголя по нежинской Гимназии высших наук Т. Г. Пашенко).

Следы глубокого расстройствa заметила и Ольга Васильевна. Она «ожидала, что путешествие в Иерусалим возвратит брату душевное спокойствие и прежнюю веселость и работоспособность; но как только он приехал в Яновщину, — тотчас после пребывания в Иерусалиме, — она с первого взгляда на его осунувшееся, страдальческое лицо поняла, что поездка не только ничего не дала ее брату, а даже, напротив, еще более подорвала его слабеющие силы» (рассказ В. Я. Головни со слов своей матери Ольги Васильевны — Головня, с. 75).

«Ничего не дала...» — это, конечно, преувеличение. Но разочарование, переживание несбывшихся надежд очевидны.

Ведь ощущение своей черствости и бесчувствия поставили под сомнение не только право на высокое предназначение, но и на повседневную связь со Всевышним. Не смог всем сердцем молиться у Святого гроба — значит, не угоден Богу. Гоголь «переживает последний и жесточайший кризис — *кризис религиозный*. Он начинает сомневаться в самом интимном и святом — в своей близости к Христу, в своей любви к Богу. А что если прав Аксаков, толкующий о его союзе с дьяволом и он действительно пребывает в греховном ослеплении и “прелести”?» (Мочульский, с. 111–112; курсив в оригинале). А что если прав (можно к этому добавить) и Белинский, говоривший в своем недавнем письме, что «незачем ходить пешком в Иерусалим» тому, «кто носит Христа в груди своей»? Гоголь «вступает в последний круг своего ада — в пустыню *бogoоставленности*» (Мочульский, с. 112; курсив в оригинале).

К этому выводу напрашивается, однако, одно немаловажное уточнение: даже если Бог оставил или оставляет Гоголя, Гоголь не может отстать от Бога и он будет с еще большим рвением и самоотверженностью доказывать свое право на высшее участие, на высокую миссию. Это право он вымолит, выслужит. Пусть не на Святой земле — на родине, в России. Выслужит завершением своего труда, своей Книги жизни.



## Часть вторая

### – ВОЗВРАЩЕНИЕ

Пароход-фрегат «Херсонес», на котором находились Гоголь и Базили, причалил к одесскому берегу 16 апреля 1848 года (ОВ, 1848, 17 апреля, № 30–31). А. С. Стурдза, одесский житель, тотчас же известил об этом москвича Погодина: «Н. В. Гоголь и К. М. Базили прибыли на днях в нашу Одесскую пристань» (Барсуков, т. 9, с. 470; с датировкой письма, очевидно, ошибочной — 12 апреля). Сам Гоголь сообщил о своем приезде спустя пять дней — матери в Васильевку, Матвею Константиновскому в Ржев, С. П. Шевыреву в Москву, позднее А. С. Данилевскому в Киев, где тот занимал должность инспектора второго благородного пансиона при киевской первой гимназии.

Друзья давно торопили Гоголя с возвращением на родину. «...Можно ли узнавать Россию, живучи все так далеко от нее? Неужели не чувствуешь потребности побывать опять в ней, чтобы освежить впечатления и собрать новые?» (Переписка, т. 2, с. 325), — писал 20 октября 1846 года Шевырев.

И вот Гоголь вернулся. Среди москвичей это известие вызвало бурную радость. «Наконец вы в русской земле, любезнейший Николай Васильевич, наконец я пишу к вам, а не за границу! Шесть лет! Порядочно» (там же, с. 94), — вырвалось у К. С. Аксакова. «Здравствуйте, здравствуйте на святой Руси, мой любезный друг Николай Васильевич! Давно должны были написаться эти строки ...» (там же, с. 99), — вторил сыну Аксаков-старший. «Приветствую тебя в отечестве, поздравляю тебя с совершением обета веры, как было для тебя сладко, животворно, действительно посетить Святую землю!» (там же, т. 1, с. 441), — писал Гоголю Погодин. На радостную весть отозвался и Шевырев, сразу же по получении письма от Гоголя сообщивший Н. Н. Шереметевой: «Слава Богу, он прибыл благополучно <...> Духом спокоен и счастлив <...> Когда

я прочел его письмо, первую мыслью было благодарить Бога за то, что он по милосердию своему услышал наши молитвы...» (Барсуков, т. 9, с. 471). Увы, Гоголь не был «духом спокоен и счастлив»...

Друзья Гоголя надеялись, что исполнение «обета веры», возвращение на родину и, как говорил С. Т. Аксаков, освежение и укрепление «родным воздухом» благотворно и без промедлений скажутся на его состоянии.

Но этого не произошло, несмотря на то, что не только далекие москвичи, но и те, кто был рядом, с кем столкнулся писатель, едва вступив на родной берег, готовы были оказать ему всяческое внимание.

Сразу же по прибытии Гоголь должен был отправиться в двухнедельный карантин — это была неизбежная процедура для всех прибывающих из-за границы. В карантине чуть ли не в следующий день Гоголя навестил его дальний родственник Андрей Андреевич Трошинский, генерал-майор, племянник Дмитрия Прокофьевича Трошинского, — как и его могущественный дядя, Андрей Трошинский оказывал покровительство семье Гоголей (см. об этом: Труды и дни).

А затем появились и другие посетители, в их числе Лев Сергеевич Пушкин (1805—1852), — это была первая встреча Гоголя с братом великого поэта. «Некогда непоседливый, пылкий Левушка и vaillant capitaine (храбрый капитан), как звали его близкие» (Лернер, с. 324), превратился в чиновника, «мирного члена одесской таможни». Кстати, Лев Сергеевич всего на пять месяцев пережил Гоголя (он скончался 19 июля 1852 г. и был похоронен на одесском кладбище).

Вместе со Л. Пушкиным Гоголя навестил проживавший в Одессе Н. Г. Тройницкий, оставивший воспоминания об этом визите (мемуарист говорит о себе в третьем лице): «Лев Сергеевич Пушкин и Н. Г. Тройницкий отправились в карантин, где на их звонок вышел из своего номера Гоголь. Физиогномия Гоголя при первом взгляде на него поражала своим саркастическим выражением. Он рассеянно перебирал четками и приветствовал навестивших его знаком своей руки. Его отделяли от посетителей четвертные проволочные решетки на довольно значительное пространство, так что разговаривать оказывалось довольно неудобным. Явственно доносился только плеск береговой волны, а по ту сторону залива как бы трепетала в струях знойного миража прилегающая к морю степь» (Одесский листок, 1909, № 159).

Навестил Гоголя и Николай Васильевич Неводчиков (1822—1910), выпускник Московской духовной академии, литератор, автор богословских трудов, впоследствии архиепископ Кишиневский и Хотинский, принявший имя Неофит. Ко времени приезда Гоголя Неводчиков исполнял обязанности учителя в приюте под начальством Стурдзы, а также домашнего учителя его внука. В карантин Неводчиков пришел с поручением от Стурдзы «приветствовать его [Гоголя] с приездом и предложить ему добрые услуги».

«Вероятно, тронутый таким вниманием, — вспоминал впоследствии Неводчиков, — Н. В. разговорился со мной более, чем я ожидал. Он принялся меня расспрашивать о Стурдзе, а потом о городе, именно любят ли в нем чтение? много ли книжных лавок? можно ли найти в них английские книги? Он даже коснулся собственно меня и, узнав, что я занимаюсь воспитанием внука Стурдзы, заметил о важности сего занятия: “Да, вся безалаберщина, какая набирается нам в голову, как-то сосредотачивается и уясняется, когда готовимся передать ее другим”. В заключение он попросил прислать ему в карантин “Мертвые души” и два-три номера “Москвитянина”» (Неводчиков, с. 263).

Подробности этого «карантинного разговора» (выражение Неводчикова) связаны с кругом размышлений Гоголя в ту пору. Так, вопрос об английских книгах свидетельствует о том, что тема Англии продолжала его интересовать (см. выше, с. 90 и далее). «Москвитянин» понадобился, в частности, в связи с публикацией статьи Жуковского «О поэте и современном его значении», являющейся ответом на письмо Гоголя к нему от 10 января н. ст. 1848 года. Замечание же об обязанностях воспитателя поясняется пассажем из письма Неводчикова к Гоголю, отправленного уже после посещения карантина: «В последнее время, — говорит Неводчиков, — соблазняла меня мысль, что должность наставника не по силам: меня одолевали лень и лжесмирение. Добрая ваша мысль о пользе воспитания для самого воспитателя запала в мою душу и освежила ее. За все вам русское спасибо!» (Шенрок, т. 4, с. 698).

Значит, по Гоголю, «уясниться» и «сосредоточиться» должна прежде всего душа самого воспитателя в то время, когда он воспитывает другого. Писатель уже пытался опробовать эту идею, когда вынашивал планы пристроить безалаберного П. В. Нащокина в качестве наставника сына Бенардаки и тем самым оказать услуги и воспитываемому и воспитывающему (см.: Труды и дни, с. 632). Но эта идея отвечала и личной тактике Гоголя: поражать в другом свои собственные недостатки и хворости, словно объективируя их, отделяя от себя.

Внешне это напоминает: «Врачу, исцелися сам» («врач! Исцели Самого Себя...» — Лк. 4, 23). Но евангельское выражение обычно употребляется в значении: других не суди, на себя посмотри (*Михельсон М. И.*, Ходячие и меткие слова. СПб., 1896. С. 43); или: прежде чем осуждать других, исправься сам (*Ашукин Н. С.*, *Ашукина М. Г.* Крылатые слова. М., 1988. С. 60). У Гоголя же предполагается, так сказать, одновременность и взаимосвязанность обоих процессов: исправляя других, воспитатель исправляется сам...

Гоголь пробыл в карантине две недели. «...30 апреля выходит в город Одессу, и мы его встречаем у Отона» (Барсуков, т. 9, с. 470), — сообщил Погодину Николай Никифорович Мурзакевич (1806–1883), профессор русской истории, впоследствии директор Ришельевского лицея. Таким

образом, к чествованию Гоголя подключилась профессура, решившая отметить волнующую встречу в знаменитом ресторане, стены которого еще помнили веселые застолья с участием Пушкина: «...Шум, споры — легкое вино / Из погребов принесено / На стол услужливым Отоном» («Отрывки из путешествия Онегина»).

Встреча состоялась 1 мая, о чем оповестила своих читателей местная газета, сообщившая, что школьные товарищи и друзья «в сообществе многих почитателей знаменитого русского таланта» дали обед в честь Гоголя (ОВ. 1848. 19 мая. № 40).

Очевидно, слух о предстоящем обеде широко распространился в городе, но не все смогли на него попасть. Один из неудачников — Василий Иванович Белый (или: Билый; 1817—1890), сын купца третьей гильдии, служивший с 1835 года в Одесской городской думе. Позднее в письме (неопубликованном) Гоголю Белый рассказывал: «В то время была у меня на душе сил<ьн>ейшая горечь, а тут единственный приятель мой зовет праздновать весну, было 1 мая; но я бегал везде по городу, чтоб увидеть Гоголя. И если было встречу француза в бороде или итальянца в смешном костюме: это Гоголь! Гоголь! прежде же всего увидел одного больного господина, который ехал в енотовой шубе, по той улице, где дом Т. (Подразумевается А. А. Трощинский, у которого остановился Гоголь. — Ю. М.) — Это непременно Гоголь! а тогда было тепла за 20 град. Но увидел Вас уже на другой день в Л. церкви; но через одних сударыней, я мало Вас видел. И было мне за что-то очень, очень досадно» (ОР РГБ. 298/IV (Тихонравов). 1. 55; этот документ сообщен мне Н. Л. Виноградской)<sup>1</sup>.

Но известно, что Гоголь не очень склонен был к случайным знакомствам. Так же как и не любил он многолюдство, в котором обычно чувствовал себя не совсем свободно, и едва ли не упомянутую встречу у Отона имел в виду Тройницкий, говоря, что Николаю Васильевичу «было привольнее в дружеском кругу, чем в большом обществе». «Привольнее» чувствовал себя Гоголь, заходя попросту к тому же Тройницкому или к Льву Пушкину, — оба жили в одном доме Крамаревой на Дерибасовской.

Темы разговоров с Тройницким или Львом Пушкиным бывали разные. «Гоголь вспоминал об Италии, о Пушкине, о порядках в отечестве, о новейших явлениях в русской литературе и рассказал несколько анекдотов». Пушкинская тема естественно стимулировалась присутствием брата поэта; ее отзвук слышится и в стихотворении Тройницкого «Гого-

---

<sup>1</sup> Именно В. И. Белому адресовано известное ответное письмо Гоголя, посвященное характеристике героев второго тома «Мертвых душ» (см.: XIV, 292—293). Кстати, можно уточнить комментарий к этому письму: «Был ли адресат лично знаком с Гоголем, из письма не видно» (там же, 450). Но очевидно, что по крайней мере один раз Белый видел Гоголя.

лю», написанном, как говорит автор, «в память знакомства» с писателем: мол, во время этих бесед говорилось и «про твои с *поэтом* [т.е. с Пушкиным] встречи» (курсив в оригинале).

Похоже, что и Тройницкий (и возможно, Лев Пушкин) заходил к Гоголю; об этом свидетельствует сделанное мемуаристом подробное описание обстановки, которая окружала писателя. «Гоголь проживал у Сабанеева моста, во флигеле дома, ныне принадлежащего графине Толстой, в двух комнатах. В одной из них стоял только круглый ясеневый стол, на котором лежала одна книжечка — Новый Завет на греческом языке. В другой — кровать, два стула и у окна ясеневая конторка, на которой лежала толстая тетрадь в полулист. Гоголь уже находился тогда под разъедающим настроением того мистицизма, из которого, по-видимому, он и сам не усматривал выхода...» (Тройницкий, с. 47–48).

Как видно, подмеченная в Гоголе перемена Тройницкому не понравилась. А вот у другого гоголевского собеседника — А. С. Стурдзы она вызывала радостное одобрение. Продолжала вызывать — можно сказать для точности, потому что, после первой и в общем формальной встречи в Швейцарии в августе 1836 года, они спустя десятилетие довольно близко познакомились в Риме и вели доверительные беседы (см. наст. книгу, с. 9–10). Ко времени приезда Гоголя в Россию Стурдза, бывший дипломат, давно уже (с 1819 г.) находившийся в отставке, проводил время на своей одесской даче, под названием Приют.

Судя по всему, Гоголь приехал к Стурдзе что называется экспромтом — было это сразу же по выходе из карантина. «Он нечаянно посетил меня на моей приморской даче, вместе с умным спутником своим К. М. Базили, — вспоминал Стурдза. — Но свидание наше было минутно. Гоголь спешил к родным в Малороссию, а оттуда в Москву» (М. 1852. № 20. Отд. 1. С. 225).

Несмотря на краткость встречи, оба остались ею довольны. «Мы виделись мало: час с небольшим, — писал Гоголь Стурдзе 6 июня 1850 года из Москвы. — Только прошлись по саду вашего приятного обиталища да едва тронулись /так!/ в разговоре таких вопросов, о которых хотелось бы душе поговорить подольше. Но, несмотря на то, этот час и эта прогулка остались в памяти моей, как что-то очень отрадное» (XIV, 189). Стурдза же, сразу же после встречи, 3 мая 1848 года, послал Гоголю из Приюта свою книжку «Письма о должностях священного Сана» (4-е изд., 1844), сопроводив ее письмом: «Она пригодится кому-нибудь и в руках ваших пусть остается лучший труд мой залогом моей братской любви к вам и надежды на вас!» (Шенрок, т. 4, с. 697).

Были у Гоголя в Одессе и другие встречи: с сыновьями бывшего директора нежинской Гимназии высших наук И. С. Орлая и ее выпускниками Александром и Андреем («Орлаи оба, Александр и Андрей, прекрасные люди», — писал Гоголь Данилевскому из Одессы 4 мая 1848 г. —

XIV, 66); с неперменным членом Строительного комитета Одессы Петром Павловичем Титовым (1800—1878) и его женой («Титовы были люди гостеприимные и жили в Одессе очень открыто» — Маркевич, с. 26). Разыскал Гоголя в Одессе и Василий Васильевич Черныш, единоутробный брат Данилевского. Гоголь мечтал о встрече с самим Сашей Данилевским, но тот не смог выбраться в Одессу, занятый экзаменами и другими учебными делами.

... Прожив в Одессе три недели, включая пребывание в карантине, Гоголь 7 мая отправился в Васильевку, где его давно и с нетерпением ожидали.

Днем 9 мая в Васильевку пришло с нарочным письмо из Полтавы от С. В. Скалон, дочери И. В. Капниста, давней приятельницы гоголевского семейства. Та извещала, что Николай Васильевич «будет сегодня или завтра». «После человек открыл, что он уже едет и сейчас будет». Елизавета Васильевна, сестра писателя, «плакала от радости». Брат так чудесно подгадал: 9 мая — его именины, всегда отмечаемые, где бы он ни жил, на родине, в Москве или в Риме.

Но вот появился Николай... «Как он переменялся! Такой серьезный сделался; ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный и равнодушный к нам! Как мне это было больно!» (Шенрок, т. 4, с. 703), — записывает в тот же день Елизавета Васильевна.

И затем это ощущение все возрастало и становилось мучительнее.

На другой день после именин, 10 мая: «Все утро мы не видели брата! Грустно: не виделись шесть лет и не сидит с нами».

Через два дня, 13 мая: «Брат все такой же холодный, серьезный, редко когда улыбнется; однако сегодня больше разговаривал».

Через неделю, 20 мая: «Сегодня у меня сильное раздражение нервов, и я все плачу».

И наконец, 25 мая: «Брат уехал в Киев. Так было грустно; все что-то тревожит» (там же, 703—704).

В продолжение этого времени в Васильевке бывали гости: наведывались соседи, приезжала Софья Васильевна Скалон с мужем Василием Антоновичем Скалоном, армейским офицером, преподавателем Полтавского кадетского корпуса, и сыном Сашей. Да и сам Гоголь на день-два с сестрой Анной ездил в Полтаву, откуда они возвратились вместе с племянником Колей Трушковским. Собирали и крестьян, которые танцевали и пели во дворе, угощались и пили за здоровье Николая Васильевича («Меня очень тронуло, что они были так рады его видеть!» — записывает Елизавета Васильевна). Но все это не улучшало настроения Гоголя и общей атмосферы в доме.

Со своей стороны, Гоголь так описывал Данилевскому первые часы пребывания на родине: «Ты спрашиваешь меня о впечатлениях, какие произвел во мне вид давно покинутых мест. Было несколько грустно,



вот и все. Подъехал я вечером. Деревья — одни разрослись и стали рощей, другие вырубались. Я отправился того же вечера один степовой дорогой, позади церкви, ведущей в Яворивщину, по которой любил ходить некогда, и почувствовал *сильно*, что тебя нет со мной. Вероятно, того же вечера я был бы в Толстом (напомним: Толстое — имение Данилевских. — Ю. М.), но Толстое пусто, и мне стало еще грустнее. Все это было в день моих именин, 9 мая. Матушка и сестры, вероятно, были рады до *plus ultra* моему приезду, но наша братья, холодный мужеский пол, не скоро растапливается. Чувство непонятной грусти бывает к нам ближе, чем что-либо другое» (XIV, 66–67; курсив в оригинале).

Причины «непонятной грусти» Гоголя многообразны. По-прежнему угнетала мысль о неудаче только что совершенного паломничества к Гробу Господню, ощущение поражения и отверженности. К этому прибавилось и расстройство, вызванное плохими вестями на родине: «Беспрестанно узнаешь про смерть кого-нибудь из близких людей или какие-нибудь смуты» (там же, 62). Гоголь имел в виду прежде всего кончину Ивана Григорьевича Пашенко, старого гимназического товарища, служившего в Министерстве юстиции. «Он был умен и имел способность замечать, — писал Гоголь Данилевскому из Одессы 4 мая 1848 года. — И ты и я лишились в нем товарища закадычного. Я до сих пор не могу привыкнуть к мысли, что его уже нет» (там же, 66). Тяжело переживал Гоголь и неурядицы в родном доме — запущенность хозяйства, непрактичность матери, растущие долги.

Влияло и общее беспокойство, угроза приближающейся и уже начавшейся эпидемии. Холера буквально гналась за Гоголем по пятам. «1848 год был несчастным для Одессы. Холера, поразившая всю Россию, коснулась и Одессы: заболевших было свыше 5500 душ, умерло до 1800 человек» (Одесса, с. 37). Не намного лучше обстояло дело в родных местах. «В Полтавской губернии, — сообщал Гоголь С. Т. Аксакову из Васильевки 8 июня, — свирепствует холера почти повсеместно, и в самой Полтаве» (XIV, 70). Было несколько смертельных случаев и в Васильевке. Заболел и Гоголь — «...это, слава Богу, еще не холера, а просто понос от нестерпимых жаров, томительнее которых, я думаю, не бывает в самой Африке» (Гоголь — Плетневу, 7 июля, Васильевка).

И вести, которые шли из Петербурга, не сулили ничего хорошего. «...Нельзя быть уверенным в жизни и того, с кем виделся и вчера, — писал Гоголю Прокопович 16 июня. — Да, нас посетил страшный бич: по свидетельству медиков, эпидемия 1831 г. против нынешней кажется игрушкой» (Шенрок, т. 4, с. 770). Бедствие представляло всеобщим, всероссийским, но надо подчеркнуть — и этот масштаб, в глазах Гоголя, выглядел неоправданно заниженным.

Ибо российский беды накладывались в его сознании на сполохи революционных потрясений, которые он предчувствовал или видел воочию в Западной Европе, и все вместе воспринималось, используя дав-

нее гоголевское выражение, как «сильные кризисы, чувствуемые целою массою». Не страной, не народом, — а именно «целым» человечеством!

«Времена настали такие, в которых нельзя думать о собственных удовольствиях и мирном провозждении времени; нужно покрепче молиться» (Гоголь — матери, XIV, 62). «Если Бог не вмешается наконец сам в дело, люди погибнут от собственной глупости» (Шевыреву, там же, 75). Что же остается художнику? «Дело в том, остались ли мы сами верны прекрасному <...>, чтобы петь ему безуданно песнь даже и в ту минуту, когда бы валился мир и все земное разрушалось. Умереть с пением на устах — едва ли таков же неотразимый долг для поэта, как для воина умереть с оружием в руках» (Жуковскому — там же, 74).

Петь «прекрасному» ввиду погибающего мира — значит стремить к завершению книгу жизни, а это-то не давалось Гоголю. Поначалу казалось, что наступила лишь небольшая пауза, временная реакция на перемену обстановки. «О себе скажу только, что еле-еле осматриваюсь. Вижу предметы вокруг меня как бы сквозь какую-то мглу. Много для меня покуда задача. Боюсь предаться собственным заключениям, чувствуя, что малейшей торопливостью и опрометчивостью могу наделать больше вреда, чем всякой иной писатель» (Записки, вып. 23, 1960, с. 255–256). Но пауза все тянулась, силы не прибавлялись, мгла не проходила, — и в этом заключалась еще одна, может быть, решающая причина угнетенного состояния Гоголя. «...Ничего не мыслится и не пишется; голова тупа» (Шевыреву, 14 июня, — XIV, 75).

Итак, 25 мая Гоголь отправился в Киев, куда его настойчиво зазывал Данилевский: «Здесь у тебя много друзей! После стольких бесчисленных и бесконечных вояжей, что стоит тебе перешагнуть в Киев?» (Шенрок, т. 4, с. 711). Гоголь и «перешагнул» — и прямо в тесную казенную квартирку Данилевского, где тот проживал вместе с женой Ульяной Григорьевной, урожденной Похвисневой (они поженились во второй половине 1844 г.), и дочерью Ольгой.

Но по случаю экзаменов Данилевский целыми днями пропадал в пансионе, и Гоголь страдал от одиночества.

Возможно, среди киевских друзей Гоголя Данилевский подразумевал и Ф. В. Чижова. Действительно, Чижов с Гоголем были знакомы еще по Петербургскому университету, прожили вместе зиму 1842/1843 года в Риме; но отношения их в эту пору не сложились (см.: Труды и дни, с. 316 и далее). Иное дело — во время теперешнего краткого пребывания Гоголя в Киеве.

Следует прежде всего вспомнить, что пришлось пережить Чижову после римских встреч с Гоголем. В 1845 году он возвратился в Россию, с тем чтобы вновь отправиться в путешествие, на этот раз по славянским странам. Но на обратном пути в мае 1847 года Чижов был арестован на русской

границе по подозрению в принадлежности к Кирилло-Мефодиевскому обществу (другая версия ареста, которой придерживался, в частности, И. С. Аксаков — участие Чижова в доставке оружия в Далмацию и последующее затем донесение австрийского правительства русскому). Чижова допросили в III Отделении, и хотя вскоре освободили, но по личному распоряжению императора запретили жить в обеих столицах. В 1848 году он поселился в Триполье Киевской губернии, оставив литературный труд и занявшись шелководством. «Это было тяжелое для него время: он остался без средств, а надобно было жить и не зависеть» (Аксаков, 2002, с. 707).

В это-то «тяжелое время» произошла встреча с Гоголем, о чем Чижов сообщил 1 июня из Киева Александру Иванову: «...Четвертого дня приехал сюда Гоголь, возвращаясь из Иерусалима, он, кажется, очень и очень успел над собою, и внутренние успехи выражаются в его внешнем спокойствии <...> Мы сошлись хорошо, хоть разбитая душа моя не в состоянии была отозваться ни на какой призыв его <...> Верите ли, что до того истощены силы, что написать письмо мне стало уже делом. Гоголь предсказывает укрепление тела и духа, но я до того упал, что даже нет утешения в мысли, что силы могут вновь восстановиться» (ЛН. Т. 58. С. 778).

Бросается в глаза, что Чижов — чуть ли не единственный в эту пору, кто отмечал ровное настроение и «внутренние успехи» Гоголя. Это объясняется тем, что его состояние Чижов воспринимал на фоне собственного беспокойства и угнетенности. И еще тем, что Гоголь взял на себя привычные обязанности утешения и духовной поддержки своего собеседника, — в таких случаях, как это было не раз, затраченная духовная энергия словно рикошетом возвращалась к нему самому.

Со своей стороны, и Чижов приблизился к пониманию Гоголя, былые упреки писателю в диктаторском тоне сменились сочувствием и терпимостью.

«После Италии, — рассказывал Чижов гоголевскому биографу, — мы встретились с ним в 1848 году в Киеве, и встретились истинными друзьями. Мы говорили мало, но разбитой тогда и сильно больной душе моей стала понятна болезнь души Гоголя... Мы встретились у Данилевского, у которого остановился Гоголь и очень искал меня; потом провели вечер у М. В. Юзефовича. Гоголь был молчалив, только при расставании он просил меня, не можем ли мы сойтись на другой день рано утром в саду. Я пришел в общественный сад рано, часов в 6 утра; тот час же пришел и Гоголь. Мы много ходили по Киеву, но больше молчали; несмотря на то, не знаю, как ему, а мне было приятно ходить с ним молча. Он спросил меня, где я думаю жить? — Не знаю, говорю я: вероятно, в Москве.

— Да, — отвечал мне Гоголь: — кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после Рима только Москва и может нравиться.

Тут, не помню, в каких словах, он передал мне, что любит Москву и желал бы жить в ней, если позволит здоровье. Мы назначили вечером

сойтись в Лавре, но там виделись только на несколько минут: он торопился» (Кулиш, 2003 с. 578).

Упомянутый Чижовым «вечер» у М. В. Юзефовича — возможно, именно тот, который, согласно легенде, закончился курьезом... Но в начале следует сказать о хозяине дома.

Михаил Владимирович Юзефович (1802—1889), поэт и археолог, бывший военный, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов, мог быть интересен Гоголю благодаря своим связям с Пушкиным. О встрече с Юзефовичем («поэтом Ю.») 27 июня 1829 года Пушкин упоминал в «Путешествии в Арзрум...», появившемся в первом томе «Современника» за 1836 год (в этом томе было опубликовано несколько произведений Гоголя). Известны письма Льва Пушкина к Юзефовичу (за 1831—1843 гг.) с упоминаниями поэта; с Львом Сергеевичем же, как мы знаем, Гоголь совсем недавно встречался в Одессе. Не приходится говорить о том, что немало пушкинских реминисценций содержат стихи Юзефовича, опубликованные в «Украинском журнале» за 1825 год (см. подробнее: Лосиевский, с. 162—168).

Следует еще добавить, что ко времени приезда Гоголя в Киев Юзефович занимал должность помощника попечителя Киевского учебного округа.

Что же касается упомянутого вечера у Юзефовича в Липках, то его подробное описание восходит к некоему Михольскому, молодому помещику, бывшему «очевидцем» событий:

«На обширном балконе, выходящем в сад, были приготовлены столы с закусками и чаем. Собрались преимущественно молодые профессора Киевского университета, которые хотели представиться Гоголю. Все были по этому случаю одеты в новенькие вицмундиры и, в ожидании великого человека, переговаривались вполголоса. Юзефович постоянно выбегал смотреть, не едет ли Гоголь. Уж начинало смеркаться и последние лучи заходящего солнца умирали на чайной посуде, как, по некоторому движению в доме и по внезапно изменившемуся лицу Юзефовича, который, слышав шум, убежал с балкона, гости заключили, что Гоголь, наконец, приехал. Профессора, сидевшие перед этим, встали и выстроились в ряд <...> В раме открытых настежь дверей показались две фигуры — Юзефовича и Гоголя. Гоголь шел, понутив свою голову, с длинным носом и длинными, прямыми волосами. На нем был темный гранатовый сюртук, и Михольский, в качестве франта, обратил внимание на жилетку Гоголя. Эта жилетка была бархатная, в красных мушках по темно-зеленому полю, а возле красных мушек блестели светло-желтые пятнышки по соседству с темно-синими глазками. В общем, жилетка казалась шкуркой лягушки. Приведя Гоголя на балкон, Юзефович отстранился, чтобы не выдвигаться вперед, а Гоголь остался перед выставленными профессорами, словно начальник, принимающий

подчиненных. Все низко ему поклонились. Он потупился и, по застенчивости или по гордости, не ответил на поклон, который заменил его потупленный взор.

Юзефович почувствовал неловкость от воцарившегося молчания, бросился из-за спины Гоголя и стал представлять ему по одиночке его почитателей.

— Профессор такой-то! Профессор Павлов! Костомаров!

Гоголь чуть-чуть кивал головой и произносил тихо:

— Очень приятно, весьма приятно, душевно рад во всех отношениях.

Когда представление гостей кончилось, Юзефович простер руку в некотором расстоянии от талии Гоголя и просил его сесть откусать, но Гоголь, взглянув на закуску и на чай, сделал брюзгливую гримасу, еще брюзгливее посмотрел на своих почитателей и закрыл глаза рукой, брюзгливо глянув в сторону заходящего солнца. Юзефович сделал знак какому-то молодому человеку стать у решетки балкона и заслонить собою солнце, что тот моментально и исполнил. Гоголь продолжал молчать. Никто не осмелился сесть в его присутствии.

Прошло минуты две или три. Наконец великий человек поднял голову и пристально воззрился на жилет Михольского, тоже бархатный, как у него, и тоже в замысловатых крапинках, но в общем походивший не на шкурку лягушки, а на шкурку ящерицы.

— Мне кажется, как будто я вас где-то встречал, — сказал Гоголь Михольскому.

Михольский хотел отвечать, но из-за спины Гоголя Юзефович угрожающе покивал ему пальцем, и тот должен был ждать, что еще скажет Гоголь.

— Да, я вас где-то встречал, — утвердительно произнес Гоголь. — <...> Мне кажется, что я видел вас в каком-то трактире, и вы там ели луковый суп.

Михольский поклонился.

Гоголь погрузился снова в молчание, задумчиво глядя на жилетку Михольского. Вдруг он подал руку хозяину, сделал общий поклон его гостям и направился к выходу. Юзефович не смел его удерживать» (Ясинский I. Анекдот о Гоголе // ИВ. 1891. Июнь. С. 594–598).

Далее, как следует из того же рассказа, Гоголь попытался — впрочем, безуспешно — приобрести такой же жилет; и таким образом обнаружилось, что зависть к обладателю этого жилета и явилась истинной причиной неожиданного ухода писателя из дома Юзефовича.

Что в этом рассказе истина, а что вымысел — сказать трудно: история поведана спустя многие десятилетия и не очевидно, а другим лицом (Иеронимом Иеронимовичем Ясинским). Еще Н. С. Лесков обратил внимание на явные неточности сообщения: профессор Н. И. Костомаров не мог присутствовать на вечере, так как еще в марте предыдущего

года был арестован по делу об участии в Кирилло-Мефодиевском обществе (другой упоминаемый профессор, Платон Васильевич Павлов — в это время действительно преподавал историю в Киевском университете); не было в ту пору в Киеве и портного Гросса, у которого Михольский якобы приобрел свою жилетку<sup>1</sup>. Но если оставить в стороне эти неточности и сюжет со злополучным жилетом, то наиболее вероятным представляется сам факт внезапного бегства Гоголя от многолюдства, от незнакомых и неожиданных почитателей. Так поступал писатель и раньше, случилось подобное и в нынешний его приезд в Киев, о чем гоголевскому биографу рассказывал сам Данилевский: раз у него «неожиданно собралось большое общество, желавшее с ним познакомиться, но на Гоголя опять напала такая хандра, что он просидел в этом обществе не более получаса. Таких примеров было много» (Шенрок, т. 4, с. 747). Один из них, видимо, — вечер у Юзефовича.

Более расположен был Гоголь, так сказать, к индивидуальным встречам, с людьми, вызывавшими у него симпатию.

Так, в доме Данилевских Гоголь познакомился с Александром Михайловичем Марковичем (1790—1865). Окончив Петербургский университет, Маркович отказался от перспективы служебной карьеры и, возвратившись в родовое имение в селе Сварково Глуховского уезда Черниговской губернии, посвятил себя попечению своих крестьян — открыл школу, расширил больницу. Маркович приходился дядей Ульяне Данилевской и ее сестрам Марье и Варваре и фактически воспитал трех своих племянниц-сирот<sup>2</sup>.

Прожив в Киеве две с лишним недели, Гоголь направился в Васильевку. «У нас в Киеве так часто говорят о вас, что мне все кажется, что вы еще здесь...», — писала ему 15 июня Ульяна Григорьевна. Часто вспоминала Гоголя и дочка Данилевских Ольга (дети обычно любили Гоголя, привя-

---

<sup>1</sup> Заметка Н. С. Лескова «Нескладница о Гоголе и Костомарове (историческая поправка)» была опубликована в «Петербургской газете» (1891. № 192. 16 июля). См. также: *Лесков Н. С. Собр. соч.*: В 11 т. М., 1958. Т. 11. С. 208—212. Позднее И. А. Бунин воспроизвел этот эпизод в рассказе «Жилет пана Михольского» (*Бунин И. А. Собр. соч.*: В 9 т. М., 1966. Т. 7. С. 288—291).

<sup>2</sup> Точно неизвестно, встречался ли Гоголь в этот раз со своим старым другом М. А. Максимовичем, бывшим профессором и ректором Киевского университета. После выхода в отставку Максимович проживал на своем хуторе Медвежья гора, но оттуда часто навещался в Киев. В биографической канве первого академического издания Сочинений Гоголя указано, что такая встреча была (см.: XIV, 11). Однако сам Максимович определенно утверждал, что после встречи в 1835 г. в Киеве они с Гоголем расстались «надолго, до нашего свидания в октябре 1849 г., в Москве» (Максимович, 1871, с. 57). Следует внести еще одно уточнение, касающееся пребывания Гоголя в Киеве: писатель в эту пору не мог видаться с Г. П. Галаганом, поскольку последний указывал, что после апреля 1843 г. он «уже более Гоголя не встречал» (Галаган, с. 69; отмечено публикатором документа Е. Н. Гусевой).

зывались к нему). «Недавно кто-то ее спросил: “где Гого?” — “Нету Гого, а палька туто” — и пошла показывать вашу палку» (Шенрок, т. 4, с. 712, 713).

Вторую половину июня—июль Гоголь проводит на родине. Атмосфера в доме по-прежнему гнетущая: продолжение холеры, перспектива неурожая, подавленное настроение Николая Васильевича. «Ужасная тоска!» — записывает Елизавета Васильевна 9 июля (там же, с. 704).

В доме часто бывают гости, 23 июля приехали Данилевский с женой. Отлучается иногда и Николай Васильевич, так, в первых числах августа вместе с сестрами Лизой и Аней он едет в Будище, потом в Диканьку на молебен по случаю предстоящего своего отъезда в Москву, потом в Полтаву к Скалон... Но настроения это не поднимает. «Вчера мы все плакали, — отмечает 22 августа Елизавета Васильевна. — Тоска ужасная!» И еще о брате — как сокровенное признание: «Как я его сильно люблю, хотя часто и неприятности делает» (там же).

И вот наступило 24 августа. «Мы встали очень рано. Грустный день: брат уезжает! Я пошла к нему и помогала ему укладываться. В 8 часов пошли в церковь слушать молебен: поехали в Сорочинцы на двух экипажах: полдороги Аннета с братом, а потом я с ним».

В Сорочинцах Елизавета упросила Николая Васильевича остаться здесь до завтра и хотя бы таким образом отложить расставание на день.

25 августа: «Я встала рано и пошла к нему, и он меня обнял и крепко поцеловал. В 9 часов мы распрощались... Ах, как грустно!...<...> Все плакали, — у Трахимовских — даже дети» (там же). Речь идет в частности о десятилетнем Н. А. Трахимовском, правнуке врача Михаила Яковлевича Трахимовского, в доме которого около сорока лет назад родился Гоголь<sup>1</sup>...

И еще запись Елизаветы Васильевны 27 августа: «Мы дома. Какое ужасное пробуждение: первый день без брата!»

Между тем Гоголь вместе с Данилевскими в их экипаже прибыл в село Сварково, имение Марковича. «Мы приехали прямо ко дню его именин (30 августа), — рассказывает Александр Данилевский. — Было много гостей, и Гоголь был страшно не в духе». Но «дядя Ульяны Григорьевны», т.е. Маркович, «ему очень полюбился», и Гоголь «провел у него несколько дней...» (Шенрок, т. 4, с. 715).

Из Сварково в экипаже Марковича Гоголь едет в Глухов и далее на север. 5 сентября он уже в Орле, а 12 сентября — в Москве.

«Здоровье мое, слава Богу, немного получше» (XIV, 83), — писал Гоголь Плетневу перед выездом из Сварково. И уже по приезде в старую

---

<sup>1</sup> Н. А. Трахимовский впоследствии вспоминал: «Самого Николая Васильевича я несколько раз видел и в Васильевке, и в Сорочинцах, в доме моего отца, в 1848, 1850 и 1851 гг., и хотя в 1848 г. мне было всего 10, а в 1851 г. — 13 лет, личность Гоголя врезалась в память мою глубоко» (Трахимовский, с. 26).

столицу, 12 сентября, в *воскресенье* (Гоголь специально отмечает, какой это день недели) — своему «брату и богомольцу» Матвею Константиновскому: «Я, слава Богу, приехал сюда цел и невредим» (XIV, 85).

## МЕСЯЦ В СТОЛИЦАХ

Гоголь расположился в знакомом ему доме на Девичьем поле. «Он теперь у Погодина, — сообщила В. С. Аксакова отцу около 11 сентября, — в той же самой комнате, которую занимал и прежде, и говорит, что увидел ее с такой радостью, точно как будто воротился на родину...» (ЛН. Т. 58. С. 706).

Но в московской жизни еще господствовали летняя тишина и безлюдье. «В Москве, кроме немногих знакомых, почти нет никого, — писал Гоголь Данилевскому. Все еще сидит по дачам и деревням» (XIV, 85).

В своей «деревне», в Абрамцеве, находился и Сергей Тимофеевич Аксаков — в город он возвратился лишь в октябре (Аксаков С., с. 213). Но с некоторыми членами аксаковского семейства Гоголь повидался в их московском доме — с Ольгой Семеновной, Верой Сергеевной и Константином Сергеевичем. Константина особенно впечатлила встреча с Гоголем, что отразилось в нескольких эпистолярных документах.

«Сюда приехал Гоголь: я был в то время в Москве, — сообщил 16 сентября Константин Сергеевич своему брату Григорию и его жене. — Его письма к отесеньке и ко мне были совсем не то, что прежние, т.е. гораздо лучше, да и увидев его, я помнил только то, что шесть лет с лишком не видел его. Поэтому крепко его обнял, так что он долго после этого кряхтел. Он будто смущен, уступает и еще не знает, как ему быть; неуверенность видна в нем. Так я заметил» (ЛН. Т. 58. С. 708).

Более подробно об этой встрече примерно в то же время писал К. Аксаков А. Н. Попову: «Я видел его в Москве почти совершенно неожиданно и обрадовался ему очень <...> — Я помнил тут, что не видал его шесть с лишком лет, и поэтому обнял всею крепостью своего объятия. Проведши с ним несколько часов, я на другой день уехал в деревню. Гоголь показался мне как-то смущенным, не знающим еще, как ему стать, робким даже, что поневоле останавливает всякое сильное слово. Мне, однако же, казалось и теперь кажется, что итальянская дурь у него прошла <...> Но если он прежний Гоголь, написавший свою несчастную книгу, полную лжи в искренности и гордости в смирении, то поневоле станешь с ним в прежние далекие отношения, которые образовались после его книги» (там же, с. 707).

Наконец сообщила о встрече с Гоголем и Вера Сергеевна в Петербург М. Г. Карташевской, 30 сентября: «Он был в Москве, мы его видели, он мало наружно переменялся, но кажется как будто это не тот Го-



голь. Константин в минуту свидания забыл все и задушил, было, его обнимая» (Аксаков С., с. 213).

Общая деталь всех этих сообщений — мощное «объятие», выражающее свойственную Константину Аксакову непосредственность характера и наипривторную радость от возвращения Гоголя. Со стороны же Гоголя — явное смущение, граничащее с растерянностью. Среди его друзей Аксаковы были те, кто наиболее откровенно не принял «Выбранные места...», что неволью и сказалось на первой, после шести лет, его встрече с Константином Сергеевичем. Обращает на себя внимание и совсем уж экзотичный упрек насчет «итальянской дури»: дело в том, что К. Аксаков вообще считал пагубным и зловредным пребывание Гоголя за границей и оторванность от мира родного, русского.

Еще Гоголю удалось повидаться в Москве с художником Эммануилом Александровичем Дмитриевым-Мамоновым (1823—1883), который нарисовал с него портрет; возможно, с Е. А. Свербеевой, а также с Шевыревым. Шевырев тоже еще жил на даче, но приехал в город для свидания с Гоголем. «...Николай Васильевич наружностью не переменялся нисколько, — сообщает он Н. Н. Шереметевой, — здоровье его хорошо. Бойтся зимнего холода. Духом он бодр. Слово его такое же, как было прежде. Собирается здесь работать» (ЛН. Т. 58. С. 708).

Но прежде, чем засесть за работу, Гоголь отправился из старой столицы в новую — в город «с именем чужим», если воспользоваться выражением Константина Аксакова. Обдумывалась эта поездка уже давно, за границей и затем по прибытии в Россию, в родных местах: «...мне так хочется увидеть и обнять многих» (XIV, 73), — писал Гоголь А. М. Виельгорской 15 июня из Полтавы.

К 16 сентября он уже в Петербурге. Был у Прокоповича, «вокруг которого роща своей семьей» (там же, 87), т.е. жена Марья Никифоровна (в девичестве Трохнева) и дети. Дважды заходил к П. А. Плетневу, но не застал дома: тот проводил время на своей даче Спасская мыза, близ Лесного института (впоследствии, скорее всего, они все-таки увиделись). Потом вместе с Михаилом Юрьевичем поехал в Павлино, дачу Виельгорских, чтобы вместе отпраздновать именины Софьи Михайловны, приходившиеся на 17 сентября. Около того же времени Гоголь ездил в Павловск, где жила А. О. Смирнова.

Вот ради встречи с Александрой Осиповной и с Анной Виельгорской Гоголь прежде всего и приехал в Петербург.

Смирнова переживала очередной приступ тоски, граничившей с депрессией. После рождения сына Михаила в мае 1847 года ее здоровье заметно ухудшилось; лечилась она и на курорте, в Ревеле, и в Петербурге, но все это не помогало. «...Успокойтесь, моя страдалица, — писал ей Гоголь еще 20 ноября н. ст. 1847 года из Неаполя. — Сложите тихо руки

крестом, как младенец, и предайтесь доверчиво воле того, кто посылает нам страданье» (XIII, 396). Но и советы Гоголя не помогали. В письме Гоголю от 14 апреля 1846 года у Смирновой вырывается вопль отчаяния: «Трудна моя жизнь, трудна болезнь...» (РС. 1890. № 7. С. 207). Гоголю оставалось надеется на личную встречу.

Однако встреча в Павловске вышла недолгой, а других возможностей не представилось. «Я вас ожидал, добрая Александра Осиповна, у Веневитиновых, — пишет Гоголь уже по возвращении в Москву, 14 октября. — Я думал потом, авось-либо вы заедете в контору дилижансов. Но вас не было, и мне сгрустнулось. Мы с вами так немного виделись!» (XIV, 89).

И Гоголь поручает попечению Смирновой другую свою подопечную — Анну Виельгорскую. Поручает, потому что, по его представлениям, это проверенный способ помочь не только другому, но и самому себе. Пусть Смирнова почаще видится с ней, ведет участливые, исполненные любви беседы, объясняет, в чем «состоит наше истинно русское добро» (там же, 90), и результат, причем двойной результат, скажется сам собою.

Но выполнить гоголевское «поручение касательно Нози» (так называли Анну Михайловну домашние) Смирнова не смогла: «надобно бы очень часто видеться с нею для этого, а графиня [Луиза Карловна Виельгорская] ее одну не пустит ко мне, сама же всегда приезжает на минуту» (РС, 1890, № 11, с. 355–356). И тогда Гоголь решает воздействовать на Анну Виельгорскую уже сам, с помощью письменного слова.

Из этих его писем, отправленных по возвращении в Москву (а также из письма к Смирновой), видно, что в Петербурге у Гоголя с Анной был доверительный разговор, что он узнал (или догадался) о пережитой ею драме, возможно драме интимной, о постигнувшей ее неудаче или разочаровании («...думали найти человека, с которым об руку хотели пройти жизнь, а нашли мелочь да пошлость...»); услышал он и откровенные слова, которые его, Гоголя, «испугали», — Анна будто бы сказала: «Я хотела бы, чтобы меня что-нибудь схватило и увлекло; я не имею собствен<ных> сил» — XIV, 93, 90). Впрочем, о новом этапе отношений Гоголя с Анной Виельгорской речь впереди...

Пока лишь отметим, что важную роль в воспитании Анны Михайловны Гоголь отводил своему главному произведению: «...Мне хотелось бы сильно, чтобы наши лекции с вами начались 2-м томом «Мерт<вых> душ». Вспомним, что свою книгу Гоголь, в частности, предназначал светским женщинам вроде Ростопчиной или Нессельроде, «которые еще не избрали поприща и находятся покаместь на дороге и на станции, а не дома» (XIII, 35). К таким лицам Гоголь относил и Анну Виельгорскую, причем очевидно, что писатель не стал бы в данном случае дожидаться выхода 2-го тома — речь шла о чтении еще создаваемо-

го, еще вынашиваемого труда. А это означало, что Гоголь рассчитывал на продолжение общения с нею и, возможно, не такое уж далекое.

В трехнедельное пребывание в Петербурге Гоголь еще имел несколько встреч и сделал несколько визитов. Так, он заходил к Федору Лаврентьевичу Халчинскому (ум. 1860), дипломату и переводчику, чтобы передать ему привет от родственника Ивана Федоровича Халчинского, однокашника Гоголя, с которым они недавно встречались в Константинополе. Не застав Федора Халчинского дома, Гоголь оставил ему записку (см.: XIV, 88).

Неоднократно встречался писатель с художником Павлом Федоровичем Зеньковым (Зенковым, р. 1824). У Гоголя могли быть связанные с ним неприятные ассоциации: именно Зеньков литографировал портрет кисти А. Иванова, помещенный в 11-м номере «Москвитянина» за 1843 год, что вызвало неудовольствие Николая Васильевича (см.: Труды и дни, с. 696 и далее).

Это не помешало Гоголю проявить внимание к молодому художнику, которым он сумел заинтересовать и Александра Иванова. Собирающемуся в Москву Ф. В. Чижову Иванов писал 8 ноября н. ст. 1845 года из Рима: «Гоголь просит Вас сыскать у Погодина Зенькова; это молодой художник, которого Вы во имя искусства должны раскусить и сказать мне, что он такое, и если он с талантом и призванием, то и похлопотать, чтобы он был прислан сюда...» (ЛН. Т. 58. С. 673). В Рим Зеньков не поехал, и его встреча с Гоголем состоялась осенью 1848 года в Петербурге.

Эту встречу устроил Погодин, переслав Гоголю письмо для Зенькова. Виделись Зеньков и Гоголь три раза.

«...При первом моем свидании с Николаем Васильевичем, — писал Зеньков Погодину, — мы были очень рады друг другу, в особенности я; от радости не знаешь, что и говорить с ним, — начнешь об одном, сейчас же об другом, потом об третьем, и т.д. После, во второй раз, я приносил ему показать свои рисунки, этюды и эскизы; пересмотревши все, он был доволен моим успехом и пожелал мне еще больших; дал мне несколько полезных советов в отношении моих занятий, которые я уже имел в своем сердце и чувствовал так же, как он <...>, поэтому я его слушал так, как бы говорило мне мое сердце; я его еще больше полюбил после этих советов <...> В третий раз заходил к нему проститься» (там же, с. 710).

Со своей стороны, Гоголь сообщал Погодину: «Зеньков у меня был. Из него выйдет славный человек. В живописи успеваешь и уже почувствовал сам инстинктом почти все то, что приготавливался я ему посоветовать» (XIV, 89). Таким образом, если не Чижов, то уж Гоголь точно «раскусил» молодого художника.

Гоголь постарался поддержать его и деньгами. «Еще я Вам скажу, — продолжает Зеньков свое письмо Погодину, — что он так был добр для

меня, что дал мне десять рублей серебром, которые мне было совестно от него взять, и старался сколько мог отклониться, но он просил меня, чтобы я от него принял их, как бы от своего родственника, и чтобы мне не так было совестно взять их, то он предложил мне написать ему к весне головку Спасителя» (ЛН. Т. 58. С. 710).

И этому сообщению находится любопытное соответствие в словах Гоголя: 20 ноября, уже по возвращении в Москву, он просит Плетнева: «Пошли в Академию художеств по художника Зенькова и, призвавши его к себе, вручи ему пятьдесят рублей ассигнациями на нововыстроенную *обитель*, для которой они работают иконостас. Деньги напиши на мне» (XIV, 99; курсив в оригинале).

Еще один немаловажный эпизод петербургского времяпрепровождения Гоголя — посещение им мастерской К. П. Брюллова. Об этом мы узнаем из малоизвестных воспоминаний ученика великого художника М. И. Железнова:

«В мастерской Брюллова я видел Гоголя только один раз, вскоре по возвращении из Италии, в 1849 г. (на самом деле — в 1848 г. — *Ю. М.*<sup>1</sup>). Гоголь пришел к Брюллову перед сумерками вместе с Бруни. До этого времени я никогда не видел Гоголя, но тотчас узнал его по литографии, сделанной, как я впоследствии убедился, с портрета, написанного Ивановым (речь идет о вышеупомянутой литографии Зенькова. — *Ю. М.*). Костюм Гоголя состоял из серых шароваров, из черного бархатного короткого сюртука и из небрежно повязанного на шею малинового шелкового платка, на котором лежал довольно широкий, ненакрахмаленный воротник рубашки. Неблагодарство манер Гоголя сразу озадачило меня; но его лицо, в сравнении с портретом, показалось мне молоденьким и свеженьким огурчиком. Гоголь и Брюллов поцеловались три раза на крест, как у нас все целуются в светлое воскресенье. Только что Брюллов пустился в расспросы о Риме, Лукашевич (другой ученик Брюллова. — *Ю. М.*) вызвал его в другую комнату, а Гоголь обратился ко мне с вопросом: “Скажите, где портрет Жуковского?” (речь идет о варианте портрета, написанного Брюлловым в 1838 г. для выкупа Т. Г. Шевченко. — *Ю. М.*)» (Железнов, с. 643). Когда портрет был принесен, Гоголь сказал: «Жуковский много постарел с тех пор, как К<арл> П<авлович> его писал; но все-таки очень похож на свой портрет. Это лучший из портретов, написанных с Жуковского» (там же).

Описанная мемуаристом встреча Гоголя с Брюлловым, характер их общения косвенно подтверждают, что они уже были знакомы лично:

---

<sup>1</sup> Вслед за мемуаристом Н. Г. Машковцев также относит эпизод посещения Гоголем мастерской Брюллова к 1849 г. (см.: К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников / Сост. книги и автор предисл. проф. Н. Г. Машковцев. 2-е изд. М., 1961. С. 237). Однако это исключено: в начале октября 1848 г. Гоголь покинул Петербург и больше сюда не приезжал.

предположительно они уже виделись дважды в Петербурге, в конце мая — начале июня 1836 года и в 1839 или 1841, или 1842 году (см.: Труды и дни, с. 450, 766). Но случилось так, что это была их последняя встреча: спасаясь от петербургского климата, Брюллов 1 апреля 1849 года вместе с двумя своими учениками, уже упоминавшимися Михаилом Железновым и Николаем Лукашевичем, уехал за границу (умер он 12 июня 1852 года в местечке Марчиано близ Рима, всего на три с небольшим месяца пережив Гоголя).

Воспоминания Железнова интересны и тем, что позволяют определенно ввести в биографию Гоголя еще одно лицо — Федора Антоновича Бруни. Впрочем, и о более раннем их знакомстве, во второй половине 1830-х годов в Риме, можно говорить с большой долей уверенности: Гоголь следил за работой художника над «Медным змием» и в мае 1839 года информировал М. П. Балабину: «Картина Бруни, о которой вы интересуетесь знать, кажется стоит на том же, на чем стояла. Век художника оканчивается, когда он оставляет раз Италию, и, дохнувши тлетворным дыханием севера, он, как цветок юга, никнет голову» (XI, 231). Гоголь имеет в виду поездку Бруни в Петербург в 1836 году для проведения работ в Исакиевском соборе, из которой он вернулся в Рим лишь в 1838 году.

К 1839 году относится замечательно выразительный шарж, предположительно сделанный Бруни, — Гоголь на вилле Волконской. Карлик, с огромной головой в профиль и крохотным телом и ножками, сидя в кресле, читает кому-то газету. Возможно, больному Иосифу Виельгорскому, за которым ухаживал писатель и которому посвятил «Ночи на вилле» (см.: Труды и дни, с. 530 и далее). Перед Гоголем — край постели с одеялом, а за его спиной — столик с какими-то предметами, возможно, лекарствами. Если это действительно рисунок Бруни, то он свидетельствует о том, что художник виделся с Гоголем весной 1839 года у Волконской в пору смертельной болезни Иосифа Виельгорского.

И наконец, еще один штрих. В 1841 году картина «Медный змий» была перевезена в Петербург; выставленная в одном из залов Зимнего дворца, она пробудила к себе широкое внимание. «...Жаль, что ты не видала картины Бруни, — писала В. С. Аксакова из Москвы в Петербург М. Г. Карташевской 11 ноября 1841 года. — Я спрашивала об ней Гоголя. Он говорит, что в картинах Бруни виден талант более зрелый, нежели даже в картинах Брюллова, но что у этого последнего более гения; что картина эта, впрочем, прекрасна и что каждая группа отдельно может служить для изучения» (ЛН. Т. 58. С. 608). Говоря о «Медном змие», Гоголь, возможно, основывался не только на своих римских впечатлениях — он мог видеть картину и во время своего краткого пребывания в Петербурге в октябре 1841 года.

Такова предыстория настоящей встречи Гоголя с Бруни, осенью 1848 года, и их совместного визита к Брюллову.

Среди петербургских встреч Гоголя особый смысл приобретает его визит к преподавателю русской литературы во 2-м кадетском корпусе А. А. Комарову (см. о нем: Труды и дни, с. 631).

Прежде всего — это, так сказать, массовая встреча: в ней приняло участие, вместе с хозяином дома, не менее шести человек, а массовых встреч, как мы знаем, Гоголь обычно избегал. Далее, это была встреча по инициативе Гоголя, и, что очень важно, обратился он с такой инициативой к человеку, близкому к Белинскому. Самого Белинского уже не было в живых (кстати, о его смерти, последовавшей 26 мая 1848 г., Проккопович известил Гоголя еще 16 июля — Шенрок, т. 4, с. 771), но писатель, конечно, понимал, что приглашение будет сделано людям близким или, во всяком случае, не враждебным покойному критику. Так оно и произошло.

Из тех, кто оставил воспоминания об этом событии, двое были его участниками (И. И. Панаев и П. В. Анненков), а третий (А. С. Суворин) опирался на свидетельства другого лица (Н. А. Некрасова). Приведем вначале свидетельства очевидцев как наиболее достоверные.

Панаев: «Гоголь изъявил желание А. А. Комарову приехать к нему и просил его пригласить к себе несколько известных *новых* литераторов, с которыми он не был знаком. Александр Александрович пригласил между прочими Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Я также был в числе приглашенных, хотя был давно уже знаком с Гоголем <...> Мы собрались к Комарову часу в девятом вечера. Радужный хозяин приготовил роскошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением <...>

Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость, что-то принужденное. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь несколько оживился, говорил с каждым из них об их произведениях, хотя было очень заметно, что не читал их. Потом он заговорил о себе и всем нам дал почувствовать, что его знаменитые «Письма» писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Он как будто оправдывался перед нами» (Панаев, с. 345).

Затем мемуарист рассказывает о том, что Гоголь отказался от обеда, от вина, выразив желание лишь выпить рюмку малаги.

«Одной малаги именно и не находилось в доме. Было между тем уже около часа (ночи. — Ю. М.), погреба все заперты... Однако хозяин разослал людей для отыскания малаги.

Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой <...>

Хозяин дома, однако, умолил его подождать малаги. Через полчаса бутылка была принесена. Он налил себе полрюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы» (там же, с. 345–346).

Среди участников этой встречи здесь не упомянут Анненков, а между тем тот определенно говорил о ней как очевидец. Передавая гоголевские суждения о том, что литератору не следует сетовать на цензуру, Анненков добавляет: «Эту же мысль развивал он *при мне* и в 1849 (т.е. 1848. — *Ю. М.*) году *на вечере у Александра Комарова*. Тогда произошла довольно наивная сцена. Некрасов, присутствовавший тоже на нем, заметил: “Хорошо, Николай Васильевич, да ведь за все это время надо еще есть”. Гоголь был опешен, устремил на него глаза и медленно произнес: “Да, вот это трудное обстоятельство”» (Анненков, 1983, с. 535). О том же эпизоде Анненков говорит и в письме И. С. Тургеневу от 3 февраля 1858 года: «Помню я, что в 1849 (т.е. 1848. — *Ю. М.*) г. Гоголь находил необычайную пользу для литературы в тогдашней системе цензурного ограничения: это, говорил он, временный арест, чтоб заставить людей *мыслить*» (Труды библиотеки, с. 78; курсив в оригинале).

Теперь — версия Суворина, записанная со слов Некрасова: «Раз он (Гоголь. — *Ю. М.*) изъявил желание нас видеть. Я, Белинский (в действительности умерший несколькими месяцами ранее — см. об этом выше. — *Ю. М.*), Панаев и Гончаров надели фраки и поехали представляться, как к начальству. Гоголь и принял нас, как начальник принимает чиновников: у каждого что-нибудь спросил и каждому что-нибудь сказал. Я читал ему стихи к “К Родине” (т.е. “Родина”. — *Ю. М.*). Выслушал и спросил: “Что ж вы дальше будете писать?” — “Что Бог на душу положит” — Гм. — и больше ничего. Гончаров, помню, обиделся его отзывом об “Обыкновенной истории”» (Некрасов, с. 343)<sup>1</sup>.

Несмотря на возможную утрировку поведения Гоголя, какой оно подверглось во всех этих свидетельствах, отчетливо проступает вполне серьезный смысл его инициативы, и эта инициатива вполне вписывается в общее умонастроение писателя в это время. Гоголю чрезвычайно важно предотвратить впечатление о своей приверженности к какой-то одной группе или направлению (в том числе славянофильскому), подчеркнуть свою известную внепартийность или надпартийность. С этой целью он старался поддерживать контакты с Анненковым, а теперь об-

---

<sup>1</sup> Известен также рассказ А. Я. Панаевой об этой встрече (см.: Панаева, с. 188–189). Из этого рассказа следует, что, хотя она не присутствовала во время разговора, но по уходу Гоголя вошла в кабинет и уловила общую атмосферу встречи. Согласно Панаевой, встреча проходила в кабинете И. И. Панаева, что противоречит другим свидетельствам, а среди ее участников были еще Кронеберг и Боткин, что также не находит подтверждения. И уж совершенно фантастично утверждение, что именно под влиянием этого события Белинский (принимавший в нем участие) сочинил свое знаменитое письмо к Гоголю, которое он на следующий день принес Панаеву.

ратился с просьбой о встрече к Комарову, понимая, что его собеседниками будут люди западнической ориентации.

Не заключало в себе ничего странного и заявление Гоголя по поводу «Выбранных мест...». Писателю, мы знаем, было свойственно двоякое отношение к книге: не отказываясь от воодушевлявших ее главных мыслей, от философско-этического пафоса, он готов был признать несовершенство формы, поспешность выполнения, неубедительность доказательств, словом, слабость публицистического начала в сравнении с его, Гоголя, художественным даром. Быть может, учитывая характер аудитории, писатель на этот раз сильнее, чем обычно, подчеркивал неудачу «Выбранных мест...», так что у присутствовавших могло создаться впечатление, что он перед ними оправдывается.

Отвечала инициатива Гоголя и его интересу к современной литературе. Ведь еще 21 апреля н. ст. 1846 года Гоголь писал Н. М. Языкову о своем желании познакомиться с произведениями «наших нынешних писателей» (см. наст. изд., с. 16). Все приглашенные на встречу литераторы уже заслужили себе громкие имена: Гончаров — «Обыкновенной историей», Григорович — «Деревней» и «Антоном-Горемыкой», Дружинин — «Полинькой Сакс», Анненков — «Парижскими письмами», Панаев — «Петербургским фельетонистом» и «Литературной тлей», Некрасов — прежде всего своими стихами. Кстати, некрасовское стихотворение «Родина», опубликованное значительно позднее (в 1856 г.), в то время широко распространялось в списках и имело большой успех; возможно, Некрасов прочитал эти стихи по просьбе Гоголя. Правда, самим участникам встречи осведомленность Гоголя в их произведениях могла показаться недостаточной, а интерес — формальным, но то, что этот интерес существовал, подтверждается и другими свидетельствами, в частности Л. И. Арнольди: «Я прежде никогда не видал у Гоголя ни одной книги, кроме сочинений отцов церкви и старинной ботаники, и потому весьма удивился, когда он заговорил о русских журналах <...> Он все читал и за всем следил. О сочинениях Тургенева, Григоровича, Гончарова отзывался с большою похвалой. “Это все явления утешительные для будущего”, — говорил он <...>» (Воспоминания, с. 490). Напрашивается вывод, что этот эпизод, который мемуарист относит к более позднему времени, фиксирует усиление интереса Гоголя к современной литературе и что произошло это не без влияния петербургской встречи у Комарова.

Наконец, вполне ожидаемым и естественным для Гоголя было и его высказывание о цензуре. Смысл этого высказывания не столько в защите цензуры, сколько в предъявляемом писателю требовании большей зрелости мысли, взвешенности и, так сказать, «необидности» его слова. Насколько реально было это требование — другой вопрос. Многие из присутствовавших — да и сам Гоголь — из своего опыта могли бы



привести на этот счет плачевные примеры. Тем не менее мысль Гоголя сводится именно к тому, что автор, ввиду возможного вмешательства цензуры, должен уметь так говорить «свою правду», чтобы ее выслушали все, «начиная от царя до последнего нищего в государстве». Эту мысль, как мы знаем, Гоголь особенно настойчиво проводил в «Выбранных местах...» (в частности, в статье «Карамзин») и теперь решил развить перед собравшимися литераторами<sup>1</sup>.

С Анненковым Гоголь беседовал еще на другую волнующую его тему — о революционных событиях; скорее всего это имело место не у Комарова, а у Прокоповича. «В Петербурге, — сообщает Гоголь Данилевскому 24 сентября, — я успел видеть Прокоповича <...> и Анненкова, приехавшего на днях из-за границы. Всё, что рассказывает он, как очевидец, о парижских происшествиях — просто страх: совершенное разложение общества. Тем более это безотраднo, что никто не видит никакого исхода и выхода и отчаянно рвется в драку, затем, чтобы быть только убиту. Никто не в силах вынести страшной тоски этого рокового переходного времени» (XIV, 87). Сложившееся у Анненкова впечатление о «парижских происшествиях» было в действительности объемнее и более многоцветным, как это явствует из опубликованных уже в наше время (в 1983 г.) «Записках о французской революции 1848 года». Толпа ведет себя по-разному: тут и жестокость, и легкомыслие, и праздничность («какой-то странный маскарад»), порою даже сдержанность («Всю ночь слышались выстрелы и песни, но ни пожара, ни грабежа, даже воровства не было, а город был совершенно без власти»), и попытка самоорганизации («...ассоциации по образцу Луи Блана перерождались тотчас же в монастырь или новое моравское братство...» (Анненков, 1983,

---

<sup>1</sup> Американский исследователь Ю. Маргулиес выдвинул гипотезу о том, что на вечере у Комарова присутствовал Ф. М. Достоевский и что таким образом состоялась личная встреча двух писателей (*Маргулиес Ю.* Встреча Достоевского и Гоголя (начало осени 1846 г.) / Публикация и вступительная заметка С. Белова // Байкал. 1977. № 4; первоначально статья Маргулиеса была опубликована в альманахе «Воздушные пути», III (Нью-Йорк, 1963. С. 272–294). В качестве доказательства приводится тот факт, что герой повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (1859) Фома Опискин, в котором пародийно отражены некоторые черты облика Гоголя, требует подать ему малаги: «Малаги бы я выпил теперь...» Эпизод этот совпадает с рассказом И. И. Панаева, чьи воспоминания опубликованы значительно позже (1861), и, по мнению Маргулиеса, свидетельствует о том, что Достоевский был очевидцем происходившего. Однако, как уже отмечалось комментаторами, маловероятно, чтобы Достоевский нигде бы не обмолвился о своей встрече с Гоголем, который занимал такое место в его творческом сознании; «факт же, рассказанный Панаевым, мог быть известен Достоевскому от участников встречи» (см. комментарий А. В. Архиповой // Достоевский, с. 503). К сказанному надо добавить, что отношения, сложившиеся к этому времени между кружком Белинского и Достоевским, не способствовали приглашению последнего Комаровым на упомянутый вечер. «Он [Достоевский] стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себя и сделался раздражительным до последней степени» (Григорович, с. 84).

II, с. 283, 287, 371). Таковы были наблюдения Анненкова. Но Гоголь воспринимал все услышанное в духе собственных представлений, которые сложились у него по окончании его западноевропейской страды. «Повсюду смущенья, повсюду беды, повсюду голос неудовольствий и вражда на место любви» (XIV, 44), — писал он еще 15 января н. ст. из Неаполя. Потом на эти представления наложился опыт первых дней и месяцев пребывания на родине, в Одессе, Васильевке или в Киеве, и вот теперь ко всему еще прибавился петербургский опыт: «Все так странно, так дико. Какая-то нечистая сила ослепила глаза людям, и Бог попустил это ослепление» (там же, 89), — пишет он из Петербурга Погдину в начале октября. И еще характерный эпитет — в письме от 11 октября к Смирновой: «беспутный Петербург» (там же)<sup>1</sup>.

## МОСКОВСКИЙ ЖИТЕЛЬ

Гоголь приехал в старую столицу к 13 октября с намерением поселиться здесь навсегда. Впереди еще многочисленные поездки — краткосрочные, как в Калугу или Абрамцево, длительные, как в Одессу или Васильевку, — но каждый раз он будет возвращаться в Москву как к себе домой, несмотря на то, что своего-то дома у него здесь не было.

«Москва уединенна, покойна и благоприятна занятиям». «Здесь привольнее. Тут найдется более свободного удобного времени для бесед наших...» (XIV, 91, 89). Гоголь и других заманивает в Москву, например Александра Иванова: «Пора вам в Москву. Здесь так много открывается древностей и преимущественно по вашей части, что вы не обсмотрите и в целые годы» (там же, 119). И конечно, не забывает и Жуковского; о совместной жизни с ним в Москве Гоголь мечтал давно. «Мне все кажется, что хорошо бы тебе завести подмосковную. В деревне подле Москвы можно жить еще лучше, нежели в Москве, и еще уединеннее, чем где-либо <...> Так что представляется две выгоды: от людей не убежал и в то же время не торчишь у них на глазах» (там же, 118). Обе «выгоды» московской жизни Гоголь испытал на себе, но спокойствия они ему все-таки не принесли...

---

<sup>1</sup> Существует свидетельство, что в «последний приезд из-за границы» (т.е. в сентябре — начале октября 1848 г.) Гоголь вместе с В. А. Соллогубом побывал в Александринском театре на спектакле с участием А. Е. Мартынова в роли Хлестакова и сказал по окончании: «Хорошо, Мартынов, я доволен... я заметил, что вы играли свою роль “*con amore!*”». Был Гоголь и в уборной В. В. Самойлова и тоже похвалил его. Виделся Гоголь и с директором императорских театров А. М. Геденовым, а также начальником репертуара А. Л. Неваховичем (Петербургское театральное училище в воспоминаниях Н. И. Куликова // РС. 1886. Декабрь. С. 623—625). Однако, как отметила И. А. Зайцева, в комментариях к «Ревизору» (см.: Гоголь, ак., т. 4, с. 736), эта пьеса в 1848 г. в Александринском театре не шла.

Как и прежде, Гоголь поселился в доме Погодина на Девичьем поле; гостю отвели самую теплую светлую комнату с двумя окнами и балконом, выходящими на восход солнца.

Сын Михаила Погодина Дмитрий описывает распорядок дня писателя: «После обеда до семи часов вечера он уединялся к себе, и в это время к нему уже никто не ходил; а в семь часов он спускался вниз, широко распахивал двери всей анфилады передних комнат, и начиналось хождение, а походить было где: дом был очень велик. В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые десять минут выпивал по стакану. На отца, сидевшего в это время в своем кабинете за лектописями Нестора, это хождение не производило никакого впечатления; он преспокойно сидел и писал. Изредка только, бывало, поднимет голову на Николая Васильевича и спросит: “Ну что, находилась ли?” — “Пиши, пиши, — отвечал Гоголь, — бумага по тебе плачет”. И опять то же; один пишет, а другой ходит» (Воспоминания, с. 408).

Иногда в ход действия вмешивалась Аграфена Михайловна, семидесятитрехлетняя мать М. П. Погодина. Когда Николай Васильевич «очень уж расхочется», то Аграфена Михайловна, «сидевшая в одной из комнат, составлявших анфиладу его прогулок, закричит, бывало, горничной: “Груша, а Груша, подай-ка теплый платок, тальянец (так она звала Н. В.) столько ветру напустил!” — “Не сердись, старая, — скажет добродушно Н. В., — графин кончу, и баста”. Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх» (там же, с. 408–409).

По молодости — Дмитрию едва исполнилось 12 лет — он не замечал, что пребывание Гоголя у Погодиных было далеко от идиллии. Об этом говорят дневниковые записи хозяина дома; в них две темы — перечень обсуждаемых с Гоголем вопросов и сетования и жалобы на Гоголя.

С одной стороны: «Вечером с Гоголем о нынешнем времени и о Русском человеке». «С Гоголем о нынешней администрации». «С Гоголем обедали вдвоем и толковали о людях и их действиях». «Глубокое замечание Гоголя: *спасение России, что Петербург в Петербурге*» (курсив в оригинале).

С другой стороны: 1.XI — «Думал о Гоголе. Он все тот же. Я убедился. Только ряса подчас другая. Люди ему ни по чем». 2.XI — «Гоголь по два дня не показывается; хоть бы спросил: чем ты кормишь двадцать пять человек?» (Замечание не без схиждства — ведь среди этих «двадцати пяти» был и Гоголь, а несколькими годами раньше еще его мать и три сестры.) 19.XI — «Православие и Самодержавие у меня в доме: Гоголь служил всенощную — неужели для восшествия на престол?» (все дневниковые записи приводятся по: Барсуков, т. 9, с. 474).

«Самодержавие» Гоголя, т.е. его власть, ощущалось и за пределами погодинского жилища. В Москве хорошо чувствовалось, кто обитает в

доме на Девичьем поле, и многие хотели бы с ним встретиться. «Слышал, что у вас гостит русская знаменитость: Н. В. Гоголь, — писал Погодину С. К. Смирнов. — Горю нетерпеливым желанием видеть этого чудного мужа, которого я почитаю до беспредельности» (там же, с. 475). Письмо это принадлежит Сергею Константиновичу Смирнову (1818—1889), протоиерею, духовному писателю, одному из «Троицких ученых», по выражению Барсукова, автору, в частности, труда «История Троицкой лаврской семинарии». Неизвестно, осуществилось ли нетерпеливое желание Смирнова, но вот, скажем, встреча Гоголя в доме Погодина со студентами семинарии состоялась, о чем гласит дневниковая запись Погодина от 22 ноября (там же).

Иногда Гоголь сам приглашал к себе интересующих его людей, например приехавшего с Украины в Москву А. М. Марковича, своего недавнего знакомого, родственника Данилевских. Маркович был большим знатоком народного быта и истории, и его посещению погодинского дома Гоголь придавал особый смысл: мол, гость увидит «редкий музей русских древностей» (знаменитое «древнехранилище» Погодина) и «почти всех замечательных московских литераторов и ученых». Хозяин «вам будет сердечно рад», — добавляет Гоголь и еще советует: «Приезжайте запросто, одевшись, как одеваетесь дома. Дам и модных людей не будет» (XIV, 100).

Совсем иной колорит имела другая встреча — 11 ноября, празднование дня рождения Погодина. По словам погодинского биографа, многочисленные гости явились во фраках и белых галстуках. Были приглашены и важные чиновные лица: московский вице-губернатор, действительный статский советник П. П. Новосильцев; помощник попечителя Московского учебного округа Г. А. Щербатов, который отвечал Погодину: «Я воспользуюсь с величайшим удовольствием вашим приглашением <...> и со своей стороны надеюсь, что вы не откажете мне приехать ко мне во вторник провести вечер. Вы меня очень обяжете, если уговорите Гоголя принять тоже мое приглашение и тем доставить мне случай возобновить старое наше с ним знакомство» (Барсуков, т. 9, с. 478).

Вообще присутствие Гоголя должно было придать особую пикантность праздничному дню. Можно даже сказать, что Погодин созывал гостей «на Гоголя»... Увы, ожидания хозяина не оправдались, и причиной тому послужили события, взбудоражившие в то время обе столицы.

В сентябре 1848 года вышла в свет первая часть «Чтений Московского Общества истории и древностей российских при Московском университете» с переводом сочинения английского дипломата и писателя Дж. Флетчера «О государстве Русском» (1591), — сочинения, в котором в весьма нелестном свете выступали российские порядки. На сочинение еще до выхода его в свет обратил внимание находившийся тогда в Москве Уваров, использовав этот факт в борьбе против С. Г. Строганова («Граф Ува-

ров сбросил Строганова с места попечителя в Московском округе», — записывает 1 декабря 1848 года А. В. Никитенко, — см.: Никитенко, т. 1, с. 313); Уварову же, как полагали многие, сообщили обо всем Погодин и Шевырев. Насколько эта версия была справедлива, сказать трудно: например, биограф Погодина считал ее клеветой (Барсуков, т. 10, с. 160); напротив, историк «дела Флетчера» назвал возражения Барсукова «не особенно убедительными» (Белокуров, с. 13). Так или иначе, но важно то, что убеждение в виновности Погодина и Шевырева было устойчивым.

О степени возмущения против обоих свидетельствует более поздняя (от 6 февраля 1849 г.) запись того же Никитенко: «Недавно был у меня князь <М. А.> Оболенский, начальник московского архива, и рассказывал мне о подвигах Шевырева и Погодина, чтобы выслужиться перед графом Уваровым: как они подвизались против графа Строганова, как подали донос о напечатании Флетчера...» (Никитенко, т. 1, с. 322).

В свете этого события и происходило празднование дня рождения Погодина. Многие приняли приглашение, в том числе И. В. Киреевский, но по крайней мере двое, историк и археограф П. М. Строев и Ю. Ф. Самарин, уклонились; первый, сославшись на недомогание и дальность расстояния; второй же все объяснил, как сейчас принято говорить, открытым текстом. «Последние происшествия в университетском кругу, — писал он Погодину, — о которых говорит теперь вся Москва, возмутили меня и оставили во мне впечатление, с которым я не считаю себя в праве принять вашего приглашения» (Барсуков, т. 10, с. 63).

Спустя четыре дня, 15 ноября, С. Т. Аксаков, суммируя ощущения от всего произошедшего, сообщал сыну Ивану: «...Погодин сделал у себя раут, на который заблаговременно, письмами и записками, убедительно звал всех, кого мог, а особенно людей порядочных, называющих его публично мошенником. Из всех порядочных людей, совершенно понимавших цель Погодина, один только поступил согласно с своим убеждением: Самарин <...> Честь ему и слава! Все прочие повалили, как бараны, их набралось более 50 штук! Погодин мог, торжествуя, сказать Гоголю: “Вот они, называющие меня подлецом! Даже хворые притащились от Красных Ворот и других отдаленных московских урочищ!” Гадко все и скверно!» (ЛН. Т. 58. С. 712).

Возможно, Погодин действительно сказал что-то подобное Гоголю; но во всяком случае Аксаков верно передал и настроения и намерения Погодина в отношении великого писателя. Гоголю отводилась роль не только своеобразной «изюминки» устроенного торжества, но и свидетеля и участника публичной реабилитации Погодина в сложившейся для него шекотливой ситуации. И тем горше для хозяина дома, что Гоголь от этой роли уклонился.

В дневниках Погодина есть такая запись: «Приготовление к вечеру. Письмо от Самарина. *Гоголь испортил и досадно*» (Барсуков, т. 9, с. 479; курсив в оригинале).

«Смысл последних слов неясен», как заметил еще Л. Ланской (см. его комментарий в кн.: ЛН. Т. 58. С. 712). У нас нет никаких оснований видеть в поведении Гоголя нечто аналогичное открытому протесту Самарина. Скорее всего Гоголь просто вел себя отчужденно, недружественно, может быть, даже покинул собравшихся, как это он нередко делал и раньше. Ведь нетрудно себе представить, каково ему было при таком скоплении лиц, да еще во фраках и белых перчатках, да еще при определенно ожидаемой от него Погодиным — этого Гоголь не мог не почувствовать! — линии поведения. И реакция Гоголя в таких случаях была привычной — ретироваться...

Через три-четыре недели после празднования дня рождения Погодина, 4 или 5 декабря, Гоголь переезжает к А. П. Толстому на Никитский бульвар в дом А. С. Талызина<sup>1</sup>. Официальная причина переезда — некоторая перестановка и переоборудование в доме Погодина, но за этой причиной угадывалось и другое, — род взаимного неудовольствия хозяина и его гостя.

Спустя некоторое время, 24 декабря, Погодин писал Максимовичу: «Гоголь в Москве жил у меня два месяца и теперь переехал к графу А. П. Толстому, ибо я сам переезжаю в флигель: из дома выживают рукописи, боюсь огня запаху. Он [Гоголь] здоров, спокоен и пишет. Вот так нагрубил или лучше — обругал он меня перед лицом всей России, да я и то снес, — значит — что я горд, или добр?» (Барсуков, т. 9, с. 476). В свете новых обид вспомнились и старые — и упреки по поводу публикации гоголевского портрета, и публичные обвинения (в «Выбранных местах...») в «неряшестве и неопрятности».

В доме Талызина (дом этот называли так по имени прежнего его хозяина — А. И. Талызина) Гоголь занял «переднюю часть нижнего этажа, окнами на бульвар, тогда как сам Толстой занимал весь верх. Здесь за Гоголем ухаживали как за ребенком, предоставив ему полную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о чем. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, где он прикажет. Белье его мылось и закладывалось в комоды невидимыми духами, если только не надевалось на него тоже невидимыми духами. Кроме многочисленной прислуги дома, служил ему, в его комнатах, собственный его человек из Малороссии, именем Семен, парень очень молодой, смиренный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина во флигеле была необыкновенная. Гоголь либо ходил по комнате из угла в угол, либо сидел и писал, катая шарики из белого хлеба, про которые говорил друзьям, что они помогают разрешению самых

---

<sup>1</sup> Дата переезда указана Е. Смирновой-Чикиной на основе неопубликованной дневниковой записи Погодина (Известия АН СССР. 1966. Т. 25. Серия литературы и языка. Вып. 2. С. 134–141).

сложных и трудных задач. Один друг собрал этих шариков целые вороха и хранит благоговейно... Когда писание утомляло или надоедало, Гоголь подымался наверх, к хозяину (т.е. к А. П. Толстому. — Ю. М.), не то — надевал шубу, а летом испанский плащ без рукавов, и отправлялся пешком по Никитскому бульвару, большею частью налево от ворот».

Автор этой зарисовки Николай Васильевич Берг (1823—1884), поэт-переводчик и историк, заключает: «Мне было весьма легко делать эти наблюдения, потому что я жил тогда как раз напротив, в здании коммерческого банка» (Воспоминания, с. 504—505). Действительно, Берг находился, что называется, по соседству — с 1848 года он работал в конторе Государственного банка, в знаменитом построенном Доменико Жилярди доме, что располагался на противоположной стороне Никитского бульвара. Но увидеть отсюда, как ведет себя Гоголь за стенами талызинского особняка, было невозможно, для этого Бергу надо было бывать в этом доме.

По словам Берга, он впервые встретился с Гоголем в конце 1848 года на обеде у Шевырева. Впечатление, произведенное писателем, такое же, как и у многих других, наблюдавших его в многолюдстве: «Во всей фигуре было что-то несвободное, сжатое, скомканное в кулак. Никакого размаха, ничего открытого нигде, ни в одном движении, ни в одном взгляде. Напротив, взгляды, бросаемые им то туда, то сюда, были почти что взглядами исподлобья, наискось, мельком...» И потом, когда все уселись за обеденным столом, «Гоголь говорил не много, вещи самые обыкновенные».

После этой встречи Бергу не раз приходилось «видать его [Гоголя] у разных знакомых славянофильского кружка», но линия поведения писателя оставалась неизменной: «Он держал себя большей частью в стороне от всех» (там же, с. 500—501).

Нелегко складывались отношения Гоголя и с аксаковским семейством. Первым, мы помним, еще до поездки Гоголя в Петербург руку дружбы ему протянул Константин Аксаков. Гоголь принял ее, как показалось Константину Сергеевичу, со смущением. В октябре 1848 года в Москву возвратился Аксаков-старший, и Гоголь навестил его чуть ли не «в тот же вечер». Но тут некоторую неловкость проявил уже Сергей Тимофеевич, хорошо помнивший свою полемику с автором «Выбранных мест...». «Мне было досадно, но я не мог преодолеть себя. Разумеется, Гоголь это заметил, но бывал у нас почти каждый день, и любовь самая искренняя ко мне выражалась в каждом его слове и движении» (Аксаков С., с. 213, 214).

Но под покровом любви зрели обиды и взаимное раздражение. Сергей Тимофеевич не мог скрыть тревоги относительно будущего писателя и прежде всего судьбы второго тома поэмы («...не погиб ли в Гоголе художник в борьбе с мистиком-христианином» — там же, с. 214); со сто-

роны же Константина Сергеевича еще добавлялось опасение, не отделился ли Гоголь от русской жизни. Конфликт проявился во время чтения Гоголем «Одиссеи» в переводе Жуковского. «Третьего дня, — сообщает 28 ноября 1848 года С. Т. Аксаков сыну Ивану, — [Гоголь] так рассердился за упреки в долгом пребывании на чужой стороне Жуковскому, что убежал и унес с собой “Одиссею”» (ЛН.. Т. 58. С. 714). Эта вспышка негодования понятна: ведь К. С. Аксаков метил и в Гоголя с его, как выразился Константин, «бесстыдными отъездами в чужие края»...

«Нет, не восстанавливаются прежние отношения между нами. Искренности нет...» (там же), — подытоживает Сергей Тимофеевич.

Источником напряжения служило и общее отношение Гоголя к славянофильской доктрине. Его подмеченная Бергом отстраненность «у разных знакомых славянофильского кружка» не была случайной: Гоголь оставался верен себе, не желая полностью солидаризироваться с каким-либо направлением. И это притом, что, по его мнению, «правды больше на стороне славянистов и восточников», чем «западников», «потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях». Это заявление только что прозвучало со страниц «Выбранных мест...» (глава «Споры»). Но здесь же можно было прочитать, что «и на стороне европейцев и западников тоже есть правда» и что «кичливости больше на стороне славянистов: они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу» (VIII, 262).

Что такое дельность и внимание к «частям», которого недостает славянофилам, Гоголь показывает своей характеристикой «Домостроя» (этот памятник литературы XVI в. только что был опубликован во «Временнике Московского общества истории и древностей российских»). В «Домострое», — пишет Гоголь 30 марта 1849 года А. М. Виельгорской, — «является уже не политическое устройство России, но частный семейный быт»; все определено и разъяснено во всех подробностях: «как быть <...> жене и хозяйке дома с мужем, с детьми, с слугами и с хозяйством, как воспитать детей, как воспитать слуг, как устроить все в доме, обшить, одеть, убрать, наполнить запасами кладовые, уметь смотреть за всем...». Перед нами описание «должности» или «поприща», как они определялись в «Выбранных местах...», т.е. своеобразное развитие мотива евангельской Марфы, который, мы помним, играл такую большую роль в философии той же гоголевской книги. «Словом, — продолжает Гоголь свое письмо к Виельгорской, — видим соединенье Марфы и Марии вместе или, лучше, видим Марфу, не ропщущую на Марию, но согласившуюся в том, что она избрала благу часть, и ничего не придумавшую лучше, как остаться в повеленьях Марии...» И затем Гоголь переходит к современным авторам: такие книги, как «Домострой», «гораздо полезнее всех тех, которые пишутся теперь о славянах и славянстве люд-



ми, находящимися в брожениях, в переходных состояниях духа, возрастах, подвластных воображению, обольщению самолюбивого ума и всяким пристрастиям» (XIV, 110–111). Тут скрывалась шпилька и в адрес Константина Аксакова...

Между тем при посещении московских знакомых и друзей Гоголь продолжал придерживаться своей манеры уклонения от публичных споров. Следующая по времени известная нам встреча имела место 1 мая 1849 года у Хомякова. В дневнике П. И. Бартенева, участника этой встречи, помечено: «Сначала сидели в кабинете, толковали о том, чью сторону должна принять Россия в предстоящей войне: славянскую или антиславянскую». Хомяков и К. Аксаков говорили, что славянскую, противником их выступал Н. Ф. Павлов. «Во время разговора незаметно отворилась дверь и вошел, поклонившись только некоторым (видно было, что он был тут уже давно, шляпа его лежала в кабинете), *Гоголь*... Гоголь сел в угол дивана, далеко от света, так что я не мог порядочно рассмотреть лица его, и большею частью молчал <...> Он часто позевывал, теребил пальцами по подушке, наконец спросил себе воды, выпил и, ни с кем не простившись, взял шляпу и тихонько вышел...» (Зайцев, с. 25; курсив в оригинале). Это свидетельство может быть дополнено выводом В. И. Шенрока: «В разговорах, как мы слышали из разных источников (в том числе и от упомянутого выше П. И. Бартенева. — Ю. М.), Гоголь часто не принимал участия, молча и презрительно поглядывая на современников; у иных зарождалась даже мысль, что этот прием употреблялся им в некоторых случаях нарочно для прикрытия своего невольного смущения» (Шенрок, т. 4, с. 757).

Приведенная запись Бартенева позволяет расширить представление если не о круге общения (об общении в свете только что сказанного говорить рискованно), то о круге связей Гоголя в этот период. Это прежде всего сам Петр Иванович Бартенев (1829–1912), в будущем историк, археограф и библиограф, издатель «Русского архива»; в момент встречи с Гоголем — студент словесного отделения историко-филологического факультета Московского университета. Затем — Александр Михайлович Языков (1799–1874), младший брат поэта. Гоголь продолжал встречаться и со старшим братом, Петром Языковым; известно, например, что день 19 марта, считавшийся днем рождения Николая Васильевича, они совместно провели у Аксаковых.

Любопытный факт — присутствие на вечере у Хомякова 1 мая П. Я. Чаадаева, а также Чижова. Как протекала новая встреча Гоголя с Чаадаевым, неизвестно; зато определенно можно сказать о дружественном расположении его к Чижову. После встреч в Киеве в мае–июне 1848 года эта дружественность окрепла, несмотря на различие во взглядах. Как раз к 1849 году относится письмо Чижова к Е. М. Хомяковой: «Любите Гоголя <...> Простите, что напишу Вам два слова наставления:

я думаю, Вы не шутите над Гоголем, ради Бога не шутите. Я с ним не схожусь, но это человек (как писатель), до того стоящий самого глубокого уважения, что малейшая попытка на шутку была бы оскорбительна. Любите его, его приходы всегда хороши» (ЛН. Т. 58. С. 778).

Среди лиц, симпатичных Гоголю, — еще Иван Александрович Фонвизин (1790—1853), отставной полковник, брат декабриста Александра Фонвизина, также принимавший участие в Союзе благоденствия и подвергнувшийся двухмесячному задержанию в крепости (Декабристы, с. 330). С Иваном Фонвизиним Гоголя познакомила Н. Н. Шереметева. «Доброго Ивана Алекс<андровича> Фон-Визина я имел удовольствие видеть два раза и вам благодарен от души за это знакомство» (XIV, 129), — писал Гоголь Шереметевой в мае 1849 года. Со своей стороны, Фонвизин сообщал 25 мая 1849 года той же Шереметевой: «...У Николая Васильевича третьего дня был сам и побеседовал с ним около двух часов». Затем «в самый троицын день он был у меня <...> Скажу вам, что мне с ним чрезвычайно легко и свободно...» (ЛН. Т. 58. С. 716).

«Легко и свободно» — такое в общении с Гоголем случалось не часто...

Иллюстрируя свою мысль о благотворном воздействии бесед с Гоголем, Фонвизин далее приводит рассказ последнего о явлении Спасителя больной девушке (этот рассказ Гоголь, в свою очередь, заимствовал у А. П. Толстого). «Гр<аф> Толстой был там (в доме больной девушки. — Ю. М.) на другой день и прежде, нежели ему сказали о том, догадался, что в доме случилось что-нибудь необыкновенное по лицам живущих в нем» (Шереметева, с. 34). Этот рассказ вполне отвечал душевному настрою склонного к мистике Ивана Фонвизина, хотя религиозное чувство самого Гоголя было гораздо сложнее: достаточно напомнить, что непосредственность веры сочеталось в нем с аналитизмом и рациональностью протестантизма.

Между тем об эпизоде с явлением Спасителя Гоголь, очевидно, рассказывал не только Фонвизину и не раз; поэтому, возможно, именно этот рассказ имел в виду С. Т. Аксаков<sup>1</sup>: «Перед своими именинами (9 мая 1849 г. — Ю. М.) Гоголь перепугал нас всех, говоря серьезно и с уверенностью о самых нелепых бреднях суеверных людей. Я приписывал и теперь приписываю нравственное состояние Гоголя пребыванию его в доме Толстых. Попы, монахи с их изуверными требованиями, ханжество, богомольство и мистицизм составляли его атмосферу, которая никому не вредила, кроме Гоголя: ибо он один со всею искренностью предавался этому направлению» (Аксаков С., с. 216). Тут уже упрощал С. Т. Аксаков, сводивший протекавшие в душе Гоголя глубокие душевные процессы к внешнему влиянию.

---

<sup>1</sup> Это предположение высказано И. А. Виноградовым и В. А. Воропаевым (Шереметева, с. 34).

Начнем с того, что к весне 1849 года резко ухудшилось физическое состояние Гоголя. Осенью предыдущего года он находился (как отметил тот же Аксаков) «в прекрасном расположении духа» (ЛН. Т. 58. С. 711). Это подтверждают и другие. М. П. Погодин 22 октября: Гоголь «довольно здоров и весел» (там же, с. 710). А. М. Языков, только что познакомившийся с Гоголем, 4 ноября: «в обществе он очень интересен» (там же, с. 710). Такого же мнения остался и побывавший в Москве В. А. Соллогуб, хотя сам Гоголь считал необходимым его прокорректировать: «Донесенье Соллогуба насчет моего здоровья и прекрасного расположенья духа только наполовину справедливо. Он меня видел в гостях. Нельзя же приносить в гости скуку» (XIV, 111). Впрочем, «приносить в гости скуку» Гоголю, как мы знаем, доводилось; все дело в том, что поступал он так не всегда: до поры до времени ему удавалось с собою справляться.

Хуже почувствовал себя Гоголь к весне 1849 года — и уже не столько физически, сколько душевно. «Здоровье мое, кажется, несколько лучше <...>, но зато находят опять такие волнения...» (Н. Н. Шереметевой, 20 мая — там же, 124). «Я до того расколебался, и дух мой пришел в такое волнение, что никакие медицинские средства и утешения не могли действ<овать>. Уныние и хандра мною одолели снова» (П. А. Плетневу, 24 мая — там же, 125). «Приехал я в Москву с тем, чтобы засесть за “Мерт<вые> души”, с окончаньем которых у меня соединено было все <...> Сначала работа шла хорошо, часть зимы провелась отлично, потом опять отупела голова <...> И все во мне вдруг ожесточилось, сердце очерствело. Я впал в досаду, в хандру, чуть не в злость» (С. М. Соллогуб, 24 мая — там же, 126). «Нервы расшатали меня всего, свергнули в такое уныние, в такую нерешимость, в такую тоску от собственной нерешимости, что я весь истомился» (А. О. Смирновой, 27 мая — там же, 128).

Гоголь оказался на грани душевного кризиса, подобно которому он подвергся летом 1845 года. В то же время отчетливо видно, что психическое его состояние тесно связано с расположением творческим, что истоком душевных мук становится замедление в работе, отсутствие вдохновения, бледность и несовершенство, как это кажется автору, исполнения. Не пишется — значит не живетя...

В состоянии мучительных терзаний и тоски Гоголь вновь подумывает о дороге — цели путешествия самые разные: то опять Иерусалим, то Греция, то Англия, то какое-нибудь место поближе, например Калуга, где жила А. О. Смирнова. Дорога и путешествие — испытанные целительные средства; «они одни ... (как писал Гоголь еще в марте 1841 г. С. Т. Аксакову) восстанавливают меня». Но дорога и путешествия — еще и способ освоения новых пространств, необходимых для успешной работы над поэмой, ведь действие второго, а затем, очевидно, и третьего тома должно было сместиться на восток. «Я имел, точно, намерение проездиться по северно-восточным губерниям России, мало мне знакомым,

но как и когда приведу это в исполнение — не знаю» (XIV, 133), — писал Гоголь А. М. Виельгорской 3 июня 1849 года. Еще более неопределенны были планы заграничного путешествия.

В состоянии смятения и неопределенности Гоголь встречает свои именины 9 мая, традиционно отмечаемые в саду Погодина. Гоголь и на этот раз решил не нарушать обычай; ему хотелось, чтобы все было, как прежде. «Не можете ли вы дать знать, — пишет он Сергею Тимофеевичу, — или сами или через Константина Сергеевича Армфельду, Загоскину, Самарину и Павлову, совокупно с Мельгуновым?» (там же, 123). Достоверно известно, что и Армфельд, и Загоскин, и Юрий Самарин, и Николай Павлов и ранее участвовали в подобных именинных обедах. Разумеется, Гоголю хотелось видеть и Аксаковых, но, согласно Сергею Тимофеевичу, это было невозможно: «Меня с сыновьями Гоголь не мог приглашать, потому что еще в начале 1848 года мы перестали видеться с Погодиным» (Аксаков С., с. 217).

Тем не менее Иван Аксаков решил отправиться на обед, и благодарный Погодин отметил в дневнике: «Иван Аксаков подал руку» (Барсуков, т. 10, с. 318). Но впечатления, оставшиеся у Ивана Сергеевича, были неутешительные; спустя неделю, 16 мая, он сообщал Смирновой: «...Гоголь захотел дать обед в саду Погодина так, как он давал обед в этот день в 1842 году и прежде еще не раз. Много воды утекло в эти годы! Он позвал всех, кто только были у него в *то* время. Люди эти теперь почти перессорились, стоят по разных сторонах, уже выказались в разных обстоятельствах; многие не выдержали испытания и пали... Словом, обед был весьма грустный и поучительный, а сам по себе превялый и прескучный. Когда же по милости вина, обед оживился, то многие перебрались, так как и ожидать нельзя было...» (РА. 1895. № 12. С. 432; курсив в оригинале). И через год в связи с таким же именинным обедом Иван Аксаков писал отцу: «Как удался ныне обед Гоголя? В прошлом <...> он был очень неудачен, я был на нем» (Барсуков, т. 10, с. 318).

Что же касается Погодина, то, как видим, несмотря на взаимные обиды и холодность, отношения его с Гоголем сохранились. Об этом свидетельствует и другой факт: спустя почти месяц, 5 июня, вместе они совершат поездку к Вяземскому в Остафьево. Возможно, стимулом поездки являлось желание поддержать Вяземского в трудную для него пору: в начале года он потерял дочь Марию, внезапно скончавшуюся от холеры, и теперь готовился к длительному путешествию (через несколько дней прямо из Остафьево он отправится вместе с женой, Верой Федоровной, в Константинополь).

Совместная поездка дала возможность Гоголю и Погодину коснуться многих предметов, о чем говорит дневниковая запись последнего. «С Гоголем о Европе, о России, правительстве». Затронули и такую злободневную тему, как строительная деятельность П. А. Клейнмихеля,

главноуправляющего путями сообщений и публичными зданиями, тем самым предвосхищая написанную спустя несколько лет Некрасовскую «Железную дорогу»: «Это шоссе, например, проведено прямо, стоило дорого, но ездить нельзя: усыпано хрящем, что и колеса, и копыта испортились. Все ездят и мучатся и проселками, а за шоссе все-таки платят Клейнмихелю» (Барсуков, т. 10, с. 194–195).

В Остафьево обсуждение тем продолжилось, уже с участием хозяина. «Вяземский очень рад. Гуляли. О Карамзине, о крестьянах, о Петре Великом, литературе и пр. С Всеволожским. Обедали у Окуловых» (там же).

В тот же день и Гоголь сделал запись, свидетельствующую о том, что присутствовавшие еще осматривали остафьевский архив: «5 июня 1849. Рылись здесь Гоголь...» И далее еще подписи Погодина, Всеволожского и Вяземского (XIV, 15).

Тут надо пояснить: Николай Сергеевич Всеволожский (1772–1857) — личность весьма примечательная. Отставной военный, писатель, владелец типографии в Москве (в 1809–1817 гг.), он мог быть интересен Гоголю во многих отношениях. Всеволожский был знаком с Пушкиным, встречался с ним по крайней мере дважды (см.: Черейский, с. 83). Позднее совершил большое путешествие, отчасти совпадающее или предвосхищающее гоголевские вояжи; это странствие стало основой книги Всеволожского «Путешествие чрез Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж в 1836 и 1837 годах» (т. 1, 2. М., 1839). И еще: почти десять лет (с 1817 по 1826 г.) Всеволожский был тверским гражданским губернатором — в должности, которая весьма интересовала Гоголя в связи с его общими размышлениями об устройстве государственного правления в России и, в частности, в связи с фигурой генерал-губернатора во втором томе «Мертвых душ» (ср. также соответствующие многочисленные заметки в гоголевских записных книжках, начиная с рубрики «Дела, предстоящие губернатору» — VII, 349 и далее).

Летом 1849 года состоялось еще несколько встреч Гоголя с интересными людьми. Писатель в это время более расположен к общению: он чувствует себя лучше. «Я только что оправился от сильной болезни нервической...» (А. М. Виельгорской, 3 июня, — XIV, 133). «...Теперь опять поправляюсь. Голова еще не в таком состоянии, чтоб светло заняться делом, но времени не пропускаю, от дела не бегаю и запасуюсь материалами для будущей работы» (К. М. Базили, 5 июня — там же, 134). И по обыкновению свои встречи Гоголь старается подчинить интересам «будущей работы».

Около 25 июня Гоголь видится с приехавшим в Москву Яковом Карловичем Гротом (1812–1893), языковедом, переводчиком, профессором русского языка и словесности Гельсингфорского университета. Гоголь

бегло встречался с ним и раньше, у Плетнева — скорее всего это было во время приездов писателя в столицу в 1839, 1841 и 1842 годах, но, возможно, и прежде, в петербургский период его жизни. Тогда Грот, только что окончивший Царскосельский лицей, делал свои первые шаги в литературе и на служебном поприще — как чиновник канцелярий Кабинета министров и Государственного совета.

В Москве же Гоголь и Грот виделись не один раз («...мы посещали друг друга», — говорит Грот). Автор «Мертвых душ» обратился к собеседнику с привычными сетованиями: «Он жаловался, что слишком мало знает Россию; говорил, что сам сознает недостаток, которым от этого страдают его сочинения». Говорил в связи с этим и о необходимости путешествия по стране, которое становится трудно исполнимым: «...Уж некогда: мне около сорока лет, а время нужно, чтобы написать» (Воспоминания, с. 414). Под свежим впечатлением от разговора Грот сообщил об этом Плетневу 25 июня: «Посидел у Гоголя: собирается поехать по России, но еще колеблется, ехать ли, ибо дорожит временем, а жизнь коротка» (Плетнев, 1896, т. 3, с. 443—444).

Недостаток собственных сведений Гоголя должны возместить сообщения его корреспондентов — на Грота в частности возлагается обязанность быть источником информации о Финляндии. «...Гоголь стал расспрашивать меня и о Финляндии, где я жил в то время. Между прочим его интересовала флора этой страны <...> и попросил выслать ему, когда я возвращусь в Гельсингфорс, незадолго перед тем появившуюся книгу Нюландера “*Flora fennica*”, что я и исполнил впоследствии» (Воспоминания, с. 414—415). Примечательно, что прежде Гоголь не проявлял особого интереса к Финляндии, говоря, что ему «следует присылать только те книги, где слышна сколько-нибудь Русь», и даже высказывал опасения, как бы Плетнев не стал его «потчевать Финляндией» (XIII, 211), — возможно, он имел в виду именно Грота. Теперь, как видим, диапазон гоголевских интересов расширился.

Грот обещал Гоголю устроить встречу с другим полезным ему человеком — Дмитрием Степановичем Протопоповым (ум. 1871), знатоком крестьянского быта, начальником комиссии по уравнению податей казенных крестьян. С этой целью Гоголь приехал к дому на Собачьей площадке, где жил Протопопов, у которого остановился и Грот, но хозяина не оказалось дома. Впоследствии, 26 октября, из Гельсингфорса Грот выслал Гоголю материалы Протопопова (см.: Шенрок, т. 4, с. 821), которые писатель нашел очень полезными. «Его замечания о русском народе <...> совершенно верны, отзываются большой опытностью, а с тем вместе и ясностью головы» (XIV, с. 157).

Летом 1849 года Гоголь встретился и с Л. Арнольди, познакомила их приехавшая в Москву 25 июня Смирнова-Россет. Лев Иванович Арнольд-

ди (1822–1860) приходился ей сводным братом — от брака ее матери с И. К. Арнольди.

По словам Льва Арнольди, он впервые увидел Гоголя в гостинице Дрезден, где остановилась Александра Осиповна. Это был «человек маленького роста с длинными белокурыми волосами, причесанными а la poujik, маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким птичьим носом <...> Он носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами<sup>1</sup>, неловко махал одной рукой, в которой держал палку и серую пуховую шляпу; был одет вовсе не по моде и даже без вкуса. Улыбка его была очень добрая и приятная, в глазах замечалось какое-то нравственное утомление» (Воспоминания, с. 472). В общем — Гоголь, каким его обычно видели и другие. «...Гоголь дружески обнял меня, сказав сестре: “Ну теперь я знаком, кажется, со всеми вашими братьями; этот, кажется, самый младший”. Действительно, я был младший» (там же).

Лев Арнольди симпатизировал славянофилам, гораздо больше, чем его сестра. Он «в восторге от Константина, от Москвы, от всего направления, — писал Иван Аксаков родным 24 ноября 1845 года. — Так поразило его все это мысленное движение, добросовестные убеждения и забвение всех предрассудочных условий и понятий» (Аксаков, 1988, с. 221). Подружился он и с Иваном Аксаковым, который посвятил ему стихотворение «Послание к Л. И. Арнольди» (1848).

Одно время Иван Аксаков и Лев Арнольди служили вместе в Калуге: первый — товарищем председателя Калужской уголовной палаты, второй — секретарем губернского правления. Н. М. Смирнов, калужский губернатор, отзывался об Арнольди весьма похвально: «умный очень малый» (Аксаков, 1988, с. 195).

Служебные занятия Льва Арнольди предопределили характер беседы его с Гоголем, которая возникла в первый же день знакомства, когда Лев Иванович провожал писателя от гостиницы Дрезден до дома Толстого на Никитском бульваре. Гоголь «советовал не брать видных мест». «На них всегда найдутся охотники, — прибавил он, — а вы возьмите должность скромную, не блестящую, и постарайтесь быть именно в этой должности полезным». Арнольди сказал, что надеется скоро стать советником в губернном правлении. «Вот и хорошо, — отвечал Гоголь, — тут работы будет много и пользу принести можно; это не то что франты чиновники по особым поручениям или служба министерская...» (Воспоминания, с. 472–473). Гоголь, как видим, давал советы в духе своего главного убеждения в том, что каждый должен быть деятелен на своем месте, или поприще, и что общий порядок возникнет из согласованных действий всех.

---

<sup>1</sup> Весьма выразительное словоупотребление у мемуариста: ведь *тарантить* — «говорить бойко, резко, скоро, торопливо; тараторить» (В. Даль).

Лев Арнольди пробыл в Москве две недели, и «почти каждый день» виделся с Гоголем (на одной из встреч присутствовал Ю. Ф. Самарин<sup>1</sup>). Все это время писатель «был здоров, весел». Словом, как будто бы подтверждались слова Гоголя, что болезненное состояние преодолено, ушло в прошлое.

Но вот эпизод, относящийся к приезду в Москву Смирновой в 1849 году, т.е. к тому же самому времени. «Однажды, — говорит Ф. Чижев, — мы сошлись с ним /Гоголем/ под вечер на Тверском бульваре <...> Заговорили мы с ним об его болезни. “У меня все расстроено внутри, — сказал он. — Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тот час же воображение за это ухватится, начнет развиваться — и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы” (Кулиш, 1856, т. 2, с. 241).

Над силами хаоса и страха была натянута очень тонкая пелена, и эти силы то и дело грозили прорваться наружу.

## ЭКЗАМЕН ДЛЯ «МЕРТВЫХ ДУШ»

Около 6 июля Гоголь вместе с Арнольди выехал в Калужскую губернию, Медынский уезд, в имение Смирновых Бегичево. Александра Осиповна, отправившаяся туда несколькими днями раньше, пригласила его провести там остаток лета. Это соответствовало планам Гоголя: уж если не получается совершить дальнейшее путешествие, «в большом размере», то нужно ограничиться «малым». Иными словами, «посетить губернии в окружности Москвы, повидаться с некоторыми знакомыми и поглядеть на Русь, сколько ее можно увидеть на большой дороге» (XIV, 138).

Ехали в большом тарантасе четвером: помимо Гоголя, Арнольди и ямщика, еще француз, исполнявший обязанности камердинера<sup>2</sup>. У Гоголя было чудесное настроение, он потешался над французом, по словам Арнольди, малым «до чрезвычайности тупым и глупым»; рассказывал анекдоты, «один другого забавнее и остроумнее»; описывал «характер малороссиянина» — очевидно, в том же комическом ключе. Казалось, поездка внушала ему хорошие предчувствия.

---

<sup>1</sup> Во время этой встречи Гоголь, по словам мемуариста, поведал свою знаменитую историю о немце-ловеласе, который, стремясь добиться расположения женщины, «каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед глазами своей возлюбленной, обнявши двух лебедей...» (Воспоминания, с. 473). В том, что это действительно рассказ Гоголя, воспроизводящий его комическую манеру, не приходится сомневаться: по словам В. Набокова, писатель отобразил здесь «бессмертный дух пошлости» «со всей мощью своего таланта» (Набоков, с. 197).

<sup>2</sup> По версии А. О. Смирновой, вначале с ними был еще ее брат, отставной военный Клементий Осипович Россет (1810–1866), но вскоре по выезде он «потерял тарантас» и отстал (Смирнова, 1989, с. 65).



В дороге Гоголь много беседовал со своим спутником о «русской литературе, о Пушкине, в котором он любил удивительно доброго и снисходительного человека и умного, великого поэта», говорил о Языкове, Баратынском; при этом Гоголь «превосходно прочел» два стихотворения Языкова, в том числе «Землетрясение», заметив, что это «лучшее русское стихотворение» (Воспоминания, с. 477). Гоголь повторил оценку Жуковского, воспроизведенную еще в «Выбранных местах...»: «Это, по его мнению, лучшее не только из твоих, но даже из всех русских стихотворений» (VIII, 278).

На другой день прибыли в Малоярославец, где Гоголь свел знакомство с тамошним городничим, оказавшимся, не в пример иным городничим, поклонником «Ревизора»<sup>1</sup>; потом поехали по большой калужской дороге, свернули на проселочную и прибыли в деревню Бегичево, где возвышался белокаменный барский дом. И на всем протяжении пути, днем и ночью, Гоголь держал при себе большой портфель: здесь заключалось все его богатство, все его надежды — второй том «Мертвых душ».

В Бегичеве в радушной атмосфере Гоголь прожил четыре дня. Он по-прежнему был общителен, весел, любознателен. Арнольди вспоминает, что они «в большом обществе» ходили за грибами, ездили по окрестностям и, в частности, посетили находившееся в пяти верстах от Бегичева имение Гончаровых Полотняный Завод. Здесь все еще напоминало о Пушкине, гостившем в Полотняном Заводе около двух недель, в августе—сентябре 1834 года. По вечерам же Гоголь читал вслух «Одиссею» в переводе Жуковского, восхищаясь «каждой строчкой».

На пятый день переехали в Калугу, в загородный дом губернатора. И тут произошло то главное событие, к которому готовился Гоголь, которое с волнением ожидал...

Служивший в Калуге Иван Аксаков так описывает этот дом: «Помещение довольно большое и удобное; с одной стороны балкон выходит на луг, позади которого прекрасный лес; слева Ока, справа виднеется другая речка, монастырь и сады; вид чудесный, тем более, что с этой стороны всегда заходит солнце. С другой стороны огромный сад с темными, тенистыми аллеями, вроде дворцового сада в Москве» (Аксаков, 1988, с. 264).

Гоголь, расположившийся в комнатке во флигеле, рядом с комнаткой Арнольди, повел свой привычный образ жизни: по утрам запирался и писал стоя за конторкой, потом один гулял по саду, потом являлся к обеду. На этом уединение Гоголя заканчивалось: остаток дня он проводил вместе со Смирновой и Арнольди или только со Смирно-

---

<sup>1</sup> В изложении Смирновой этот эпизод выглядит так: «Городничий спросил брата [т.е. Льва Арнольди]: “Кто этот господин, ваш попутчик?” — “Это Гоголь”. — “Как Гоголь, тот самый, который написал “Ревизора”? — “Да”. — “Ну, так, пожалуйста, представьте меня ему”» (Смирнова, 1989, с. 65).

вой, «гулял, беседовал и был большую часть времени весел» (Воспоминания, с. 480).

Однажды — это было примерно на второй недели пребывания в Калуге — Гоголь выразил желание прочитать Смирновой из второго тома «Мертвых душ». Чтение проходило в кабинете Александры Осиповны, которая распорядилась никого к ней не пускать, в том числе и брата, но на другой день, видимо ободренный реакцией слушательницы («все им прочитанное было превосходно», — сказала она), Гоголь разрешил присутствовать и Льву Арнольди. Встретились «для этого в 11 часов утра, на балконе» — очевидно, том самом балконе, откуда открывался чудесный вид на окрестные просторы. И потом встречались, видимо, не один раз, потому что Арнольди довелось прослушать не менее двух глав (Смирновой же значительно больше).

Существует мнение, что калужское чтение — «первое авторское чтение написанного [Гоголем] за истекшую зиму» (VII, 410). Но в действительности это было, по крайней мере, второе чтение.

Как мы знаем, с середины зимы Гоголь жил у А. П. Толстого на Никитском бульваре, где возобновил работу над поэмой. Из более позднего письма Гоголя к Толстому видно, что он прочел ему «две главы» (XIV, 202), — скорее всего еще до своей поездки в Калугу. Подтверждается это тем фактом, что Дмитрий Александрович Оболенский (1822–1881), князь, видный чиновник, которому довелось быть попутчиком Гоголя при его возвращении из Калуги в Москву, к этому времени уже «несколько знал» содержание второго тома. И знал, по его словам, от своего родственника А. П. Толстого, «которому Гоголь читал еще вчерне отрывки из второй части “Мертвых душ”» (Воспоминания, с. 546).

Но то верно, что чтения в Калуге имели для Гоголя совершенно особое значение. В другом месте мы уже говорили о предполагаемом соотношении прочитанных глав с остальным текстом поэмы (см.: Манн, 1987, с. 227 и далее). Сейчас речь о другом — о роли этого события в судьбе писателя, в его мироощущении, художественном самоопределении.

Представим себе снова положение Гоголя после появления «Выбранных мест...». Как бы ни различались его оппоненты, с каких бы позиций — зачастую противоположных — они ни выступали, но почти всеобщим мнением было то, что Гоголь изменяет искусству, отрекается от него или же теряет былую мощь художественного дарования. С этим мнением парадоксальным образом соединилось и другое — о том, что и как мыслитель или просто как мыслящий человек Гоголь уже не отвечает современным требованиям. «Из нескольких слов о нашей старине, — писал Константин Аксаков в конце ноября 1848 г., — увидел я, что Гоголь ее самонадеянно не понимает. Если все это так, то, я думаю, не будет прока в его деятельности...» (ЛН. Т. 58. С. 715). Отчетливее всех мысль об отставании Гоголя выразил Иван Аксаков в связи с памятным

неудавшимся именинным обедом 9 мая 1849 года: «Оттого ли, что время безусловного поклонения искусству прошло, оттого ли, что у всех в памяти его книга, не знаю; но только Гоголь не только не играет никакой роли в здешнем обществе, но даже весьма небрежно трактуется им» (РА. 1895. №12. С. 432).

В этих условиях Гоголю предстояло словно заново завоевывать расположение читателей, делом убедить их в том, в чем он уже неоднократно пытался убедить их словесно: нет, он не изменил искусству, не покинул художническое поприще, — он остается верен ему всею душою и до конца.

И понятно, почему в качестве своей слушательницы автор «Мертвых душ» выбрал именно Смирнову. Более раннее чтение А. П. Толстому не имело, в глазах Гоголя, такого значения, поскольку тот не слыл авторитетом в суждениях об искусстве (вспомним, что гоголевский упрек в «односторонности» в «Выбранных местах...» был адресован именно Толстому). Смирнова же, если использовать выражение Гоголя, была «почтена» вниманием Пушкина, и не только Пушкина, почтена, в том числе, и за открытость и отзывчивость на эстетические впечатления.

Важна была и общественная позиция и, так сказать, реноме Смирновой, — ее, говоря современным языком, равноудаленность от противоборствующих сторон. Смирнова находилась в стороне от круга московских литераторов славянофильского направления, равно как и от западнического круга Белинского и близких к нему людей. Она не разделяла опасений ни тех ни других, опасений, вызванных «Выбранными местами...». Она была более других посвящена в ход работы Гоголя над вторым томом, сочувственно следила за этой работой. Словом, предлагая ей главы второго тома, Гоголю не надо было преодолевать завесу предубеждений и заранее сделанных выводов. Это был, конечно, экзамен, но без осложняющих обстоятельств.

И результат, который произвели чтения в Калуге, был впечатляющим. Например, по поводу описания Тентетникова после получения им согласия на брак с Уленькой Лев Арнольди писал: «...Это описание было так хорошо, в нем было столько силы, колорита, поэзии, что у меня захватывало дыхание» (Воспоминания, с. 486). «Когда [же] Гоголь окончил чтение, то обратился ко мне, — продолжает Арнольди, — с вопросом. “Ну, что вы скажете? Нравится ли вам?” — “Удивительно, бесподобно! — воскликнул я. — В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе; тут везде слышится жизнь, как она есть, без всяких преувеличений...”» (там же, с. 488).

Разумеется, Лев Арнольди тем самым передавал и впечатление сестры. Собственно, есть и ее прямые оценки; одна — в ее воспоминаниях о калужских чтениях («Все были в восторге» — Смирнова, 1989, с. 66), другая зафиксирована гоголевским биографом: «Первый том, по сло-

вам А. О. Смирновой, совершенно побледнел в ее воображении перед вторым: здесь юмор возведен был в высшую степень художественности и соединялся с пафосом, от которого захватывало дух» (Кулиш, 1856, т. 2, с. 227). Особенно восхитила Смирнову глава о Тентетникове; приехавшему в Калугу Д. А. Оболенскому она говорила, что «влюблена в Тентетникова» (Воспоминания, с. 545) — признание, которое вызвало у Гоголя, уже по прибытии его в Москву, такую приписку в письме к Смирновой: «Кланяется вам Тентетников» (XIV, 140)<sup>1</sup>.

Собеседник Смирновой — Дмитрий Александрович Оболенский (1822—1881), князь, судебный чиновник, впоследствии товарищ министра государственных имуществ и член Государственного совета, специально заехал в последних числах июля в Калугу, чтобы вместе с Гоголем возвратиться в Москву. Оболенский подметил, что писатель «был в отличном расположении духа и сохранил его во всю дорогу». Конечно же, этот душевный подъем был вызван успехом только что состоявшихся чтений.

И вновь, как на пути в Калугу, все внимание Гоголя было приковано к заветному портфелю. «...Главная его забота заключалась в том: как бы уложить свой портфель так чтобы он постоянно оставался на видном месте»; выходя же из кареты, «Гоголь вытащил портфель и понес его с собою, — это делал он всякий раз, как мы останавливались» (Воспоминания, с. 545, 546).

Гоголь взял у Смирновой обещание, что о чтениях второго тома она никому не скажет ни слова; однако это обещание сразу же было нарушено. Своими впечатлениями, как мы уже знаем, она поделилась еще с Оболенским, что дало тому повод во время поездки в Москву задавать Гоголю вопросы о содержимом заветного портфеля (Гоголь эти вопросы оставлял без ответа).

А чуть позже Александра Осиповна сообщила важную новость Ивану Аксакову в Рыбинск, а тот, в свою очередь, 30 августа написал Сергею Тимофеевичу: «Я получил на днях письмо от Александры Осиповны, которой до смерти хочется разболтать свой секрет, но говорит, что не велено, однако же кое-что сообщает. Гоголь читал ей 2-й том “Мертвых душ”, не весь, но то, что написано. Она в восторге, хоть в этом от-

---

<sup>1</sup> Из воспоминаний Смирновой следует, что при чтениях (всех или некоторых — не уточняется) присутствовал и А. К. Толстой, находившийся в это время в Калуге (Смирнова, 1989, с. 66). Это находит косвенное подтверждение и в мемуарах Арнольди: «Через несколько дней после этого чтения я и брат мой К. О. Р. [Клемент Осипович Россет] собрались поздно вечером у графа А. К. Т. [Алексея Константиновича Толстого], который был тогда в Калуге. Разговор зашел о Гоголе...» и т.д. (Р. 1862. № 1. С. 81; в изд. «Гоголь в воспоминаниях современников» этот эпизод выпущен). Следовательно, возможно также участие Клемент Осиповича Россета в упомянутых чтениях.

ношении она и не совсем судья <...> Говорит, что 1-й том перед тем, что написано и что только набросано, совершенно побледнел. — Может быть, Константин и махнет рукой, но я просто освежился этим известием; нужно давно обществу блистание Божьих талантов на этом сером, мутном горизонте...» Далее Иван Аксаков объясняет, почему своим слушателем Гоголь выбрал именно Смирнову, а не Сергея Тимофеевича или Константина: «Он видит в настоящее время, что Вы и Константин мало заботитесь о его производительности и не ждете от него ничего, даже не видите уважения к прежним проявлениям своего таланта. — Впрочем, я уверен, что Вы, милый отесинька, обрадуетесь этому известию, да и Константин тоже» (Аксаков, 1994, с. 51). Все это относилось и к самому Ивану Сергеевичу, который всего три с лишним месяца тому назад утверждал, что время безусловного поклонения искусству прошло и что Гоголь не играет в обществе прежней роли. И ему, Ивану Сергеевичу, тоже довелось «освежиться» и «обрадоваться» новому известию — и с нетерпением ожидать дальнейших событий.

Весть о калужских чтениях достигла и Петербурга. «Правда ли, что осенью гостил ты у Смирновых в Калуге? — спрашивает Плетнев Гоголя 23 декабря. — Разве ты не знаешь, как мне интересно все слышать, что до нее касается? Уж о литературных делах твоих я и не спрашиваю...» (РВ. 1890. Ноябрь. С. 60–61). Более подробные сведения Плетнев получил от самой Смирновой, которая и на этот раз «разболтала» секрет. «Смирнова рассказала мне, как ты читал с нею вторую часть “Мертвых душ”, — пишет Плетнев Гоголю 23 марта 1851 года. — Она в восхищении от нее. Со мною ты и речи не заводишь о том, сколько и как у тебя идет литературная работа» (Переписка, т. 1, с. 296). В голосе Плетнева звучит обида: он хорошо помнит, что в свое время только он да Пушкин, да еще Жуковский были посвящены в тайну гоголевского произведения и что они свято берегли эту тайну. «Тогда кружок наш был маленький, но так крепко сомкнутый, что ни одна чуждая нам фигура не могла втесниться к нам и разделить кого-нибудь из нас от другого» (там же).

Однако, надо думать, что хотя наложенный на Смирнову обет молчания и отличался строгостью, но его нарушение отвечало интересам Гоголя. Смирнова это прекрасно сознавала; ведь она сообщала своим собеседникам и корреспондентам не только детали содержания книги, но и свое к ней восторженное отношение, т.е. удостоверяла тем самым ее высокое художественное достоинство. Все это способствовало определенной направленной общественному мнению. И Гоголь решил продолжить экзамен для «Мертвых душ», но теперь уже с большей внутренней уверенностью и в более благоприятных условиях для своего детища.

Следующим на очереди был Шевырев. В начале августа Гоголь живет у него на даче и «с необыкновенной таинственностью» (опять с «необыкновенной таинственностью») читает ему главы второго тома (Бар-

суков, т. 10, с. 324 или другое). В эти же дни, 7 августа Гоголь сообщил о втором томе Ивану Киреевскому, хотя читать из него ничего не стал. «Гоголя мы видели вчера, — пишет Киреевский на другой день. — Второй том Мертвых душ написан, но еще не приведен в порядок, для чего ему нужно употребить еще год» (РА. 1909. № 5. С. 114).

А потом наступил черед Аксаковых, причем Гоголь не отказал себе при этом в удовольствии прибегнуть к небольшому розыгрышу.

Вот уже почти неделю (с 14 августа) гостил он у Аксаковых в Абрамцеве, ведя свой привычный образ жизни: «все дообеденное время проводил у себя наверху, и по всему вероятно, писал. После же обеда все время почти проходило в чтении старинных русских писателей», а также переводов Мерзлякова с греческого и т.д. Но однажды — это было 19 августа — Гоголь вдруг поменял репертуар: «Прочтемте что-нибудь, хоть бы “Мертвые души”». Константин хотел было уже принести книгу, но Гоголь его остановил: “Да уж лучше я сам вам прочту” и вытащил из кармана тетрадь». «Мы обомлели, едва переводили дыхание от ожидания, — рассказывает Вера Сергеевна Аксакова М. Г. Карташевской (письмо от 29 августа), — Гоголь начал читать первую главу второго тома “Мертвых душ” — первые минуты прошли еще в смутном состоянии и радости, и опасения, что то, что услышим, не будет иметь достоинства прежних сочинений Гоголя. Но вскоре мы убедились, что опасения наши были напрасны; слава Богу, Гоголь все тот же, и еще выше и глубже во втором томе...» (ЛН. Т. 58. С. 719).

Такое же впечатление сложилось и у Сергея Тимофеевича: «Слава Богу! Талант его стал выше и глубже», — писал он в тот же день сыну Ивану, который к этому времени уже был наслышан о чтениях от Смирновой. И снова произошло вольное или невольное нарушение запрета: «Мы обещали ему [Гоголю] не писать даже и к тебе, но нет сил молчать» (там же, с. 719).

Вместе с восхищением пришло и чувство вины перед Гоголем — за утраченную было веру в его талант, в успешное продолжение «Мертвых душ»; пришла и потребность в покаянии. «Много вытерпел я сердечной скорби от моей грубой ошибки, — пишет Сергей Тимофеевич 27 августа Гоголю. — Но теперь все забыто! Слава Богу, я чувствую только одну радость. Талант ваш не только жив, но он созрел. Он стал выше и глубже...» (Аксаков С., с. 219). Сергей Тимофеевич выражал свое искреннее убеждение, однако реальная ситуация была много сложнее: и ему не удалось до конца задушить зародыш сомнения, и Гоголю до конца поверить в то, что он сумел убедить своих слушателей...

Но все это выявилось со временем, пока же и автор и его оппоненты были довольны. По словам Сергея Тимофеевича, Гоголь по получении письма решил его поблагодарить — в Абрамцево «он приехал необыкновенно весел, или лучше сказать, светел, долго и крепко жал мне руку...»

(там же, с. 220). Это означало, что второй том выдержал еще один экзамен, причем перед человеком, как сказал Гоголь, «пристрастным» к нему.

Гоголь прожил в Абрамцеве еще неделю, иногда гулял, большую часть времени работал, но от просьбы «прочитать следующие главы» решительно отказался: еще не пришел срок. Тот прилив сил, который он ощутил, хотелось всецело посвятить решительному продвижению его труда.

«Все время мое отдано работе, часу нет свободного, — пишет он из Москвы 20 октября С. М. Соллогуб и А. М. Виельгорской. — Время летит быстро, неприметно. О, как спасительна работа и как глубока первая заповедь, данная человеку по изгнанию его из рая: в поте и труде снискивать хлеб свой! <...> Избегаю встреч даже с знакомыми людьми от страха, чтобы как-нибудь не оторваться от работы своей» (XIV, 147—148).

## ВСТРЕЧИ СО ЗНАКОМЫМИ И НЕЗНАКОМЫМИ

**Н**о «отрываться» все-таки приходилось. Осенью 1849 года Гоголь вновь побывал у Смирновой в Калуге. Обстоятельства да и точное время этой поездки недостаточно прояснены; известно только, что она была непродолжительной (между 27 сентября и 13 октября<sup>1</sup>) и обуславливалась различными мотивами.

Прежде всего — душевным состоянием Александры Осиповны. Проживая у Смирновой летом, Гоголь заметил, что она «очень больна» (XIV, 144). На письма, отправленные по его возвращении в Москву, Смирнова не отвечала, и Гоголь решил ее проведать. Это соответствовало и его внутренней потребности глубже погрузиться в жизнь российской провинции, чтобы запастись необходимыми материалами для продолжения «Мертвых душ». Как нарочно, в Калуге в это время проходила сенаторская ревизия действий губернатора Н. М. Смирнова, мужа Александры Осиповны, устроенная вследствие жалобы царю со стороны сына генерал-лейтенанта И. З. Ершова И. И. Ершова<sup>2</sup>. Желая несколько утешить Смирнову, Гоголь позднее (6 декабря) напишет ей: «Что же касается до сплетней, то не забывайте, что их распускает чорт, а не люди <...> Эта длиннохвостая бестия, как только приметит, что чело-

---

<sup>1</sup> 27 сентября Гоголь приезжает из Абрамцева в Москву (см.: РМ. 1915. № 8. С. 115), а 13 октября о возвращении Гоголя в Москву — по-видимому, уже из поездки в Калугу — сообщает С. Т. Аксаков сыну Ивану (см.: ЛН. Т. 58. С. 720). Очевидно, к настоящей поездке Гоголя, а именно к его возвращению в Москву, имеют отношение и следующие строки из письма Смирновой Гоголю из Калуги от 29 октября: «Ося (Осип Осипович Россет, брат Александры Осиповны. — Ю. М.) вчера приехал и рассказал, как вы завязли в знаменитом Малом-Ярославце» (РС. 1890. Т. 68. С. 658).

<sup>2</sup> Сводку данных по этому вопросу см. в кн.: Аксаков. 1994. С. 516 (примечание Т. Ф. Пирожковой).

век стал осторожен и неподатлив на большие соблазны, тотчас спрячет свое рыло и начинает заезжать с *мелочей...*» (там же, 154; курсив в оригинале). У этого пассажи находится аналог в гоголевском художественном тексте — и как раз во втором томе «Мертвых душ»: взбудораживший весь губернский город юрисконсулт — вполне конкретное лицо, но он обладает поистине бесовской силой смущения и соблазна. Словом, и на этот раз личные впечатления от российской действительности стимулировали (или подкрепили) творческие устремления писателя.

По возвращении из Калуги в Москву Гоголя ждали и другие встречи. Запись Погодина от 15 октября гласит: «Вечер. Князь Енгальчев, Киреевский, Григорьев <...> Духовная беседа, а Гоголь скучал и улизнул» (Барсуков, т. 10, с. 326; к фамилии Григорьева публикатор делает помету: «вероятно, Аполлон»). Квалификацию этой встречи как «духовной беседы» поддержал и другой ее участник — Иван Киреевский, написавший Погодину шутливую записку: «Вчерашняя духовная беседа так подействовала на мой грешный нос, что я забыл от него платок у тебя в передней...» (там же). На Гоголя она подействовала иначе («улизнул!») — впрочем, шаг, вполне от него ожидаемый. Может быть, и на этот раз Гоголя смутило присутствие незнакомого (или малознакомого) ему человека — Н. А. Енгальчева.

Что же касается другого участника встречи, Аполлона Григорьева, то Гоголь уже был знаком с ним заочно. Писатель сочувственно встретил статью Григорьева о «Выбранных местах...», опубликованную в «Московском Городском Листке» за 1847 год в № 62–64 («Он, без сомнения, юноша очень благородной души и прекрасных стремлений...» — XIII, 314–315), а позднее рекомендовал его Ф. В. Чижову в качестве автора для журнала, который тот задумал (см.: там же, 385–386).

Спустя полтора месяца после «духовной беседы», 3 декабря, в том же доме Погодина Гоголь присутствовал на чтении А. Н. Островским его комедии «Свои люди сочтемся» (тогда она еще носила название «Банкрот»). По свидетельству очевидца события Н. В. Берга, Гоголь «приехал среди чтения; тихо подошел к двери и стал у притолоки. Так и простоял до конца, слушая, по-видимому, внимательно». После чтения «не проронил ни слова», но на прямой вопрос одной из слушательниц, графини Е. П. Ростопчиной похвалил пьесу, но отметил «некоторую неопытность в приемах», неоправданную длину или, напротив, краткость некоторых сцен. «После, однако, — заключает мемуарист, — я имел случай не раз заметить, что Гоголь ценит его талант и считает его между московскими литераторами самым талантливым» (Воспоминания, с. 502–503).

Свидетельство Берга подтверждается другими фактами. Еще раньше Гоголь обратил внимание на «Семейную картину» Островского, которая еще носила название «Картина семейного счастья», — пьеса произвела на него «сильное впечатление» (Барсуков, т. 11, с. 65; по-види-



тому, это свидетельство Т. И. Филиппова, человека, близкого драматургу). Что же касается новой комедии, то, по словам другого мемуариста, Гоголь «на вопрос хозяина [Погодина] отозвался о пьесе одобрительно», — и его «похвальный отзыв», «написанный на клочке бумаги карандашом, передан был Погодиным А. Н. Островскому и сохранился им как драгоценность» (*Максимов С. В.* А. Н. Островский по моим воспоминаниям // *Островский А. Н.* Полн. собр. соч. Пб., 1909! Т. 11. С. 30). Гоголевское внимание к Островскому находилось в русле его общего интереса к новой русской литературе, отличавшегося некоторыми общими чертами.

Прежде всего, гоголевские оценки были похвальными, но не безоговорочными и, скажем, упрек Островскому в «неопытности в приемах» разительно напоминает соответствующее замечание автору «Бедных людей» («Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе...» — см. выше, наст. изд., с. 15). А кроме того, Гоголь не скрывал своего личного, так сказать, утилитарного интереса к новым писателям и произведениям, которые должны были послужить стимулом для его собственных творческих усилий. В этой связи примечательна запись Погодина, относящаяся к И. Д. Беляеву, историку и археографу: «И. Д. Беляев сказывал, что он хочет печатать статьи исторические, он тоже подвигнет все-таки меня, как *Островский Гоголя*» (Барсуков, т. 11, с. 71).

В конце 1849 года Гоголь активно общается с находившимися в Москве земляками-украинцами. После 15 октября приезжает Максимович, чтобы повидаться с Гоголем, — и остается здесь на всю зиму. Затем, 21 декабря Гоголь встречается со своим старым знакомым, славистом О. М. Бодянским (см.: *Труды и дни*, с. 274), о чем последний в тот же день оставил запись в дневнике: «Часа в три пополудни навестил меня Николай Васильевич Гоголь, пришедший с поздравлением о победе над супостаты». «Максимович (М. А.) был у меня сейчас, сказал Гоголь, и сообщил мне новость о вас, и я немедленно же очутился у вас, чтобы вас обнять и поздравить с победою» (РС. 1888. Ноябрь. С. 401–402<sup>1</sup>).

Подразумевается известная нам история публикации перевода сочинения Флетчера «О государстве Русском», т.е. запрещение журнала, где появился перевод («Чтения Московского общества истории и древностей российских при Московском университете»), и отстранение Бодянского от должности секретаря этого общества и профессора университета. И вот возвращение Бодянского в университет радостно переживается Гоголем как «победа над супостаты».

Но поздравлением дело не ограничилось. «Тут прямо разговор перешел к сборнику малороссийских песен, — продолжает Бодянский, — который я по весне показывал ему [Гоголю], и который намеревался поме-

---

<sup>1</sup> В изд. «Воспоминания» этот и следующий затем текст опущен.

щать в «Чтениях» (там же). Печатание в приостановленных «Чтениях» было уже невозможно, зато песни послужили поводом для многочисленных встреч в аксаковском доме. Напевала песни одна из старших дочерей Надежда Сергеевна Аксакова (1829–1869), отличавшаяся приятным голосом и хорошим слухом, посильное же участие в исполнении принимали и Гоголь, и Бодянский, и Максимович. Всем троим доставляло огромное удовольствие слышать родные звуки; остальные же наблюдали происходящее с интересом, сочувствием, порою с восхищением, но, как ни странно, и с оттенком некоторой отстраненности.

Характерно впечатление Веры Сергеевны Аксаковой, высказанное в письме от середины февраля 1850 года брату Ивану — «по поводу малороссийских песен»: «Гоголь, в самом деле, с таким увлечением, с таким внутренним чувством поет их, разумеется, не умея петь, но для того только, чтоб передать напев и характер песни, что в эту минуту весь проникается своей народностью и выражает ее всеми средствами — и жестами, и голосом, и лицом, а Максимович перед ним стоит и также забывает все вокруг себя, поет и топчет ногами и разводит руками, но только выражая нежную сторону Малороссии. Бодянский же было припрыгнул с самого начала пения, но потом сконфузился и держал себя смиренно, но тоже пел...» (ЛН. Т. 58. С. 726–727).

Пели украинские песни и 19 марта, в день, считавшийся днем рождения Гоголя. «...Мне живо вспомнюлось, — писал позднее Максимович С. Т. Аксакову, — как <...> мы с ним обедали у Вас в этот день <...> Боже мой, как хорошо мне прожилося в тот март месяц и как часто я проводил тогда у Вас с Гоголем и с земляком Есипом!» (т.е. с Осипом Бодянским — там же, с. 725). У самого же Сергея Тимофеевича эта встреча, 19 марта 1850 года, оставила более сложное впечатление. На следующий день он писал сыну Ивану: «Трое хохлов были очаровательны: пели даже без музыки и Гоголь зачитал меня какими-то думами хохлацкого Гомера. Гоголь декламировал, а остальные хохлы делали жесты и гикали, чему были свидетелями и Хомяков и Софья (Софья Александровна — невестка Сергея Тимофеевича, жена его сына Григория. — Ю. М.), хотя присутствие последней видимо мешало Гоголю, и как только она ушла, то начались прежние гримасы и выверты рукою; я, Хомяков и Соловьев (речь идет об историке Сергее Михайловиче Соловьеве. — Ю. М.) любовались проявлением национальности, но без большого сочувствия, в улыбке Соловьева проглядывало презрение, в смехе Хомякова — добродушная насмешка, а мне было просто смешно и весело смотреть на них, как на чуваш или черемис... и не больше. Бодянский был неистово великолепен, а Максимович таял, как молочная, медовая сосулька или татарский *клево-сахар*» (Материалы, т. 1, с. 217).

Противоречивое отношение к «малороссийским вечерам» выражает и Надежда Сергеевна, бывшая их деятельным участником (она, как

мы знаем, напевала слова). После встречи 16 января 1850 года она писала брату Ивану: «Гоголю я пела, по его просьбе, малороссийские песни, данные Константину (т.е. Константину Аксакову. — Ю. М.) Максимовичем, которые и теперь звучат в ушах моих. Как они не отвязны! Мотив в них так ярко обозначен, так легок и жив, что легко запоминается, и по тем же причинам скоро и надоедает. Как сравнить с русской песней! — Ее и схватить трудно, а если остается в памяти, то раздается в ушах отдельными протяжными звуками или выдающимися вперед музыкальными фразами. Как успокаиваешься и отдыхаешь, когда споешь русскую после малороссийской» (ЛН. Т. 58. С. 722; ср. мнение Ивана Аксакова об украинских песнях — Аксаков, 1994, с. 108).

Пояснением этой параллели — песни украинской и русской — может служить их сравнительная характеристика, набросанная Гоголем еще в давней статье «О малороссийских песнях» (1834; вошла в «Арабески», 1835): «Русская заунывная музыка выражает <...> забвение жизни: она стремится уйти от нее и заглушить вседневные нужды и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с жизнью — звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят: говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит душу. Взвизги ее иногда так похожи на крик сердца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как будто бы коснулось к нему острое железо» (VIII, 96).

Значит, обе национальные стихии исполнены глубокого драматизма, но малороссийская его не смягчает, являя во всей трагедийности и не щадя ни чувств, ни воображения (неслучайна реакция Надежды Аксаковой: «как успокаиваешься и отдыхаешь, когда споешь русскую после малороссийской...»). Особенно выразительна заключительная фраза приведенного гоголевского пассажа: коснувшееся сердца «острое железо» — символика убийства и жертвоприношения (ср. в сцене смерти Андрия в «Тарасе Бульбе»: «...как молодой барашек, почувавший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву...» — II, 144).

Словом, повинувшись своему внутреннему чувству, Гоголь вновь отдавал должное стихии диссонанса, ничем не смягчаемой и неутешаемой трагедийности, проступавшей через завесу безоглядной веселости, комизма и воодушевления.

Малороссийские посиделки у Аксаковых продолжались до июня 1850 года — время отъезда Гоголя и Максимовича из Москвы.

«Вот кстати, вспомянулись мне и *последние* Гоголевы ко мне строки, — говорит Максимович, — писанные в Москве, в апреле 1850 года, на Светлой неделе:

“Христос воскрес!

Всё конечно у Аксаковых сегодня. Завтра же мы приглашены с тобой к Погосину. Твой весь Н. Г.» (Максимович, 1871, с. 71; курсив в оригинале; см. также: XIV, 179).

И еще одно-два, последние из известных свидетельств встречи у Аксаковых. 12 мая 1850 года Бодянский сообщает в дневнике о своем посещении Гоголя. «Прощаясь, он спросил меня, буду ли я на варениках? “Если что-нибудь не помешает”. Под варениками разумеется обед у С. Тим. Аксакова по воскресеньям, где непременно блюдом были всегда вареники для трех хохлов: Гоголя, М. А. Максимовича и меня, а после обеда, спустя час, другой, песни малороссийские под фортепьяно, распеваемые второй дочерью хозяина, Надеждою Сергеевною...» (Воспоминания, с. 431). В. С. Аксакова — М. Г. Карташевской, 25 мая: «...У нас опять были малороссийские песни, были малороссы» (ЛН. Т. 58. С. 732).

«*Вареники и песни*»... Под таким названием эти вечера и запечатлелись в сознании участников. «В воскресенье все опять соберутся на *вареники и песни*». «По воскресеньям устроились *вареники и песни*» (ЛН. Т. 58. С. 726, 727). И т.д.

Тем временем Гоголя ожидали и другие встречи. Например, с профессором Ярославского лицея Василием Ивановичем Татариновым.

По отзыву проживавшего в Ярославле Ивана Аксакова, это был «забавный», но «очень неглупый и честной души человек» (Аксаков, 1994, с. 100). «Положение его прескверное. Директор считает его опасным человеком, как всякого мыслящего человека, и он едет в Москву искать себе какое-нибудь место да и вообще освежиться от чаду пошлости провинциальной. Пожалуйста, примите его ласково», — заключает Иван Аксаков. Отзывчивый Сергей Тимофеевич внял этой просьбе, и Татаринов стал бывать в его доме, причем «в последний раз, — сообщает Вера Сергеевна около середины февраля 1850 года, — он у нас обедал нечаянно с Гоголем и Максимовичем. Гоголя он видел в первый раз» (ЛН. Т. 58. С. 726).

Еще один, по-видимому, новый знакомый Гоголя — Владимир Иванович Хитрово (ум. 1866), помещик, по имению сосед А. С. Хомякова, посещавший и его московский дом. 15 января 1850 года Хитрово записывает в дневнике: «Вечером у А<лексея> С<тепановича> встретился с известным автором “Мертвых душ” Н. В. Гоголем и приятно провели свое время; много мы спорили и кричали с Алексеем Степановичем, но Гоголь поддерживал меня ...» (ЛР, 1994, № 25; публикация В. И. Сахарова).

Встречи же Гоголя с Хомяковым, несмотря на «поддержку», оказанную в споре его оппоненту, продолжили их давние дружеские отношения (см. об этом: Труды и дни, по имен. указ.). Теперь эти отношения были закреплены, так сказать, духовно-родственной связью: 31 января того же года Гоголь крестил новорожденного сына Хомякова Николая.

Встречался Гоголь и со своим давним знакомым, соучеником по нежинской Гимназии высших наук Н. В. Кукольниковом, который с 1847 года занимал пост ответственного чиновника в канцелярии воен-

ного министра гр. А. И. Чернышева. В записной книжке Гоголя московского периода сохранилась запись: «Кукольник против Семенов<ских> казарм в Гороховой улице рядом с Москов<скими> казарм<ами> в доме Демидова» (VII, 377). В течение месяца, который Кукольник провёл в Москве (28 марта 1850 года он уехал из Москвы на юг), они с Гоголем виделись неоднократно<sup>1</sup> — эти встречи свидетельствуют о том, что несмотря на различия в эстетических позициях, на принадлежность к различным кружкам (Гоголя — к пушкинскому, Кукольника — к кружку Брюллова и Глинки), несмотря даже на насмешливое прозвище, данное Гоголем Кукольнику («Возвышенный»), оба писателя (вопреки бытующему в научной литературе мнению) сохранили добрые, приятельские отношения.

Впрочем, литературное положение Кукольника в это время было далеко не таким блестящим, как в годы его молодости. Популярность его среди читателей заметно упала, новые книги выходили с трудом. В более поздних литературных воспоминаниях (1857) Кукольник горько жаловался на судьбу своих кровных детей — «сочинений»: «Иоанн безземельный! Ни кола, ни двора. Семья большая правда. Да что в ней толку? Вот седьмой год под одну крышку всех детей собрать не могу, так как цензура разогнала, а иных до того изуродовала, что за свое детище и признать не могу. Говорят, теперь заставу приподняли; да я прошедшим напуган так и боюсь, чтоб шлагбаума разом не опустили и кому-нибудь лба не прихлопнули» (ОР РНБ, ф. № 402, л. 6-6 об.).

В этот свой приезд в Москву бывал Гоголь и у Ивана Васильевича Капниста (1795–1860), сына знаменитого писателя, бывшего земляком и другом гоголевской семьи. Иван Капнист успел проделать уже большой служебный и жизненный путь: избирался миргородским предводителем дворянства, а затем в течение пяти трехлетий губернским предводителем (в Полтаве); с 1842 года он — смоленский, а с 1844-го — московский гражданский губернатор<sup>2</sup>.

О дружеских чувствах Ивана Капниста к писателю свидетельствует его письмо от 23 июня 1849 года:

«Я был у Вас, любезный Николай Васильевич, и к сожалению, не застал. Прошу Вас усерднейше приехать завтра 24 числа в Сокольники обедать к сердечно Вас любящему имениннику И. Капнисту.

Сестра Соф<ья> Вас<ильевна> и Вас<илий> Ант<онович> с детьми ко мне приехали и очень желают Вас видеть» (Материалы, т. 1, с. 132).

Софья Васильевна Скалон, сестра Ивана Васильевича, знала Гоголя с детских лет (к ее воспоминаниям мы уже неоднократно обращались);

---

<sup>1</sup> См.: *Данилов В. В.* Несколько новых дат к хронологической канве Гоголя // Материалы. 1954. С. 385–386.

<sup>2</sup> Об И. В. Капнисте см. в частности: *Крутикова.* 2003. С. 369 и далее.

вместе с мужем Василием Антоновичем Скалоном (1805–1882), армейским офицером, преподавателем Полтавского кадетского корпуса, они были из тех, кто весной и летом 1849 года приветствовал Гоголя по возвращению его из-за границы в родные края.

Если упомянутое посещение Гоголем именин состоялось, то оно имело место как раз между его встречей с Гротом у Шевырева (22 июня) и визитом Грота на гоголевскую квартиру в доме Талызина (25 июня).

Скорее всего именно этот именинный обед в Сокольниках имеет в виду Л. И. Арнольди, который тоже был среди гостей. По его словам, собралось человек семьдесят; обедали в большой палатке, под звуки гремевшей в саду музыки. Можно себе представить, как чувствовал себя Гоголь! «Его усадили между двумя дамами, его великими почитательницами. После обеда мужчины, как водится, уселись за карты; девицы и молодежь рассыпались по саду. Около Гоголя образовался кружок; но он молчал и, развалившись небрежно в покойном кресле, забавлялся зубочисткой» (Воспоминания, с. 489). Хорошо еще, что Гоголь не слышал разговора трех сенаторов и генерала, игравших поодаль в ералаш, — они «с негодованием» посматривали на писателя и недобрым словом поминали и «Мертвые души» и «в особенности» «Ревизора».

Визиты Гоголя к московскому губернатору зафиксированы и Ильей Александровичем Арсеньевым (1820–1887), бывшим студентом Московского университета (курса он не закончил), журналистом и чиновником. Арсеньеву запомнилось: «наружность Гоголя была очень непривлекательна, а костюм его (венгерка с брандербургами) придавал ему крайне невзрачный вид». И вел себя Гоголь крайне неприметно — «редко пускался в разговор и всегда выглядел “букой”».

«Один только раз, — продолжает мемуарист, — удалось мне видеть Гоголя в хорошем расположении духа и вздумавшим представить в лицах разных животных из басен Крылова. Все мы были в восхищении от этого действительно замечательного impromptu, которое окончилось внезапно вследствие случайного приезда к Капнисту Михаила Николаевича Муравьева, который не был знаком с Гоголем.

Капнист, знакомя Гоголя с Муравьевым, сказал: “Рекомендую вам моего доброго знакомого, хохла как и я, Гоголя”. Эта рекомендация, видимо, не пришлась по вкусу гениальному писателю, и на слова Муравьева: “Мне не случилось, кажется, сталкиваться с вами”, Гоголь очень резко ответил: “Быть может, ваше превосходительство, это для меня большое счастье, потому что я человек больной и слабый, которому вредно всякое столкновение”.

Муравьев, выслушав эту желчную тираду, отвернулся от Гоголя, который, ни с кем не простившись, тот час же уехал. Впоследствии я слышал от Ивана Васильевича, что Гоголь не на шутку на него рассердился

за “непрошенную” (как он выразился) рекомендацию» (ИВ. 1887. Март. С. 569–570; см. также: Шенрок, т. 4, с. 758–759).

Это происшествие примечательно и потому, что Михаил Николаевич Муравьев (1796–1866) — видный государственный деятель, в 1850 году член Государственного совета, позднее министр государственных имуществ и губернатор Северо-Западного края, прозванный «Муравьевым-вешателем» за проявленную при подавлении польского восстания 1863 года жестокость.

Описанная встреча могла иметь место в 1848 году (в этот год И. А. Арсеньев, автор воспоминаний, переехал в Петербург).

Но присутствие у Капниста неприятных особ, вроде Муравьева или не названных по имени трех сенаторов и генерала, не омрачило отношение Гоголя к хозяину дома. Не помешало даже различие во вкусах, некоторая архаичность художественных пристрастий Капниста, о которой говорили современники. Согласно тому же Арнольди, Капнист «остановился на “Водопаде” Державина и дальше не пошел. Даже Пушкина не любит...». Не жаловал он и Гоголя, говоря, что у того «нет ни на грош таланта». Но как раз это обстоятельство побудило писателя прочитать ему главы из второго тома поэмы.

Когда Арнольди выразил по этому поводу недоумение, Гоголь сказал: «Я читал ему мои сочинения именно потому, что он их не любит и предубежден против них <...> И. В., слушая мое чтение, отыскивает только одни слабые места и критикует строго и беспощадно, а иногда и очень умно. Как светский человек, как человек практический и ничего не смыслящий в литературе, он иногда, разумеется, говорит вздор, но зато в другой раз сделает такое замечание, которым я могу воспользоваться. Мне именно полезно читать таким умным не литературным судьям» (Воспоминания, с. 490). Достоверность этого свидетельства подтверждается другим документом — письмом П. А. Плетнева от 12 марта 1852 года: «А. О. Смирнова сказывала мне, что только И. В. Капнисту, который, хотя любил Гоголя, но терпеть не мог его сочинений, он прочитал девять глав <второго тома “Мертвых душ”>, желая воспользоваться строгою критико беспощадного порицателя своих сочинений» (Плетнев, с. 734)<sup>1</sup>.

Чтение поэмы И. Капнисту, по-видимому, происходило после калужских чтений лета 1849 года и таким образом продолжило устроенный Гоголем экзамен. Но в позиции экзаменуемого появились новые черты — бóльшая твердость и уверенность в своих силах. Заручившись мнением и, так сказать, впечатлением компетентных судей, Гоголь мог теперь представить свой труд лицу заведомо предубежденному, чтобы все-таки извлечь из его критики практическую пользу.

---

<sup>1</sup> Хотя Смирнова могла иметь в виду и последующие чтения поэмы Капнисту, но число «девять глав» представляется маловероятным.

Обращаясь же вновь к событиям 1850 года, следует сказать, что в первых числах февраля Гоголь опять впал в болезненное состояние, не долгое, но мучительное. К простуде и жару, следствию московских холодов, прибавилось «нервическое волнение» (XIV, 163). Пришлось прибегнуть к помощи Александра Ивановича Овера (1804—1864), известного медика, профессора Московского университета. Около середины февраля Гоголь почувствовал «облегченье от болезни» (там же, 165), да и со стороны было видно, что ему «гораздо лучше» (ЛН. Т. 58. С. 728). В это время возобновились украинские посиделки («вареники и песни»), о которых говорилось выше, а кроме того к 1 марта, на три дня, в Москву проездом в Петербург прибыла А. О. Смирнова, что также немало содействовало улучшению состояния Гоголя.

«...В присутствии Александры Осиповны [Гоголь] ничего не видит, не слышит и ни о чем, кроме нее, не думает», — сообщал 3 марта С. Т. Аксаков сыну Ивану. И далее: «Гоголь в ее присутствии — описать невозможно.<...> Таким бывает он в счастливые минуты творчества. Нет никакой возможности признать его влюбленным, и потому я объясняю себе это обстоятельство другим образом: между ними существует совершенное согласие в религиозном и нравственном отношении <...> Вера думает точно так же» (там же, с. 728). Вера, т.е. старшая дочь Сергея Тимофеевича, Вера Сергеевна, подтвердила эти слова в письме к брату Ивану: «Гоголь при ней [Смирновой] совершенно счастлив, она его любит, у них есть свой особый мир, так сказать, в котором у них совершенно одинакие взгляды, понятия, впечатления, язык» (там же, с. 730). И Константин Аксаков был того же мнения (в письме к Ивану от 4 марта): «Тут сидел Гоголь, радостный и счастливый до того ее присутствием, что просто, казалось, лучи шли от него: так он был светел. Между ними как бы установилась постоянная гармония и понимание» (там же, с. 730—732).

Аксаковы явно ревновали Гоголя к Смирновой; неслучайно Сергей Тимофеевич то ли с сожалением, то ли с долей злорадства отметил: «Боже, как она [Смирнова] изменилась в продолжение трех с половиною лет! Она старуха, она страшно что такое!» (там же, с. 728). Но, конечно, в данном случае имела место ревность интеллектуально-духовного свойства. Людям, затратившим столько нервов и душевных сил на споры с автором «Выбранных мест...» и добившимся, как им казалось, взаимопонимания и уступок с его стороны, нелегко было видеть, что все это меркнет на фоне того согласия, которым проникнуты отношения Гоголя и Смирновой. А тут еще, надо думать, оба демонстративно бравировали этим согласием: Смирнова — вследствие своего давнего нерасположения к славянофильским взглядам; для Гоголя же это было нечто в роде некоторой компенсации, реванша за ту критику, которую ему довелось выслушать от Аксаковых, и те переживания и изменения, которые ему действительно пришлось испытать.



Ключевой момент трений и споров — оценка «Выбранных мест...» и их соотношения со вторым томом поэмы. «Когда я между слов промолвил, — замечает Сергей Тимофеевич, — что, слава Богу, талант Гоголя жив и что он здраво смотрит на предметы, Смирнова расхохоталась и, разгорячась, высказала мне, что Гоголь точно так же смотрит на все, как смотрел в своих письмах, что без них он никогда бы не написал второго тома “Мертвых душ”, что он не отступился ни от одного слова, в них написанного, и что он решился меня обманывать, в этом отношении, со всеми другими» (там же, с. 730). Конечно, Смирнова была и права и не права: права в том смысле, что «Выбранные места...» составили необходимый этап в эволюции писателя, что изъять их из истории второго тома поэмы невозможно. Но не права, поскольку утверждала, будто бы Гоголь ни на йоту не изменился: на самом деле горький опыт «Выбранных мест...» заставил его крепче держаться той почвы, на которой он был сильнее и увереннее в своих силах — почвы художественных образов.

Собственно, Аксаков мог бы про себя легко прокорректировать высказывания Смирновой и успокоиться, если бы его не задело заявление о притворстве, о сознательном обмане со стороны Гоголя. Тут уж Смирновой досталось вкупе с Гоголем: «Что за укладистая вещь у этих людей вера! Они пойдут с нею на всякую подлость!» (там же). И честный и прямодушный до святости Константин Аксаков не мог отреагировать иначе: «Бог их знает, как-то не просты они — и Гоголь и Смирнова, и все, им подобные. Нет свободы в этих людях» (там же, с. 732).

Но надо заметить, что и Гоголю Александра Осиповна открывалась не полностью, что вполне естественно для людей со столь сложной душевной организацией.

Вот маленькая зарисовка, сделанная проживавшим в Калуге чиновником, Н. М. Колмаковым и относящаяся, кстати, к тому же времени.

«Вспомните бал 1850 года, в Дворянском собрании, — пишет Колмаков, обращаясь к Смирновой, — я стоял подле вас, а вы, глядя на вальсирующую молодежь и вообще на приличную во всем обстановку, вспомнив фразу Гоголя: *пошла губерния плясать*, сказали: “Ну, откуда Гоголь берет свои карикатуры? У него в губернии что ни чиновник, то взяточник; и вообще, что ни человек, то урод и самого скверного свойства, жалкий он человек!”

Я согласился с вами!

Потом у вас, в губернском доме, тоже в Калуге, всегда была самая интеллигентная публика, преимущественно молодежь! Вспомните, вы сами проповедовали любовь, женитьбу, уродливость того, кто остается холостым. Одним словом, молодежь, под наитием вашим, вела самый оживленный разговор, а о религии ни полслова. Да, в 1850 году мы жили весело!» (РС. 1891. Июль. С. 144–145; курсив в оригинале).

По крайней мере однажды легкая тень дисгармонии между Гоголем и Смирновой промелькнула и во время встреч в аксаковском доме, ког-

да, по словам Веры Сергеевны, писатель «хотел обратить внимание ее на малороссийские песни, на их содержание, просил Наденьку спеть, но Александра Осиповна почти не слушала, говоря, что народная музыка для нее не имеет никакой цены, что она понимает только музыку Бетховена и пр., что малороссийские песни потому ей больше русских нравятся, что напоминают ей ее детство...» (ЛН. Т. 58. С. 730). Нужно вспомнить, какую роль в мироощущении Гоголя играла стихия малороссийской песни, чтобы понять, почему ему так важны были сочувствие и солидарность со стороны Смирновой. Но кстати, досталось от нее и русским песням («...пустилась она бранить народ и не признавать красоту русских песен»). Тут уж вмешался Константин Аксаков, не удержавшийся от несколько бестактной реплики: «Виноват, я и забыл, что вы урожденная Россет». Гоголь же попытался смягчить спор, чем вновь навлек на себя упрек в неискренности и притворстве.

В апреле Гоголь подумывает о новом дальнем путешествии, «на Восток, под благодатнейший климат, навеваемый окрестностями святых мест», но перед этим он хотел бы, как прежде, тепло и сердечно отметить в погодинском саду свои именины, — «в надежде обнять всех, привыкших проводить вместе со мной этот день» (XIV, 179, 180), т.е. 9 мая. Желание это было таким непреодолимым, что Гоголь, по выражению Бодянского, «почти силою затащил с собою» Константина Сергеевича и Григория Сергеевича Аксаковых (РС. 1888. Ноябрь. С. 405). А вот сам Бодянский отказался («...не пошел бы никоим образом в такое место», т.е. к Погодину) — он помнил о той роли, которую связывали с Погодиным в деле запрещения «Чтений в Обществе истории и древностей российских».

Участие в обеде Константина и Григория («молодых Аксаковых») подтверждает и Н. В. Берг. Упоминает он еще Хомякова, Кошелева, Шевырева, Максимовича. Сам Берг тоже был если не «затащен» к Погодину, то завезен с полдороги, и не один, а с лицом, которое еще не участвовало в подобном событии — А. Н. Островским, чья драма «Банкрот» несколькими месяцами раньше читалась в присутствии Гоголя. «Раз в день его именин <...>, — рассказывает Берг, — ехали мы с Островским откуда-то вместе на дрожках и встретили Гоголя, направлявшегося к Девичьему полю. Он соскочил со своих дрожек и пригласил нас к себе на именины; тут мы и повернули за ним».

Но вопреки ожиданиям Гоголя, обед не удался — «прошел самым обыкновенным образом». «Гоголь был ни весел, ни скучен. Говорил и хохотал более всех Хомяков, читавший нам, между прочим, знаменитое объявление в “Московских ведомостях” *о волках с белыми лапами*, явившееся в тот день» (Воспоминания, с. 503; курсив в оригинале).

Действительно, в № 55 «Московских ведомостей» от 9 мая было напечатано объявление о некоем отставном корнете Я. Атуеве, который,

помимо дрессировки охотничьих собак, предлагал свои услуги по обучению людей «подзывать волков». Якобы необходимо это было потому, что «в Мензелинском уезде в настоящее время показано много прибыли волков с белыми лапами, похищавших преимущественно достояние государственных крестьян, которые хотя и сами воют также волком, но не могут еще в точности определить число кочующих стай...». Эта курьезная публикация, вполне смахивавшая на розыгрыш, была истолкована как злонамеренное иносказание, о чем свидетельствует дневниковая запись Бодянского от 11 мая того же года: «Под волками разуместь следует чиновников министерства государственных имуществ, обирающих в Оренбургской и других губерниях государственных крестьян».

Гоголь в своих произведениях, как известно, сумел предсказать многое; фигурирует в его повести «Нос» и газетное объявление с двойным дном. «...Все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения». Но одно дело — насмешка над «казначеем», другое — над обстоятельствами и фактами такого болезненного для России института, как крепостное право. Согласно тому же Бодянскому, в Москве об этом объявлении «заговорили во всех ее углах», а «редактор и корректор просидели под арестом (у себя дома) 3 дня», во избежание большего взыскания со стороны высшего начальства (РС. 1888. Ноябрь. С. 406).

На второй день после именин, 11 мая, Гоголя постигло несчастье. Об этом рассказывает Смирнова (по-видимому, она вновь заехала в Москву, возвращаясь из Петербурга): «Гоголь пришел ко мне утром и был очень встревожен. “Что с вами, Ник<олай> Вас<ильевич>?” — “Надежда Ник<олаевна> Шереметева умерла, вы знаете, как мы с ней и с Фонвизиним (речь идет о И. А. Фонвизине; см. о нем выше, с. 162. — Ю. М.) жили душа в душу? Последние два года на нее нашло искушение: она боялась смерти. Сегодня она приехала, как всегда, на своих дрожках и спросила, дома ли я. Поехала куда-то, опять заехала в дом Татищева (т.е. Талызина. — Ю. М.), не нашла меня и сказала людям: “Скажите Николаю Вас<ильевичу>, что я приехала с ним проститься”, — поехала домой и душу отдала Богу, который отвратил предсмертные страдания. Ее смерть оставляет большой пробел в моей жизни» (Смирнова, 1989, с. 62).

Тоголевский рассказ о предсмертном визите Шереметевой записал и Бодянский, который был у него на другой день, 12 мая: «...Слуга мой говорит мне, что ко мне, около обеденной поры, какая-то старушка заходила и три раза просила передать мне, что вот она у меня была; а теперь я слышу, что она уже покойница. «Да, скажи же Николаю Васильевичу, пожалуйста, скажи, что была у него; была нарочно повидаться с ним». Вероятно, бедненькая, уставшая от ходьбы, изнемогла под бременем лет, воровившись в свою светелку...» (Воспоминания, с. 429).

Действительно, кончина Надежды Николаевны Шереметевой (1775—1850) оставила «большой пробел» в жизни Гоголя. Урожденная Тютчева (поэт приходился ей племянником), она много испытала на своем веку: трагическую гибель мужа, раннюю смерть в младенчестве одного сына Петра, участие в декабристском движении другого сына Алексея, арест по тому же делу декабристов двух ее зятьев — мужей старшей дочери Пелагеи и младшей Анастасии. Впрочем, один из них, в будущем крупный чиновник, уже упоминавшийся выше Михаил Николаевич Муравьев был вскоре освобожден; второй же, Иван Дмитриевич Якушкин, вполне избыл свою вину, будучи приговоренным к смертной казни с заменой двадцатилетним сроком каторжных работ. Это был тот самый «меланхолический Якушкин», который упоминался в десятой главе «Евгения Онегина» («...казалось, молча обнажал царевбийственный кинжал»).

Трудная жизнь привила Шереметевой смирение, набожность, благочестие, которые сочетались с заботливостью и всегдашней готовностью помочь ближнему. Откликнувшийся на ее кончину Иван Аксаков писал родным 17 мая 1850 года: «Это была натура деятельная, душа светлая и, казалось мне, давно готовая к смерти, что не мешало ей жить — пока она была в жизни — живую жизнью с живыми» (Аксаков, 1994, с. 141).

В отношении к Гоголю (они познакомились, как мы знаем, в начале 1840 г.) все это проявлялось в материнской участливости — чувство, которое никогда не было для него лишним. Сравнение с сыном («как сына») — наиболее частое в устах и Гоголя и его современников, когда речь заходит о его общении с Шереметевой. С. Т. Аксаков: «...почтенную и благодетельную старушку, которая <...> любила Гоголя, как сына...» (Воспоминания, с. 122). Гоголь, вскоре после смерти Шереметевой, в середине мая 1850 года: «Она меня любила, как сына, хотя я не сделал ничего, достойного любви ее...» (XIV, 182). И сама Шереметева, в одну из трудных для Гоголя минут, в ответ на повторяющуюся просьбу молиться за него: «...Благословляя вас как сына, мне любезного, вручаю Богу, молю Его, да с Его Отцовскою помощью возможете с терпением все нести» (Шереметева, с. 225).

Смерть Надежды Николаевны омрачила последние дни пребывания Гоголя в Москве. Объясняя А. С. Данилевскому и его жене Ульяне Григорьевне причины своего молчания, Гоголь пишет 14 мая: «Я <...> много скорбел и страдал как душевно, так и телесно. И до сих пор не выбрал<ся> из этого состояния» (XIV, 180).

Тем не менее спустя неделю, 21 мая, Гоголь отправился к Аксаковым на именины Константина Сергеевича. В числе гостей был Бодянский и, согласно дневниковой записи последнего, Максимович, Хомяков, Свербеев и «еще два какие-то неизвестные мне, да родные именинника». Сергея Тимофеевича не было за столом — он простудился, и «к нему после обеда все ходили один за другим».

Во время встречи возник диалог на злободневную тему, записанный тем же Бодянским.

«— Не понимаю, как можно быть в наше время национальным? — сказал, между прочим, Свербеев.

— А я так не понимаю, как можно не быть в наше время не национальным, — возразил я ему» (РС. 1888. Ноябрь. С. 411—412).

Какую-либо реакцию Гоголя на этот обмен репликами Бодянский не зафиксировал. Возможно, тот по обыкновению уклонился от споров западнического или славянофильского толка.

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКЗАМЕНА

Тем временем Гоголь провел новый тур чтений «Мертвых душ», что означало для них продолжение экзамена. Писатель хотел бы начать с Жуковского, но тот был в Германии. «Временами приходит такое желание прочесть из них [«Мертвых душ»] что-нибудь тебе, — пишет он Жуковскому 14 декабря 1849 года, — и кажется, что это прочтение освежило бы и подтолкнуло меня — но... Когда это будет? Когда мы увидимся?» (XIV, 156). Пришлось начать с тех, кто поближе.

В начале января следующего года, числа 7-го, Гоголь прочитал в Аксаковском доме доработанную первую главу. «Глава показалась нам еще лучше, — отмечал Сергей Тимофеевич, — и как будто написана вновь» (Аксаков С., 1890, с. 188). На чтении впервые присутствовал Иван Сергеевич (до этого он мог судить о поэме по отзывам родных, а также Смирновой), — и услышанное восхитило его. «Спасибо Гоголю! — писал он родным 9 января по возвращении из Москвы в Ярославль. — Все читанное им выступало перед мной отдельными частями во всей своей могучей красоте... Если б я имел больше претензий, я бы бросил писать: до такой степени превосходства дошел он, что все другие перед ним пигмеи» (Аксаков, 1994, с. 94).

Через несколько дней, 19 января, Гоголь познакомил Аксаковых со второй главой. Утром он был у Погодина и, согласно дневнику последнего, читал «Мертвые души» ему и Максимовичу (Барсуков, т. 11, с. 133). А потом отправился обедать к Аксаковым, и тут состоялось новое чтение. При этом, как и несколько месяцев тому назад, приступая к самому первому чтению, Гоголь не мог себе отказать в маленьком розыгрыше.

«Вот как было дело, — рассказывал на следующий день Сергей Тимофеевич в письме Ивану. — Пришел он к нам вчера обедать <...> Часу в 7-м вдруг говорит: “А что бы куличка прочесть?” Я отвечал, что теперь все маленькие кулички, но что если он хочет, то Константин принесет все мои записки и прочтет их ...» (Аксаков С., с. 223). Подразумевались «Записки ружейного охотника», над которыми в это время работал Сергей Тимофеевич.

Но Гоголь чтения почти не слушал, решительно «выхватил тетрадь из кармана, которую давно держал в руке, и сказал: “Ну, а теперь я вам прочту”» (там же, с. 224). Это была рукопись второй главы «Мертвых душ».

«Что тебе сказать? — продолжает Аксаков. — Скажу одно: вторая глава несравненно выше и глубже первой. Раза три я не мог удержаться от слез» (там же). Сергею Тимофеевичу буквально вторит Константин: «Вчера Гоголь читал отесеньке и мне вторую главу. Что тебе сказать? Она для меня несравненно выше первой <...> Чем дальше, тем лучше» (ЛН. Т. 58. С. 724).

В первых числах марта Гоголь расширил круг слушателей. 7 марта С. Т. Аксаков сообщил Ивану, что «третьего дня» Гоголь прочел А. С. Хомякову и Ю. Ф. Самарину первую главу (по более позднему свидетельству Самарина — две главы). «Разумеется, Самарин вполне оценил это великое произведение» (ЛН. Т. 58. С. 734). Автор «Мертвых душ» при этом требовал критических замечаний, и Хомяков в ответ высказал один-два упрека, по мнению Сергея Тимофеевича, «неосновательные и пустые»; Самарин же отозвался следующим (недатированным) письмом: «Любезнейший Николай Васильевич, если бы я собрался слушать вас, с намерением критиковать и подмечать недостатки, кажется и тогда, после первых же строк, прочтенных вами, я забыл бы о своем намерении. Я был вполне так увлечен тем, что слышал, что мысль об оценке не удержал бы в моей голове. Вместо всяких похвал и поздравлений, скажу вам только, что я не могу вообразить себе, чтобы прочтенное вами могло быть совершеннее». Единственное, на что Самарин решился — замечания «касательно не художественной стороны, а исторической верности» (РС. 1889. № 7. С. 174), — речь шла конкретно об обстоятельствах и характере служебной деятельности Тентетникова.

Наконец, в последних числах мая Гоголь прочел в аксаковском доме третью главу. Вначале одному Сергею Тимофеевичу, а на другой день «половину ее» заново — Аксакову-старшему и Константину. 25 мая Вера Сергеевна сообщала М. Карташевой: «...И отесенька и Константин никогда еще не были, кажется, в таком восхищении...» (ЛН. Т. 58. С. 732). И Сергей Тимофеевич писал Ивану: «До того хорошо, что нет слов. Константин говорит, что это лучше всего; но чтобы он сказал, если б услышал в другой раз то же? Я утверждаю, что нет человека, который мог бы вполне все почувствовать и все обнять с первого раза» (там же, с. 734). Словом, восхищение слушателей от главы к главе шло по возрастающей.

Гоголь собирался прочесть и четвертую главу, но болезнь Аксакова-старшего — он не поправился еще со времени именин Константина — этому помешала. В письме от 2 июня Ивану Сергей Тимофеевич сокрушался: «Гоголь приготовил и отделал главу для прочтения всему нашему семейству, но все не читал, потому что она так чувствительна, что меня

должна расстроить... Как это досадно! Проклятое последнее мое нездоровье тому причиной. Теперь чтение откладывается на год» (там же).

Так оно и произошло: чтения «Мертвых душ» Аксаковым и другим москвичам возобновились лишь после возвращения Гоголя из путешествия на юг, в июне 1851 года<sup>1</sup>.

Гоголь мог быть вполне удовлетворен: поэма продолжала держать экзамен. Больше того — уверенность слушателей в авторе и их осознание собственной былой неправоты еще более окрепли. «Теперь только я убедился вполне, — признается Сергей Тимофеевич, — что Гоголь может выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорил он в первом томе...» (Аксаков С., с. 224). В этом Аксаковых убеждало и отношение Гоголя к критике — в отличие от Самарина, они не ограничились бытовой верностью деталей и коснулись проблем художественности. Например, Сергею Тимофеевичу в описании Улиньки не понравилось выражение, «что *когда надобно дать что-нибудь, она отдает все, что у нее есть*», и еще не понравилось сравнение, «что, казалось, она *готова* была сама улететь вслед за *своими словами*» (Материалы, т. 1, с. 184—185; курсив в оригинале). Ивану Аксакову же показалось, что «не довольно ясно обозначено, почему, под каким предлогом Чичиков расположился жить у Тентетникова» (Аксаков, 1994, с. 94).

Все эти упреки Гоголь, как правило, принимал и словно шел им навстречу. «Я заставил его признаться, — продолжает Сергей Тимофеевич, — что все наши замечания бесполезны и что он сам это видит лучше других, но в то же время он сказал, что для него важно совпадение моих замечаний с его собственными...» (Материалы, т. 1, с. 184—185). А это значит, что между Гоголем и его критиками устанавливался род согласия, что писатель демонстрировал полную готовность избегать какой-либо идеализации и всецело полагаться на язык образов. И все это Гоголь делает и будет делать не в силу притворства или расчета, но подчиняясь органической устремленности души и таланта. Вот почему так резанула Аксаковых реплика Смирновой, будто бы Гоголь лукавил и обманывал их.

Но предпринятые чтения поэмы были экзаменом и для ее слушателей. Ведь во втором томе раскрывались новые стороны жизни, фигурировали более сложные характеры. Мы уже знаем, что, слушая вторую главу этого тома, С. Т. Аксаков «не мог удержаться от слез». Такое труд-

---

<sup>1</sup> Отклик на чтения поэмы в первой половине 1850 г. содержится в письме Жуковско-го Гоголю из Бадена от 1/13 февраля 1851 г.: «Здесь в Бадене Кошелев <...>; он обрадовал меня известием, что Мертвые души идут шибко вперед. Он знает, что ты читал многое Хомякову; но Хомяков не сказал, что, как и каково, сохраняя данное тебе обещание не произносить никакого суждения. Но для меня довольно знать, что ты пишешь и что пишется...» (Сборник, 1891, с. 22).

но себе представить при чтении глав о Манилове, Собакевиче или даже Плюшкине. Для этого нужны были перипетии жизненных судеб Тентетникова и Бетрищева, их взаимные обиды и примирение, разговор о войне с Наполеоном, помолвка Тентетникова с Улинькой, плач Улиньки на могиле матери и т.д. — все это составляло предмет упомянутой главы и требовало другого эмоционального отклика. И реакция слушателей оказалась соответствующей. «Такого высокого искусства: показывать в человеке пошлом *высокую человеческую сторону*, нигде нельзя найти, кроме Гомера, — отмечал Сергей Тимофеевич в упоминавшемся письме от 20 января 1850 года — Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается *собственная своя духовная внутренность*» (Аксаков С., с. 224). Не зная того, Аксаков почти буквально воспроизвел ту характеристику второго тома, которую дал сам Гоголь в письме от 3 декабря 1849 года К. И. Маркову, помещику и литератору: «...Я не имел в виду собственно *героя добродетелей*. Напротив, почти все действующие лица могут назваться героями недостатков. Дело только в том, что характеры *значительнее* прежних и что намеренье автора было войти здесь глубже в высшее значение жизни...» (XIV, 152; курсив в оригинале). И чтение второго тома показало, что слушатели оказались на высоте этого «намерения».

Окончательным ли был итог проведенного экзамена, прочным ли взаимное согласие? Очень скоро обнаружилось, что не окончательным и не прочным. Некоторым предвестием расхождения явился уже спор о цензуре, который произошел в первых числах марта, т.е. в разгар чтений второго тома. Правда, этот спор был заочным — С. Т. Аксаков вел его непосредственно со Смирновой, но от того он не сделался менее значительным.

В свое время Сергей Тимофеевич, предвидя цензурные препятствия для поэмы, советовал Гоголю представить рукопись царю (Аксаков руководствовался счастливым прецедентом — участием Николая I в судьбе «Ревизора»). Теперь Аксаков узнал от Смирновой, что писатель никогда этого не сделает, хотя «уверен, что он [царь] дозволил бы ее напечатать; нет, он хочет до тех пор ее исправлять, пока всякий глупый, привязчивый цензор не пропустит ее без затруднения». На это Сергей Тимофеевич сказал Смирновой: «...Как жаль, какая ложная мысль!...» (ЛН. Т. 58. С. 730).

Но гоголевское «мысль» вписывалось в его общее решение проблемы цензуры, которое сложилось у него к середине 1840-х годов и которое нам известно, в частности, по статье о Карамзине («Выбранные места...»). Мол, писатель все может сказать, если постарается, если будет убедителен, разносторонен и свободен от раздражения. Проблема цензуры для Гоголя в это время — это проблема авторского стиля, но в то же время и проблема самовоспитания, самосовершенствования — и нрав-



ственного и творческого. Во внешних преградах, какие являла собою цензура, Гоголь хотел найти стимулы для внутреннего сопротивления; со стороны же было видно, что писатель тем самым обрекает себя на бесконечный процесс переработки текста.

Но подобные опасения С. Т. Аксаков и другие держали пока при себе или не высказывали слишком явно. На первом плане были одобрение и энтузиазм, которые подействовали на Гоголя окрыляюще. «Когда я перед отъездом из Москвы <...> прочел две первые главы, оказалось, что последующие сильней первых и *жизнь* раскрывается, чем далее, глубже. Стало быть, несмотря на то, что старею и хирею телом, силы умственные, слава Богу, еще свежи» (А. П. Толстому, 20 августа 1850 г. — XIV, 202, курсив в оригинале).

Но чтобы выполнить намеченное, приготовить к печати второй том, Гоголю необходимо всю предстоящую зиму «поработать хорошо», а для этого, помимо душевного расположения, нужны еще «благоприятный воздух и ненагретое тепло». И вот, в поисках этих условий, Гоголь вновь отправляется в дальнюю дорогу.

Но еще до отъезда, весной 1850 года Гоголю суждено было пережить тяжелую душевную драму.

### **«...БОГ НЕ ДАРОМ СТАЛКИВАЕТ ТАК ЧУДНО ЛЮДЕЙ...»: ГОГОЛЬ И АННА ВИЕЛЬГОРСКАЯ**

**В** семье Виельгорских (и тут они не составляли исключения) на Гоголя смотрели как на великого человека, дружить с которым почетно и лестно. Луиза Карловна, описывая визит к Шатобриану, «великому писателю», в чьих глазах светится «воображение, ум, гений», прибавляла — в письме Гоголю из Парижа 2(14) марта 1845 года: «И вам, любезный друг, и Жуковскому, Пушкину, Языкову, и некоторым другим предстоит бессмертие и на земле, а нам, несчастным, совершенное забвение» (Переписка, т. 2, с. 213).

Анна, младшая дочь Виельгорских, тоже хорошо понимала, кто пред ней, но при этом ценила и простые человеческие отношения: «...Как русская, вы для меня *Гоголь*, и я вами горжусь, а как Анна Михайловна, вы только для меня Николай Васильевич, т.е. христианский, любящий, вернейший друг» (письмо от 18 марта 1846 г. — там же, с. 219; курсив в оригинале). И, надо прибавить, такой друг, перед которым не надо казаться лучше или умнее, можно болтать, что придет в голову. В Петербурге она с удовольствием воображает (эта цитата нами уже приводилась), — «что я с вами где-нибудь сажу, как случалось в Остенде или Ницце, и что вам говорю все, что в голову приходит, и что вам расска-

зываю всякую всячину. Вы меня тогда слушали, тихонько улыбаясь и закручивая усы...» (там же, с. 218). Такого друга можно и укорить, как ребенка: «Надеюсь, что вы здоровы телесно и душевно, что вы, как я, не хандрите, но *умник*, пишете для наших будущих наслаждений и пользы, гуляете, смеетесь и думаете иногда о вашей приятельнице Анне Михайловне» (там же, с. 210; курсив в оригинале). Можно и прочесть нотацию насчет излишнего внимания Гоголя к отзывам о себе: «И отчего, любезный Николай Васильевич, вы так хотите узнать мнения других? <...> Помните, любезный Николай Васильевич, что ваше имя и ваш талант обязывают вас быть самостоятельным и что вы должны иметь некоторое уважение к самому себе и к званию писателя...» (5–8 мая 1847 г. — там же, с. 238).

Что касается самой Анны, то она думала о Гоголе постоянно. 17 февраля (1 марта) 1845 года из Парижа: «Я все о вас думаю и провожаю мысленно по вашей дороге, стараясь вообразить себе, какая у вас теперь физиономия, куда вы смотрите, что думаете и играете ли усами или просто сидите с сложенными руками, не смотря ни на что и не думая ни о чем?» (там же, с. 211–212). И чуть позже, 20 ноября 1846 года из Петербурга: «...В продолжение этих шести месяцев не прошел ни один день, в который я бы не молилась за вас» (там же, с. 226). Письма Гоголя становятся для Анны насущной необходимостью: «...Для меня все в них просто, понятно; мне кажется, читая их, что я вас слышу, как вы часто с нами говорили, и я вхожу в ваши чувства, вижу вашими глазами и мыслю вашими чувствами» (7 февраля 1847 г., Петербург — там же, с. 231).

Со своей стороны, ввиду такой душевной близости, Гоголь предрекает Анне Михайловне великое будущее: «Ваше поприще будет даже гораздо более, чем всех ваших сестриц <...> Вам недаром имя *благодать* (Анна на древнееврейском языке означает «благодать». — Ю. М.). Вы будете, точно, Божья благодать для всего вашего семейства и всех вас окружающих» (31 марта/12 апреля 1844 г. — XII, 285; курсив в оригинале). Предсказание, находящееся в русле излюбленной гоголевской мысли о благотворном воздействии женщины, женской красоты на нравственное и духовное состояние общества. Но Анну Михайловну гоголевское письмо привело в смущение: «Я прочла его раз шесть, и каждый раз с новым удивлением <...> Вы говорите, что меня ожидает жизнь полезная и возможность делать много добра <...> Но сколько мне предстоит времени и труда для достижения прекрасной цели, которую вы мне показываете!» (17/29 апреля 1844 г. — Переписка, т. 2, с. 207–208). Тем более что молодость требовала своего, веселия и развлечения, и Гоголь, похоже, пока против этого не возражал. «Я была вчера на балу, — сообщает она Гоголю 7 ноября 1845 года, — и очень веселилась. Вы мне часто говорили — я помню — что мне нужно непременно ехать на бал и развлекаться и танцевать *de bon sosur*. Это именно со мной нынче случается» (ВЕ. 1889. Ч. 6. С. 101).

Но очень скоро светские увеселения и общение разочаровали Анну Михайловну. «Множество лиц, и все-таки находишься как будто в уединении, — пишет она Гоголю 18–21 марта из Петербурга. — И о чем говорить с людьми глупыми или неприятными, или для меня совершенно равнодушными». Выходы в свет заставляют Анну вспомнить о другом: «В некоторых наших губерниях умирают с голода; здесь, в Петербурге и около города, свирепствует заразительная болезнь, *le typhus*, от которой множество людей каждый день умирает <...> Несмотря на это всю зиму танцевали, веселились, и я с прочими, только с разницею, что мне почти всегда было скучно...» Это уже близко гоголевскому противопоставлению бедствий страны и беспечно веселящегося высшего класса. И еще одно место из того же письма: «Я вам в пример скажу, любезный Николай Васильевич, что самые модные франты нынешней зимы, с которыми все шеголихи старались танцевать, такие пустые люди, что с ними нельзя иметь даже светского глупого разговора» (Переписка, т. 2, с. 218). Читая эти строки, Гоголь мог бы подумать, что этой девушке, которой шел уже 25-й год, нелегко будет выйти замуж...

Во второй половине сентября — начале октября 1848 года Гоголь, мы помним, встречался с Виельгорскими в Петербурге. Именно с этого времени Гоголь будет вести счет своих трудных отношений с Анной («...я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге»). Что же произошло?

В. Шенрок первоначально высказал предположение, что именно в это время Гоголь обнаружил намерение жениться на Анне, решительно отклоненное ее родственниками; но потом исследователь приурочил это событие к более позднему времени — 1850 году (Шенрок, т. 4, с. 741). Поправка Шенрока представляется нам обоснованной: после петербургских встреч Гоголя с Анной Михайловной продолжалась еще около двух лет оживленная переписка, и, казалось, ничего не изменилось. Разрыва не произошло, если Гоголь и почувствовал обиду, то самую малую.

Гоголь интересуется, как идут у Анны Михайловны «русские лекции», читаемые «моим адъюнкт-профессором», т.е. Владимиром Соллогубом; сам выражает желание читать такие лекции, предлагая начать со второго тома «Мертвых душ» — это все откроет «много сторон русской жизни», что «доселе не обнаружено ни одним писателем». «Не забудьте рядом с русской историей читать историю русской церкви». И все это для того, чтобы «сделаться действительно русскою, по душе, а не по имени».

А рядом с этим — еще такие советы: «...Ради Бога, не сидите на месте более полутора часа, не наклоняйтесь на стол: ваша грудь слаба, вы это должны знать <...> Не танцуйте вовсе, в особенности бешеных танцев: они приводят кровь в волнение, но правильного движенья, нуж-

ного телу не дают. Да вам же совсем не к лицу танцы: *ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы нехороши собой. Знаете ли вы это достоверно?*» Что это — просто бестактность или маленькая месть, да еще с многозначительным умолчанием? «Есть в свете гадости, — продолжает Гоголь, — которые, как репейники, пристают к нам <...> К вам кое-что уже пристало; *что именно, я покуда не скажу*». Что это — бестактность, месть?.. Возможно, и маленькая месть и бестактность, но еще и скрытая сентенция в свою пользу. К замечанию о том, что Анна некрасивая, Гоголь добавляет: «Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородное движение...» А ведь такие движения не результат ли ее встреч с Гоголем, уроков Гоголя, — и благоразумно ли со стороны девушки всем этим пренебрегать (XIV, 92–93)...

Во всяком случае, Гоголь предрекает Анне Михайловне, что в свете она свою партию не найдет: «Вы искали в нем душу, способную отвечать вашей, думали найти человека, с которым об руку хотели пройти жизнь, и нашли мелочь да пошлость. Бросьте же его совсем» (там же, 93). Зато души Гоголя и Анны способны «ответить» друг другу и пройти вместе жизненный путь — такая мысль вполне естественно могла зародиться в его сознании. Нет, никакого официального предложения Гоголь не делал, но этой животрепещущей темы, очевидно, не раз касался во время петербургского общения с Анной, причем его настроение не укрывалось и от внимания других членов семейства Виельгорских.

После петербургских встреч Анна не прочь встретиться с Гоголем снова. «Одно хотела бы я знать: приедете ли вы в Петербург весной и в какое именно время?» — пишет она 24 февраля 1849 года, добавляя, что ей и другим членам семейства очень хотелось бы посетить в нынешнее лето свою деревню, что недалеко от Коломны; в этом случае они могли бы «остановиться в Москве и хорошенько рассмотреть этот для нас совершенно незнакомый город. Я бы очень желала, чтобы мы сошлись вместе в Москве и чтоб вы были нашим Cicerone» (Переписка, т. 2, с. 245).

В ответном письме (от 20 марта) Гоголь предложение о поездке в Петербург отклонил до более подходящего времени, но зато горячо поддержал идею приезда Анны в Москву. «От всей души желаю, чтоб Москва оставила в душе вашей навсегда самое благодатное впечатление». Пребывание в Москве должно продолжить русское воспитание Анны; в том же письме Гоголь говорит о «высоком достоинстве русской породы», состоящей в том, что «она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово евангельское»; сообщает о только что опубликованном «Домострое», где в надлежащем свете выступает «уже не политическое устройство России, но частный, семейный быт...» (XIV, 112, 110).

В январе 1849 года в Москву приезжает Владимир Соллогуб, одновременно в старой столице гостит Л. К. Виельгорская, но Анна не приехала. Соллогуб подметил у Гоголя приступ тоски — не первый, конечно. «Он

был грустен, тупо глядел на все окружающее, его потускневший взор, слова утратили свою неумолимую меткость и тонкие губы как-то угрюмо сжались» (Соллогуб, с. 308). Сам Гоголь чуть позже (11 февраля 1850 г.) пишет Анне: «Сию больной, нервы страждут и все во мне страждет. И так бывает тяжело, что не знаешь, куда деться, как позабыть себя» (XIV, 162). Вероятно, в это время, весной 1850 года Гоголь и сделал предложение Анне.

Впрочем, тут мы должны принять оговорку В. Шенрока — это не было формальное предложение, но, как принято говорить, зондирование почвы. «Гоголь только обратился к графине (Луизе Карловне. — Ю. М.) через Алексея Владимировича Веневитинова, женатого на старшей дочери Виельгорских Аполлинарии Михайловне. Зная взгляды своих родственников, Веневитинов понял, что предложение не может иметь успеха, и напрямик сказал о том Гоголю (Шенрок, т. 4, с. 740). Этот эпизод сохранился в семейных преданиях Виельгорских, как и его объяснение: при всем почитании Гоголя как великого писателя люди титулованные, принадлежащие к высшему кругу, близкие ко двору, не видели в нем подходящей партии.

Конечно, эта версия не может считаться твердым, неопровержимым фактом, но ее вероятность весьма велика. Обычно возражают: Гоголь тяготел к иночеству, говорил о преимуществах монашеской жизни, сам мечтал стать монахом, не обнаруживал, особенно в последние годы жизни, никаких сексуальных интересов и т.д.

Однако желание стать монахом — это еще не решение. Гоголь так его и не осуществил, не в последнюю очередь именно потому, что не мог отодвинуть в сторону, говоря его словами, свое главное «поприще» — светского писателя и свое главное дело — завершение «Мертвых душ». Что же касается характера брака, то вовсе не всегда в основе его лежит сексуальность (например, говорили об отсутствии сексуальных отношений в браке А. П. Толстого и его жены Анны Егоровны, урожденной княжны Грузинской, — близких Гоголю людей). Не входя в подробности гадательного свойства, подчеркнем очевидное: Гоголь видел в Анне духовно близкого себе человека, свято почитающего его талант, исполненного глубокого религиозного чувства, впитавшего в себя высокое достоинство русской природы, причем достигшего всего этого не без его, Гоголя, влияния. И вполне вероятно, что у Гоголя родилась мысль видеть такую женщину спутницей своей жизни. Если бы это была только мысль, потаенная, невысказанная, то все это не причинило бы Гоголю таких страданий. Но Гоголь, очевидно, ее обнаружил, пусть косвенно, через родственников Анны Михайловны, и этот шаг не мог не дойти до сведения самой девушки, и результатом оказалось следующее гоголевское письмо к ней, исполненное редкого трагического чувства:

«Мне казалось необходимым написать вам хотя часть моей исповеди. Принимаясь писать ее, я молил Бога только о том, чтобы сказать в

ней одну сущую правду. Писал, поправлял, марал, вновь начинал писать и увидел, что нужно изорвать написанное. Нужна ли вам точно, моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого моего сердца, или же с иной точки, и тогда может все показаться в другом виде, и что писано было затем, чтобы объяснить дело, может только потемнить его. Совершенно откровенная исповедь должна принадлежать Богу. Скажу вам из этой исповеди одно только то: я много выстрадал с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл весь душой, и состоянье мое было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было тяжелее оттого, что мне некому было его объяснить, не у кого было спросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношенья к вашему семейству; все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, что случилось оттого, что мы еще не довольно друг друга узнали и на многое *очень важное* взглянули легко, по крайней мере гораздо легче, чем следовало. Вы бы меня лучше узнали, если бы случилось нам прожить подольше где-нибудь вместе не праздно, но за делом. Зачем, в самом деле, не поживете вы в подмосковной вашей деревне? Вы уже более двадцати лет не видали ваших крестьян. Будто это безделица: они нас кормят, называя нас же своими кормильцами, а нам некогда даже через двадцать лет взглянуть на них! Я бы к вам приехал также. Мы бы все вместе принялись дружно хозяйничать и заботиться о них, а не о себе. Право, это было бы хорошо и для здоровья и веселей, чем обыкновенная бессмысленная жизнь на дачах. А если бы при этом каждый помолился покрепче Богу о том, чтобы помог ему выполнить долг свой, — мы бы, верно, все стали чрез несколько времени в такие отношенья друг к другу, в каких следует нам быть. Тогда бы и мне и вам оказалось видно и ясно, *чем* я должен быть относительно вас. Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас: Бог не даром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении <вас>, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь же; вы видите, что отношенья наши хотя и возмутились на время каким-то налетным возмущеньем, но все же они не таковы, чтобы глядеть на меня как на чужого человека, от которого должны вы таить даже и то, что в минуты огорченья хотело бы выговорить оскорбленное сердце. Бог да хранит вас. Прощайте. Обнимите крепко всех ваших. Весь ваш до гроба Н. Гоголь» (XIV, 187–188; курсив в оригинале).

Такие письма пишутся в минуты кризиса, в состоянии тяжелой душевной муки. Сравнение с «верным псом», которому отведена лишь роль беречь «имущество господина своего», — это вовсе не «полушуточная

любезность» (как показалось одному исследователю). В этих словах звучит сердечная обида, боль. Возможно, отношения Анны и Гоголя дали повод для недовольства и каких-то предостережений Виельгорских старших; отсюда извинения Гоголя за то, что окружил девушку «мутными облаками недоразумений». В письме отчетливо звучат прощальные ноты (и действительно, на этом переписка Гоголя и Анны Михайловны оборвалась; лишь в новогоднем письме от 1 января 1852 г. к А. О. Смирновой Гоголь в обобщенной форме поручает поздравить «всех добрейших Виельгорск<их>» — там же, 267). Гоголь лишь просит Анну «не сердиться» и «не глядеть» на него «как на чужого человека», — единственное право, которое он за собой оставляет.

Недавно стало известно письмо сестры писателя Анны Васильевны к А. М. Черницкой, автору работ о Гоголе, — Анна Васильевна решительно отвергла самую возможность подобного «сватовства». «Меня очень огорчил Шенрок, хотя еще не читала его статьи, но из его писем узнала и писала ему, что это сватовство невероятно! Возвратясь из Иерусалима, он не в таком был настроении, говорил, что желает пожить с нами в деревне, хозяйничать, построить домик, где бы у каждого была бы своя комната <...> Мне кажется, он не думал о женитьбе, всегда говорил, что он не способен к семейной жизни! Я написала Шенроку об этом». Анна Васильевна не один раз выступала против такого мнения. Узнав, что Н. В. Берг предлагал Шенроку статью «Сватовство Гоголя», она писала той же Черницкой: «Я в негодовании, как ему могут это предлагать! Берется писать его биографию и совсем его не знает»<sup>1</sup>.

Но «не знать» могли и родные Гоголя, тем более что события происходили за тысячи верст от миргородчины и что до сватовства, скорее всего, не дошло. Вся драма протекала в тонкой сфере чувств, а тут Гоголь был скрытен, как никто («Ближайшему другу я не мог его поверить...»). Уж больший вес следует придать словам В. А. Соллогуба, женатого на сестре Анны Михайловны Софье и более осведомленного в семейных делах и тайнах. Анна Виельгорская, писал Соллогуб, «кажется, единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь» (Соллогуб, с. 293). И в другом месте, перечисляя недуги Гоголя: «Он страдал долго, страдал душевно, от своей неловкости, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости, от *безнадежной любви*...» (Соллогуб, с. 380). Так или иначе, но это могла подразумеваться именно любовь к Анне Виельгорской.

Развязка отношений с Анной причинила Гоголю сильнейшую душевную боль. Отныне у него уже нет надежды найти умную, понимающую, склонную к полускрытой нежности женщину, с которой можно было бы «об руку пройти жизнь». Оставались лишь тяжелый труд и неустроенная жизнь «бессемейного путника».

---

<sup>1</sup> Обе цитаты приведены В. Воропаевым в статье «Почему Гоголь не был женат» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://gogol.lit-info.ru/bio/pochemu-ne-byt-zhenat.Htm>

Что же касается Анны Михайловны, то уже после смерти Гоголя, когда ей было уже тридцать, она вышла замуж за князя Александра Ивановича Шаховского, представителя знатного рода, восходящего к известному Шемяке, т.е. князю Дмитрию Шемякину. В 1861 году у Шаховских родилась дочь — Мария Александровна. Жили Шаховские в старинной усадьбе Сенница, что на берегу речек Сенница и Осетр, в том имении, в котором призывал Гоголь провести лето Анну Михайловну и куда он собирался приехать сам.

## ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЮГ

**И**так, в июне 1850 года Гоголь вместе с Максимовичем на долгих уезжает из Москвы на юг. Ближайшая цель поездки — Украина, родные места, Васильевка. Но за ними видятся другие края. В разговоре с Бодянским, состоявшемся 12 мая, Гоголь упоминает Крым; в письме к С. М. Соллогуб от 29 мая — «острова Средиземного моря»; Средиземное море фигурирует и в письме А. С. Данилевскому от 5 июня; днем позже, в письме А. С. Стурдзе — Одесса, вновь Средиземное море и еще Греция. Подумывал Гоголь и о новом паломничестве в Святую землю, чтобы пополнить и сгладить впечатления от первого путешествия (Шенрок, т. 4, с. 694–695).

Во всяком случае целью поездки на этот раз не является Италия. На первый план выходят Греция и Афон.

О серьезности намерения Гоголя отправиться в Грецию говорят многочисленные свидетельства изучения им греческого языка. Так, Бодянский видел у Гоголя экземпляры греко-латинского словаря; Максимович — молитвенник на греческом языке, который тот читал каждое утро, и т.д.

Выехал Гоголь вместе с Максимовичем 13 июня. Перед этим позавтракали в доме Аксаковых варениками, которые Гоголь заказал заранее, и в пятом часу были уже в дороге.

Одно время предполагалось, что третьим спутником будет Константин Аксаков, и Гоголь призывал его, «задавши работу ногам, освежить голову, совершая путь пополам с *подседом* на телегу и с напуском *пехондачка*, совокупно с нами, оттопавши дорогу до Глухова...» (XIV, 186). Все это и совершали Гоголь с Максимовичем — и *подсед*, и напуск *пехондачка*, т.е. ходьбу пешком, а кроме того (как рассказывал Максимович гоголевскому биографу), «ложась спать, он [Гоголь] “отправлялся к Храповицкому”, а когда желал только отдохнуть, то говаривал своему попутчику: “Не пойти ли нам к Полежаеву?” Совсем как персонажи первого тома «Мертвых душ», которые «знались» с Завалишиным и Полежаевым, любили «заехать к Сопикову и Храповицкому»... А еще, по словам гоголевского спутника, «хаживал он также к “Обедову” и к другим господам по разным надобностям...» (Кулиш, 2003, с. 572).



Ехали медленно, не на почтовых, а в собственной бричке Максимовича; сзади еще тянулась телега с вещами обоих спутников. Гоголь предпочел «медленную и дешевую езду быстрой и дорогой» в целях экономии, — но не только поэтому. Как рассказывал со слов Гоголя А. К. Толстой (об их встрече см. ниже), «путешествие на долгих было для него уже как бы началом плана, который от предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, езда по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки Русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом» (там же, с. 570—571). Можно добавить: это было нужно в первую очередь для продолжения «Мертвых душ», освоения новых художественных впечатлений и опыта.

Первую ночь путники провели в Подольске, где ночевали также А. С. Хомяков с женой. Хомяков издавна был симпатичен Гоголю, и вечер они провели «в дружеской беседе» — определение, которое гоголевский биограф, очевидно, слышал от Максимовича...

«На 15-е июня, — продолжает тот же биограф, — ночевали в Малом Ярославце; утром служили в тамошнем монастыре молебен; напились у игумена чаю и получили у него по образу св. Николая». Этот игумен произвел на Гоголя сильное впечатление, и впоследствии он будет рекомендовать Александру Петровичу Толстому: «...Не позабудьте также заглянуть в Малом Ярославце <...> к тамошнему игумену, который родной брат оптинскому игумену (т.е. архимандриту Моисею. — Ю. М.) и славится также своей жизнью...» (XIV, 195).

Наконец, 16 июня прибыли к Смирновой в Калугу, где и заночевали, а на другой день обедали. Здесь-то Гоголь и встретился с А. К. Толстым, с которым познакомился еще летом 1844 года во Франкфурте.

Алексей Константинович нашел в Гоголе «большую перемену»: «Прежде Гоголь, в беседе с близкими знакомыми, выражал много добродушия и охотно вдавался во все капризы своего юмора и воображения; теперь он был очень скуп на слова, и все, что ни говорил, говорил, как человек, у которого неотступно пребывала в голове мысль, что “с словом надобно обращаться честно”, или который исполнен сам к себе глубокого почтения. В тоне его речи отзывалось что-то догматическое, так, как бы он говорил своим собеседникам: “Слушайте, не пророните ни одного слова”». Нет основания не верить этому впечатлению, но категоричность его смягчается подробностями, которые сообщает тот же Толстой.

Согласно мемуаристу, гоголевская речь «была исполнена души и эстетического чувства». Так, он «попотчивал графа двумя малороссийскими колыбельными песнями, которыми восхищался, как редкими самородными перлами». Затем настала очередь великорусской песни, которую Гоголь «продекламировал с свойственным ему искусством <...>, выражая голосом и мимикою патриархальную величавость русского характера...». Не было недостатка и в юмористических деталях; часть из них, мы знаем, была связана с наименованием разного рода действий путешественников, вроде «подседа» и «пехондачка». Еще предметом комических наблюдений Гоголя являлся старый конь, которого Максимович переправлял обратно на родину довольно оригинальным способом — конь шел сзади телеги, будучи предоставлен самому себе. «Да твой старик просто жуирует! говорил он [Гоголь], заметив, что сзади повозки приделан был для него рептух с овсом и сеном».

Вообще, согласно Максимовичу, Гоголь во время этой поездки казался не столько догматичен, сколько самодостаточен. «Он был простой путешественник, немножко рассеянный, немножко прихотливый, порой детски затейливый, порой как будто грустный, но постоянно спокойный, как бывает спокоен старик, переиспытывавший много на веку своем и убедившийся окончательно, что все в мире совершается по строгим законам необходимости и что причина каждого неприятного для нас явления может скрываться вне границ не только нашего влияния, но и нашего ведения» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 573).

Но, конечно, в глубине души Гоголя беспокоила проблема завершения второго тома поэмы, а значит? и проблема здоровья и — ближайшим образом — планы совершаемой поездки, т.е. конечная ее цель. Все это, видимо, обсуждалось со Смирновой. По отъезде Гоголя из Калуги Александра Осиповна сообщила Ивану Аксакову (письмо от 28 июня): «Он [Гоголь] проехал здесь с Максимовичем, здоровье его плохо. Если Бог поможет ему получить пачпорт за границу, он, вероятно, поселится в Афинах или на Афоне и кончит там второй том» (ЛН. Т. 58. С. 734).

Из Калуги 19 июня Гоголь и Максимович прибыли в имение Киреевских Долбино и в тот же день посетили Оптину пустынь. Путники (рассказывал Максимович) шли «до самой обители, версты две, пешком. На дороге встретили они девочку, с мисочкой земляники, и хотели купить у нее землянику; но девочка, видя, что они люди дорожные, не захотела взять от них денег и отдала им свои ягоды даром, отговариваясь тем, что “как можно брать с странних людей деньги?”»

— Пустынь эта распространяет благочестие в народе, — заметил Гоголь, умиленный этим, конечно редким явлением» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 573).

Об этом же, несколько позже (10 июля) Гоголь писал А. П. Толстому: «За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благо-

ухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участия к человеку больше». И в том же письме: «Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует» (XIV, 195, 194).

Сравнение с Афоном возникло неслучайно: осознанно или исподволь, Гоголь обдумывал мысль, можно ли и в России найти такой же оплот благочестия и духовной поддержки, чтобы не ехать за границу.

На другой день после Долбина, 20 июня, путники посетили Авдотью (Евдокию) Петровну Елагину (1789–1877) в ее имении Петрищево. Эта была последняя известная встреча писателя с глубоко симпатичной ему замечательной женщиной, племянницей Жуковского, матерью Ивана и Петра Киреевских<sup>1</sup>.

Через несколько дней, 24 июня, остановившись на ночлег в Севске, в уездном городе Орловской губернии, в ночь на Ивана Купалу, Гоголь испытал сильное художественное впечатление. На заре путешественники услышали неподалеку от постоялого двора «какой-то странный напев». «Поди послушай, что это такое, — просил Гоголь своего друга [т.е. Максимовича], — не купаловые ли песни? Я бы и сам пошел, но ты знаешь, что я *немножко из-под Глухова*» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 575).

(Таким метафорическим оборотом Гоголь обозначал некоторую свою глухоту — факт, подтверждаемый сестрой писателя: «Мой брат был немножко глуховат, но только на одно ухо, и при разговоре иногда склонялся ухом к говорящему...» — Белоусов, с. 31).

Максимович выяснил, что это три дочери оплакивали смерть матери — и оплакивали с замечательным проникающим, поэтическим чувством. «Все служило им темой для горестного речитатива: добродетельная жизнь покойницы, их неопытность в обхождении с людьми, их беззащитное сиротское состояние». Максимовичу это напомнило плач Ярославны из «Слова о полку Игореве»; когда же он рассказал обо всем увиденном и услышанном Гоголю, «тот был поражен поэтичностью этого явления и выразил намерение воспользоваться им, при случае, в “Мертвых душах”» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 576).

На другой день, 25 июня в Глухове (уже не метафорическом, а вполне реальном месте — уездном городе Черниговской губернии) спутники должны были расстаться: Максимович направлялся в Турановку к своему дяде И. Ф. Тимковскому; Гоголь — в Сорочинцы и Васильевку. При этом, поскольку путешествие совершалось в собственной бричке Максимовича, с отъездом последнего Гоголь, по его выражению, оказался «совершенно на безэкипажьи» (XIV, 192). Выручил А. М. Маркович, дядя Ульяны Данилевской, с которым Гоголь близко сошелся еще двумя годами ранее, во время пребывания в Киеве. Маркович прислал

---

<sup>1</sup> См. публикацию: *Манн Ю. В.* «Мертвые души» для А. П. Елагиной // Наше наследие. 2006. № 79–80. С. 188–189.

из своего имени Сварково бричку с лошадьми, на которой Гоголь в последних числах июня приехал в имение Данилевского Дубровное, но, не застав хозяев дома, продолжил путь до Березовой Луки. А потом, уже в экипаже, присланном Данилевским, отправился в Сорочинцы, где последний в это время находился, — произошло это 30 июня (см. комментарий в: XIV, 416). На следующий день, 1 июля Гоголь был уже в Васильевке, в родном доме, с матерью и сестрами.

Жил он во флигеле. Занимался хозяйством. Наблюдал за ремонтом дома. Обдумывал планы разведения дубового леса. Посещал окрестные места, например Обуховку или Сорочинцы, где проживал Данилевский.

А 9 августа, «с вязкою миргородских бубликов для Гоголя» в Сорочинцы приезжает Максимович. Друзья не виделись всего полтора месяца, тем не менее «новая встреча с Гоголем на месте его рождения весьма обрадовала меня, — рассказывает Максимович, — и мы весело провели этот день вместе, у А. С. Данилевского... Мы переехали через Псел и ехали в Васильевку ночью при свете полного месяца. Наслаждением для меня было промчаться вместе с Гоголем по степям, лелеевшим его с детства. И никогда я не видел его таким одушевленным, как в эту украинскую ночь».

Великое счастье испытывал Гоголь и тогда, когда исполнялись украинские песни. «Меня часто, — рассказывает Ольга Васильевна, — просил играть ему на фортепиано малороссийские песни. “А ну-ка, говори, сыграй мне *чоботы*”. Стану играть, а он слушает и ногой притоптывает. Ужасно любил он малороссийские песни. Видела я, как он раз нищих позвал, и они ему пели» (Белоусов, с. 31).

К украинским песням Гоголь нередко обращался, чтобы взбодриться, развеять тоску. Так, однажды он был приглашен на свадьбу дочери соседней помещицы Цюревской (Цуревской). Гоголь, по обыкновению, скучал и упросил сестру побыстрее вернуться домой, и там (рассказывает Ольга Васильевна) «заставил меня играть малороссийские песни, в особенности ему нравилось “Ой, на двори метелица”. При этом топал ногой и напевал; и прочие песни играла, тоже напевал» (Головня, с. 48).

Еще Гоголь боролся с тоской и унынием своим проверенным способом — научая других, как преодолевать эту беду. По-прежнему очень подходила для этой роли А. О. Смирнова. «...А насчет чортика, — писал он ей 10 июля из Васильевки, — и прочих лезущих в голову посторонних вещей скажу вам: просто плюньте на них! Скажите: мне некогда, у меня есть теперь много забот поважнее <...> А еще лучше скажите: у меня есть другие, высшие обязанности: мне нужно благодарить Бога за то, что сохранил меня до сих пор, что я еще живу на свете, что жизнь моя еще нужна для добрых дел. Некогда, некогда, сатана, убирайтесь себе в свою преисподнюю! Он, скотина, убежит, поджавши хвост» (XIV,

194). Все это следует читать и как защитную речь самого Гоголя: и у него есть «высшие обязанности» — его поэма, и он благодарит Бога за то, что тот сохранил его для этого дела, и он, стало быть, еще нужен людям...

В действительности же Гоголю писалось, видимо, с большим трудом. В этот год на Украине стояли «жары невыносимые. Нет сил ни работать, ни даже лечиться...». Но обдумывалось все энергично и успешно: «Я телом не очень здоров, но голова, слава Богу, вся сидит во 2 томе». Морально писатель готовился к решительному рывку: «Мне нужно непременно эту зиму хорошенько поработать в ненатопленном тепле, с благодатными прогулками на воздухе благорастворенного юга. И если только милосердный Бог приведет мои силы в состояние полного вдохновения, то второй том эту же зиму будет готов» (там же, 198, 201, 200), т.е. к весне 1851 года Гоголь вернется в Москву с завершённой книгой!

Оставалось только найти место, отвечающее всем условиям работы. Вначале в Васильевке Гоголя еще не оставляет мысль о путешествии за границу: он приедет «в Одессу, с тем, чтобы оттоле пуститься в климаты теплейшие» (1 августа, Е. П. Репниной). Но уже через несколько дней, получив от А. С. Стурдзы «весьма милое письмо с дружелюбным зазывом в Одессу», Гоголь предаётся мечтаниям: «Если бы Одесса сделалась хоть на этот год Коринфом или Байрутом, с какой бы я радостью остался в России!» (20 августа, А. О. Смирновой). И чуть позже, еще более определенно: «Душевно бы хотел прожить сколько можно доле в Одессе и даже не выезжать за границу вовсе. Скажу вам откровенно, что мне не хочется и на три месяца оставлять Россию» (11 сентября, А. С. Стурдза — там же, 199, 200, 203).

С изменением решения Гоголя относительно цели поездки связана и история его несостоявшегося обращения к наследнику. Писатель составил предварительный текст такого обращения с наименованием предполагаемых адресатов-посредников (графа Л. А. Перовского, князя П. А. Ширинского-Шихматова и гр. А. Ф. Орлова). Письмо было передано Смирновой в Калугу, с тем чтобы находившийся там же А. К. Толстой составил на его основе прошение к наследнику. Толстой выполнил эту работу, но письмо, содержавшее две главные просьбы — о беспошлинном паспорте и денежном пособии, — Гоголь так и не отправил.

Возможно, потому, что с отказом от планов заграничного путешествия отпала необходимость и то обоснование, которым мотивировалось продолжение поэмы, когда «выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, но пошлостями и странностями, но всей глубиной своей природы и богатым разнообразием внутренних сил, в нем заключенных»; «теперь <...> дело идет к тому, чтобы выставить наружу все здоровое и крепкое в нашей природе...» (там же, 278, 279). Собственно в общем виде это соответствовало движению от первого тома к после-

дующим, но только в общем виде. В письме для наследника упор делался на позитивном, здоровом начале русской жизни, — таковы были общественные ожидания, тем более у власть имущих. На самом же деле чуть ли не все герои второго тома, с которыми уже успели познакомиться слушатели, не представляли вполне это начало, разве что Улинька или Костанжогло, но и у последнего были свои недостатки (Муразов появится позднее, о нем знала чуть ли не одна Смирнова!). Поэтому сам Гоголь (в письме от конца 1849 г. к К. И. Маркову) гораздо осторожнее оценивал персонажей второго тома: «...Я не имел в виду собственно *героя добродетелей*. Напротив, почти все действующие лица могут назваться героями недостатков» (там же, 152; курсив в оригинале). И через каких-нибудь несколько месяцев (когда, напомним, второй том должен стать известен широкой публике) это сделалось бы очевидным для каждого.

По-видимому, Гоголя смущало еще одно обещание, данное в проекте письма для наследника, — книга о родине, «та существенная, говорящая ее география, начертанная сильным, живым слогом, которая поставила бы русского лицом к России...». Сочинение это действительно давно занимало Гоголя, еще со времени его преподавательской деятельности; совсем недавно он говорил об этом замысле А. К. Толстому в Калуге. Но заявление, что такая книга «зреет вместе с нынешним моим трудом [т.е. со вторым томом “Мертвых душ”] и, может быть, в одно время с ним будет готова» (XIV, 281) — отдавало явным преувеличением, и Гоголь не хотел через каких-нибудь несколько месяцев оказаться в неловком положении.

... Осенью Гоголь вместе с матерью и сестрами покинул Васильевку. «Наш родственник, — рассказывает Елизавета Васильевна, — кузен матери, старик больной, А. А. Трошинский, просил нас провести у него зиму в его имении Кагорлык (Киевской губернии). Так решили всем вместе в двух экипажах ехать прежде к нему, в сентябре, а потом брат в одном экипаже поедет в Одессу и весной опять заедет за нами» (Шенрок, т. 4, с. 705).

На пребывание в Кагорлыке, 1 октября, пали именины Марьи Ивановны, и Николай Васильевич «вместо подарка читал нам из второго тома “Мертвых душ”» (там же).

Потом уже, на пути в Одессу, в октябре Гоголь заехал к В. А. Лукашевичу в село Мехедовка Золотоношского уезда. Здесь его встретил А. В. Маркевич, знакомый будущего гоголевского биографа Кулиша; Маркевич зафиксировал некоторые, с его точки зрения, интересные подробности. Так, «по поводу разнощика, забросавшего комнату товарами, он сказал: “Так и мы накупили всякой всячины у Европы, а теперь не знаем, куда девать”».

Когда же Гоголю «читали переведенные на малороссийский язык псалмы Давида, он останавливался на лучших стихах, по языку и вер-

ности переложения. Он слушал с видимым наслаждением малороссийские песни, которые для него пели...».

Среди подмеченных деталей есть и совсем мелкие, но для Гоголя очень характерные.

Например: «Кто-то наступил на лапку болонке, и она сильно завизжала. “А, не хорошо быть малым!” — сказал Гоголь» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 579).

## ОДЕССА: ОКТЯБРЬ 1850 — МАРТ 1851 ГОДА

**Д**орога на Одессу оказалась тяжелой; добрался он до города (а «лучше сказать, доплыл») только 24 октября. «Ровно неделю я тащился, придерживая одной рукой разбухнувшие дверцы коляски, а другой расстегиваемый ветром плащ...» (XIV, 206). А когда приехал и осмотрелся — ужаснулся: ни следа той блаженной теплоты, о которой мечталось. Появился даже снег. «Здесь его выпало во множестве третьего дня, и с одного раза сделалась санная дорога: диво доселе, говорят, невиданное. Вообще климат Одессы я нахожу мало чем лучше московского» (С. П. Шевыреву, 7 ноября — там же, 210).

Но через каких-нибудь три-четыре недели природа взяла свое, и Гоголь воспрянул духом. «Я остался здесь, в Одессе, и этому рад. По великой милости Божией, зима здесь в этом году вовсе не похожа на суровые зимы предыдущие: она тепла и благоприятна моему здоровью» (там же, 219).

Гоголь поселился за Сабанеевым мостом на Надеждинской улице в доме А. А. Трошинского. Сам Андрей Андреевич, как мы знаем, проживал в это время в Кагорлыке, — «так что мне (сообщал Гоголь Шевыреву, 7 ноября) даже очень просторно и подчас весьма пустынно» (там же, 210). Но работе это не мешало, наоборот, — как и частое посещение дома Репниных, старинных знакомых Гоголя еще по Баден-Бадену, а потом по Риму, а потом по курортному городку Каstellамаре.

Гоголь почти ежедневно бывал у Василия Николаевича Репнина, который даже «отвел ему особенную комнату с высокой конторкой, чтобы ему можно было писать стоя». У Репниных Гоголь нашел маленький малороссийский уголок — своеобразное продолжение аксаковских вечеров («вареники и песни»). «У моего брата, — рассказывает княжна Варвара Николаевна, сестра Василия Николаевича, — жили молодые люди малороссыяне, занимавшиеся воспитанием его младших сыновей. Жена моего брата (Елизавета Петровна, урожденная Балабина. — Ю. М.) была хорошая музыкантша; Гоголь просил ее аккомпанировать хору всей этой молодежи на фортепиано, и они под руководством Гоголя пели украинские песни».

Навещал Гоголь и Репнину-старшую, княгиню Варвару Алексеевну, у которой была своя домовая церковь. «Гоголь приходил к обедне, становился в угол за печкой и молился, “как мужичок”, по выражению

одного молодого слуги, т.е. клал земные поклоны и стоял благоговейно» (РА. 1890. № 10. С. 229–230).

За пределами репнинского семейства Гоголя тоже встречали люди ему симпатичные. Среди них — профессор Ришельевского лицея Н. Н. Мурзакевич (с ним писатель познакомился еще в первый свой приезд в Одессу), профессор философии в том же лицее Иосиф Григорьевич Михневич (1809–1885)<sup>1</sup>, а также знакомые Гоголю еще по нежинской Гимназии высших наук сыновья ее директора И. С. Орлая — Александр и Андрей, — с ними писатель также виделся еще во время прежнего посещения Одессы. Укрепились связи и с А. С. Стурдзой («...добрейший Стурдза, с которым вижусь довольно часто...»). Продолжилось общение с Титовым и, что особенно важно, — с Львом Сергеевичем Пушкиным, при посредничестве которого Гоголь невольно соприкасался и с памятью великого поэта, и с традициями одесского литературного круга.

«В его семье, — рассказывает о Льве Пушкине одесский старожил А. Л. Деменитру, — гостеприимной, любезной и общительной, собиралось лучшее одесское общество. Сам хозяин дома, живой, умный, образованный и добродушный, был в очень близких отношениях со многими писателями и выдающимися людьми. В Одессе у него часто бывал молодой Полонский...» (Лернер, с. 324). По словам другого одесского жителя, Лев Пушкин пользовался «большим влиянием на общественное мнение Одессы как в деле искусства, так и в вопросах справедливости...» (Воспоминания, с. 422). Свидетельство это тем более интересно, что оно исходит от актера и драматурга Толченова, т.е. из театральной среды, в которую Гоголю в Одессе предстояло глубоко погрузиться.

Иные из новых знакомых Гоголя оказались полезны для пополнения его сведений, для более широкого знакомства с провинциальной жизнью, к которому стремился автор «Мертвых душ». Еще в 1843 году он обратил внимание на статью о «Мертвых душах», имевшую несколько необычное название: «Голос из провинции о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или “Мертвые души”» (Отечественные записки, 1843, т. 27, отд. 5, с. 23–48; подпись: Н. М.). «Лучшие критики, — заметил Гоголь в письме Н. М. Языкову, — большую часть из провинции. Одна из Екатеринослава замечательнее других...» (XII, 192).

И вот в Одессе Гоголь встретился с подателем этого «голоса», Н. Мизко — их познакомил 9 января 1851 года один из сыновей бывшего директора нежинской Гимназии Орлая. А потом Мизко посетил Гоголя на

---

<sup>1</sup> Н. Мурзакевич пишет, что во время пребывания Гоголя в Одессе «осенью и зимой» 1850–1851 г. (у Мурзакевича ошибочно указан 1849 г.) они с Гоголем обедали «ежедневно вместе и большую часть проводили вечера вместе» (Мурзакевич, с. 224). Очевидно, это происходило в доме Репнина: после окончания занятий Гоголь, по словам Стурдзы, обычно покидал отведенную ему «особую комнату», «выходил в гостиную и там отдыхал в дружественном собеседовании» (М., 1852. № 20. Отд. 1. С. 227).



его квартире в доме Трошинского, проведя около двух часов в оживленной беседе.

Николай Дмитриевич Мизко (1818–1881), уроженец Екатеринославской губернии, был тесно связан с этим краем, что и определило характер беседы. «Гоголь расспрашивал о Екатеринославе, о каменном угле в нашей губернии, о Святогорском монастыре на меловых горах (Харьковской губернии, на границе Екатеринославской), в котором я был».

Затем возникла тема биографического жанра — дело в том, что отец Николая Мизко Дмитрий Тимофеевич был основателем и многолетним директором Екатеринославской гимназии, и его жизни и деятельности сын посвятил специальную книгу «Памятную записку...» (Одесса, 1849), которую он подарил Гоголю. Николай Васильевич был очень доволен, заметив: «Я описываю жизнь людскую, поэтому меня всегда интересует живой человек более, чем созданный чьим-нибудь воображением, и оттого мне любопытнее всяких романов и повестей биографии или записки действительно жившего человека» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 583). Отталкиваясь от реального материала, Гоголь рассчитывал придать новый импульс работе над вторым томом поэмы; отсюда его настойчивое стремление вести «переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать» (фраза из «Авторской исповеди» — VIII, 446). Знакомство с Мизко оказалось для него счастливым случаем<sup>1</sup>.

Заинтересовала Гоголя и другая книга Мизко — «Столетие русской словесности» (Одесса, 1849).

Таким образом, Гоголь мог убедиться, что он уже вошел в учебные курсы отечественной литературы. И в другой изданной в Одессе в том же, 1849 году книге — «Истории русской литературы для учащихся», можно было прочитать специальный параграф об авторе «Мертвых душ», завершаемый выводом: «Вообще Гоголь принадлежит к числу самобытных, вполне национальных писателей наших» (с. 220).

Автор этой книги Константин Петрович Зеленецкий (1814, по др. сведениям: 1812–1858) тоже был тесно связан с провинцией, а именно с Одессой; здесь он родился, здесь окончил философское отделение Ришельевского лицея, где с 1832 года занимал должность профессора русской словесности. Кстати, есть все основания полагать, что Гоголь в Одессе встречался с Зеленецким: Плетнев в письме Гоголю в Одессу от 23 марта 1851 года просит его передать привет Зеленецкому (Переписка, т. 1, с. 297).

Встречался Гоголь и с лицами из чиновничьего круга, например Александром Ивановичем Казначеевым (1783–1880), бывшим одно вре-

---

<sup>1</sup> Аналогичное суждение Гоголя Мизко передал и в одном из своих более поздних сочинений. «При свидании с Гоголем, автор статьи слышал от него следующие слова: “Меня интересовали мнения провинциальные; истинно русская жизнь сосредоточена преимущественно в провинции”» (Н. Мизко). Тургенев, его тридцатилетняя литературная деятельность и его типы. Воронеж, 1872. С. 132).

мя одесским градоначальником. Казначеев дружил с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, которому Гоголь сообщил 7 ноября 1850 года: «Видал я Казначеева, который мне показался весьма добрым человеком» (XIV, 211). Гоголю этот человек мог быть интересен и тем, что от него вела еще одна ниточка к Пушкину: будучи в свое время правителем канцелярии новороссийского губернатора М. С. Воронцова, он (по выражению одного современника) оказывал ссыльному поэту «покровительство». Пушкин тоже относился к Казначееву уважительно.

Особую роль для Гоголя имело общение с Михаилом Карповичем Павловским (1810–1898), профессором богословия в Ришельевском лицее. По словам А. О. Смирновой, «протоиерей Павловский, почтенный и добрейший священник», «на Гоголя имел большое влияние» (Смирнова, 1989, с. 67). Эти слова косвенным образом подтверждаются письмом Павловского, отправленным буквально через неделю после приезда Гоголя в Одессу: протоиерей сообщает Николаю Васильевичу, что выслал ему «святую икону» — «пусть святитель и чудотворец Николай, вам тезоименный, да пребудет своей помощью и покровом с вами...» (Шенрок, т. 4, с. 825). Возможно, это было сделано в ответ на просьбу самого писателя.

«Словом, — подытоживает Гоголь, — со стороны приятного препровождения грех пожаловаться. Дай Бог только, чтобы не подгадило здоровье» (XIV, 210).

Но, к счастью, и «со стороны» здоровья все более или менее стало налаживаться. «Здоровье его поправилось, — сообщает Л. С. Пушкин П. А. Вяземскому 5 декабря 1850 года, — и я никогда не видел его таким веселым болтуном, каким он теперь сделался» (ЛН. Т. 58. С. 734). А значит, и творческие силы появились, и «Мертвые души» пошли успешнее: «О себе покуда скажу, что Бог хранит, дает силу работать и трудиться. Утро постоянно проходит в занятиях, не тороплюсь и осматриваюсь» (А. О. Смирновой, 23 декабря — XIV, 216). «Работа идет с прежним постоянством и хоть еще не кончена, но уже близка к окончанию» (В. А. Жуковскому, 16 декабря — там же, 215).

«Близка к окончанию!» Гоголь такими фразами не бросался, он скорее был склонен преуменьшать сделанное и преувеличивать предстоящие трудности. Значит, действительно дело решительно двинулось, и можно было подумать и о скорых чтениях новых глав — С. Т. Аксакову в Москве; Жуковскому, Плетневу и Смирновой в Петербурге или в Ревеле или Риге (Гоголь мечтает пожить с ними вместе некоторое время)<sup>1</sup>. А затем — можно «приступить к печатанью!» (там же, 214).

---

<sup>1</sup> Прямых сведений о чтениях Гоголем в Одессе глав второго тома не имеется, однако такие чтения скорее всего были. В. Н. Репнина отмечала, что «в Каstellамаре он /Гоголь/ читал нам первые две главы второго тома “Мертвых душ” и тогда или позже немного говорил, что первый том — грязный двор, ведущий к изящному строению» (РА. 1890. Кн. 3. № 10. С. 229). Но в Каstellамаре (лето 1838 г.) Гоголь еще работал над первым томом; упомянутое чтение могло иметь место именно в Одессе.

Усилия Гоголя должен был подхлестнуть дух соревновательности — с С. Т. Аксаковым, работавшим над своими «Записками ружейного охотника Оренбургской губернии», и особенно, конечно, с Александром Ивановым. Поздравляя его с наступающим 1851 годом, Гоголь высказывает пожелание, чтобы «картина ваша [«Явление Христа...»] в продолжение его наконец окончилась, и окончание ее, венчающее дело, было бы достославно». И прибавляет: «Хорошо бы было, если бы и ваша картина и моя поэма явились вместе» (там же, 216–217). Гоголь ощущает особенный, как сейчас сказали бы, судьбоносный смысл самого факта одновременности появления таких произведений, как второй том «Мертвых душ» и картина Брюллова. Поскольку лето считалось неблагоприятным временем для продажи книги, то можно сделать определенный вывод: Гоголь рассчитывал издать второй том поэмы зимой, самое позднее — ранней весной 1852 года.

С приездом в Одессу Гоголь окунулся в атмосферу пестроты, разнообразия, социального и национального разноцветья. Согласно старому справочнику, «к 1-му января 1849 года в Одессе было жителей 86 729 душ; купцов 3597, мещан 48 773, иногородних 8600, иностранцев до 8000 душ; домов было 3877. Городских доходов было 1 408 864 руб. Таким образом, в течение пятнадцати лет Одесса выросла до степени лучшего торгового города Европы» (Одесса, с. 38). О духе европеизма в Одессе неоднократно говорил А. С. Пушкин, проживший здесь более года; 21 января 1821 года он писал С. И. Тургеневу, что хотел бы подышать в этом городе «чистым европейским воздухом»; в письме же брату Льву от 25 августа 1823 года отмечал ощутимый здесь «европейский образ жизни» (Пушкин, т. 10, с. 30, 64).

Приметой европейского образа жизни Одессы для Пушкина служили еще «ресторация и итальянская опера». И то и другое (только с заменой итальянского театра русским) в определенной мере определяли и пребывание в Одессе Гоголя.

«Ресторация» — это в первую очередь знаменитый ресторан Цезаря Людвиговича Отона (ум. 1860) на Дерибасовской. По воспоминаниям актера и драматурга Александра Павловича Толченова (ум. 1888), Гоголь приходил сюда обедать два-три раза в неделю. Он появлялся «часов в пять, иногда позднее, приходил серьезным, рассеянным, особенно в дни относительно холодные, но встречали его обыкновенно так радушно, задушевно, что минут через пять хандра Гоголя пропадала, и он делался общителен и разговорчив». Среди сотрапезников Гоголя мемуарист называет уже упоминавшегося выше профессора Мурзакевича, а также людей из театральной среды: члена театральной дирекции Александра Ивановича Соколова, режиссера А. Ф. Богданова (ум. 1877), а «из посторонних театру лиц» — Николая Петровича Ильина.

Иногда появлялся сам Отон, «массивный мужчина, в белой поварской куртке, с симпатичным лицом». Начиналось бурное обсуждение меню, потом само пиршество. «По окончании Гоголем обеда вся компания группировалась около него <...>. Тут-то, собственно, и начиналась беседа, веселая, одушевленная, беспритязательная. Анекдот следовал за анекдотом, рассказ за рассказом, острое слово за острым словом. Веселость Гоголя была заразительна, но всегда покойна, тиха, ровна и немногоречива» (Воспоминания, с. 423).

Приметой публичности одесской жизни являлись газетные объявления о событиях, связанных с видными персонами, к которым относился, конечно, и Гоголь. Еще в первый его приезд в «Одесском вестнике» (от 19 мая 1848 г., № 40) было сообщено, что 1 мая некоторые школьные товарищи и друзья «в сообществе почитателей знаменитого русского таланта» дали обед в честь Гоголя. 28 октября 1850 года та же газета (№ 86) оповестила о новом приезде писателя в Одессу и о намерении его провести здесь зиму.

Показателем необычайной открытости Гоголя и редкой для него склонности к общению является готовность выступать перед другими с чтением художественных текстов. О чтениях из произведения, над которым он в тогда работал, т.е. из второго тома поэмы, известно в это время немного. Зато никогда так часто не читал Гоголь публично чужие произведения, как во время пребывания в Одессе в 1850–1851 годах.

Так, 6 января 1851 года Гоголь у Репниных в присутствии Екатерины Александровны Хитрово («Неизвестной») читает «Агнесу» («Школу женщин» Мольера) (РА. 1902. № 3. С. 547)<sup>1</sup>.

20 января того же года — «Одиссею» в переводе Жуковского (там же, с. 548–550).

В том же месяце — перед актерами одесского театра «Школу женщин» (а также позднее — в ресторане Отона свою «Лакейскую», — Воспоминания, с. 420).

3 февраля у Репниных Гоголь читает пушкинского «Бориса Годунова» (РА. 1902. № 3. С. 553).

Манера гоголевских чтений воплощала его эстетику неаффектированного комизма, ненавязчивой и в то же время неотразимой характерности. По словам Толченова, слушавшего Гоголя, «все достоинство его чтения заключалось в удивительной верности тону и характеру того лица, речи которого он передавал, в поразительном умении подхватывать и выражать жизненные, характерные черты роли, в искусстве оттенять одно лицо от другого, т.е. в том, что в сценическом искусстве называет-

---

<sup>1</sup> То, что «Неизвестная» (как ее называет Вересаев) — «девица Екатерина Александровна», проживавшая у «младшей княгини» (Репниной), сообщил еще П. Бартнев (см. вступительную заметку В. Шенрока к публикации ее дневника (РА. 1902. № 3. С. 543).

ся созданием характера, типа» (Воспоминания, с. 420—421). Сам Гоголь употребил однажды замечательно выразительное слово для обозначения этого свойства. Когда в его присутствии зашла речь о «Саге о Фрильофе» шведского поэта Эсайса Тегнера (выполненный Я. Гротом ее русский перевод вышел в 1841 г.), Гоголь, не читавший этого произведения, поинтересовался: «Но лица в ней каковы? Есть ли *барельефность*?» И еще: «Да что же, мысли ли автора или сами лица?» (РА. 1902. № 3. С. 488). Барельефность означает, что фигурируют «сами лица», причем выпукло, наглядно, а не авторские сентенции или суждения по их поводу.

Но помимо эстетического элемента, факт публичности гоголевских чтений скрывал в себе и общественный, поведенческий аспект. В специальной статье, вошедшей в «Выбранные места...» (она так и называлась — «Чтения русских поэтов перед публикою») Гоголь обращал внимание на важность этого акта: «...Публичное чтение у нас необходимо. Мы как-то охотней готовы действовать сообща, даже и читать...» (VIII, 233). Гоголевские публичные чтения — знак коммуникации, человеческих связей, в которые писатель в этот краткий одесский период своей жизни вступал охотнее, чем в иные времена.

Неожиданность гоголевского поведения отметил тот же Толченнов: «Все слышанное мною про него в Москве и Петербурге так противоречило виденному мною в этот вечер, что на первое время удивление взяло верх над всеми другими впечатлениями. Я столько слышал рассказов про нелюдимость, недоступность, замкнутость Гоголя, про его эксцентрические выходы <...> как приглашенный в один аристократический московский дом, Гоголь, заметя, что все присутствовавшие собрались собственно затем, чтоб посмотреть и послушать его, улегся с ногами на диван и проспал или притворился спящим почти весь вечер <...> Неужели, думал я, это один и тот же человек, — засыпающий в аристократической гостиной, и сыплющий рассказами и заметками, полными юмора и веселости, и сам от души смеющийся каждому рассказу смехотворного свойства...» (Воспоминания, с. 418—419).

Да, это был «один и тот же человек», только с разными гранями своего характера, и другая, противоположная грань никуда не делась, она лишь реже обнаруживалась. И факты уклонения Гоголя от новых знакомств или визитов в аристократические дома тоже случались в Одессе. Так согласно дневниковой записи Е. А. Хитрово (от 26 ноября 1850 г.), «княгиня Долгорукова к нему писала, что рада всегда видеть его; звала к себе на вечер, говоря, что у нее будет прекрасный пол, а он так чувствует красоту, и что ей хотелось бы представить славу России и своим и иностранцам. Ответ был <...>, что “по слабости здоровья” и т.д.» (РА. 1902. № 3. С. 544—545). Чем не вариант гоголевского поступка в московском аристократическом доме? Правда, вариант смягченный, поскольку Гоголю не пришлось притворяться спящим.

Прежним, обычным, что ли традиционным, показался Гоголь и А. Л. Деменитру, в ту пору студенту Ришельевского лицея. Деменитру видел писателя у Льва Пушкина. Гоголь «был вял, угрюм, сосредоточен; говорил очень мало <...> Одна дама обратилась к нему с каким-то вопросом, но уткнувшийся в свою тарелку Гоголь ничего не ответил, как будто и не расслышал вопроса». Не оживил внимания Гоголя и разговор о Лермонтове, а ведь с поэтом он встречался лично и творчество его высоко ценил (см.: Труды и дни, с. 570 и далее). «Лев Сергеевич достал и показал гостям перчатку Лермонтова, снятую с его руки после дуэли с Мартыновым. Все с любопытством поглядели на эту реликвию, но Гоголь не обратил на нее ни малейшего внимания и, казалось, не слушал и рассказа хозяина дома о Лермонтове, которого Лев Сергеевич близко знал» (Лернер, с. 325).

Лишь одна деталь анекдотического свойства вызвала в тот день бурную реакцию Гоголя. «Кто-то произнес фамилию негоцианта-грека Родоканаки. При этом слове Гоголь на мгновение встрепенулся и спросил студента Деменитру, сидевшего рядом с ним:

— Это что такое? Фамилия такая?

— Да, — подтвердил Деменитру, — это фамилия.

— Ну, это Бог знает что, а не фамилия. Этак только обругать человека можно: ах ты, ррродоканак ты этакая!

Все засмеялись, а Гоголь опять погрузился в свои мысли» (там же).

И в отношении к молодежи Гоголь был непоследователен и порою капризен. Толченова, например, писатель «с любопытством допрашивал о житье-бытье одесских лицеистов (в то время место нынешнего Новороссийского университета занимал Ришельевский лицей), между которыми у меня [т.е. Толченова] было много знакомых». «Вообще, — заключает мемуарист, — к молодежи Гоголь относился с горячей симпатией, которая сказалась мне и в расспросах меня о моей собственной жизни, о моих наклонностях и стремлениях...» (Воспоминания, с. 422).

Но вот свидетельство одного из этих лицеистов, уже упоминавшегося выше Деменитру: «Зачитывавшиеся произведениями Гоголя студенты Ришельевского лицея с благоговением, смешанным с удивлением и любопытством, оглядывали на улице странно одетого, с сумрачным и скорбным, бледным лицом Гоголя. Те что были посмелее, даже следовали за ним, — правда в довольно значительном отдалении. Это раздражало Гоголя, и завидя студентов, шедших ему навстречу, он иной раз бегством в первые попавшиеся ворота спасался от тяготившего его внимания молодежи» (Лернер, с. 325).

Со стороны своей общительности и дружелюбности гоголевский характер более всего проявлялся, как мы уже говорили, в театральной среде. В это время в Одессе было две труппы, итальянская и русская, при-

чем русская по своей популярности, как свидетельствует современник, уступала итальянской, «несмотря на превосходную игру и дарование гг. Воробьева и Толченова, особенно первого, несмотря на увлекательную прелесть гг. Медведевой и Левкеевой, на игру Боченковой и Шуберт»<sup>1</sup>. Но можно смело сказать, что в сознании Гоголя первенствовала именно русская труппа. Со всеми или почти со всеми ее актерами писатель познакомился лично, например с уже упоминавшимся Александром Павловичем Толченовым (ум. 1888), А. Ф. Богдановым (ум. 1877), между прочим родственником Щепкина (он был женат на его сестре), с Александрой Ивановной Шуберт (1827–1909), а также ее сестрой Прасковьей Ивановной Орловой (урожденной Куликовой, р. 1810) и другими. Значительность русской труппы подчеркивали и имена тех, кто гастролировал на ее сцене — С. В. Шумский, М. С. Щепкин, В. В. Самойлов и т.д.

Зафиксировано несколько посещений Гоголем одесского русского театра. Так, он присутствовал на бенефисе Толченова, находясь в ложе директора театра А. И. Соколова, и «по словам лиц, бывших вместе с ним, вы сидел весь спектакль с удовольствием и был очень весел» (Воспоминания, с. 419).

Присутствовал он и на репетиции «Школы женщин», выбранной для бенефиса Шуберт. «Гоголь внимательно выслушал всю пьесу и по окончании репетиции каждому из актеров по очереди, отводя их для этого в сторону, высказал несколько замечаний, требуя исключительно естественности, жизненной правды; но вообще одобрил всех играющих...» (там же). Дополнительные штрихи к этому эпизоду можно извлечь из описания собственной манеры чтения Гоголем мольеровской комедии в доме Репниных: «Гоголь так вошел в роль отвергнутого старика, так превосходно выразил горько-безнадежные страсти, что все смешное в старике исчезло: отзывалась одна несчастная страсть, так что последний ответ Агнесы кажется неуместным. Немного великодушия, с чем и Гоголь согласился» (РА. 1902. Т. 1. С. 547).

«Последний ответ» — это решительный отказ молодой девушки ответить на притязания ее пожилого воспитателя Арнольфа. Это утверждение права любви (Агнеса влюблена в молодого Ораса), но в то же время и обнаружение глубоких переживаний отвергнутого («Ты слышишь ли мой вздох? Как полон он огня!// Ты видишь тусклый взор? Я обливаюсь кровью», — говорит Арнольф, на что Агнеса отвечает: «Не трогайте меня вся ваша речь нимало...»). Тут, по мнению автора дневника — и Гоголь с этим согласился, — требовалось больше «великодушия».

Но что касается гоголевской передачи этого места, то речь шла уже не только о жизненной правде, об актерском искусстве, но и о чем-то

---

<sup>1</sup> Эварест Младенцев [К. Зеленецкий]. Три недели в Одессе, летом 1851. М., 1852. Март. № 5. Отд. 7. С. 39.

глубоко личном. «Гоголь был вне себя. Лицо его сделалось, как у испуганной орлицы. Он долго был под влиянием страстных дум, может быть, разбуженных воспоминаний» (там же). Какую тайну почувствовала меуаристка, по характеристике гоголевского биографа (В. Вересаева), «пожилая девица», «восторженная почитательница Гоголя», в этом эпизоде? Может быть, его давнее затаенное переживание, обиду или не оправдавшееся ожидание?.. Может быть, это был невольный отклик на недавно пережитую драму с Анной Виельгорской? Вспомним еще раз исполненные болью его прощальные слова Анне Михайловне: «Чем-нибудь да должен я быть относительно вас: Бог не даром сталкивает так чудно людей» и т.д. Гоголь был скрытен, о многом приходилось догадываться по случайным намекам или такого рода «проговоркам»...

Еще один малоизвестный факт театральных занятий Гоголя в Одессе — участие в подготовке «Ревизора», о чем мы узнаем из воспоминаний актера П. П. Надимова: « При нем ставили Ревизора <...> Н. В. Гоголь был на репетициях и во время антрактов прохаживался по сцене с артистами, делал свои замечания и советы... Во время спектакля он сидел в ложе губернатора, приходил на сцену и вообще остался очень довольным исполнением артистов» (Гоголь, ак., т. 4, с. 736).

Тем временем подходило к концу время пребывания в Одессе. Гоголь не поехал в Грецию, на Афон, но, видимо, окончательно не отказался от этого плана, отложив его на будущее. Об этом говорит то, что он продолжал изучать греческий — «прилежно занимается греческою библией» (БЗ. 1859. № 9. С. 267), как сообщал А. С. Стурдза Н. В. Неводчикову в конце 1850 года. Примечательно в этой связи и общение Гоголя с Сергием Святогорцем.

Иеросхимонах Сергей, в миру Семен Авдиевич Веснин (1814—1853), учился в Вятской семинарии, а в 1843 году принял схиму на Афоне с именем Сергия. Сергей буквально сжился с Афоном, иначе — Святой горой; отсюда и его наименование Святогорец. Своей излюбленной теме он посвятил «Письма к друзьям своим о св. Горе Афонской» (СПб., 1850), позднее — «Путеводитель по Афону» (СПб., 1854), «Афонский патерик» (СПб., 1860). О первом из этих сочинений Гоголь упоминал в письме А. П. Толстому от 20 августа 1850 года: «2-го тома Святогорцев я также не имею и надеюсь отыскать в Одессе» (XIV, 201).

В Одессе Гоголь познакомился и с самим автором, причем о теплой задушевности их отношений свидетельствует тон письма Святогорца, отправленного — по отъезде из Одессы — из Константинополя, 3 марта 1851 года. «Возлюбленный Николай Васильевич!» — обращается он к писателю, отвечая далее на поставленные им вопросы: что «церквей православных в Константинополе 46», что сведения эти сообщил ему о Софония и т.д. И завершает в том же тоне: «Прощайте, возлюбленный» и т.д. (Шенрок, т. 4, с. 827).



На смерть же Гоголя Святогорец откликнулся в таких словах: «Покройник много потерпел и похворал, — надобно и пора ему на отдых в райских обителях. Жаль только, что он не побывал у нас. Я очень любил его; в Одессе мы с ним видались несколько раз, и наше расставание было условное — *видеться здесь*. Судьбы Божии непостижимы!»<sup>1</sup> Значит, Гоголь дал Святогорцу обещание посетить Афон, но этому уже не суждено было осуществиться.

... В конце марта Гоголь прощался с Одессой. «За несколько дней до отъезда Гоголя из Одессы, на второй или третьей недели Великого поста, — рассказывает Толченев, — постоянные собеседники у Отона давали ему там прощальный обед» (Воспоминания, с. 427). Автор же «Одесского вестника» (1869. № 67) уточняет: обед проходил в ресторане Маттео (что, по-видимому, соответствует действительности) и называет в числе присутствующих Льва Сергеевича Пушкина, Н. Г. Тройницкого и Н. П. Ильина.

«День выдался солнечный, — продолжает Толченев, — и Гоголь пришел веселый». Но потом он вдруг заметил отсутствие Ильина, которому нездоровилось (еще одно расхождение с информацией «Одесского вестника»), погрустнел, его настроение сообщилось «остальному обществу, и потому обед прошел довольно грустно». Потом все отправились навестить Ильина, которого нашли «уже выздоравливающим». Гоголь «тут же хотел распрощаться со всеми нами; но мы единодушно выразили желание проводить его до дому. Вышли вместе. Гоголь был молчалив, задумчив и на половине дороги к дому, на Дерибасовской улице, снова стал прощаться... Никто не решился настаивать на дальнейших проводах. Гоголь на прощанье подтвердил данное прежде обещание: на следующую зиму приехать в Одессу. “Здесь я могу дышать. Осенью поеду в Полтаву, а к зиме и сюда <...>” Простился с каждым тепло, но и он, и каждый из нас, целуясь прощальным поцелуем, были как-то особенно грустны <...> Не суждено нам было более его видеть» (Воспоминания, с. 427).

Так же как не суждено было вновь увидеть Гоголя и его восторженной почитательнице Екатерине Хитрово. Впрочем, ей по крайней мере посчастливилось проститься с Гоголем вторично. Вот как об этом рассказала в своем дневнике Екатерина Александровна:

«27 марта. — Уехал. Вчера обедал и совсем простился. Благодарил князя и княгиню (Репниных. — Ю. М.), обратился ко мне и сказал: “Благодарю вас, Екатерина Александровна!” Уезжая, поцеловал руку у меня. С балкона кланялись с ним. Потом, встретясь с кем-то рука с рукой, повернул за угол и скрылся. Настал вечер. Приехали гости. Пошли чай пить. Вдруг входит Гоголь. Я так и вскочила и с радостью к нему подо-

---

<sup>1</sup> Биография Святогорца, письма его к друзьям своим о Святой Горе Афонской. М., 1883. Т. 3. С. 68–69.

шла. Нашла случай ему сказать, что я Бога благодарю (и что не успела ему этого сказать), что его так часто видала и слушала его назидательные речи» (РА. 1902. Т. 1. С. 558).

## ВЕСЕННИЕ ПЕРЕЕЗДЫ

**26** марта херсонский гражданский губернатор выдал Гоголю две подорожные: от Одессы до Богуслава и от Одессы до Москвы (XIV, 24). Конечной целью поездки была Москва, но на пути Гоголь намеревался остановиться в нескольких местах.

Прежде всего — в Кагорлыке, имении А. А. Трошинского, у которого гостила Марья Ивановна со старшими дочерьми. Гоголь обещал заехать сюда еще осенью 1850 года, направляясь в Одессу. В Кагорлыке он пробыл примерно две недели, и это время запомнилось матери и сестрам тем, что Гоголь прочел им первую главу второго тома «Мертвых душ» (Барсуков, т. 11, с. 541).

В апреле, 20-го числа, все семейство вернулось в Васильевку (ИВ. 1886. №12. С. 492), а в начале мая сюда приехал А. С. Данилевский с женой, находившейся на последнем месяце беременности. И тут Гоголь (не в первый раз!) проявил высокую степень дружелюбия: уговорил Данилевских остаться, поселил их в своем флигеле, а когда Ульяна Григорьевна родила — это случилось в ночь на 12 мая, — вызвался быть крестным отцом мальчика, названным в честь него Николаем. До этого, мы помним, Гоголь уже стал крестным отцом сына А. С. Хомякова.

В Васильевке Гоголь прожил месяц. 22 мая вместе с матерью и сестрой Ольгой он направился в Полтаву, где остановился у Скалонов — Софьи Васильевны (дочери В. В. Капниста) и ее мужа Василия Антоновича.

Настроение его, как обычно, переменчивое, скорее даже грустное. Работа над второй частью поэмы за последние месяцы значительно продвинулась, но насколько все получилось, как хотелось, Гоголь не знал. Тревожило и состояние здоровья (в начале года, будучи еще в Одессе, он опять испытал какие-то «недуги»), возраст («Два года, как уже пошел мне пятый десяток, а стал ли я умней, Бог весть один» — Плетневу, 6 мая; XIV, 229), беспокоили хозяйственные неурядицы в имении; к этому прибавилось еще известие о предстоящем замужестве сестры Елизаветы, за которую посватался Владимир Иванович Быков, военный, саперный офицер (Гоголь узнал об этом в Полтаве). Никаких дурных качеств в будущем своем зяте Гоголь не приметил, но все равно страшно: «...Как вспомню при этом, сколько у Лизы всяких мелких капризов, которые и хорошего человека обратят к ней своей дурной стороной, сердце скорбит пуше». «Итак, в будущем покуда потьма и неизвестность!» (А. В. Гоголь, после 22 мая — там же, 231). Гоголя пугают плохие предвестия, дурные приметы, хотя он сам в иные времена укорял тех,

кто придает им слишком большое значение. «Будущее неверно. Вот и теперь смущает меня одно печальное событие, случившееся, говорят, во Владимире 21 мая. Во время хода церковного проломился мост, так что перешли одни священники, несшие иконы, а весь народ обрушился в реку. Дай Бог, чтобы капитана миновала эта опасность» (М. И. Гоголь, 5 июня — там же, 235). «Капитан» — это В. Быков, жених сестры Елизаветы...

Настроение и образ жизни Гоголя в последний его приезд в Васильевку описали П. А. Кулиш и Г. П. Данилевский, побывавшие здесь вскоре после смерти писателя.

Кулиш: «Мне указали место, в углу дивана, где обыкновенно он сидел, гостя на родине. В последнее пребывание его дома, веселость уже оставила его; видно было, что он не был удовлетворен жизнью, хоть и стремился с нею примириться. Телесные недуги, происходившие, вероятно, не от одних физических причин, ослабили его энергию; а земная будущность, сократившаяся для него уже в небольшое число лет, не обещала исполнения его медленно осуществлявшихся планов. Он впал в очевидное уныние и выражал свои мысли только коротким восклицанием: “И все вздор, и все пустяки!”» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 542).

Данилевский: «В <...> гостиной и в кабинете — поочередно — работал и отдыхал Гоголь. Постоянно тревожное его настроение, по словам его матери, в последний его заезд сюда заставляло его нередко менять свои рабочие комнаты. Так точно он, по его словам, не мог несколько ночей сряду спать в одной и той же комнате <...> Кабинет во флигеле был расположен в другом конце здания <...> Здесь более всего оставался Гоголь. В последнее свое пребывание в Васильевке он отсюда иногда не выходил по целым дням, являясь в дом только к обеду и к вечернему чаю» (Воспоминания, с. 454).

Оба мемуариста сходны и в описании той домашней деятельности, которой предавался Гоголь, стремясь преодолеть тревогу, да и не только свою тревогу, но и общую гнетущую атмосферу в семье.

Кулиш: «...Каковы бы ни были его душевные страдания, он не переставал заботиться о том, чтобы занять милых его сердцу домашних полезною деятельностью и сохранить их от уныния. Одной из трогательнейших забот его о матери было возобновление тканья ковров, которым она в молодости распоряжалась с особенным удовольствием <...> Для этого-то с неутомимым терпением рисовал он узоры для ковров и показывал, что придает величайшую важность этой отрасли хозяйства. С сестрами он беспрестанно толковал <...> о садоводстве, об устройстве лучшего порядка в хозяйстве, о средствах к искоренению пороков в крестьянах или о лечении их телесных недугов...» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 542–543).

Данилевский: «Кроме писания, во флигеле, Гоголь усердно занимался в последнее время улучшением фабрикации домашних ковров, — сам рисовал для них узоры, — и это занятие, с разведением деревьев в

саду, составляло его главное удовольствие в немногие часы его отдыха» (Воспоминания, с. 455).

Однако у Ольги Васильевны как непосредственной свидетельнице всего происходившего сложилось более мрачное впечатление: «Прежде, бывало, приезжая в деревню, братец непременно затевал что-нибудь новое в хозяйстве: то примется за посадку фруктовых деревьев, то, напротив, вместо фруктовых начинает садить дуб, ясень, берест <...> А теперь все это отошло в прошлое: братец все это забросил, и, когда маменька жаловалась ему на бездоходность своего имения, он только как-то болезненно морщился и переводил разговор на религиозные темы» (Головня, с. 74).

... После Полтавы Николай Васильевич вместе с матерью и сестрой Ольгой пробыли еще неделю в селе Власовка Константиноградского уезда Полтавской губернии. Здесь жила двоюродная сестра Гоголя Мария Николаевна Синельникова, дочь его тетки Екатерины Ивановны Ходаревской (там же, с. 54–55).

А потом пришел день прощания, 29 мая. Со слов А. С. Данилевского гоголевский биограф рассказывает: «В 1851 году, когда Гоголь в последний раз виделся с матерью, она, как всегда, просила его не торопиться с отъездом и говорила ему: “Останься еще! Бог знает, когда увидимся!” И Гоголь несколько раз оставался и снова собирался в дорогу, и, наконец, отслужив молебен с коленопреклонением, причем он весьма горячо и усердно молился, расстался с ней навсегда...» (Шенрок, т. 2, с. 153).

И не только с матерью — Гоголь больше не увидит своих сестер: Анну, Лизу, Ольгу; не посетит родные места.



### Часть третья

## — В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ: ИЮНЬ—СЕНТЯБРЬ 1851 ГОДА

Ни дорога, ни заезд в Оптину пустынь (он побывал здесь 2 июня) не успокоили Гоголя. 5 июня он приехал в Москву (Барсуков, т. 11, с. 518) и в тот же день отправил матери письмо, исполненное тревоги и дурных предчувствий. По-прежнему его беспокоит предстоящее замужество сестры. «Лучше заранее приуговлять себя ко всему печальному и рисовать себе в будущем все трудности, недостатки, лишенья и нужды...» (XIV, 235). Гоголь так и поступает — не жалея красок, рисует бедность, которая грозит семье и в которой пребывает сам. «...Если я умру, то не на что будет, может быть, похоронить меня, вот какого рода мои обстоятельства». Конечно, на настроении Гоголя сказались и трудности с изданием нового собрания сочинений: «Я думал было, приехавши в Москву, поправить житейские дела свои, но встретил препятствия на каждом шагу. Денежные обстоятельства мои плохи. Видно, Богу угодно, чтобы мы оставались в бедности». А коли так, значит, бедность спасительна и благотворна, и Гоголь разражается гимном бедности: «Милая сестра моя, люби бедность. Тайна великая скрыта в этом слове. Кто полюбит бедность, тот уже не беден, тот богат. Истину говорю тебе, и чем дале живу, тем более ее чувствую» (там же, 239).

Тем временем Гоголь горит нетерпением продолжить чтение второго тома, а значит — продолжить его испытание. 23 июня он зашел к Аксаковым, но не застал ни Сергея Тимофеевича с Ольгой Семеновной, ни сыновей, которые еще не вернулись из Абрамцева. «Кажется, он имел намерение прочесть им что-нибудь свое» (ЛН. Т. 58. С. 735), — сообщила Вера Сергеевна М. Г. Карташевской. На другой день визит Гоголя оказался столь же неудачен. Повезло ему лишь 25 июня,

но начал Гоголь не с поэмы, а с очередной порции малороссийских песен, что послужило своеобразной увертюрой для поэтического настроения и хорошего расположения. Несмотря на присутствие множества гостей, Гоголь (рассказывает Вера Сергеевна) «продолжал все заниматься песнями, и так как эти ноты требовали некоторых поправок, то Гоголь и напевал, а мы повторяли на фортепиано бесчисленное количество раз одну и ту же песню, так что надоели другим, а песни прекрасные и словами и музыкой».

А потом (после чтения С. Т. Аксаковым своих «Записок ружейного охотника...») Гоголь прочел четвертую главу второго тома — прочел только «отесеньке» и «братьям» (Константину и, очевидно, Ивану). Тут уж не были допущены ни Саша, племянник Сергея Тимофеевича, ни взглянувший к Аксаковым Д. А. Оболенский, ни другие гости. Им оставалось лишь внимать впечатлениям слушателей чтения, которые были «в восхищении»: «Несмотря на неоконченность главы, говорят, Гоголь захватывает такие разнообразные стороны жизни в среде, уже более высокой, так глубоко зачерпывает с самого дна, что даже слишком полны по впечатлению выходят его главы...» (там же, с. 736).

Гоголь убедился, что второй том по-прежнему выдерживает испытание.

В тот же день (25 июня) Гоголь отправился на подмосковную дачу А. О. Смирновой в село Спасское Бронницкого уезда, в двадцати пяти верстах от Коломны. Сюда же приехал и Л. И. Арнольди (по словам последнего, они вместе с Гоголем и совершили этот путь — из Москвы в Спасское), который как очевидец оставил подробное описание событий.

«Подмосковная деревня, в которой мы поселились на целый месяц, очень понравилась Гоголю. Все время, которое он там прожил, он был необыкновенно бодр, здоров и доволен. Дом прекрасной архитектуры, построенный по планам Гр. Растрелли, расположен на горе; два флигеля того же вкуса соединяются с домом галереями, с цветами и деревьями <...> Направо от дома стриженный французский сад с беседками, фруктовыми деревьями, грунтовыми сараями и оранжереями; налево английский парк с ручьями, гротами, мостиками, развалинами и густою прохладною тенью. Перед домом <...> внизу — Москва-река с белою купальнею и большим красивым паромом» (Воспоминания, с. 493–494).

Гоголь поселился рядом с Арнольди во флигеле (согласно уточнениям самой Смирновой, Гоголю «отведено было во флигеле две небольшие комнаты, обращенные окнами в сад. В одной он спал, в другой работал стоя» — Кулиш, 2003, т. 2, с. 587<sup>1</sup>). Вставал он обычно «рано, гулял

---

<sup>1</sup> Соответствующая запись Кулиша сделана, по-видимому, со слов Смирновой. Кстати, эта запись во многом идентична записи А. Н. Пыпина, датированной более поздним временем — около 1873 г. (см.: Смирнова, 1989, с. 40).

один в парке и в поле, потом завтракал и запирался часа на три у себя в комнате». Конечно, он продолжал работать над вторым томом поэмы, причем продвинул ее довольно далеко. Смирнова, заходившая в комнату Гоголя, «видала перед ним мелко исписанную тетрадь в лист, на которую он всякой раз набрасывал платок; но однажды ей удалось прочитать, что дело идет о генерал-губернаторе и Никите» (там же) — персонажах, фигурировавших в последних главах тома.

После окончания работы, говорит Арнольди, «перед обедом мы ходили с ним купаться. Он умирительно плясал в воде и делал в ней разные гимнастические упражнения, находя это очень здоровым». По словам мемуариста, «все время, которое он [Гоголь] там прожил, он был необыкновенно бодр, здоров и доволен» (Воспоминания, с. 494, 493). Настроение Гоголя заметно изменилось после одного эпизода.

Смирнова страдала все это время «расстройством нервов», и Гоголь, чтобы «повеселить ее», «предложил прочитать ей первую главу второго тома» «Мертвых душ». Он думал, что Тентетников, понравившийся ей при первом чтении, живо займет ее. Но болезненное состояние не позволило ей увлечься новым чтением. Она почувствовала скуку и призналась в этом автору «Мертвых душ». «“Да, вы правы, — сказал он: — Это все-таки дребедень, а вашей душе не того нужно”. Но после этого он казался очень печальным» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 588)<sup>1</sup>.

Оказался «печальным», потому что воспринял реакцию Смирновой по-своему. Значит, написанное не обладает той силой воздействия, той художественной убедительностью, которые Гоголь ждал от своего произведения. Значит, испытания для второго тома обнаружили неожиданный сбой...

Но временами на Гоголя находили минуты необычайного возбуждения. Так однажды Смирнова нашла его «в необыкновенном состоянии». «Он держал в руке Чети-Миней и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собою что-то восхитительное. Когда А<лександра> О<сиповна> заговорила с ним, он как будто изумился, что слышит ее голос, и с каким-то смущением отвечал ей, что читает житие такого-то святого» (там же). Согласно записи, сделанной Пыпиным, это было житие «чуть ли не Косьмы и Дамиана» (Смирнова, 1989, с. 41), чудесных целителей, бессребреников, — день памяти их приходился на 1 июля.

Около 12 июля (XIV, 236) Гоголь возвратился в Москву и отдался хлопотам по подготовке второго издания сочинений. Плетнева он про-

---

<sup>1</sup> По словам Арнольди, Гоголь «предложил прочесть окончание второго тома “Мертвых душ”» (Воспоминания, с. 494). Но в данном случае большего доверия заслуживают слова Смирновой, к которой и было обращено предложение Гоголя. Последний знал, что Тентетников очень понравился Смирновой, и рассчитывал таким образом развеселить ее.

сит обратиться за помощью к великой княгине Марье Николаевне: мол, она обещала содействовать прохождению второго тома поэмы — «Нельзя ли этим воспользоваться и при 2 издании сочинений?» (там же, 240). Плетнев в ответном письме (от 23 июля) советует обратиться к Владимиру Ивановичу Назимому (1802—1774), попечителю Московского учебного округа. С Назимовым Гоголь был несколько знаком; к тому же у него была хорошая репутация. Назимов, — уверяет Плетнев Гоголя, — «непрерывно сам вызовется быть твоим цензором: это он сделал с Островским и готов сделать со всеми, у кого заметит талант». Что касается великой княгини Марьи Николаевны, то она «теперь за границей. Но Смирнова ... и без ее высочества придумает средства, как помочь тебе, ежели это будет нужно» (РВ. 1890. Ноябрь. С. 67).

Но верный себе, Гоголь решает действовать сразу же по нескольким направлениям; так, он обращается за помощью и к Василию Николаевичу Лешкову (1810—1881), профессору-юристу Московского университета и одновременно цензору «Москвитянина», уверяя его в благонамеренности всего им написанного: «В сочинениях моих насмешки <не> над правит<ельством>, но над людьми <...>, употребляющими <...> во зло доверие правительств<ва>...» (XIV, 244).

Во второй половине июля Гоголь вновь едет на подмосковную дачу, на этот раз к Шевыреву. Дача находилась верстах в двадцати от Москвы, по рязанской дороге. Н. В. Берг, прибывший сюда несколькими часами раньше, видел приезд нового гостя: «...Подкатила к крыльцу наемная карета на паре серых лошадей, и оттуда вышел Гоголь, в своем испанском плаще и серой шляпе, несколько запыленной».

Как и в Спасском у Смирновой, Гоголю отвели флигель, куда он тотчас же перебрался со своим портфелем. «Людам, — рассказывает Берг, — как водится, было запрещено ходить к нему без зову и вообще не вертеться без толку около флигеля. Анахорет продолжал писать второй том “Мертвых душ”, вытягивая из себя фразу за фразой. Шевырев ходил к нему, и они вместе читали и перечитывали написанное. Это делалось с такою таинственностью, что можно было подумать, что во флигеле, под сению старых сосен, сходятся заговорщики и варят всякие зелья революции» (Воспоминания, с. 507).

Вот ради этой «таинственности» и еще полного встречного понимания Гоголь, видимо, и решил провести остаток лета у Шевырева. Отказ Смирновой послушать главу о Тентетникове заметно расстроил Гоголя. По части сохранения тайны Александра Осиповна тоже была не совсем надежна (вспомним слова Ивана Аксакова: Смирновой «до смерти хочется разболтать свой секрет...»). Шевырев же не стал посвящать в курс дела даже проживавшего вместе с ним на даче Берга, ограничившись замечанием, что все «написанное несравненно выше первого тома».



И так вел себя Шевырев и в дальнейшем. Когда Гоголь уже по возвращении в Москву, 25–26 июля решительно просил его «не сказывать никому о прочитанном, ни даже называть мелких сцен и лиц героев» (XIV, 241), то Шевырев заверил: «Успокойся, даже и жене я ни одного имени не назвал, не упомянул ни об одном событии <...> Твоя тайна для меня дорога, поверь. С нетерпением жду седьмой и восьмой главы» (Отчет за 1893, с. 68). И действительно, седьмую главу Гоголь вскоре прочел Шевыреву, о чем тот рассказал только после смерти писателя — в частности его двоюродной сестре М. Н. Синельниковой и Н. П. Трушковскому (см. подробнее: Манн, 1987, с. 256).

Атмосферу, царившую на даче во время пребывания Гоголя, передает и письмо Берга, отправленное уже по возвращении в Москву Г. П. Данилевскому: «...Я только что от Шевырева, где стрелял дупелей и бекасов, и где жил еще Гоголь и остался там, когда я уезжал. Он жил бирюком, в уединенном флигеле, совершенно особо от всех, в лесу — и являлся к нам только в обед и вечером. Но и тут деликатность запрещала нам заговаривать с ним... Сам же он говорил необыкновенно мало» (Данилевский М. Г., с. 19–20).

По возвращении в Москву Гоголь ищет рассеянья, встречается со старыми друзьями. 15 августа вместе с Погодиным он посещает Преображенское кладбище старообрядцев, где присутствует на обеде с пенем (Барсуков, т. 11, с. 521). 1 сентября в доме Талызина его навещает Иван Аксаков: «Гоголь обрадовался чрезвычайно, но в деревню ехать не хочет», — сообщал Иван Сергеевич отцу в Абрамцево. Взамен этого он предлагал Аксаковым переселиться на зиму в Москву. «По всему видно, что в Москве дом наш ему существенно нужен. Он хочет, чтоб переехала вся семья, с Вашими записками, с константиновскими речами и сочинениями, с малороссийскими песнями и варениками (это уже я говорю)...» (ЛН. Т. 58. С. 738). Гоголь полагал, что все это будет способствовать его творческому подъему.

Все же на один день, 7 сентября, в субботу, Гоголь заглянул в Абрамцево. Он «очень расстроился здоровьем, собирается в Крым на зиму и будет у сестры на свадьбе» (В. С. Аксакова — М. Г. Карташевской, 9 сентября, — там же). На перемену планов Гоголя повлияло полученное известие о болезни матери.

Перед отъездом 20 сентября Гоголь поздравил с днем рождения Сергея Тимофеевича: «Здравствуйте, бодрствуйте, готовьте своих птиц, а я приготовлю вам душ, пожелайте только, чтобы они были живые, так же как живы ваши птицы» (XIV, 250). Речь шла о своеобразном соревновании: Аксаков напишет свои «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», а Гоголь — свою поэму, которую он собирался решительно продвинуть во время пребывания на родине и в Крыму.

22 сентября Гоголь выехал из Москвы. 25 сентября добрался до Калуги и посетил Оптину пустынь, от встречи с которой ожидал так много для своего душевного состояния. Но тут неожиданно Гоголь прерывает поездку и отправляется в обратный путь.

## ГОГОЛЬ В СЕНАХ И У СЕН ОПТИНОЙ

**30** сентября, «к совершенному <...> изумлению» всего аксаковского семейства, в Абрамцеве появился Гоголь. Сергей Тимофеевич, полагавший, что тот давно уже в Полтаве, неожиданно встретил его в Москве и немедленно отвез в свою вотчину. «Он так похудел, так изменился, что страшно видеть, — сообщила Вера Сергеевна М. Г. Карташевой. — Что за болезненный дух и при таких расстроенных нервах! Безделица его смущает и приводит его в страшную ипохондрию» (ЛН. Т. 58. С. 738). Но должна была случиться вовсе не «безделица», чтобы Гоголь пришел в такое состояние.

Тут следует подробнее остановиться на связях писателя с Оптиной пустыней, которых очень бегло мы уже касались.

Козельская Введенская Оптина пустынь (так назывался старинный монастырь, возникший в Калужской губернии в 4 верстах от города Козельска на реке Жиздре) играла особую роль в духовной жизни страны благодаря существовавшему здесь с 1825 года институту старчества. «И те же оптинские старцы, что словом и советом помогали народу, сумели связать свою обитель с духовной нуждой величайших русских людей, с творчеством Гоголя, Киреевского, Леонтьева, Достоевского, Соловьева» (Степун, с. 404). Таким образом Гоголь и Иван Киреевский — первые крупные деятели русской культуры, обратившиеся к Оптиной пустыни, являли собой, так сказать, первоначальный этап такого обращения. И стимулы, получаемые ими от этого процесса, были во многом сходными.

Для обеих Оптина пустынь являлась воплощением и хранительницей святоотеческого любомудрия, к которому они приникли, пройдя школу западноевропейского романтизма и философского идеализма. Правда, собственно о школе можно говорить лишь применительно к Киреевскому, так как опыт Гоголя был более стихийен, эмоционально свободен и менее систематизирован, но логика движения была примерно та же. Оба, далее, были связаны с Оптиной пустыней через одних и тех же лиц, прежде всего через иеросхимонаха Макария.

Но сходство простирается и дальше — на взыскуемый обоими писателями идеал интеллектуальной и духовной деятельности современного человека. Эта деятельность не должна сводиться к простому усвоению знаний, не затрагивающему сердцевины человеческой личности. Такое знание не только аморально, но и неполно, однобоко, фальшиво.

Лучше понимает тот, кто душевно совершеннее; путь к истине ведет через добротолюбие и правильное поведение. Киреевский стремится обосновать зависимость глубины познания от чистоты нравственности, а также вывести отсюда тезис о необходимости самовоспитания субъекта познания, стремящегося «организовать свое “я”, превратить хаос своих чувствований в стройное единство» (Гершензон, с. 301). Аналогично рассуждал и Гоголь: «Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении... Мысль о строении себя, так и других делается общею» (VIII, 455). Для обоих «внутреннее строение» самого себя — дело практическое и вместе с тем высокое; житейское и вместе с тем жизненное, так как от его успеха зависит осуществление творческих замыслов (для Гоголя — прежде всего окончание «Мертвых душ», написание второго и третьего томов).

В рамках своей программы внутреннего воспитания и самовоспитания разворачивают Киреевский и Гоголь острую критику интеллектуализма — «ума». «...В то время, когда уже начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума...», — пишет Гоголь в «Выбранных местах...». И тут же набрасывает портрет современного человека: «Во всем он усомнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усомнится, но не усомнится в своем уме» (там же, 414). Киреевский также осуждает современного человека (преимущественно западного) за приверженность интеллектуализму: «Раздробив цельность духа на части и отдельному логическому мышлению предоставив высшее сознание истины, человек в глубине своего самосознания оторвался от всякой связи с действительностью и сам явился на земле существом отвлеченным, как зритель в театре...» (Киреевский, с. 337).

Ум осуждается, с одной стороны, в поведенческом, вседневно-практическом аспекте; ум, говоря словами поэта Л. Случевского, — «это парник, в котором зло выводится, как огурцы». Но с другой стороны, ум, вопреки его притязаниям, — это и источник неполного, искаженного знания; он обличается в аспекте гносеологии, причем с явной опорой на святоотеческую традицию любомудрия: мол, русский инок, по слову Киреевского, «предавался вполне изучению высших духовных истин, соединяя умозрение с молитвою, мысль с верою, дело самоусовершенствования с делом самопознания и стараясь таким образом *не одним отвлеченным понятием, но всею полнотою своего бытия* утонуть в постижении высшей премудрости...» (там же, с. 243).

Вообще гносеологический аспект критики интеллектуализма заметнее у Киреевского ввиду более определенной философской направленности его занятий. Преодоление интеллектуализма в некоем *надинтеллектуальном, гиперлогическом* знании он рассматривает как важнейшую задачу современного знания; для этой цели у Киреевского — продуман-

ная программа, определенные ориентиры, признанные авторитеты: помимо святых Отцов, которые, конечно, на первом месте (особенно Исаак Сирин, чьи «Слова духовно-подвижнические» Киреевский оценивал как «глубокомысленнейшее из всех философских писаний» — там же, с. 162), помимо них, еще и западная традиция — Ф. Фенелон и Б. Паскаль, стремившиеся «к развитию внутренней жизни» и в глубине ее искавшие «живой связи между верою и разумом» (там же, с. 322), Ф. Стеффенс, первый в Новейшее время указавший на философское значение «убеждений Пор-Рояля», наконец, Шеллинг как творец философии откровения. У Гоголя такой продуманной системы философских авторитетов и традиций не было (да и соответствующих знаний тоже), но и для него соединение веры с разумом — неперенное условие правильного познания, в том числе и художественного.

«Не в том дело, чтобы *подчинить* разум вере и стеснить его, это не дало бы простор духовному зрению, а в том, чтобы изнутри поднять мышление до высшей его формы, где вера и разум не противостоят одна другому. В восхождении к цельности духа исчезает опасность отрыва от реальности, опасность идеализма, — правильно развивающееся познание вводит нас в реальность и связывает с ней» (Зеньковский, 1991, с. 21–22; курсив в оригинале).

Поиски Киреевским и Гоголем правильного знания — это поиски знания, устрояющего мир, руководствующегося мыслью о единстве истины, блага и красоты, т.е. гносеологии, этики и эстетики. Здесь исток — один из истоков — теорий русских религиозных философов второй половины XIX — начала XX века, в частности В. Соловьева и П. Флоренского. При этом с течением времени (если особенно иметь в виду Соловьева) был выправлен свойственный славянофилам антизападнический крен критики рационализма. Рационализм осмысливается как звено, во-первых, исторически необходимое и плодотворное, а во-вторых, подлежащее преодолению в русле того же самого духовного процесса, в котором участвуют и Россия и западные страны. «...Если должно, вопреки славянофильскому воззрению, признать западное развитие, т.е. данное историческое раздвоение разумного сознания и религиозной веры, законным произведением логической и исторической необходимости, то отсюда, очевидно, следует, чтобы такое развитие было вечным абсолютным законом... Если разум, в известный момент своего развития, становится необходимо в отрицательное отношение к содержанию религиозной веры, то в дальнейшем ходе этого развития он с такою же необходимостью приходит к признанию тех начал, которые составляют сущность истинной религии» (Соловьев В., с. 18).

Парадоксальный факт: более чем терпимое отношение к рационализму обнаруживает и Гоголь. Впрочем, это связано с более общим вопросом — отношением к другим христианским конфессиям.

Мы уже знаем о выраженном Гоголем еще в 1837 году убеждении в близости православия и католичества: «...Как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же <...> Та и другая истинна. Та и другая признают одного и того же Спасителя...» (см.: Труды и дни, с. 507 и далее). Десятилетием позже, в «Выбранных местах...», Гоголь выразил это соотношение с помощью евангельской притчи о Марии и Марфе. Обе религии родственны как сестры, само разделение их временное («временное разделение церквей»), у каждой — свои достоинства: Марфа, т.е. западное христианство, ближе к повседневным, будничным заботам людей; Мария, т.е. православие, «отложивши все попечения о земном», поместилась «у ног самого Господа, затем, чтобы лучше послушаться его слов, прежде чем применять и передавать их людям...». Отсюда видно, что прежнее равновесие конфессий («совершенно одно и то же...»), в понимании Гоголя, поколеблено, достоинства православной религии более фундаментальные — «в ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей...» (VIII, 284).

Примерно так же рассуждал Киреевский: Восток «был обречен только на сохранение божественной истины в ее чистоте и святости, не имея возможности воплотить ее во внешней образованности народов» (Киреевский, с. 332).

Несоответствие же «внешней» образованности самому духу и принципам христианской истины Киреевский и Гоголь подвергают беспощадной критике, не давая никаких поправок своему, отечественному. Спрос обоих литераторов с русских порою даже суровее и строже. По Киреевскому, русский народ «утратил уважение к правде слова», «почитает ложь грехом общепринятым, неизбежным, почти не стыдным...» (Киреевский, 1984, с. 279). Гоголь в «Выбранных местах...» судит не менее строго: «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. “Хуже мы всех прочих” — вот что мы должны всегда говорить о себе» (VIII, 417). Но фундаментальные основы православной религиозности вселяют надежды на будущее. «...Отсутствие правды, благодаря Бога, проникло еще не самую глубину души русского человека», на состоянии «его духа еще лежит печать прежней цельности бытия» (Киреевский, 1984, с. 279). Так же думает и Гоголь: «есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа: еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам...» (VIII, 417).

Отсюда парадоксальный мыслительный ход и Киреевского и Гоголя: мы «ничуть» не лучше других, и все-таки мы немножечко лучше. Или по-другому: мы хуже всех других и все-таки мы всех лучше... Программного мессионизма, пожалуй, избегают и Гоголь и Киреевский, но его предпосылки уже заключены в их кардинальной мысли: хотя построе-

ние «общества во Христе» — совместное дело всего человечества, но от кого же ожидать Западу благотворного импульса, как не от Востока, т.е. России, еще сохранившей зерно истинной религии (и следовательно, образованности)?

Во всех упомянутых моментах отчетливо прослеживается влияние и на Киреевского и на Гоголя святоотеческой традиции, посредником и стимулятором которой и выступала Оптиная пустынь. Но сложность в том, чтобы не только увидеть это влияние, но и распознать, как последнее изменялось, преобразовывалось. «...Возобновить философию св. Отцов в том виде, как она была в их время, невозможно», — убежден Киреевский. Нужно сообразовать «живительные истины» святоотеческой традиции с «современной образованностью», с «настоящим требованием просвещения» (Киреевский, с. 345). Наследование традиции не было прямым и порою приобретало драматический характер. Это были, как сейчас говорят, диалогические отношения.

Чрезвычайно рельефно это видно на развиваемой Киреевским категории цельного знания. Как показал Э. Мюллер, у Киреевского это не самоограничение, не отчуждение от мира, а мобилизация всех душевных и интеллектуальных способностей в некоей высшей познавательной способности. Именно в этом направлении переосмыслил Киреевский мысль Исаака Сирина об очищении сердца: «Очищение сердца как предпосылка мистического видения определенно означает у Исаака Сирина не собирание различных способностей, с помощью которых оно [сердце] соотносится с предметом, но, напротив, разрыв, исключение каких-либо предметных связей. Целостность Киреевского и очищение Исаака Сирина противостоят как полнота и пустота» (Мюллер, с. 397, 432, 452).

Смелый шаг в сторону современной формы христианства производит и Гоголь, — шаг, дополняющий его прежние усилия сблизить православие и католичество. Теперь эти усилия развивались за счет католичества, но в пользу протестантизма.

Когда Шевырев упрекнул Гоголя в том, что тот находится под влиянием «религиозных экзальтаций» принявшей католичество княгини З. А. Волконской, то Николай Васильевич в письме от 11 февраля н. ст. 1847 года ответил: «...Что же касается до *католичества*, то скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее *протестантским*, чем *католическим* путем. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изучая в нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанию души, а потом уже поклоняясь Божеству» (XIII, 214; курсив в оригинале). Это очень смелое, с точки зрения православия, заявление, признающее в духе протестантизма право каждого верующего свободно

толковать Св. Писание, устранившее посредников между верующим и Богом (согласно Лютеру, «все христиане — священники»; «над христианами нет начальника, кроме Христа»). Полного присягания протестантству видеть в этих словах не приходится (так, Гоголю до конца его жизни необходима была посредническая роль церковных авторитетов, что нашло отражение и в его связях с Оптиной пустыней). Но налицо — устремление Гоголя отстаивать свое право на анализ и самостоятельные размышления. Недаром слова о «мудрости человеческой» Христа нашли продолжение в словах «Авторской исповеди», обращенных Гоголем уже к самому себе: «С этих пор человек и душа человека сделались больше, чем когда-либо, предметом наблюдений <...> Я обратил внимание на знание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще <...> И на этой дороге нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел к Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не исходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он» (VIII, 443; ср. также: Флоровский, с. 262).

Отсюда видно, сколь непросто складывалось отношение Гоголя к учительным традициям Оптиной пустыни. Быть может, в силу ряда обстоятельств, оно было еще более драматичным, чем в случае с Киреевским.

Осложняющие обстоятельства — это и особенности психики Гоголя, и характер его общения с обитателями Оптиной, более случайный и эпизодический, чем общение Киреевского.

Впервые, как мы уже говорили, Гоголь посетил Оптину пустынь 19 июня 1850 года, когда вместе с М. Максимовичем направлялся из Москвы на Украину в родные места (см. наст. том, с. 202). Это посещение оказалось очень удачным. Гоголь ощутил здесь не только атмосферу доброты, сердечности — он искал прямой поддержки в своем писательском деле, в осуществлении программы второго тома «Мертвых душ», с их обозначившимся вниманием к позитивным началам русской жизни («...писатель, дерзающий говорить о святом и прекрасном» — так определил он свою роль в письме оптинскому иеромонаху Филарету, — XIV, 191). И эту поддержку, судя по всему, он получил, причем не только со стороны одного Филарета, которому сразу же после встречи, еще проживая у Киреевских в Долбине, Гоголь написал благодарственное письмо, но и со стороны других лиц — архимандрита Моисея и особенно монаха Порфирия (в миру — Петр Александрович Григоров, 1804—1851).

Григорову Гоголь также пишет (18 июля 1850 г. из Васильевки) благодарственное письмо, называя его Петром, так как тот еще не принял монашества и не получил нового имени — Порфирия. Письмо подтверждает целительное воздействие, которое испытал Гоголь во время первого приезда в Оптину («Ваша близкая к небесам пустыня и радуш-

ный прием ваш оставили в душе моей самое благодатное воспоминание» — там же, 196), и ту роль, которую сыграл в этом Порфирий Григоров. Именно Григорова писатель просит оказать покровительство своему племяннику Николаю Трушковскому, направлявшемуся через Оптину в Казанский университет, — юноше психически болезненному и неуравновешенному.

По свидетельству Л. И. Арнольди, Гоголь особенно нахваливал ровность и ясность характера Порфирия Григорова: «Он вовсе не пасмурный монах, бегающий от людей, не любящий беседы <...> Он всегда весел, всегда снисходителен. Это высшая форма совершенства, до которой может дойти истинный христианин» (Воспоминания, с. 491—492). Отличало Григорова и глубокое уважение к художественному творчеству, что так важно было для Гоголя, трудившегося над продолжением «Мертвых душ». Именно от Гоголя услышал Арнольди рассказ о том, как Григоров, будучи еще военным, артиллеристом, устроил в честь Пушкина салют из пушек, за что угодил под арест.

В ответном письме Гоголю от 29 июня 1850 года Порфирий Григоров выражает глубокое расположение к писательской деятельности Николая Васильевича, «которого давно привык уважать за талант, коим славится отечество наше», побуждает к продолжению труда, т.е. к окончанию поэмы: «пишите, пишите и пишите для пользы соотечественников, для славы России...» (Шенрок, т. 4, с. 826).

Как давно еще заметил Иван Щеглов, автор работы «Гоголь в Оптиной пустыни (из дорожных заметок)», Григоров — «это действительный друг Гоголя, который, не стесняясь своей иноческой рясы, радостно воздает должную дань писательскому гению, ставя этот божественный дар на первое место, а не на последнее, как это делали другие духовные отцы, опекавшие Гоголя, до пресловутого “отца Матвея включительно”» (Щеглов, с. 54).

Когда состоялось следующее посещение Гоголем Оптиной пустыни? В. Котельников, автор цикла статей «Оптина пустынь и русская литература», высказал предположение, что это случилось летом следующего, 1851 года. «...После приезда в Москву 5 июня и до возвращения туда же в июле Гоголь, где-то между поездками в Абрамцево и к А. О. Смирновой в Спасское, побывал в Оптиной» (РЛ. 1989. № 2. С. 13). Однако есть документ, который, подтверждая факт посещения Гоголем Оптиной пустыни летом 1851 года, более точно датирует это событие. Обычно Гоголь заезжал в Оптину по дороге из Москвы на родину. На этот он побывал здесь на обратном пути, о чем свидетельствует запись иеромонаха Евфимия, «летописца Оптиной Пустыни»: «2 июня 1851 года пополудни прибыл в Оптину Пустынь проездом из Одессы в Петербург (на са-



мом деле в Москву. — Ю. М.) известный писатель Николай Васильевич Гоголь»<sup>1</sup>. Посещение было на этот раз кратким: 5 июня (после заезда в Калугу, как видно из той же записи) Гоголь уже был в Москве.

Во время второго посещения Оптиной Гоголь уже не застал в живых Порфирия Григорова, умершего за несколько месяцев перед этим, 15 марта 1851 года; Гоголь (согласно записи Евфимия) присутствовал на панихиде по Порфирию Григорове. В это же время у Гоголя завязались тесные отношения с новым лицом — с иеросхимонахом Макарием (познакомились они, вероятнее всего, раньше, во время первого приезда Гоголя), о чем свидетельствуют письма обоих — Николая Васильевича (не сохранившееся) и Макария, от 21 июля.

Отношение Гоголя к Макарию знаменует собою новую стадию отношения к Оптиной пустыне вообще, что было обусловлено особенностями личности этого иеросхимонаха. Отец Макарий (в миру М. Иванов) жил в Оптиной пустыне с 1834 года (умер он в 1860 г.). С одной стороны, Макария отличала художническая жилка, роднившая его с Порфирием Григоровым. По словам обитателя и историка Оптиной пустыни, он «обладал мягким и кротким характером, эстетическими наклонностями, в молодости даже играл на скрипке, знал и любил церковное пение, любил цветы, был очень начитан в церковной литературе, имел склонность к ученым, кабинетным занятиям» (Четвериков, с. 46). Но с другой стороны, Макарий выделялся среди других как своеобразный лидер. Д. Богданов, опираясь на «монастырские воспоминания», писал, что «Макарий был иноком высокой духовной жизни. Его советами и указаниями пользовалась вся монастырская братия, для которой он был неустанным наставником на пути к христианскому совершенствованию» (ИВ. 1910. Октябрь. С. 330).

Все это приобретало особое значение для Гоголя. В письмах Филарету, Порфирию Григорову или Моисею писатель просил принять его дары, просил молиться за него, причем как можно больше и всех («Ради самого Христа, молитесь обо мне <...> Просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне» — XIV, 191). В письме Макарию, как можно судить по ответу последнего, он решился на большее — на исповедальность, на просьбу о помощи советом, наставлением в связи с его намерением «составить книгу для пользы юношества». По словам Макария, Гоголь раскрывал перед ним «свои недостатки в добродетельной жизни» и «просил сказать <...>, что-нибудь, если Бог внушит». И вот Макарий учит Гоголя «смиряться и каяться перед Гос-

---

<sup>1</sup> Запись Евфимия приводится в книге С. Нилуса «Святые под спудом. Тайна православного монашеского духа» (Сергиев Посад, 1911. С. 81). Г. Георгиевский в рукописной статье «Оптинские письма Гоголя» также отмечал, что писатель трижды побывал в Оптиной — «в июне 1850 года и в июне и сентябре 1851 года» (ОР РГБ, ф. 217, 2, ед. хр. 6, с 10; о третьей поездке Гоголя в Оптину речь впереди).

подом, но не смущаться и не унывать» (Шенрок, т. 4, с. 828). Гоголь относится к Макарию как к духовному руководителю, наставнику.

Это во многом предопределило характер следующего, последнего посещения Гоголем Оптиной пустыни около 25 сентября 1851 года. Событие это выглядит во многом загадочным, странным.

После долгих раздумий Гоголь отправился в родные места, чтобы присутствовать на свадьбе сестры Елизаветы и навестить больную мать; затем он предполагал перебраться в Крым и там провести зиму. Еще в Москве нервы его «расколебались, от нерешительности, ехать или не ехать» (XIV, 251); в дороге он почувствовал себя хуже и решил завернуть в Оптину пустынь. Он надеялся, что Оптина вновь окажет на него целебное воздействие, надеялся на помощь отца Макария, но этого не произошло. Гоголь не стал продолжать путь и, к удивлению его московских друзей, возвратился домой.

Внешне причины такого поворота событий видны из писем, которыми в Оптиной же пустыни обменялись Гоголь и отец Макарий. Вначале, когда Гоголь только подъезжал к Оптиной, у него «было на сердце спокойно и тишина». Но потом, при встрече с Макарием, ощутил тревогу и поставил перед ним вопрос: «Скажите, не говорит ли вам сердце, что мне бы лучше было не выезжать из Москвы?» (XIV, 252). Макарий внял тревоге Гоголя: «Конечно, когда бы знать это, то лучше бы не выезжать из Москвы», — но окончательное решение предоставил ему самому: если «при мысли о возвращении в Москву <...> ощутите спокойствие, то будет знаком воли Божией на сие» (ВЕ. 1905. Декабрь. С. 710—711). Не известно, ощутил ли Гоголь спокойствие, но в Москву он вернулся. Что же произошло?

П. Плетнев писал В. Жуковскому, что причина в грубости одного монаха, которого Гоголь измучил своей нерешительностью, и когда явился к нему за советом «в четвертый раз», «тогда, вышед из терпения, монах прогнал его» (Плетнев, с. 730). Это свидетельство было отвергнуто исследователями, так как они сочли неспособным отца Макария — речь шла именно о нем — на такой поступок. Действительно, немислимо, чтобы Макарий прогнал просителя, обошелся с ним грубо. Но при этом не учитывается, что в основе сообщения Плетнева лежит подлинная информация Гоголя, хотя и искаженная, перешедшая к Плетневу через вторые руки, через А. О. Смирнову, которая записала в своих воспоминаниях: «Гоголь его так помучил своей нерешительностью, что старец грозил ему отказать его принимать» (Смирнова, 1989, с. 67).

Дело в том, что Гоголь обращался к Макарию не просто как к праведному духовному лицу, не так как в свое время к Филарету или Моисею, но как к душеведцу, наделенному высшим разумением. Гоголь ждал, что отцу Макарию будут вняты его мучительные переживания, что он возьмет на себя бремя решения.

В письме Гоголя к отцу Макарию, написанном в Оптиной после встречи с ним, есть фраза: «Отчего вы, прощаясь со мной, сказали: в последний раз?» (XIV, 251). Эта фраза не обратила на себя никакого внимания исследователей, в том числе и автора упомянутой выше неопубликованной работы Георгиевского, — а между тем в ней заключен непростой смысл.

С одной стороны, могло подразумеваться то, что Макарий действительно счел излишним снова и снова отвечать на вопрос, продолжать ли Гоголю путь. Разумеется, он не «прогнал» Гоголя, не пригрозил больше его не «принимать», но само уклонение от ответа могло глубоко ранить Николая Васильевича. Тем более что вопрос Гоголя и, соответственно, реплика Макария могли иметь — и скорее всего имели — другой смысл, и все это пало на подготовленную почву.

Мрачные предчувствия терзали Гоголя еще при выезде из Москвы, еще в дороге, случившееся же в Оптиной пустыне могло их еще более усилить. Как уже упоминалось, незадолго перед тем, 15 марта, умер близкий Гоголю человек, монах Порфирий Григоров. «...Рассказывают, что в своей предсмертной болезни он имел извещение о близкой кончине и ему трижды являлся во сне скончавшейся за шесть лет перед тем послушник Николаша (которому при жизни его о. Порфирий оказывал особое благорасположение) и говорил ему, чтобы он готовился к исходу из сей жизни». По другим сведениям, восходящим, очевидно, к записи уже упоминавшегося Евфимия, Григорову перед смертью было предзнаменование: мол, о. Илларион уже выслал ему масло и рубашку для соборования. Все думали, что это бред (о. Илларион жил за 300 верст от Оптиной), но «14 марта, утром, к удивлению всех» (Нилус, с. 71–72), прибыли означенные вещи, а на следующий день Порфирий умер. «Можете себе представить, сколько горечи добавила эта неожиданная потеря Гоголю» (Щеглов, с. 1). Произвели впечатление на него прежде всего обстоятельства смерти Порфирия, а именно — роковое предзнаменование — «извещение о близкой кончине». Не исключено, что обо всем этом шла речь во время нынешнего приезда Гоголя в Оптину, перед беседой с Макарием. И тогда произнесенная им фраза приобретает особое значение.

Гоголь спрашивал: «Отчего вы, *прощаясь со мной*, сказали: *в последний раз?*» Это было сказано именно при расставании, при прощании; вопрос о будущей встрече (или невстрече) в этих обстоятельствах гораздо естественнее, чем вопрос о продолжении поездки. Увидятся ли они снова? Не являются ли слова Макария предсказанием о его, Гоголя, близкой кончине? Гоголь пытается отделаться от этой мысли. «Может все это происходит от того, что нервы мои взволнованы...» (XIV, 251). Именно поэтому Гоголь задержался в Оптиной, надеясь, что отец Макарий развеет его опасения. Но в своем ответе Макарий полностью обошел вопрос Гоголя, хотя — любопытнейший факт! — его ответ написан на

обороте того же гоголевского письма. Не обратил ли он на него внимание или действительно имел роковое предчувствие в отношении судьбы Гоголя и поэтому смолчал, не желая его обманывать, — остается не ясным. Но факт тот, что все это произвело на Гоголя гнетущее впечатление и, побудив его не подвергать себя риску дальнейшей дороги, вернуться домой. Приехал он в Москву в таком же мрачном настроении (если не хуже), как и отправился в путь. «Первый визит он сделал О. М. Бодянскому <...> и на вопрос его: “зачем он воротился?” отвечал: “Так: мне сделалось как-то грустно” и больше ни слова» (Шенрок, т. 4, с. 794).

Гоголь умер спустя пять месяцев после посещения Оптиной. В течение этого времени произойдет не одно событие, которое будет иметь характер зловещего предзнаменования и словно продолжит эпизод с Макарием. На судьбу Гоголя все это окажет немалое влияние, о чем мы скажем в своем месте...

Переживания Гоголя в связи с посещениями Оптиной обнаруживают чрезвычайную сложность и драматизм его религиозного чувства, что в частности выразилось в его отношениях с тамошними старцами. Для святоотеческого понимания старчества и духовного наставничества вообще чрезвычайно важен авторитет одного, а не многих. Как писал отец Климент в жизнеописании отца Леониды (в схиме — Лев), основателя старчества в Оптиной пустыне, «старчество состоит в искреннем духовном отношении своих духовных детей к своему духовному отцу или старцу. Не всех же должно вопрошати, но единого, ему же вверено и других окормление...» (Леонтьев, с. 43).

Именно таким принципом руководствовался И. Киреевский, который вначале сошелся с монахом Новоспасского монастыря Филаретом, а затем после кончины последнего (в 1842 г.) — с иеросхимонахом Оптиной Макарием. «...Существеннее всяких книг и всякого мышления, — объяснял Киреевский А. Кошелеву, — найти святого православного старца... которому ты мог бы сообщать каждую мысль свою и услышать о ней не его мнение, более или менее умное, но суждение святых Отцов...» (Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 2. С. 257).

Гоголь, по-видимому, тоже искал «единого», которого можно было бы «вопрошати» и вверить ему свое «окормление», и, судя по всему, в поисках такого лица его взор обратился к тому же Макарию. Возможно, выбор был сделан под влиянием Киреевского, но, возможно, имели место и другие «подсказки». По воспоминаниям старца Варсонофия (Плеханова), М. Погодин советовал писателю: «В Оптиной есть один старец иеросхимонах Макарий... Это и есть тот человек, которого Вы ищите...»<sup>1</sup> Гоголь внял

---

<sup>1</sup> Борисов Вадим. Оптина Пустынь // Наше наследие. 1988. № 4. С. 62. К сожалению, автор не сообщает местонахождение процитированного им источника.

этому совету, но одновременно многого ждал и от ржевского протоирея Матвея Константиновского, к которому еще в январе 1848 года обращался с такими словами: «О друг мой и самим Богом данный мне исповедник! горю от стыда и не знаю, куда деться от несметного множества не подозреваемых во мне прежде слабостей и пороков. И вот вам моя исповедь уже не в писательстве» (XIV, 41). Гоголь словно хотел мобилизовать для своего спасения всю святую силу...

С одной стороны, Гоголю было свойственно (если воспользоваться пушкинским выражением) твердое самостояние, особенно с того времени, как он ощутил всю громадность и значительность замысла своей Книги жизни. Нам уже знакомо его уверение: «Властью высшею отныне облечено мое слово» — «и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова». С другой стороны, его посещали сомнения — и чем дальше, тем больше: насколько верно это «слово» и не проникло ли в него нечто греховное. Протестантская нота, о которой говорил сам Гоголь (и которую отмечал Г. Флоровский), играла в этом сложном взаимодействии свою роль. В этом отношении он несколько сближался с Хомяковым, самым свободомыслящим среди славянофилов, утверждавшим: «...Апостолы свободное исследование позволяли, даже вменяли в обязанность <...>, свободное исследование, так или иначе понятое, составляет единственное основание истинной веры» (Хомяков, т. 2, с. 43). И Гоголь утверждал, что понял и принял Христа силою своего ума, «анализом» «над душою человека таким образом, каким его не производят другие» — в этом отношении он превосходит слеповерящих, «других»; поэтому между ним и Богом словно нет посредников, как и в другой, творческой ипостаси нет посредников между «Мертвыми душами» и Россией («Русь! Что же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами?..»). Но с другой стороны, он нуждался — и чем дальше, тем больше — в подкреплении и проверке своих духовно-творческих усилий, в высоком благословении, и малейшее подозрение в отказе или непредоставлении такового причиняло ему душевную муку.

Импульсы, которые ощущал Гоголь в стенах и у стен Оптиной пустыни, не могли не сказываться на протекании его творческой работы — прежде всего над продолжением поэмы. В этой связи — один не обративший на себя внимание факт. Отец Иосиф, настоятель Иоанно-Предтеченского скита, что располагался там же, близ Козельска, писал, что под влиянием бесед с Макарием у Гоголя и Киреевского «совершился <...> коренной поворот в воззрениях», а именно — Макарий стремился «отвлечь внимание своих ученых друзей от философских умствований Гегеля, Шеллинга...», этих «сокрушенных младенцев германской мысли...» (Леонид, с. 184). Оставляя в стороне Киреевского, обратимся к гоголевскому сюжету.

В 1903 году один из авторов, писавших об Оптиной пустыни, сообщил о существовании карандашной заметки Гоголя на полях «Мертвых душ». Заметка относится к XI главе, к рассуждению о страстях. Вначале напомним это рассуждение: «Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, все вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его ...» и т.д. И вот в ответ на это Гоголь подает реплику: «Это я писал в “*прелести*” (к этому слову есть подстрочное примечание, принадлежащее, очевидно, публикатору настоящего текста: “Прелесть — монашеский термин — обозначает почти то же, что и слово обольщение”. — Ю. М.), это вздор — прирожденные страсти — зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей — теперь, когда я стал умнее, глубоко сожалею о “гнилых словах”, — здесь написанных. Мне чудилось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении природных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение “Мертвых душ”. Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравая психология, и не кривое, а прямое понимание души встречаем лишь у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитро сплетенной немецкой диалектике молодые люди, — не более, как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души» (Матвеев, с. 303)<sup>1</sup>.

Это во многом соответствует устремлениям Макария — «отвлечь внимание своих ученых друзей от философских умствований Гегеля, Шеллинга», «этих сокрушенных младенцев германской мысли»<sup>2</sup>.

Но взгляды пристальнее в содержание заметки. Прежде всего, о какой «книге Исаака Сирина» говорит Гоголь? Конечно, это его «слова

---

<sup>1</sup> Принадлежность этого текста Гоголю подтверждается на стилистическом уровне. Вот несколько параллелей. Гоголь употреблял слово «прелесть» именно как «монашеский термин» — в смысле «обольщения». «... Впавшего в прелесть и в обольщение» (VIII, 433). К фразе «дымное надмение человеческой гордости» находится соответствие в письмах Гоголя: «... чорту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человека» (VIII, 298). Гоголю было свойственно и употребление слова «душеведец» (см., напр.: VIII, 437, 443). Выражение «гнилые слова» взято в кавычки, так как это, очевидно, цитата («Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» — Еф. 4, 29), встречающаяся у Гоголя и в другом месте.

<sup>2</sup> Интересную параллель к изменившемуся гоголевскому пониманию страстей представляет собой высказывание И. А. Фонвизина, человека близкого Гоголю (см. об этом наст. книгу, с. 162). В письме Гоголю от 20 октября 1850 г., жалуясь на направление мыслей своего племянника, Фонвизин писал: «... Болезнь же духа происходит от обольщения нынешних лжефилософских систем последователей германского мыслителя Гегеля, как-то: Фейербаха и прочих, увлекающих молодежь и дающих большой простор страстям человеческим» (Шенрок, т. 4, с. 822).

духовно-подвижнические» (или «слова подвижнические»), вышедшие в 1854 году в Москве сразу двумя изданиями: «Святого отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшего ниневийского, слова духовно-подвижническия, переведенныя с греческаго старцем Паисием Величковским. Издание Козельской Оптиной Пустыни. М., 1854. Одно из этих изданий было подготовлено в Оптиной пустыни иеросхимонахом Макарием совместно с Иваном Киреевским, — именно этим трудом еще до опубликования, еще в рукописи, мог воспользоваться Гоголь. И именно здесь писатель мог найти соответствующие рассуждения о страстях. «Страсти не естественны душе, но они уже впоследствии вошли в душу». «Страсти суть недуги души». «Очищай сердце свое от страстей, на всяк час зрит Господа». «Страсти суть тернии на земле сердца нашего; землю оную должны мы воздвельвать, исторгая тернии страстей» и т.д. (там же, «Алфавитный указатель предметов...», с. 57–59).

Понимание страстей «у подвижников-отшельников» Гоголь противопоставляет «хитро сплетенной немецкой диалектике». Легко убедиться, что точка отгалкивания выбрана им не случайно, но с полным пониманием дела и — добавим — в согласии с призывом о. Макария отказаться от «философских умствований Гегеля, Шеллинга». Именно Шеллинг в специальном трактате подверг анализу двойственную природу страстей, доказывая неизбежное переплетение в них негативных и позитивных элементов, последовательный переход одного в другое: «Если бы в теле не было корня холода, невозможно бы было ощущение тепла... Вполне верно поэтому диалектическое утверждение: добро и зло — одно и то же, лишь рассматриваемое с разных сторон... Страсти, которым объявляет войну наша отрицательная мораль, суть силы, каждая из которых имеет общий корень с соответствующей ей добродетелью. Душа всякой ненависти — любовь...» (Шеллинг, с. 61).

Скорее всего Гоголь не читал и не знал упомянутого трактата Шеллинга, но это не меняет дела. Сходные воззрения развивались во множестве книг и статей (в частности, у находившейся под сильным немецким влиянием Жермены де Сталь, автора эссе «О влиянии страстей на счастье отдельных личностей и наций»); эти воззрения определяли облик различных художественных направлений, включая романтизм; творчество самого Гоголя, начиная буквально с «Ганца Кюхельгартена», развивалось в силовом поле этих идей — пассаж о муже, «небом избранном», в упомянутой поэме; рассуждение о привычке и страсти в «Старосветских помещиках» или, скажем, опыт истолкования в «Развязке Ревизора» персонажей самого «Ревизора» как олицетворенных страстей.

И в замысел «Мертвых душ» была, так сказать, изначально заложена идея развития и преображения страстей: «И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени

человека пред мудростью небес». Чичиковская порочность, говоря языком Шеллинга, «имеет общий корень с соответствующей ей добродетелью». Чичиковская предприимчивость, хитрость, способность приспособливаться к обстоятельствам, жажда обогащения — все это должно было претвориться в нечто новое; прежней оставалась бы сама сила страсти, ее напор и постоянство, служащие некоей гарантией благодетельных перемен. На это есть намеки и в известном нам тексте, особенно во втором томе: «Эх, Павел Иванович, ведь у вас есть эта сила, которой нет у других, это железное терпение... Да вы, мне кажется, были бы богатырь». Ясно, что «богатырь» — воитель добра, как прежде был воитель зла.

И в первом томе поэмы и, скажем, в «Выбранных местах...» наличие страсти, или, как говорил Гоголь в первом томе, «задора», служило предпосылкой движения характера. Лучше «плохой» задор, чем его отсутствие («У всякого есть свой задор <...> Но у Манилова ничего не было»). «Особенное значение в гоголевской теории и практике исправления имеет обращение к добру искаженных качеств... В этой идее не отрицания, а преобразования мира уродов — корни гоголевской социологии и политики. Этика вся построена на переоценке “задоров”» (Гиппиус, 1924, с. 174). Однако сформулированное Гоголем на полях первого тома «Мертвых душ» положение о страстях вносило в эту концепцию новую ноту.

Гоголь склоняется к мысли, что «задор» должен быть не переоценен, но, так сказать, нейтрализован. «Много находится в вертограде писаний былий и растений, вразумляющих нас и врачующих наши страсти; а смирение самый благонадежнейший врач душ наших; об оном особенно св. Исаак много пишет...» (Собрание писем блаженных памяти оптинского старца иеромонаха Макария к монашествующим, ч. 1. М., 1862, с. 226). «Врачующих наши страсти», а не преобразующих их, не склоняющих в другое русло, ибо «страсть» есть нечто благоприобретенное и недужное (снова вспомним: «страсти суть недуги души»). Все это говорит о том, на какие тяжкие испытания обрекал Гоголь свой собственный художественный замысел<sup>1</sup>.

Однако едва ли можно согласиться с приведенным выше выводом о. Иосифа, что тем самым у Гоголя «*совершился* коренной перелом в воззрениях». Усваивая новое, прислушиваясь к духовным авторитетам, Го-

---

<sup>1</sup> Примечательно сходство в понимании страсти поздним Гоголем и Надеждиным в конце 1830-х годов. В статье «Возбуждение страстей» Надеждин пишет: «Со времен Аристотеля ведется поверье, что трагедия, например, должна возбуждать срасти ужаса и соболезнования. Нет! Не страсти, а чувства — это так! В противном случае “Лукреция Борджиа” Виктора Гюго или “Тереза” Александра Дюма были б совершеннейшие трагедии. Строгой вкус осуждает даже чрезмерность страданий Софоклова Филоктета и чрезмерность бешенства в шекспировском Отелло <...> Поэт должен заклинать бурю страстей, как некогда Вергилий, по народному преданию, заклинал стихийные бури...» (Н. Н. <надеждин>. Возбуждение страстей // Энциклопедический лексикон. СПб., 1838. Т. 11. С. 233).



голь мучительно старался сохранить верность себе — и нетрудно представить те страдание и душевное напряжение, которые рождались из этого испытания.

Положение осложнялось еще тем, что Гоголь сталкивался с несколькими иным пониманием смеха, комического, чем то, которое одухотворяло всю его творческую жизнь. Показательна запись того же Евфимия (ее обошел даже Георгиевский, хотя он, несомненно, знал этот документ), — говоря о посещении Гоголем Оптиной, Евфимий замечает: «Большая была бы сила для Церкви Христовой на земле в лице Николая Васильевича Гоголя, если бы он не так поздно обратился к истинному благочестию! Какая бездна ума, таланта, энергии затрачена им была и на что же? На осмеяние души родного русского человека!»

Но Гоголь (согласно Евфимию) «хотя и поздно», но «принес покаяние в содеянном им тяжком грехе». «Но что сказать о других великих русских талантах? Вспомним горестный конец обоих “властителей верхов русской мысли” — Пушкина и Лермонтова и скажем себе с сердечным трепетом: “страшно грешнику впасть в руце Бога живаго!”» (Нилус, с. 81–82).

Вспомним, однако, что Григоров на первое место ставил именно художественные творения Пушкина; вспомним, что Григоров велел произвести салют в честь «грешника» Пушкина... Совсем, совсем другое понимание вещей, чем у Евфимия! Но Григоров давно уже был в могиле, а запись Евфимия, по словам историка монастыря С. Нилуса, выражает «коллективный Оптинский дух». Допустим, что Нилус преувеличивает, но все равно не слышать подобных мнений, не ощущать этих настроений Гоголь не мог.

В сознании Гоголя сфера комического была неотъемлема от сферы нравственного воздействия художественного творчества вообще и его главного произведения, «Мертвых душ», в особенности. На этом строилось его самосознание как комического писателя, и здесь же завязывался огромный узел проблем, находивших до поры до времени гармоническое разрешение. Но со временем развязывать этот узел становилось все труднее. Как совместить смех с четким осознанием порока и отличием его от добра и добродетели; как избежать релятивизации последних; как при наличии комизма, сохранить учительную и проповедническую силу слова («Христос никогда не смеялся»)?..

И поэтому раздававшиеся упреки в том, что Гоголь затратил время «на осмеяние души родного русского человека», отзывались в его сердце мучительной болью. А ведь эти упреки подводили его к выводам отчасти того, какое поприще вообще избрал писатель и какую участь приготовил он себе в будущей жизни... Вот еще одна запись из оптинской летописи.

«Талант, данный на созидание, обратился на разрушение... Трудно представить человеку непосвященному всю бездну сердечного горя и муки, которую узрел под ногами своими Гоголь, когда вновь открылись затуманенные его духовные очи, и он ясно, лицом к лицу, увидел, что бездна эта выкопана его собственными руками, что в ней уже погружены многие им, его дарованием, соблазненные люди и что сам он стремится в ту же бездну, очертя свою бедную голову...» (там же).

Правда, запись эта относится к 8 апреля 1857 года, к моменту приезда в Оптину матери Николая Васильевича и его племянника Николая Трушковского, но не вдруг же возникло подобное мнение.

Возвращаясь же к Ивану Киреевскому, надо сказать еще, что несмотря на свойственную ему самостоятельность мышления, в частности в толковании проблем патристики, его взаимоотношения с отцом Макарием (с которым они вместе переводили и редактировали труды святых Отцов, в частности, как уже упоминалось, Исаака Сирина) в общем развивались ровно и спокойно и сохранились до кончины критика. Связи же Гоголя с Макарием после 25 сентября 1851 года прервались. Характерно, что в последние месяцы своей жизни, самые трудные, писатель, кажется, не делал никаких шагов, чтобы вступить в контакт с иеросхимонахом Оптиной. Зато на передний план выйдет Матвей Константиновский...

Бесполезно гадать, что было бы, если бы рядом с писателем в роковые его дни оказался не ржевский протоиерей, а оптинский старец. Эти предположения бесполезны и неуместны. Духовные лица хотя и служат Богу, но все-таки остаются людьми, и им не всегда удается понять и исцелить духовные недуги смертного, тем более если этим смертным оказался такой человек, как Гоголь.

С последним гоголевским посещением Оптиной связано предание о новой попытке писателя уйти в монастырь. Об этом рассказывал старец Варсонофий: «Есть предание, что незадолго до смерти он говорил своему близкому другу: “Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял”... — “Чего? Отчего потеряли вы?” “Оттого, что не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?”»<sup>1</sup>

Источником этой версии могли быть неоднократные высказывания Гоголя о целящем, благотворном воздействии Оптиной («Благодать видимо там присутствует»; «ваша близкая к небесам пустыня...» и т.д.). Возможно, он намекал или открыто говорил о своем желании поселиться

---

<sup>1</sup> См. об этом: Преподобные старцы оптинские. Жития и наставления. Святотроицкая Оптина пустынь. 2001. С. 368; см. также: *Ордина О. Н.* Феномен старчества в русской духовной культуре. Дисс. ... кандидата культурологии. Киров, 2003.

здесь навсегда. Но желание не есть решение. Каких-либо подтверждений такого решения у нас нет. В этом случае повторилась та ситуация, которая имела место пять лет тому назад в Веймаре при посещении Гоголем священника церкви Святой Марии Магдалины (см.: Труды и дни, с. 724 и далее).

### ТРИ ДНЯ В АБРАМЦЕВЕ

**В** Абрамцево, куда Гоголь приехал вместе с Сергеем Тимофеевичем 30 сентября, он был поначалу грустен и задумчив. Ни в какие подробности своего визита в Оптину и внезапно-го возвращения Гоголь, видимо, не входил, и у Аксакова сложилось впечатление, что тот просто «смущался своим возвращением без достаточной причины...» (Шенрок, т. 4, с. 814). Не помогло даже то, что в 20-х числах октября было получено известие, что «попечитель», т.е. Назимов, «пропускает» второе издание сочинений Гоголя.

Настроение Гоголя стало меняться 1 октября, в день рождения его матери. С утра он был по-прежнему «невесел». Но потом отправился к обедне в Троицкой лавре, «чтобы там помолиться о здоровье моей матушки» (XIV, 252), а «на возвратном пути заехал за Ольгой Семеновной в Хотьковский монастырь и сам заходил за ней к игуменье».

Вернулся Гоголь другим человеком. «За обедом, — рассказывает Сергей Тимофеевич, — мы пили здоровье его матушки и молодых (ввиду предстоящей свадьбы Елизаветы Васильевны и Быкова. — Ю. М.): Гоголь поразвеселился, а вечером сделался очень весел. Наденька пела малороссийские песни и он сам пел с живостью и очень забавно» (Шенрок, т. 4, с. 814). И Вера Сергеевна отметила: «У нас он порассеялся и праздновал день именин своей матери, которую он очень любит» (письмо М. Г. Карташевской от 1–2 октября — ЛН. Т. 58. С. 738).

Отбыл Гоголь в Москву в тот же день, 1 октября, уверяя хозяев дома, что прощается «не надолго». Но Аксаков, возможно, уже в свете будущих событий, уверяет, что Гоголь посмотрел на него «такими глазами», в которых выражалось «предчувствие вечной разлуки» (Воспоминания, с. 107). И еще одно неутешительное свидетельство: Ольге Семеновне (за которой Гоголь заезжал в Хотьковский монастырь) он «сказал, что не будет печатать второго тома, что в нем все никуда не годится и что надо все переделывать» (РА. 1878. Кн. 2. С. 54).

В день поездки в Троицкую лавру 1 октября Гоголь посетил и находившуюся здесь Московскую духовную академию. Прибыл он сюда по приглашению бакалавра академии о. Феодора, с которым был знаком раньше. Познакомились они, вероятно, в доме А. П. Толстого, который, по словам воспитанника академии Н. И. Субботина, «проникся

великим к нему уважением, признавая его (и не напрасно) лучшим знатоком и истолкователем Священного Писания» (Феодор, 1997, с. 117).

Действительно, о. Феодор (в миру — Александр Матвеевич Бухарев, 1822—1871) был замечательной личностью. Сын тверского дьякона, он прошел все ступени духовного образования: Тверское духовное училище, Тверская духовная семинария и, наконец, Московская духовная академия. В академии он постригся в монахи, посвящен в сан иеродиакона и затем иеромонаха и определен бакалавром.

На появление «Выбранных мест...» Бухарев откликнулся сочинением: «Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году» (СПб., 1861; на титуле другая дата — 1860). Как видно, в литературный обиход книга смогла войти спустя много лет после написания, но Гоголю, несомненно, были известны взгляды о. Феодора; частично они сложились в результате их встреч и бесед, о чем открыто сказано в книге.

С точки зрения Бухарева, Гоголь с начала своей деятельности не изменял самому себе: «Ваше поприще пред вами открылось и определилось, и вы твердо, с самоотвержением пошли по нему, долго, долго в одиночестве, никем не понимаемый, многими озлобляемый <...> На этом поприще в совокупности, не рядом, но одно в другом пошли у вас вперед и внутреннее христианское (оно же общечеловеческое) очищение и совершение, и служба царю и отечеству, и поэзия...» (Феодор, 1991, с. 299—300). Ту же мысль отстаивал и Гоголь в «Авторской исповеди»: «Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был — жизнь...» (VIII, 445). Считая, что нужно соединить различные стремления, Бухарев говорил о пользе синтеза «гоголева изображения» с «делом» хоть того же Белинского, возвышавшегося часто до одушевления поэзии и глубоко (хотя и односторонне) постигавшего и одушевлявшего истину» (Бухарев, с. 259). Эта мысль пришлась по сердцу Гоголю: радикализма Белинского он всячески чуждался, но также стремился возвыситься над различными течениями (прежде всего славянофилами и западниками), преодолеть их односторонность, продемонстрировать свою независимость. И кроме того, у Гоголя, по крайней мере периода «Выбранных мест...», идея всесторонности подчинилась мучительному стремлению к практицизму, к воплощению идеала в жизнь. И на эти «муки Гоголя, — по словам историка церкви А. В. Карташова, — откликнулся архимандрит Феодор <...> В глуши 40-х и 50-х годов он воспел необычайно патетический гимн сочетанию в Христе двух естеств и, по образу этой тайны, сочетанию в православии правды Царства Божия как на небе, так и на земле — в историко-культурном творчестве человечества» (Феодор, 1997, с. 688).

Некоторая близость Гоголя к Бухареву выразилась в том, что писатель, хотя и очень скуп, поделился с ним планами продолжения поэмы, ее завершающего, третьего тома (см. об этом: Манн, 1987, с. 264 и

далее). И еще выразилась в том, что, как мы говорили, Гоголь откликнулся на приглашение Бухарева посетить академию.

Не обошлось и без *qui pro quo*, произошедшего, впрочем, не из розыгрыша, а из бестолковости одного из слуг.

«Это было 1 октября 1851 года, — вспоминает студент академии Василий Васильевич Крестовоздвиженский. — В послеобеденное время, часа в 4 или 5, студенты пользовались по-своему свободным от учебных занятий временем, одни гуляли по саду, другие <...> или читали, или ходили и курили <...> Вошедший в это время в комнаты старших студентов профессорский слуга, по физиономии и приемам лучший тип гоголевского Петрушки, объявил, что сейчас придет отец Ф<еодор> с *Голицыным*. — “Так что ж?” — спрашивают студенты. — “Только-с! так приказано сказать”» (Феодор, с. 130; курсив в оригинале). Студенты не оставили своих дел, как вдруг появился о. Феодор «в сопровождении псевдо-Голицына». Это был Гоголь!

О. Феодор сказал, что выполняет просьбу самих студентов познакомиться их с Гоголем, и, «обращаясь потом к дорогому гостю, он прибавил: “Они любят вас и ваши произведения”». «Не берусь, — продолжает мемуарист, — да и мудрено слишком передать, что чувствовали в это время воспитанники, смотревшие прямо в лицо Гоголю, которым грезил каждый из них, как грезят пансионеры черными усами и эполетами. Очень естественно, что при такой неожиданности студенты не сказали ни слова. Молчал и Н<иколай> В<асильевич>. Он казался нам скучным и задумчивым. Это обоюдное молчание продолжалось несколько минут. Наконец, один из студентов, собравшись мыслями, сказал за всех: “Нам очень приятно видеть вас, Н<иколай> В<асильевич>, и мы любим и глубоко уважаем ваши произведения”. Н<иколай> В<асильевич>, сколько можем припомнить, так отвечал приветствовавшему его *духовным воспитанником*: “Благодарю вас, гг, за расположение ваше. Мы с вами делаем общее дело, имеем одну цель, *служим одному Хозяину... У нас один Хозяин*”. Начав говорить несколько потупившись, Н<иколай> В<асильевич> произнес последние слова, устремив глаза к небу.<...> Только теперь очнулись воспитанники от тупого чувства, в которое повергла их неожиданность появления Н<иколая> В<асильевича>; и он вышел из дверей академических комнат при дружном, но отрывистом рукоплескании студентов».

Сам Бухарев в предисловии к своим «Трем письмам...» поясняет, при каких обстоятельствах было произнесено слово «Хозяин»: когда студенты сказали «Гоголю, что особенно большое сочувствие возбуждает он к себе тою благородною открытостью, с которой он держится в своем деле Христа и Его истины, то покойный заметил на это просто: “Что ж? мы все работники у одного Хозяина”».

«Вот как любили *во время оно* Гоголя, — заключает мемуарист, — воспитанники М<осковской> Д<уховной> академии!» (Феодор, 1997, с. 130—131; курсив в оригинале).

Уточнение о «воспитанниках» (студентах), видимо, сделано неслучайно. Другой автор рисует гораздо более сложную картину: «Нельзя сказать, чтобы это увлечение Гоголем особенно нравилось академическому начальству. В “Воспоминаниях” акад. Е. Е. Голубинского (Евгений Евстигнеевич Голубинский — известный историк церкви, профессор Московской духовной академии. — Ю. М.), записанных проф. С. И. Смирновым и любезно предоставленных им нам, есть интересное указание на отношение к Гоголю и его почитателям со стороны архим. Евгения, получившего ректорское место в академии в пятидесятых годах (1853), спустя год после смерти Гоголя. “Ректор Евгений, — говорит Е. Е. Голубинский — очень не жаловал Гоголя, считал его скалозубом, который занимался только тем, что осмеивал смешное. Если ректор, ходя по занятым /так!/ студенческим комнатам, заставал кого за чтением Гоголя, то делал внушение, что такими пустяками заниматься не следует”» (Туницкий, с. 480). Приводится и заметка из «Московских ведомостей» (1860, № 62, автор — «некто Плаголь») о том, как бывший слушатель Гоголя в Московской духовной академии превратился в его ожесточенного гонителя: став «начальником одной семинарии», «решил сжечь все безнравственные сочинения» Пушкина и Гоголя, первого за то, что «описывает плотскую греховную любовь», а Гоголя «за то, что иногда *черкается*» (Туницкий, с. 484). «Черкается» — чертыхается; это слово, очевидно, надо понимать в расширительном смысле: водится с чертом, с нечистой силой...

Значит, отношение к Гоголю в Московской духовной академии, если иметь в виду ее преподавателей, вовсе не было единым, и пусть негативные тенденции до поры до времени находились на втором плане, чуткий писатель не мог их не ощутить (как прежде не мог не почувствовать аналогичные веяния в Оптиной пустыне). Не мог, очевидно, не знать Гоголь и то, что бухаревские «Три письма...» вызвали неодобрение в общем не отличавшегося агрессивностью митрополита Филарета, воспротивившегося их публикации<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Об этом, в частности, писал хорошо знавший Бухарева духовный писатель, выпускник Московской духовной академии Александр Алексеевич Лебедев (1833—1898): «...Митрополит взял у него [Бухарева] статью, но выразил неудовольствие за такой предмет занятий профессора по Священному писанию. После этого обстоятельства Феодор захворал и остался в Москве, в больнице при тамошней Духовной семинарии. Здесь списался он с Гоголем, и с этого времени познакомился с ним. После этого у Феодора выходили неудовольствия из-за лекций, почему он, уже в сане архимандрита, в конце 1854 г. был переведен в Казанскую академию...» (Феодор, 1997, с. 324). Таким образом, никак нельзя считать «мифом» мнение, что «Три письма к Н. В. Гоголю...» послужили причиной перевода Бухарева в Казань (ср.: там же, с. 9). Хотя у о. Феодора были потом и другие «прегрешения», их ряд начинается именно сочинением о Гоголе.

Следует, пожалуй, добавить, что впоследствии академия гордилась фактом посещения ее Гоголем. В связи с торжественным открытием памятника Гоголю в Москве 26 апреля 1909 года Обществу любителей Российской словесности был направлен следующий адрес: «Академия с чувством глубокого умиления в настоящие дни вспоминает о том, как святая тревога художника-гения привела его однажды под ее своды». «...Восторженно приветствуемый академическим юношеством, [Гоголь] сердечно протянул ему руку с призывом делать общее дело, преследуя одну общую цель в жизни» (Богословский вестник. 1909. Март. С. 672). О фактах осуждения Гоголя некоторыми начальствующими лицами академии предпочитали не вспоминать.

### «Я ТРУЖУСЬ, РАБОТАЮ В ТИШИНЕ...»

**В** Москву Гоголь вернулся (согласно помете С. Т. Аксакова — XIV, 435) 3 октября — как раз в день свадьбы сестры. Гоголь решил провести зиму в Москве (в первый раз!): на дальнюю дорогу, в том числе и «на прожитье в Крыму вряд ли бы достало средств». А кроме того в Москве объявился какой-то «доктор, успешно лечащий нервные болезни наружными вытираньями и обливаниями холодной водой» (там же, 254).

Чувствует себя Гоголь лучше. «Здоровье мое, слава Богу, понемногу поправляется, — сообщает он матери 20 ноября, — хоть и не могу похвалиться совершенным восстановлением его» (там же, 258). А значит и работа сдвинулась с места (в Абрамцево Гоголь, по-видимому, совсем не писал). «Дело кое-как идет» (С. Т. Аксакову, <октябрь> — там же, 257). «Свежих минут так немного, так торопишься ими воспользоваться, так заня<т> делом, которое бы хотелось скорей привести к окончанию...» (П. А. Плетневу, 30 ноября — там же, 260). «К окончанию» — это значит, что уже виден конец второго тома.

12 ноября проездом в Москве побывал Андрей Андреевич Божко, гоголевский одноклассник по нежинской Гимназии. Встретившись с Гоголем, он писал неизвестному лицу, очевидно, их общему и давнему знакомому: «Я нашел его таким же, как он и прежде был, но только похудевшим и посерьезнее <...> На вопрос: оживают ли его “Мертвые души”, — “Как же иначе? И даже почти ожили”, — с улыбкою, известную Вам, отвечал он мне» (ЛН. Т. 58. С. 766–767).

Оправдываясь перед А. С. Данилевским в том, что не ответил на письмо, Гоголь объясняет: «Второй том, который требует около себя возни, причина всего, ты на него и пеняй». И дальше — самое интересное: «Если не будет помешательств и Бог подарит больше свежих расположений, то, может быть, я тебе его привезу летом сам, а, может быть, и в начале весны» (письмо от 16 декабря; XIV, 261).

«Привезу», разумеется не рукопись, а книгу. Следовательно, к весне или, в крайнем случае, летом Гоголь рассчитывал ее издать.

По словам Н. П. Трушковского, издателя посмертного собрания сочинений писателя, «Гоголь и С. Т. Аксаков сделали между собою условие, чтобы Гоголь приготовил осенью 1851 года к печати 2-й том “Мертвых душ”, а Г./Аксаков/ — свои “Записки ружейного охотника” и чтобы зимою вместе начать их печатание. Г./Аксаков/ кончил свою работу и, желая подстрекнуть Гоголя, уведомил его об этом немедленно» (Гоголь, 1855, с. IV). В ответ Гоголь подтвердил свое обещание: «Поздравляю вас от всей души, что же до меня, то хотя я не могу похвалиться <ся> тем же, но если Бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, и я как-нибудь управлюсь» (XIV, 264).

Ходили уже слухи о практических шагах Гоголя по изданию тома, хотя трудно сказать, насколько они были оправданы: тут могли смешиваться сведения о втором томе поэмы и подготовке нового издания Сочинений. 16 ноября (через четыре дня после встречи с Гоголем Божко) Е. И. Якушкин, юрист и этнограф, писал И. К. Бабсту, в будущем известному экономисту: «...Гоголь собирается печатать 2-й том “Мертвых душ”, который окончен совершенно и который уже он читал у Назимова. Шевырев уже покупает, по его поручению, бумагу для печати...» (ЛН. Т. 58. С. 742). В этом контексте небезынтересно упоминание имени В. И. Назимова, попечителя Московского учебного округа и председателя московского цензурного комитета: возможно, Гоголь хотел заручиться его поддержкой «Мертвых душ» в цензуре, — несколько ранее, в сентябре Назимов поддержал издание сочинений Гоголя (см. письмо Гоголя Шевыреву от 30 сентября 1851 года — XIV, 252).

Близкие или знакомые Гоголя горели нетерпением услышать чтение новых глав, но писатель неохотно шел им навстречу. И. Аксаков говорил, что в Абрамцеве Гоголь «читал отрывки из этого тома отцу и потом Шевыреву» (Воспоминания, с. 441) — Шевыреву, очевидно, уже в Москве, так как в Абрамцеве его в ту пору не было. Но сколько и что именно прочитал — неизвестно. По приезде же Гоголь Аксаковым ничего не прочел: «Может быть, оно и лучше, — писал он Сергею Тимофеевичу в октябре, — если мы прочитаем друг другу зимой, а не теперь...» (XIV, 257). А вот побывавшему осенью в Москве проездом Д. А. Оболенскому и А. О. Россету прочитал, да еще по собственной инициативе (см.: Воспоминания, с. 548–552). Объяснение этому, видимо, такое. Сергею Тимофеевичу надо было прочитать следующие, еще не слышанные им главы, а они-то находились у Гоголя в работе. Оболенский же (и А. О. Россет) были еще незнакомы с текстом, и писатель решил познакомить их с первой главой, заодно проверив, ка-



кое впечатление производит она после доработки. И Оболенский (сравнивавший услышанное с уцелевшим и впоследствии опубликованным черновым вариантом) был в восторге (подробнее об этом эпизоде — Манн, 1987, с. 257–260).

Запасаясь, по своему обыкновению, разными материалами для работы, Гоголь примечательным образом выделяет одно направление. В конце 1851 года он «с благодарностью» возвращает Шевыреву взятый у него «1-й том Гмелина», т.е. книгу «Путешествие по Сибири в 1733–1743 гг.» И. Г. Гмелина, и одновременно просит прислать Палласа, «все пять» томов «Путешествия по разным провинциям Российского государства» Петра-Симона Палласа (СПб., 1773–1778). «Мне нужно побольше прочесть о Сибири и северо-восточной России» (XIV, 265). Этот интерес неслучаен: место действия поэмы постепенно сдвигается, от губернии в Центральной России в первом томе — к «северо-восточной» или восточной России во втором томе и наконец к Сибирскому региону в томе третьем (на это есть разрозненные намеки во втором томе (подробнее: Манн, 1987, с. 267); об этом говорил И. С. Аксаков: «Надо думать, что Чичиков в конце этой [т.е. 3-го тома] попадет за новые проделки в ссылку в Сибирь, так как Гоголь у нас и у Шевырева взял много книг с атласами и чертежами Сибири» (Воспоминания, с. 441). К написанию третьего тома Гоголь, судя по всему, еще не приступал, но уже заглядывал вперед, обдумывая его сюжетное направление.

## **НОВЫЕ ВСТРЕЧИ: Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ, И. С. ТУРГЕНЕВ**

**Н**есмотря на свойственную Гоголю необщительность осенью 1851 года в круг его знакомых вошли новые лица, в том числе Данилевский и Тургенев.

Григорий Петрович Данилевский (1829–1890), выпускник С.-Петербургского университета, начинающий прозаик, в будущем автор исторических романов «Сожженная Москва» и «Черный год», арестованный по делу петрашевцев, но вскоре освобожденный за недостатком улик, — с 1850 года служил в Министерстве народного просвещения; в Москву он и приехал со служебным поручением. С Гоголем же Данилевский встретился при посредничестве О. М. Бодянского: «узнав, что у меня, — рассказывает Данилевский, — собрана коллекция украинских народных песен с нотами, [Гоголь] просил Бодянского пригласить к себе и меня» (Воспоминания, с. 434).

Знакомство Тургенева с Гоголем тоже фактически произошло впервые, хотя они до этого встречались неоднократно. Первый раз — в 1835 году на злополучном экзамене в С.-Петербургском университе-

те; но тогда повязанный платком зябнувший Гоголь едва ли запомнил своего студента (см.: Труды и дни, с. 180). Потом во время приездов Гоголя из-за границы в Москву были встречи в салоне А. П. Елагиной, но, очевидно, тоже беглые.

Зато как автор популярных произведений, прежде всего очерков из цикла «Записки охотника», Тургенев давно обратил на себя внимание Гоголя. В уже знакомом нам гоголевском письме от 7 сентября н. ст. 1847 года к Анненкову (см. выше, с. 98) есть такое категорическое суждение: «...Талант в нем *замечательный* и обещает большую деятельность в будущем» (XIII, с. 385, курсив в оригинале). Отзыв, как принято говорить в таких случаях, пророческий.

Данилевский и Тургенев побывали у Гоголя примерно в одно то же время — в конце октября (Тургенев указывает — 20 октября, уточнение датировки см. ниже). Оба пришли в сопровождении старых друзей Гоголя: Данилевский — Осипа Бодянского, Тургенев — Михаила Щепкина. В обоих случаях встреча происходила в доме на Никитском бульваре, в угловой квартире Гоголя, что на первом этаже, направо от входа, с двумя окнами во двор и двумя на бульвар.

Особенное удовлетворение — и это понятно — Гоголь выразил встречей с Тургеневым. По словам Тургенева, он сказал: «Нам давно следовало быть знакомыми» (Воспоминания, с. 531). Смирнова-Россет, очевидно со слов Тургенева, рассказывает: «Тургенев был у Гоголя в Москве, тот принял его радушно, протянул руку как товарищу и сказал ему: “У вас есть талант, не забывайте, что талант есть дар Божий и приносит десять талантов за то, что Создатель вам дал даром”» (Смирнова, 1989, с. 69).

Как новые гости, оба, и Тургенев и Данилевский, постарались прежде всего пристальнее разглядеть Гоголя. Набросанные ими портреты подробны и несколько сходны.

Данилевский: «Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темнокоричневое темное пальто и темнозеленый бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи <...> Его длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты» (Воспоминания, с. 437–438).

Тургенев: «Я пристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы<sup>1</sup>, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатога, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались — так, по крайней мере, мне показалось — темные стороны его характера <...> В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское — что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. “Какое ты умное, и странное, и большое существо!” — невольно думалось, глядя на него» (там же, с. 532).

Обостренное внимание к внешности Гоголя объясняется еще и тем, что посетителя рассматривали его, так сказать, сквозь версию о помешательстве. Данилевский: «Молва о помешательстве Гоголя, действительно, в то время была распространена в обществе». К. М. Базили (в письме Н. В. Гербелю от 27 декабря 1880 г.): «Так как Гоголь незадолго до своей смерти жил у меня, то многие почтенные люди весьма сердечно спрашивали у меня, как и когда проявлялись признаки умопомешательства» (ОР РНБ, ф. 179, ед. хр. 20, лл. 6–6 об.). Тургенев: «Помнится, мы с Михаилом Семеновичем ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мнения» (Воспоминания, с. 437, 532).

Отсюда полемический запал мемуаристов. Данилевский: «Передо мной был не только не душевнобольной <...>, а *тот же самый* Гоголь, тот же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе вообра-

---

<sup>1</sup> Любопытно, что цвет волос Гоголя производил на современников не одинаковые впечатления. Большинство, как Тургенев, свидетельствовали, что у Гоголя были светлые волосы. С. Т. Аксаков: «Прекрасные *белокурые* густые волосы лежали у него почти по плечам...» (Воспоминания, с. 99). Л. И. Арнольди: «... С длинными *белокурыми* волосами, причесанными а la можік...» (там же, с. 472). П. П. Каратыгин со слов П. А. Каратыгина: «Невысокого роста *блондин* с огромным тупеем...» (ИВ. 1883. Сентябрь. С. 735; в сущности, это «пересказ» портрета, сделанного П. А. Каратыгиным 18 апреля 1836 г., накануне премьеры «Ревизора» в Александринском театре). В. А. Панов: «... Человек небольшого роста <...> с *русыми* обстриженными в кружок волосами...» (ИРЛИ, ф. 3, Аксаковы, оп. 19, № 52, лл. 3, об. — 4; см. также: Черныш. Г. Г./Суперфин Г. Г./ Неизвестное письмо Гоголя // Finitis duodeam hustris. К 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. Таллин, 1982, с. 109 и далее). М. С. Сабина: «*Светлые* волосы висели прямыми прядями...» (РА. 1900. № 4. С. 534–535). В то же время А. П. Толченову, как и Данилевскому, цвет волос Гоголя, видится каштановым: «... Длинные, прямые *темнокаштановые*, причесанные а la мужик, волосы...» (Воспоминания, с. 417). А вот П. И. Бартенева, видевшему Гоголя около 1 мая 1849 г., тот запомнился «с *черными* <...> длинными волосами, также и усами...» (ЛН. Т. 58. С. 718). Слово окраска волос Гоголя казалась такой же непостоянной, как и его характер...

жать его с юности» (там же, с. 437). Тургенев, правда, столь категорично бы не сказал, сосредоточившись на противоречиях Гоголя; лейтмотив его наблюдений: «Какое ты умное и странное, и большое существо!»

Источник различных оттенков и несходств в оценке Гоголя — отношение к его последней книге. Тургенев полностью на стороне Белинского: из «Выбранных мест...» идет «затхлый и пресный дух»; «между мирозерцанием Гоголя и моим (т.е. Тургенева. — Ю. М.) — лежала целая бездна» (там же, с. 533). Для Данилевского Белинский тоже был авторитетом, даже «кумиром», но влияние Плетнева, профессора С.-Петербургского университета, где он учился, смягчало, как говорит Данилевский, «обвинения» критика. Плетнев убеждал: «...Одаренный гением творчества, родной писатель-сатирик дерзнул глубже взглянуть в собственную свою душу, проверить свои сокровенные помыслы и самостоятельно, никого не спросясь, открыто о том поведать другим...» (там же, с. 436).

Но что вполне сохранилось в Гоголе несмотря на развитие публицистического и учительного элемента, так это восприимчивость и открытость эстетическим впечатлениям. Когда Данилевский сообщил Гоголю о произведениях молодого тогда поэта Ап. Майкова и прочел наизусть отрывки из его поэмы «Савонарола» и лирической драмы «Три смерти» (оба произведения были опубликованы значительно позже), Гоголь пришел в восторг. «Передо мною был счастливый, вдохновенный художник». «Ведь это праздник! Поэзия не умерла. Не оскудел князь от Иуды и вождь от чресл его <...> Да, — продолжал он, прохаживаясь, — я застал богатые всходы...» (там же, с. 439—440).

Второй раз Данилевский встретился с Гоголем 31-го октября в доме Аксаковых. Эстетическое чувство Гоголя выразилось в этот день в уже хорошо знакомой нам форме — в страстном увлечении украинской песней.

Вначале пела Надежда Сергеевна по просьбе Гоголя «Чоботы», потом «Могилу», «Солнце низенько» и другие песни. «Гоголь остался очень доволен пением молодой хозяйки, просил повторять почти каждую песню и был вообще в отличном расположении духа». Потом «спели какую-то украинскую песню даже общим хором». Потом Гоголь на вопрос, какую песню затянул Селифан во 2-м томе поэмы, «ответил с улыбкой, что несомненно Селифан пел и “Чоботы”, и даже при этом лично показал, как Селифан высокоделикатными, кучерскими движениями, вывертом плеча и головы должен был дополнять, среди сельских красавиц, свое “заливисто-фистульное” пение». «Все улыбались, от души радуясь, что знаменитый гость был в духе». А потом... потом «Гоголь вдруг замолк, насупилась, и его хорошее настроение бесследно исчезло» (там же, с. 442—443).

Обычные перепады гоголевского духа, происходившие внезапно и объяснить которые никто не мог.

## ГЕРЦЕНОВСКИЙ ЭПИЗОД

**В**прочем, один из таких случаев контраста легко доступен объяснению. Произошло это еще во время упомянутого выше первого визита Тургенева вместе со Щепкиным к Гоголю. У Николая Васильевича (рассказывает по семейным воспоминаниям внук великого актера Михаил Александрович Щепкин) все время было ровное хорошее настроение, Тургеневу он сказал «несколько любезностей». «Но вдруг побледнел, все лицо его искривилось какою-то злою улыбкой и, обратившись к Тургеневу, он в страшном беспокойстве спросил: “Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?”» (там же, с. 529).

Все объяснялось известием, которое незадолго перед тем (письмо датировано 13 сентября 1851 года) получил Гоголь из Петербурга от своего знакомого М. С. Скуридина: «Парижский префект полиции Карлье прислал к государю императору экземпляр брошюры, изданной Герценым. В ней и о вас, мой муж, отче Николае, речь идет. Бредни этого сумасшедшего не заслуживают вашего внимания, устремленного в горня; но, полагаю, вам будет любопытно, как этот мерзавец о вас говорит — по той причине, что *разглагольствие его до высочайшего сведения дошло*» (Материалы, т. 1, с. 133). Скуридин был близок к высшим петербургским кругам, и он знал, что говорит.

К письму были приложены выписки из вышедшего в Париже в 1847 году французского издания брошюры «О развитии революционных идей в России». Цитаты были расположены таким образом, чтобы резко обозначить перемену, произошедшую с Гоголем. Вначале он беспощадный враг самодержавной России: «Комедия Гоголя “Ревизор”, его роман “Мертвые души” представляют собою ужасную исповедь современной России...». «Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда, вырвавшийся у человека, униженного пошлой жизнью, когда внезапно он видит в зеркале свое оскотинившееся лицо». Нынешний Гоголь — автор «Выбранных мест...» — другой: «он начал защищать то, что прежде разрушал, и кончил тем, что бросился к ногам “благоволения и любви”, его величества». Короче, Гоголь совершил предательство, «...кумир русских читателей возбудил глубочайшее презрение к себе за рабелепную брошюру... В России не прощают отступнику» (там же, с. 136–138).

Сообщение Скуридина нанесло Гоголю тройной удар.

Прежде всего, обвинение исходило от человека, к которому Гоголь проявлял несомненный интерес. Еще будучи за границей, в Остенде, он запрашивал 7 сентября н. ст. 1847 года Анненкова (отзыв о Герцене в письме к А. Иванову): «В письме вашем вы упоминаете, что в Париже находится Герцен. Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди *всех партий* отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая

репутация в нынешнее время. Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непременно, а откуда известите меня, что он делает, что его более занимает и что предметом его наблюдений» (XIII, 385; курсив в оригинале). Познакомиться не удалось: Герцен в Россию так и не возвратился, а за границей пути их не пересеклись.

Отношение Гоголя к Герцену не омрачило и то, что в критике их часто противопоставляли, иногда в пользу одного, иногда — другого. Так, анонимный рецензент «Северной пчелы» писал, что «Кто виноват?» «производит глубокое поэтическое впечатление»; «одна патетическая страница его романа стоит дюжины таких карикатурных сочинений, каковы “Мертвые души” (СП. 1847. № 4. Отд. 6. С. 28–34). В то же время Аполлон Григорьев в письме Гоголю от октября 1848 года, отмечая активную позицию, защищаемую в «Выбранных местах...», видит в романе Герцена идею фатального подчинения человека условиям и обстоятельствам: «Одним словом, человек — раб, и из рабства ему исхода нет» (Григорьев. Материалы, с. 114).

Сдержанно отнесся Гоголь и к памфлету Н. М. Языкова «Ненашим», где в образе «поклонника темных книг и слов» угадывался Герцен. Сдержанно, потому что не одобрял резкости и категоричности полемики с западниками (см. подробнее: Труды и дни, с. 710 и далее). Впрочем, об этом Гоголь открыто скажет Языкову (письмо от 5 апреля н. ст. 1845 г.): «Нельзя назвать всего совершенно у них ложным <...>к несчастью, не совсем без основания их некоторые выводы» (XII, 476).

Принципиально картину не изменило и резко негативное отношение Герцена к «Выбранным местам...», которое он не скрывал. В ноябре 1847 года в Риме Герцен познакомился с Александром Ивановым (возможно, Герцен посетил его студию). «При первом свидании, — рассказывает Герцен, — мы чуть не поссорились. Разговор зашел о “Переписке” Гоголя, Иванов страстно любил автора, я считал эту книгу преступлением» (Герцен, т. 13, с. 326).

Об этом столкновении стало известно Гоголю. В декабре того же года Иванов сообщал Гоголю из Рима в Неаполь: «Здесь Герцен. — Сильно восстает против вашей последней книги. — Жаль, что я сам ее не читал, но то что [ему не нравится] его ужасает, мне кажется очень справедливо» (Известия. Баку, с. 46). И тем не менее и это сообщение Гоголь встретил весьма спокойно: «Герцена я не знаю, — пишет он 14 декабря н. ст. в ответном письме Иванову, — но слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев». Гоголь осуждает в Герцене западнические установки (впрочем, мы знаем, он не принимал и крайности славянофильства), но он по-прежнему его высоко ценит, больше того — Гоголя интересует направление развития Герцена: «Напишите мне, каким он оказался вам, что он делает в Риме, что говорит об искусствах и какого мнения о нынешнем полити-

ческом и гражданском состоянии Рима...» (XIII, 408; напомним, что это было время реформ Пия IX; см. также выше, с. 118).

Почему же именно на герценовскую брошюру Гоголь прореагировал так болезненно, по наблюдениям мемуариста, даже со злостью?

Гоголь при всех несогласиях с западнической партией хотел сохранить перед нею репутацию; к этой партии он относил и Герцена, и Тургенева (неслучайно именно ему излил Гоголь свою досаду), и Анненкова, и, наконец, Белинского, при всем неприятии его радикализма. Цитаты же из герценовской брошюры, присланные Гоголю, представляли его чуть ли не как мракобеса, прислужника властей. Болезненно отозвалось в Гоголе и то, что это обвинение получило европейскую огласку («Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня в *иностранных журналах?*» Брошюра Герцена вышла не только на французском, но и на немецком языке).

Но и в глазах другой, правительственной стороны Гоголь увидел себя выставленным в более чем нежелательном и, с его точки зрения, несправедливом свете. Он вовсе не считал, ни тогда, ни тем более теперь, что в «Ревизоре» или в «Мертвых душах» выступает разрушителем, и ему меньше всего хотелось показаться в глазах императора опасным бунтовщиком, да к тому же еще неблагодарным человеком, не оценившим августейшей милости.

Наконец, глубоко травмировала мысль о нем как о человеке, резко переменявшем взгляды, некоем беспринципном перебежчике («...В России не прощают отступнику»). Отсюда страстное желание доказать постоянство, единство и последовательность своих убеждений, выразившееся в эпизоде, который Тургеневу показался даже комичным: Гоголь принес томик «Арабесок», прочел отрывок из какой-то статьи и заключил: «Вот видите <...> я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, что и теперь! С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве...» (там же, 534).

Существует вариант этого рассказа, записанный П. А. Кулишем со слов М. С. Щепкина: «Разговор с Тургеневым. Французский перевод. Гоголь знал, кто помогал переводчику (Тургенев). “Что я сделал Герцену! Он [срамит] унижает меня перед потомством. Я отдал бы половину жизни, чтоб не издавать этой книги (Переписка)” <...>

— Для Герцена не личность ваша, а то что вы передовой человек, который вдруг сворачивает с своего пути. “Мне досадно, что друзья придали мне политическое значение. Я хотел показать Перепискою, что я не то, и перешел за черту увлекшись”» (Материалы, т. 1, с. 147; публикация Вас. Гиппиуса).

Этот фрагмент добавляет несколько небезынтересных деталей. Во-первых, о возможном участии И. С. Тургенева в переводе герценовской брошюры на французский язык (вероятно, с первого немецкого издания 1850 г.) и о том, что Гоголь это знал и, следовательно, вполне мог

распространить на него свою обиду. Далее то, что книга, согласно Гоголю, была не так понята, что ей приписали политическое значение и что сделали это «друзья», в частности Жуковский («Жуковский такой мягкий человек. Он всякому моему слову придает вес» — там же). И наконец то, что Гоголь глубоко раскаивается в издании книги, считая это своей ошибкой. Ту же мысль Гоголь выразил при встрече с Тургеневым и М. Щепкиным: «Правда, я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою “Переписку с друзьями”. Я бы сжег ее» (Воспоминания, с. 530). Подобное настроение Гоголь обнаруживал и раньше. Как мы уже говорили выше, осенью 1848 года в Петербурге, во время встречи с литераторами, Гоголь, по словам Панаева, «дал почувствовать, что его знаменитые “Письма” были им написаны в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы» (Воспоминания, с. 219). И все же до мысли о «сожжении» книги еще не доходило!

Однако, исходя из общего контекста гоголевских переживаний и мироощущения, все сказанное им не следует понимать буквально. Гоголь не отказывается от воплощенного в книге содержания, от ее идей. Но он полагает, что они еще недостаточно окрепли, сформировались и горе литератору — эту мысль Гоголь подчеркивал неоднократно, — который выдает в свет незрелый плод! И еще то, что сила его по-прежнему заключается в живых образах, в самой художественной плоти и что на такой почве — эту мысль Гоголь тоже высказывал не раз — не так-то легко его можно будет опровергнуть и с ним сразиться. А это значит, что ему ничего не остается другого, как неуклонно и безбоязненно вести к завершению свое главное дело — второй том «Мертвых душ».

## ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

**Т**о, что его творческая сила и художественный вкус не оскудели, Гоголь имел возможность в это трудное для него время продемонстрировать не раз. В частности во время встреч и бесед, вызванных постановкой «Ревизора» на московской сцене.

Спектакль состоялся в Малом театре 22 октября 1851 года<sup>1</sup>. Городничего играл М. С. Щепкин, Осипа — П. М. Садовский, Хлестакова —

---

<sup>1</sup> Дата этого спектакля обычно указывается неточно — 13 октября (XIV, 27; хронологическая канва), 15 октября (ЛН. Т. 58. С. 740). Но согласно «Ведомостям московской городской полиции» (1851. 22 ноября. № 254. С. 1063), спектакль состоялся именно 22 октября. Упомянутый источник впервые указан в кн.: Гриц, с. 469. Ошибка в датировке отмечена и объяснена также И. А. Зайцевой (Гоголь, ак., т. 4, с. 736). Извещение о спектакле «Ревизор», который намечен на 22 октября в Малом театре, сообщали «Ведомости московской городской полиции» от 20 октября (№ 229. С. 964; указано также И. А. Зайцевой).



в первый раз С. В. Шумский. Дебют Шумского и заключал в себе главный интерес спектакля ввиду того места, который занимает этот персонаж не только в действии комедии, но и в гоголевской эстетике вообще, характеризуя некоторые ее коренные, фундаментальные черты.

Накануне спектакля, как подметила В. С. Аксакова, Гоголь расстроился, «оттого что упал подсвечник и сломалась свеча» (ЛН. Т. 58. С. 740), видимо, расценив это как дурную примету. Но в театр все-таки отправился.

Дебют Шумского был оценен рецензентами довольно холодно, ничего нового в его игре не отметили (см. подробнее: Гоголь, ак., т. 4, с. 737). Сдержанно отозвался о Шумском Ап. Григорьев, впрочем, дав понять, что эта сдержанность относительная. «Хлестакову г. Шумского недостает весьма важного качества — отсутствия задней мысли <...> В сцене, когда Хлестаков от пустоты в желудке, а паче того, от пустоты душевной принимается насвистывать арию», в его лице появляется плутовское выражение («плутоватая физиономия»). Однако, добавляет рецензент, он смотрит на Хлестакова-Шумского «безотносительно»; если же сравнивать его «умную, добросовестную игру» с «игрою г. Самарина 1-го или Ленского», то ее следует назвать «превосходною» (Григорьев А., 1985, с. 121).

Но тут важнее, конечно, впечатления самого Гоголя, о которых мы узнаем от людей, присутствовавших вместе с ним на спектакле. Н. В. Берг: «Обыкновенно (как я слышал от его друзей) он [Гоголь] бывал не слишком доволен обстановкой своих пьес и ни одного Хлестакова не признавал вполне разрешившим задачу, Шумского чуть ли не находил он лучшим» (Воспоминания, с. 507). Л. И. Арнольди, находившийся с автором в одной ложе, свидетельствует: «Гоголь говорил, что Шумский лучше всех других актеров петербургских и московских передает эту трудную роль, но не был доволен, сколько я помню, тою сценой, где Хлестаков начинает завираться перед чиновниками. Он находил, что Шумский передавал этот монолог слишком тихо, вяло, с остановками <...> «Хлестаков это — живчик, — говорил Гоголь, — он все должен делать скоро, живо, не рассуждая, почти бессознательно, не думая ни одной минуты, что из этого выйдет, как это кончится и как его слова и действия будут приняты другими» (там же, с. 495).

Таким образом все авторские упреки Шумскому (при том что Гоголь признал исполнение им этой роли наиболее удачной) сводились к одному: не хватало естественности, живой непосредственности, говоря словами А. Григорьева, «отсутствия задней мысли», — и все это подменялось таким нарочитым плутовством. Такова была традиция исполнения этой роли, начиная от Н. О. Дюра в Петербурге и Д. Т. Ленского в Москве, и Шумский хотя несколько и отступил от нее (поэтому Гоголь и считал его лучшим Хлестаковым), но недостаточно решительно. А между тем простодушие Хлестакова, как отмечалось выше, связано с

природой гоголевского комизма, лишённого аффектации, водевильной преднамеренности и окарикатуривания.

Поэтому, по словам И. С. Тургенева, Гоголь объявил ему и М. С. Щепкину, что исполнители «Ревизора» «тон потеряли» и что «он готов им прочесть всю пьесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать» (Воспоминания, с. 534–535).

Чтение состоялось 5 ноября в доме Талызина, но, по словам Данилевского, не в комнате Гоголя, а «во второй комнате квартиры А. П. Толстого, влево от прихожей, которая отделяла эту квартиру от помещения самого Гоголя» (там же, с. 445).

Собралось довольно много слушателей: литераторы — И. С. Тургенев, С. Т. и И. С. Аксаковы, С. П. Шевырев, Г. П. Данилевский, Н. В. Берг; артисты — М. С. Щепкин, П. М. Садовский, С. В. Шумский... (Тургенев предположительно называет еще М. П. Погодина). Но были далеко не все актеры и ни одной актрисы. По наблюдению Тургенева, это огорчило Гоголя: «известно, до какой степени он скупился на подобные милости», т.е. на публичные чтения своих произведений.

Но вот Гоголь «принялся читать — и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно...» (там же, с. 535).

Вспоминая через год об этом событии, Данилевский писал: «Мы и теперь видим перед собою бледное лицо автора, исполненное глубокого юмора, и никогда не забудем впечатления, произведенного на нас этим чтением. Гоголь был великий актер» (С. 1852. Т. 35. Отд. 6. С. 229; без подписи).

Позднее Данилевский подробнее объяснил, как проявился «юмор» Гоголя-чтеца. «Особенно он неподражаемо прочел монологи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчинским. “У вас зуб со свистом”, — произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришептывая при этом, будто и у него свистел зуб. Неудержимый смех слушателей изредка прерывал его <...> Когда он дочитал заключительную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели долго стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои впечатления. Щепкин, отирая слезы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в чем главные силы роли Хлестакова» (Воспоминания, с. 445).

Понятно, почему Щепкин обратился именно к Шумскому: главный урок гоголевского чтения предназначался исполнителю роли Хлестакова.

Картина, нарисованная другим слушателем — Тургеневым, вполне совпадает с предыдущей. «Гоголь <...> поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет — есть ли тут слушатели

и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление <...> С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пьесы): “Пришли, понюхали и пошли прочь!” — Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия».

Отметил Тургенев и, так сказать, педагогическую направленность представления Гоголем сцены вранья: «Ему хотелось показать исполнявшему роль Ивана Александровича [т.е. Шумскому], как должно передавать это действительно затруднительное место <...> Хлестаков увлечен и странностию своего поведения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет — и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга — это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого “подхватило”» (там же, с. 535–536)<sup>1</sup>.

Все это имело место незадолго до резкого обострения гоголевской болезни, за каких-нибудь пять месяцев до кончины. Но никаких моральных сентенций и аллегорических истолкований в духе «Развязки Ревизора» Гоголь не делал. Он просто «играл» «Ревизора», увлеченно, самозабвенно отдаваясь своему художническому порыву, своему еще сохранявшемуся комедийному дару.

## ВСТРЕЧИ В КОНЦЕ ГОДА

**В** конце 1851 года, осенью и ранней зимой, Гоголь имел в Москве еще несколько встреч, в которых, по обыкновению, проявились различные стороны его характера.

Например, он посетил М. Н. Загоскина, с которым познакомился еще в первый свой приезд в Москву в 1832 году. Творчески они не были близки; по свидетельству С. Т. Аксакова, Загоскин резко осудил комическую манеру «Женитьбы», а заодно «взбесился и на эпитафю к “Ревизору”», приняв его на свой счет: «да где же у меня рожа крива?» (см.: Труды и дни, с. 652). Но в общем отношения их были ровно-благожелательные. По преданию, «Выбранные места...» Загоскин встретил вос-

---

<sup>1</sup> Тургенев в весьма неприглядном свете рисует поведение в этот день «одного “необыкновенно назойливого литератора” (Г. П. Данилевского?), который явился во время чтений непрошенным гостем, чем весьма смутил Гоголя, а затем “простер свою нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет”» (Воспоминания, с. 536). Однако Данилевский в своих воспоминаниях, не полемизируя по этому поводу с Тургеневым, утверждает, что на чтение он пришел «по желанию Гоголя» и затем, по его просьбе, задержался: Гоголь передал ему пакет с деньгами для Плетнева для раздачи бедным студентам (там же, с. 446–447).

торженно и говорил «в 1847 году, что он готов нарочно поехать в Италию обнять автора» (Шенрок, т. 4, с. 801). Своим нынешним визитом к Загоскину Гоголь словно хотел эти отношения упрочить.

Прихода Гоголя, судя по всему, не ждали. Жена Загоскина лежала с тяжелой болезнью, семья собралась обедать, как вдруг «раздался в передней звонок и вслед затем без доклада, — рассказывает С. М. Загоскин, сын писателя, — вошел в столовую человек средних лет, небольшого роста, худой, с длинными волосами и острым, крючковатым носом. Вид его был болезненный, угрюмый и мрачный. То был Николай Васильевич Гоголь. Поцеловавшись с отцом и кивнув нам головой, Гоголь отказался от сделанного ему приглашения с нами отобедать и сел около батюшки. Хотя я прежде видал Николая Васильевича, но всегда издали, а потому был несказанно рад, что наконец судьба дала мне возможность насладиться лицеизрением любимого мною писателя и послушать его умные речи... увы, на этот раз мне пришлось разочароваться! Гоголь смотрел исподлобья, упорно молчал, отвечая на все вопросы лишь словами: да и нет. Помолчав и просидев не более четверти часа, он встал, снова поцеловался с отцом, кивнул нам головой и удалился медленными шагами. Отец, очень любивший и уважавший Николая Васильевича, но давно не выдавший его, нашел в нем большую перемену, как в физическом, так и в нравственном отношении и, вместе с тем пришел к убеждению, что наш великий писатель несомненно должен быть серьезно болен. Это свидание Гоголя с моим отцом было последним в их жизни, так как отец никуда не выезжал, а Гоголь более не посещал его и скончался в феврале следующего года» (ИВ. 1900. Т. 79. С. 929–930).

Около того же времени, в конце декабря Гоголь был в гостях у генерала С. Ф. Фон-Брина, начальника штаба находившихся в Москве войск. Подробности и мотивы этого посещения неясны; возможно, Гоголя привлекала возможность встретиться в доме Фон-Брина с художниками М. И. Железновым и А. Ф. Чернышевым.

Железнов рассказывает в своих воспоминаниях, что «какой-то полковник», «товарищ Гоголя по лицу» сообщил, что «Гоголь обещался приехать к обеду, если будет хорошо себя чувствовать, а потом, обратясь к Чернышеву, присовокупил: “Алексей Филиппович, если Гоголь, паче чаяния, к обеду не явится, то сегодня вечером попросите Мокрицкого [известного художника, соученика Гоголя по нежинской Гимназии высших наук; см. о нем: Труды и дни, с. 260 и т.д.] <...> передать ему, что место, которое он желает получить при детях наследника, уже занято и что ему нельзя получить этого места”» (ЖО. 1898. № 32. С. 643).

Реплика, свидетельствующая, между прочим, о том, насколько широко распространился слух, будто бы Гоголь, издавая «Выбранные места...», рассчитывал получить выгодное место (ср. в зальцбруннском письме Белинского: «...распространился в Петербурге слух, будто Вы напи-

сали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника» — Белинский, т. 10, с. 217).

Но «Чернышеву, — продолжает мемуарист, — не было нужды передавать Мокрицкому слова полковника, потому что Гоголь сдержал слово и к четырем часам приехал к Фон-Брину».

Тут-то, возможно, обнаружился главный мотив визита Гоголя. Дело в том, что Железнов сопровождал Карла Брюллова в 1849 году в поездке в Италию и на Мадейру, и писателя интересовали новости, касающиеся художника. Так, «Гоголь осведомился, не утратил ли Карл Павлович в болезни способность сочно выражаться». И пояснил свой вопрос: «Один из наших хороших живописцев, которого я не назову, при мне показывал Брюллову свою картину и просил его сказать о ней свое мнение <...> Брюллов долго отделивался от замечаний и говорил: “Что же вам сказать? Картина, по-моему, право хороша <...> Ну если вы непременно хотите замечаний, то знайте, что всю вашу картину, от одного конца до другого, надо было бы потрогать Паганиниевым смычком”» (ЖО. 1898. № 32. С. 262). Острота, достойная и самого Гоголя...

Известно еще о нескольких встречах Гоголя, имевших место в самом конце года. 13 декабря он был вместе с Шевыревым у Кошелевых, на так называемом «мужском вечере». Приехал сюда и Д. Н. Свербеев, но уже не застал Гоголя. Но несколько позже, 21 декабря, Свербеев принимал Гоголя у себя дома; здесь же были Скарятин и А. М. Языков, брат поэта. Вozил Свербеев к Гоголю (а также к Чаадаеву) Сашу Щербатова, с которым писатель был знаком еще по Одессе. «Гоголь удивил меня своей пронизательностью, — писал Свербеев 14 декабря Е. А. Свербеевой. — Советовал Саше, когда он будет в Петербурге, еще более беречь здоровье, нежели деньги, а он таков, что может промотать и то и другое...» (ЛН. Т. 58. С. 742).

В конце 1851 года произошла и последняя встреча Гоголя с Анненковым (мемуарист описывает ее под рубрикой «Осень 1851 года в Москве»). Гоголь охотно и даже с удовольствием ответил на вопрос Анненкова о завершении 2-го тома поэмы («...отвечал довольным и многозначительным голосом: “Да... вот попробуем!”»); в то же время спокойно, чуть ли не с оттенком одобрения отозвался о репрессивных мерах правительства — имела в виду, очевидно, расправа над петрашевцами («...о ссылках и других мерах отзывался даже как о вещах, которые по мягкости исполнения, были отчасти любезностями и милостями по отношению ко многим осужденным»). И в завершение встречи, — говорит Анненков, — «подходя к дому Толстого на возвратном пути и прощаясь с ним, я услышал от него трогательную просьбу сберечь о нем доброе мнение и поратовать о том же между партией, “к которой принадлежите”» (Анненков, 1983, с. 534–535).

Просьба была в стиле Гоголя: и в «герценовском эпизоде» и, еще раньше, в реакции на стихотворные памфлеты Языкова он старался по

возможности сохранить позицию «над схваткой», во всяком случае, сохранить связи и с западнической партией.

Возможно, именно во время этой встречи речь зашла о Пушкине, о чем Анненков упомянул в другом месте: «Таково было обаяние личности Пушкина, что когда за три месяца до смерти Гоголя я напомнил ему о Пушкине, то мог видеть, как переменялась, просветлела и оживилась его физиономия» (Анненков, 1984, с. 332).

Верность памяти Пушкина — это тоже был определенный знак: при всей установке на публицистическое, учительное, прямое слово Гоголь стремился сохранить верность эстетическому, художественному началу<sup>1</sup>.

Зимой 1851 года, т.е. практически до наступления года Нового, Гоголя довольно часто по утрам навещал Л. И. Арнольди и «заставал его почти всегда за работою». Однажды Арнольди встретил у Гоголя необычного визитера — некоего итальянца, с которым Николай Васильевич «говорил довольно свободно, но с ужасным выговором <...>. Этот итальянец был очень беден и несчастлив, и Гоголь помогал ему и принимал в нем живое участие».

В последний раз Арнольди посетил Гоголя в Новый год (следующий визит пришелся на февраль нового года, когда писатель был уже тяжело болен). В этот раз Николай Васильевич выглядел «немного грустным», но далеко не безучастным к происходящему — «расспрашивал меня очень долго о здоровье сестры [А. О. Смирновой], говорил, что имеет намерение ехать в Петербург, когда окончится новое издание его сочинений и когда выйдет в свет второй том “Мертвых душ” <...> Потом тут же при мне взял почтовый лист бумаги и написал сестре несколько поздравительных слов...» (Воспоминания, с. 495—496). Письмо это сохранилось (см.: XIV, 267) и подтверждает то, что все описанное Арнольди имело место действительно в Новый год.

## 1852-й год

**Н**ачало года Гоголь проводит под знаком упорного труда. Льву Арнольди, во время только что упомянутой встречи, писатель сказал, что второй том «совершенно окончен» (Воспоминания, с. 496). Надо думать, «окончен» в относительном, гоголевском понимании этого слова, когда поправки и дополнения вносились до последней возможности.

---

<sup>1</sup> Анненков упоминает еще одну, последнюю встречу с Гоголем, «видимо, направлявшимся в соборы к вечерне, на которую благовестили». Гоголь якобы желал «отклонить всякое подозрение о цели своей дороги» и поэтому сказал Анненкову «с находчивостью лукавого малоросса»: «А я к вам шел, да, видно, не вовремя, прощайте». Анненков заключает: «Бедный страдалец!» (Анненков, 1983, с. 535).

Гоголь трудится над рукописью, как «поденщик». «Мы все здесь поденщики, обязанные работать и работать и глядеть вверх: там плата, — пишет он Вяземскому 1 января. — Без этого удел наш — болезни, хандра, тоска и миллион искушений от лукавого, который так и ждет минуты нашего уныния» (XIV, 266; курсив в оригинале). Гоголь и борется с унынием с помощью работы, а также тем, что врачует других — шлет им советы, как преодолевать «искушения». И в данном случае обращение к Вяземскому, видимо, было вызвано известием об овладевшей им ипохондрией (см. письмо Плетнева от 23 июля 1851 г. — РВ. 1890. № 11. С. 67).

И к Смирновой в тот же новогодний день, 1 января, Гоголь обращается с подобным же советом: «Займитесь делом, как бы вы ни были вовсе больны: сила его ведь в немощи совершается» (XIV, 267; Гоголь цитирует: П Кор. 12, 9).

Помимо «Мертвых душ» Гоголь продолжает работу над подготовкой Собрания сочинений.

4 января И. С. Аксаков сообщает И. С. Тургеневу, что «Гоголь постоянно и много работает и печатает второе издание своих сочинений с прибавкою и 5-го, *нового* тома» (РО, 1894, № 8, с. 461; курсив в оригинале).

За девять дней до масляной (4 февраля), т.е. около 25 января, Гоголя посетил О. М. Бодянский и нашел «его еще полным энергической деятельности». «Чем это вы занимаетесь, Николай Васильевич?» — спросил он [Бодянский], заметив, что перед Гоголем лежала чистая бумага и два очищенных пера, из которых одно было в чернильнице. «Да вот мараю все свое, — отвечал Гоголь, — да просматриваю корректуру набело своих сочинений, которые издаю теперь вновь» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 592). «Свое» — это, очевидно, второй том поэмы, который Гоголь не переставал совершенствовать.

Правда, примерно в те же дни Гоголь жалуется С. Т. Аксакову: «Дело мое идет крайне тупо. Время так быстро летит, что ничего почти не успеваешь. Вся надежда моя на Бога, который один может ускорить мое медленно движущееся вдохновение» (XIV, 267).

Но посреди спешных дел Гоголь находит время — 9 января — посетить театр по случаю бенефиса Щепкина. На сцене Большого было представлено несколько пьес: «Беда от сердца и горе от ума», «Вести, или убитый живой», «Письмо без адреса», «Гаррик во Франции», а также интермедия «Артисты между собой» (Мвед. 1852. № 4. 8 января; указано Л. Ланским: ЛН. Т. 58. С. 743). Встретивший его на этом спектакле Н. А. Рамазанов писал на следующий день А. А. Иванову: «...Николай Васильевич здрав, но крайне задумчив и скучен...» (ЛН. Т. 58. С. 742).

Все же Гоголь продолжает интересоваться и другими театральными делами. Врач А. Т. Тарасенков, познакомившийся с Гоголем в самом начале 1852 года, видел, как к писателю приходил Дмитрий Васильевич Живокини (ум. 1890), сын знаменитого В. И. Живокини. Живокини-

младший «в этот же вечер должен был в первый раз исполнять роль Анучкина» и «(вероятно, по совету Гоголя) выполнил эту роль проще, естественнее, нежели она была выполнена прежде, и, главное, без кривляния и фарсов, т.е. так, как Гоголь желал...» «По всему видно, — заключает мемуарист, — что Гоголь в это время еще был занят и своими творениями, и всем житейским; а это случилось не более, как за месяц до его смерти» (Тарасенков, с. 176).

Гоголь трудился, отдавался «всему житейскому», но в глубине души не утихала тревога и дурные предчувствия. В ночь на Новый, 1852 год, поднимаясь с первого этажа, где он жил, на второй к А. П. Толстому, Гоголь неожиданно встретил выходящего от графа известного врача Федора Петровича Гааза (1780—1853). «Гааз ломанным русским языком старался ему сказать свое приветствие и между прочим, думая выразить известную мысль одного писателя, сказал, что он желает ему такого *нового года*, который бы даровал ему *вечный год*» (Шенрок, т. 4, с. 850; курсив в оригинале; см. также: Тарасенков, с. 178). Это пожелание невольно прозвучало в тон той реплики, которою совсем недавно напутствовал Гоголя в Оптиной пустыне отец Макарий, реплики, в которой тот почувствовал зловещий смысл («...Отчего вы, прощаясь со мной, сказали: *в последний раз?*»). Во всяком случае, «присутствовавший (возможно, А. П. Толстой. — Ю. М.) тут же заметил, что эти слова (Гааза. — Ю. М.) произвели на Гоголя невыгодное впечатление и как бы поселили уныние...» (Шенрок, там же).

Дурные предчувствия вскоре начали сбываться. В середине января или раньше тяжело заболела жена Хомякова Екатерина Михайловна, сестра Николая Михайловича Языкова, скончавшегося пятью годам ранее. Хомякова, так же как и ее брат, были душевно близки Гоголю. Николай Васильевич часто навещал больную, а «когда она была уже в опасности, — свидетельствует Тарасенков, — при нем спросили у доктора Альфонского, в каком положении он ее находит», и тот «отвечал вопросом: “Надеюсь, что ей не давали каломель, который может ее погубить?” Но Гоголю было известно, что каломель уже был дан. Он вбегает к графу и бранным голосом говорит: «Все кончено, она погибнет, ей дали ядовитое лекарство!» (Воспоминания, с. 514).

26 января Екатерина Михайловна умерла — ей было всего 35 лет и она оставила семерых маленьких детей. Это события потрясло Гоголя. По свидетельству Хомякова, «он сказал, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всюю душою, особенно же Языков» (Хомяков, т. 8, с. 200). Гоголь пытается примириться с утратой со своей, христианской точки зрения. У гроба покойной он сказал: «Ничто не может быть торжественнее смерти <...> жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 594). Но самовнушение не помогало — оно «не спасло его сердце от рокового потрясения:



он почувствовал, что болен тою самую болезнью, от которой умер отец его — именно, что на него “нашел страх смерти”...» (там же).

На панихиде Гоголь сказал: «Все для меня кончено!» С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве...» (Хомяков, т. 8, с. 200). Гоголь едва выдержал до конца панихиды. На другой день, зайдя к Аксаковым, Гоголь объяснил, «что это его очень расстроило». Потом, — сообщает Вера Сергеевна матери Гоголя, — «задумался так, что нам страшно стало: он, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался в том же положении так долго, что мы нарочно заговорили о другом, чтоб прерывать его мысли» (Аксаков С., с. 242).

На похороны Хомяковой, состоявшиеся 29 января, Гоголь не пошел. Аксаковым на следующий день объяснил, «что слишком был расстроен». В тот же день утром, до посещения Аксаковых, Гоголь один отслужил панихиду по Екатерине Михайловне, помянув «вместе всех близких, прежде отошедших; и она [рассказывала В. С. Аксакова со слов Гоголя] как будто в благодарность привела их всех так живо перед меня. Мне стало легче...» (там же, с. 242–243).

Однако Гоголь прибавил: «Но страшна минута смерти». «Почему же страшна?» — сказал кто-то из присутствовавших. — «Только быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать (о смерти)». — «Ну, об этом надо спросить тех, кто перешел через эту минуту», — сказал он [Гоголь]» (там же, с. 243). Гоголя страшил — и это с давних лет — сам момент перехода рубежа, а затем, конечно, и Страшный суд.

Все же, как подметила Вера Сергеевна, после того как Гоголь отслужил одну панихиду и увидел в воображении умерших близких людей, «он сделался спокоен, как-то светел духом, почти весел». Таким его видели несколько дней, вплоть до субботы, на которую приходилось срежение. Это подтверждает и Шевырев (в письме М. Н. Синельниковой): «За неделю до масленицы Гоголь казался совершенно здоровым, бодрым. В течение всей зимы я радовался за него, что он хорошо выносит московскую зиму, которой боялся. Нередко обедал он у нас, после обеда занимался он у нас чтением корректур первого и второго тома своих сочинений, в которых он выправлял слог, а я правил по диктовку его <...> В последний раз занимались мы с ним этим делом в четверг перед масленицей (31 января)» (РС. 1902. Май. С. 440).

Но потом вновь начались колебания в самочувствии и настроении Гоголя. В понедельник на масленой он показался окружающим несколько утомленным и сказал, что «чувствовал какой-то холод ночью». Все решили, что это нервное и не страшно, и Гоголь с этим согласился. В среду навестившим его Гоголь сказал, что «не совсем хорошо себя чувствует». Поскольку он не появлялся у Аксаковых несколько дней, Вера Сергеевна «написала записочку, чтоб узнать об его здоровье: велели ска-

зять, что не в состоянии отвечать». Но на другой день Гоголю стало «лучше» (Аксаков С., с. 244). И так повторялось много раз.

В начале 1852 года произошло несколько встреч с Щепкиным. Одна — во время страстной недели. «[П. В.] Нащокин и Щепкин позвали Гоголя на блины в пятницу в трактир Бубнова. Когда они за ним пришли, он на отрез отказался. Щепкин начал кошунствовать. Он его взял за ушко: “Ты когда-нибудь будешь за эти слова раскаиваться, смотри, чтобы не было поздно”» (Смирнова, 1989, с. 67).

Щепкин не один раз «искушал» Гоголя. Как-то увидя Гоголя «в хандре и желая его развеселить, рассказал ему много смешного; и когда тот оживился, он напомнил, что у него нынче отличнейшие блины, самая лучшая икра и т.д., распisał ему обед так, что у Гоголя, как говорится, слюнки потекли. Гоголь обещался приехать; условились во времени; но он приехал к Щепкину за час до обеда и, не застав его, приказал сказать, что извиняется и обедать не будет оттого, что вспомнил о прежде данном обещании обедать в другом месте. От Щепкина он возвратился домой и обедать не поехал никуда. Это, кажется, было его последнее свидание с ним. Спустя несколько дней он велел уже отказывать всем своим знакомым — и ему [т.е. Щепкину]!» (Тарасенков, с. 180).

Существует и другая версия последнего свидания Гоголя с Щепкиным. Она записана Ф. Буслаевым со слов Щепкина уже после смерти писателя (19 марта 1852 г.): «Как-то недавно прихожу к Гоголю, — рассказывал Щепкин. — Он сидит, пишет что-то. Кругом на столе разложены книги, все религиозного содержания.

— Неужели все это вы прочли? — спрашиваю я.

— Все это надо читать, — отвечал он.

— Зачем же надо? — Говорю я: — так много всего написано для спасения души, а ничего не сказано нового, чего не было бы в Евангелии. А я, признаюсь, думаю, что всего этого написано слишком много — запутанно.

Тут Гоголь принужденно улыбнулся, сказавши что-то в роде: Какой шутник!

А я продолжал: Я и заповеди для себя сократил, всего на две: люби Бога и люби ближнего, как самого себя.

Потом, продолжал Щепкин, я рассказал Гоголю следующий случай: Ехал я из Харькова, в то время как были открыты мощи Митрофания. Дай, думаю, заеду в Воронеж, не из набожности, а так — хотелось видеть, что может сделать вера человека. Приезжаю в Воронеж. Утро было восхитительное. Я пошел в церковь. По дороге попался мне мужик с ведром; в ведре что-то бьется. Смотрю, стерлядь! Думаю себе: Митрофан еще подождет! Сторговал, купил рыбу и снес домой. Потом пошел в церковь. Дорогою так восхитился природой, как никогда не запомню. Было чудесное утро! Прихожу в церковь. Народу множество, и такая преданность, такая вера, что я и сам умилился до слез и сам стал мо-

литься: “Господи, Боже мой! Весь этот народ пришел Тебя молить о своих нуждах, бедах и болезнях. Только я один ничего у Тебя не прошу — и молюсь слезно! Неужели тебе нужны, Господи, наши лишения? Ты дал нам, Господи, прекрасную природу, и я наслаждаюсь ей и благодарю Тебя, Господи, от всей души”.

“Тогда, — присовокупил Михаил Семенович, — Гоголь вскочил и обнял меня, воскликнув: Оставайтесь всегда таким”» (Буслаев, 1886, с. 237–238; по свидетельству Щепкина, этот разговор имел место «за три недели до смерти Гоголя» — Шенрок, т. 4, с. 806).

Гоголевский жест был одновременно и знаком примирения, и, что ли, согласия с Щепкиным в том, что главное для христианина — любовь, а не верность ритуалу.

## ГОГОЛЬ И МАТВЕЙ КОНСТАНТИНОВСКИЙ

**П**осле 26 января в Москву из Ржева приехал Матвей Константиновский, с которым А. П. Толстой познакомил Гоголя еще до выхода «Выбранных мест...» и с которым у писателя по поводу этой книги возник заочный спор (см. наст. книгу, с. 70). Теперь ржевскому протоиерею довелось сыграть видную роль в финале гоголевской судьбы.

Роль эта оценивается двояко. Одна точка зрения представлена Д. С. Мережковским. По мнению Мочульского, Мережковский «изображает отца Матвея мрачным аскетом-изувером, внушившим писателю мысль об уничтожении “Мертвых душ” и тем убившим сначала его душу, а потом и тело» (Мочульский, с. 119; курсив в оригинале). Сам Мережковский, однако, не столь резок, хотя вывод его в общем негативный: о. Матвей, воплощавший «непотрясаемую крепость, каменный кряж православия», содействовал отвращению Гоголя от мира и от писательского дела: «Жить в Боге значит жить вне самого тела»; святость значит бестелесность, бесплотность; плоть значит грех; дух противоплагается плоти <...> Отсюда вывод: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей...» (Мережковский, с. 293; курсив в оригинале).

Согласно же Мочульскому, воздействие Матвея Константиновского на Гоголя в последний период жизни писателя было благотворным, чуть ли не спасительным. «Он стал влиять на Гоголя, стараясь приблизить его к евангельскому идеалу и углубить его внутреннюю жизнь. В момент религиозного кризиса Гоголь обратился именно к о. Матвею, признавшись ему, что теряет веру; о. Матвей своими наставлениями и молитвами помог Гоголю пережить кризис» (Мочульский, с. 123).

Обращаясь к реальному облику о. Матвея, мы отчетливо видим, что современники отмечали в нем два начала. Прежде всего беспредельную

набожность, строжайшую верность всем правилам и узаконениям, которые он считал высшими предписаниями. «Вообще время проводил [он] так: встав в 3 часа утра, он отправлялся к утрени и с первым ударом колокола был уже в церкви. Оттуда возвращался в 10, в 11 или даже в 12 часов, отслужив или отслушав утреню и литургию. Если дома не было посетителей, он на несколько минут засыпал сидя. Спустя час после литургии, садился за скромный обед. После обеда читал книгу или чем-нибудь другим занимался, потом отправлялся к вечерне. Вечером опять что-нибудь читал, либо занимался с посетителями, либо с домашними; в 6 часов немного закусывал, в 9 часов становился на молитву, а в 10 часов ложился спать. В 12 часов просыпался и опять становился на молитву и потом до 3 часов спал» (Грешишев, с. 276).

Столь же строг был о. Матвей в выборе пищи. Едва получив диаконский чин, он отказался от мясной пищи и не употреблял ее до самой смерти. Рыбные блюда ел редко, а в среду и пятницу — никогда. Особенно строго соблюдал он посты (см.: Грешишев, с. 250). Константиновский «ел очень мало, не только строго соблюдал постные дни, но даже не благословлял стола в среду и пятницу прежде, нежели удостоверится, что нет ничего скоромного...» (Тарасенков, с. 179).

Упорство и бесстрашие его в выполнении своего долга были безграничны. Предание сохранило эпизод, о котором поведал бывший письмоводитель о. Матвея о. Э Ви-й: «Когда по доносу о том, будто он смущал народ своими проповедями, его вызвали к тверскому архиерею, и тот стал кричать на него, грозя упрятать его в острог, о. Матвей отрицательно закачал головой: “Не верю, ваше преосвященство”. — “Как ты смеешь так отвечать?” — загремел владыка. “Да, не верю, ваше преосвященство, потому что это слишком большое счастье пострадать за Христа. Я не достоин такой чести”. Эти слова так озадачили владыку, что он с тех пор оставил о. Матвея в покое» (Щеглов, 1901).

Такой же самоотдачи о. Матвей требовал от других. К некоему Ф. С-чу, торговцу, о. Матвей обращается с увещанием: «Ты лишился двух жен. Я не думаю, чтоб счастлив был получивши и третью жену.. Ты лишился второй жены, — что значит, они тебе, должно быть, не нужны. Ты пишешь, что тебе без жены жить трудно, — а кому же легко было достигать царствия небесного? <...> Тебе также и то известно, как умерщвляют страсти: поменьше да пореже ешь, не лакомясь, чай-то оставь, а кушай холодненькую водицу, да и то, когда захочется, с хлебом; меньше спи, меньше говори, а больше трудись» (ДБ. 1861. Вып. 49. С. 958–960).

И вместе с тем Матвей Константиновский порою бывал совершенно простым, располагающим к себе человеком. «...Он был невысок ростом, немножко сутоловат; у него были серые, нисколько не красивые и даже не особенно привлекательные глаза, реденькие, немножко вьющиеся светло-русые (к старости, конечно, с проседью) волосы, доволь-

но широкий нос; одним словом, по наружности и по внешним приемам он был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьян села Езьска или Диева (в селах Диево и Езьско Бежецкого уезда Константиновский одно время занимал должность священника. — Ю. М.) отличал только покроем его одежды. Правда, во время проповеди, весьма прочувствованной и весьма часто восторженной, а также при совершении литургических действий лицо его озарялось и светлело, но это были преходящие последствия внезапного восхищения, по миновании коих наружность его принимала свой обычный незначительный вид» (Филлипов, с. 110).

И это свидетельство подтверждается другими: «Говорят, что о. Матфей был суровый, печальный, строптивый, мрачный фанатик. Ничего такого не было в о. Матфее. Напротив, он всегда был жизнерадостен; мягкая улыбка очень часто виднелась на его кротком лице, никто не слышал от него гневного слова, никогда он не возвышал своего голоса; всегда был ровный, спокойный, самообладающий.<...> Проповедь о. Матфея всегда была импровизированная, на текст дневного евангелия. Простота слова, живая образность поражала слушателя, искреннее убеждение проповедника неотразимо действовало на сердце. Несильный голос его проносился над головами слушателей, и все с затаенным дыханием ловили каждый звук его» (Образцов, с. 136). «Отец Матвей, — вспоминает М. П. Погодин, — говорил о Боге так живо, так наглядно, как бы о близком, знакомом ему человеке, которого он видел вчера, получил от него какие-то указания, чувствует на себе какие-то действия ныне» (Феодор, 1997, с. 333). И еще свидетельство Смирновой-Россет: «Матвей Алек<сандрович> был точно замечательный человек. Кротость и смирение его были ни с чем несравнимы.<...> На все философски-религиозные разговоры он отвечал только одной коротенькой фразой: “Как я рад, что Бог всего выше”. С Гоголем они молились всегда на коленях и часто прибегали к исповеди и причастию» (Смирнова, 1989, с. 67).

Вот эта простота в соединении с неколебимой внутренней убежденностью привлекали к о. Матвею Гоголя. В пору, когда Гоголь сомневался в самом себе, осуждал себя за недостаток веры, он увидел в Константиновском возможность реальной поддержки. Советы о. Матфея были просты и конкретны, что отвечало складу сознания Гоголя (вспомним конкретность его рекомендаций в «Выбранных местах...»), выполнение этих советов обещало душевное успокоение, а значит, и преодоление чувства «богооставленности» — в этом Мочульский прав. Мучительная рефлексия, размышления на сложные богословские темы отодвигались на второй план — нужно было только принять требуемый образ поведения, наглядно и успешно демонстрируемый самим проповедником, т.е. Матвеем Константиновским («О друг мой и самим Богом данный мне исповедник!...» — XIV, 41). Поэтому-то Гоголь готов был признать в

о. Матвее и высшие интеллектуальные достоинства. «Что вам сказать о нем? — писал Гоголь А. П. Толстому еще 25/13 апреля 1848 года. — Помоему, это умнейший человек из всех, каких я доселе знал, и если я спасусь, так это, верно, вследствие его наставлений, если только, нося их перед собой, буду входить больше в их силу» (XIV, 59).

Однако условная интонация гоголевского утверждения («...если только») была неслучайной. Советы о. Матвея были просты, наглядны, конкретны, но категоричны. Следование им давалось нелегко. Особенно если общение происходило не заочно, не путем переписки, но, как сегодня сказали бы, живую, при ежедневном контроле наставника.

Приехав в Москву, о. Матвей имел возможность довольно часто встречаться с Гоголем. Нет никаких оснований не верить свидетельству Тарасенкова, лечившему Гоголя и регулярно посещавшему дом Толстого. К Гоголю о. Матвей обращал «строгие поучения»: «...Он прямо и резко, не взвешивая личности и положения поучаемого, с беспощадной строгостью и резкостью проповедовал истины евангельские и суровые наставления учителей церкви. Основание его наставлений заключалось в том, что строгое выполнение учения православной церкви составляет необходимое условие духовного совершенства для всех, кто поставил целью своей жизни спасение души. Применяя свою речь к предлагаемым вопросам, он объяснил, как ничто земное не должно нас прельщать: если мы охотно делаем *все* для любимого лица, то *в чем* мы можем отказать для Иисуса Христа, сына Божия, умершего за нас? <...> Слабость тела не может нас удерживать от пошениа: какая у нас забота? Для чего нам нужны силы?... Много званых, мало избранных... Путь в царствие Божие тесен... Мы отдадим отчет *за всякое слово праздное* и проч.» (Тарасенков, с. 179; курсив в оригинале). Видно, мягкость и негневливость о. Матвея уживались или могли сменяться жесткой беспощадностью.

«Такие, или подобные речи, — делает вывод Тарасенков, — соединенные с обличением в неправильной жизни, хотя и вызванные самим Гоголем, не могли не действовать на него, вполне преданного религии, восприимчивого и настроенного на мысль о греховности, смерти, вечности» (там же).

И однажды Гоголь не выдержал, — «не владея собой, прервал его речь и сказал ему: “Довольно, оставьте, не могу долее слушать, слишком страшно” ...» (там же, с. 180).

Особенно болезненно воспринималось Гоголем все, что исходило от о. Матвея и касалось его творчества. Заставить себя поститься до полного изнеможения, молиться ночи напролет Гоголь еще мог; но отказаться от своего дела, от своей писательской судьбы было труднее — смертельно трудно. Поэтому реакцию о. Матвея на прочитанные или просмотренные им главы второго тома поэмы он старался переосмыслить или воспринять по-своему (об этом — ниже), как прежде стремил-

ся это сделать в отношении «Выбранных мест...». Между тем у Матвея Константиновского была своя программа переубеждения, как сейчас сказали бы, переориентации Гоголя, и очевидно, известная реплика о Пушкине была произнесена им в этой связи.

«О. Матвей, как духовный отец Гоголя, взявший на себя обязанность очистить совесть Гоголя и приготовить его к христианской непостыдной кончине, потребовал от Гоголя отречения от Пушкина: “отрекись от Пушкина, — потребовал о. Матвей, — он был грешник и язычник...” Что заставило о. Матвея потребовать такого отречения? Он говорил, что “считал необходимым это сделать”. Такое требование прозвучало во время одной из его последних встреч с писателем. Гоголю представлялось прошлое и страшило будущее. Только чистое сердце может зреть Бога, поэтому должно быть устранено все, что заслоняло Бога от неверующего сердца. “Но было и еще...” — прибавил о. Матвей. Но что же еще? Это осталось тайной между духовным отцом и духовным сыном. “Врача не обвиняют, когда он по серьезности болезни прописывает больному сильные лекарства”. Такими словами закончил о. Матвей разговор о Гоголе» (Образцов, с. 137–141).

Мы можем только догадываться, что конкретно представляло собою это «сильное средство». Но, очевидно, оно заключалось в еще более резких словах и угрозах, чем те, которые произносились ранее. На Гоголя это произвело сильнейшее впечатление, возможно, он что-то ответил, во всяком случае между «духовным отцом и духовным сыном» пробежала тень обиды и взаимного недовольствия.

«Во вторник на масленице [т.е. 5 февраля] Гоголь проводил приезжего священника на станцию железной дороги и весьма был огорчен тем, что там обратил на себя всеобщее внимание, многие с ненасытным любопытством преследовали его» (Тарасенков, с. 180). Но, очевидно, огорчение Гоголя отражало и общую, недружественную атмосферу прощания с о. Матвеем. Одна маленькая, но характерная деталь: ввиду холодной погоды Гоголь подумал было предложить о. Матвею свою шубу, но не сделал этого...

Однако уже на следующий день Гоголь отправляет Константиновскому письмо — говорит, что «еще вчера» (т.е. сразу же после проводов) намеревался «просить *извиненья* в том, что *оскорбил* вас», «крепко» благодарит за все, упоминает и эпизод с шубой («...Мне стало только жаль, что я не поменялся с вами шубой. Ваша лучше бы меня грела» — XIV, 271).

В ответном письме от 12 февраля (кстати, единственном сохранившемся из его писем Гоголю) о. Матвей выражает удивление и радость, словно речь идет о раскаявшемся; говорит о своей близости к нему, при этом в его голосе звучат теплые, почти родственные интонации («Христианская ваша ко мне откровенность и благодущие, не ошибусь скажу — сроднили вас со мною»); оценивает эпизод с шубой по благу намерению, пусть и

не выполненному («Господь видел ваше усердие ко мне, и оно уже принято») и главное — поощряет и ободряет Гоголя на пути к благочестию. «Обыкновенно на пути сем встречает многое противоречащее духу Христову. Но побеждать надобно. Где труд, подвиг и победы, там и венец. Не бойтесь <...> Решимость нужна — и тут же все и трудное станет легко, и невозможное по внушению врага, будет весьма возможно». Но при этом о. Матвей вновь напоминает, что совершиться все это может «с условием уклоняться от мира и всего иже в нем». И вновь, хотя и в смягченной форме, пугает, предостерегает от страшного: «Боюсь что-то я за вас — не зборол бы вас общий враг наш» (Весы. 1909. № 4. С. 65).

Как видим, роль, сыгранная о. Матвеем в жизни Гоголя, неоднозначная. Очевидно, что он действительно нейтрализовывал или смягчал гоголевскую рефлексию по поводу недостаточности веры, слабости или искусственности религиозных стремлений, предлагая вполне отчетливые меры духовного совершенствования. Те самым он вносил долю спокойствия и в творческое состояние Гоголя, ибо все в его психике вело или было связано с этим состоянием. В. Розанов назвал о. Матвея Мефистофелем Гоголя: «Без него так же неполон Гоголь, как всякий франкфуртский чернокнижник без черного пуделя, преобразующегося в простого дьявола». Но «гоголевский Мефистофель» не выдвигал соблазнов, не покушался на ортодоксальность, он скорее боролся с первым и отстаивал второе, обнаруживая во всех случаях непоколебимую последовательность и применяя все средства, от участливости, мягкости, располагающей к себе родственности до строгости, а порою жесткости. Поэтому с продолжением данной Розановым характеристики о. Матвея можно согласиться: «О. Матвей своей упрямой “верою” стоявшей на фундаменте неведения и равнодушия, житейского индифферентизма и умственной узости, не только сдвинул гору-Гоголя, но и заставил ее шататься...» (Русское слово. 1907. № 20. 31 августа). И поэтому умиротворение Гоголя оборачивалось тревогой, спокойное приятие мира его отвержением, расположение к творчеству подавлением или угнетением творческих сил.

Врач Тарасенков свидетельствует о переменах в настроении Гоголя, наступивших после отъезда о. Матвея: «Гоголь обложил себя книгами духовного содержания более, нежели прежде <...> С этих пор он бросил литературную работу и всякие другие занятия, стал есть весьма мало <...> Свое пощение он не ограничивал одной пищей, но и сон умерил до чрезмерности; после ночной продолжительной молитвы он вставал рано и шел к заутрени, тогда как до сего времени не выходил со двора, не выпавшись достаточно и не напившись крепкого кофе. Это все не могло не обнаружить на его организм сильного действия» (Тарасенков, с. 180).

Общую же роль о. Матвея в контексте воздействовавших на Гоголя факторов в последние дни его жизни описывает И. А. Ильин в своей цюрихской лекции о Гоголе (13 марта 1944 г.): «Отчаявшийся в своем художе-



ственным даровании, оскорбленный и разочарованный завистливой худой многих тогдашних авторитетов, измученный аскетически-фанатическими советами о. Матвея Константиновского, требовавшего от Гоголя не более и не менее как отречения навсегда от “греховного” духа Пушкина — с ослабленным здоровьем и нервами в результате слишком продолжительной и неумолимой аскезы, покинутый и одинокий, — бедный гениальный мученик свернул крылья и без сопротивления ушел из жизни. Его последние слова были: “Как сладко умирать!”» (Полторацкий, с. 94).

## 6–21 ФЕВРАЛЯ

**О**днако прежде, чем это произошло, Гоголю предстояло прожить еще несколько мучительных дней. Наступившую масленицу он посвятил говенью, причем, по выражению Тарасенкова, «старался сделать более, нежели предписано уставом»: «...Молился весьма много и необыкновенно тепло; от пищи воздерживался до чрезмерности, за обедом употреблял несколько ложек капустного рассола или овсяного супа на воде». Каких-либо угрожающих симптомов Тарасенков в это время еще не видел, — «болезнь выражалась только одной слабостью», что было естественно при таком изнурении. «Несмотря на это ослабление тела, Гоголь продолжал поститься и проводил ночи в молитве; ослабление возрастало со дня на день» (Тарасенков, с. 181).

Чтобы несколько успокоить Гоголя, А. П. Толстой предложил ему причаститься еще до окончания говения. Причащение состоялось в четверг, 7 февраля в церкви Св. Саввы Освященного на Девичьем поле. Гоголь явился туда еще до начала заутрени, чтобы исповедаться у своего духовника Иоанна Никольского; потом перед принятием святых даров пал ниц и долго плакал. Но спокойствия Гоголю это не принесло. «В движениях его заметна была чрезвычайная слабость; он едва держался на ногах. Несмотря на то, вечером он опять приехал к тому же священнику и просил отслужить благодарственный молебен, упрекая себя, что за был исполнить это поутру» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 595).

В тот же день Гоголь заехал к жившему недалеко от храма Погодину, который нашел его «очень расстроенным». Гоголь «остался по-прежнему мрачен, по-прежнему упорен в своих действиях; не хотел в этот день ничего есть, и когда съел просфору, то назвал себя обжорой, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно» (Тарасенков, с. 181).

Но из дома Гоголь еще выходил. В субботу 9 февраля он посещает Хомякова и, словно прощаясь, ласкает его маленького сына, своего крестника (Барсуков, т. 11, с. 536).

В те же дни (когда точно — неизвестно) Гоголь на извозчике принял загадочную поездку в Преображенскую больницу, где содержался

известный в Москве юродивый Иван Яковлевич Корейша. Перед этим посмотреть на Ивана Яковлевича ездил Погодин, который нашел, что тот представляет собою «примечательное явление». Погодину показалось, что Корейша «говорил нечто и на мой [т.е. Погодина] счет, впрочем неясно» (Барсуков, т. 10, с. 319), и уточнять Погодин не стал. Впрочем, рассказал о своей поездке Гоголю, и тот решил последовать его примеру.

«Подъехав к воротам больничного дома, он [Гоголь] слез с санок, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой» (Тарасенков, с. 181–182). Точная цель этой поездки так и осталась не известна. Не привлекало ли Гоголя традиционно связанное с юродивым ощущение провиденциальности, возможности соприкоснуться с тайной своего будущего? Ведь, по свидетельству Тарасенкова, Корейшу «весьма многие навешают», «испрашивают у него советов в трудных обстоятельствах жизни, берегут его письменные замечания» (там же, с. 182). Во всяком случае, свое намерение Гоголь до конца не довел и не обнаружил<sup>1</sup>.

В масляную неделю (точная дата также не неизвестна) Гоголь пишет письмо матери, оказавшееся последним. Сообщает, что не может «приняться ни за труды, как следует, ни за обычные дела, которые оттого приостановились», и просит об одном: «Молитесь и обо мне, молитесь и о себе вместе. О, как нужны нам молитвы ваши!» (XIV, 271–272).

В ночь с пятницы на субботу, с 8 на 9 февраля, с Гоголем произошло «что-то необыкновенное»: проснувшись среди ночи, он велел привести к нему приходского священника и «объяснил ему, что не довольствуется недавним причащением, и просил тотчас же опять причастить и соборовать себя, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя уже умирающим. Священник, видя его на ногах и не заметив в нем ничего опасного, уговорил его отложить исполнение таинств до другого времени» (Тарасенков, с. 182–183), да и сам Гоголь, по-видимому, успокоился (в этот день, 9-го, он счел возможным посетить Хомякова, о чем упоминалось выше). Однако подспудно Гоголь «не прерывал размышлений, глубоко его потрясавших» (там же, с. 183), — размышлений о наступающей смерти.

---

<sup>1</sup> Психиатр Н. Н. Баженов полагал: «Вполне возможно, что Гоголь, как это характерно для больных его типа, почуяв грозящую его жизни катастрофу, бросился за помощью туда, но в столь же характерной для его страдания нерешительности остановился перед воротами больницы» (Баженов, с. 7–8). Это мнение формулирует и Ирина Сироткина: «... Тайственная поездка объяснялась желанием Гоголя проконсультироваться с врачом этого единственного в то время в Москве общественного заведения для душевнобольных» (Сироткина, с. 28). Однако намерение Гоголя получить подобную «консультацию» ничем не подтверждается.

И вот на следующий день, 10 февраля, Гоголь обращается к Толстому с просьбой — по смерти его передать его рукописи (очевидно, прежде всего 2-го тома «Мертвых душ») московскому митрополиту Филарету с тем, чтобы тот решил: что нужно печатать, а что оставить не напечатанным. Но Толстой отказался это сделать, «чтоб не показать больному, что и другие считают его положение безнадежным» (Кулиш, 1854, с. 194).

И тогда Гоголь решил распорядиться по-своему.

Случилось это на другой день, в ночь с 11 на 12 февраля. Единственным свидетелем произошедшего был слуга Гоголя Семен, который впоследствии рассказывал обо всем другим лицам — Тарасенкову, Бергу, Погодину. Их сообщения в главном совпадают. Приведем рассказ Погодина:

«Ночью во вторник он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчику и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. “Свежо”, — отвечал тот. “Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться”. И он пошел с свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришел, велел открыть, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку.. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: “Барин, что вы это, перестаньте!” — “Не твое дело”, — отвечал он, молясь. Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал, после того как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчику, лег на диван и заплакал...» (М. 1852. № 5. С. 49).

С этого времени настроение Гоголя стало еще мрачнее; он никого к себе не пускал или пускал на несколько минут, отказывался от пищи, отказывался принимать лекарства. Думал о надвигающейся смерти и дрожащей рукой писал на клочках бумаги наставления самому себе: «Как поступить, чтобы вечно, признательно и благодарно помнить в сердце полученный урок?»; «Если не будете малы, не внидите в Царствие Божие».

И еще: «Помилуй, Господи, меня грешного! Свяжи сатану вновь...» (Тарасенков, с. 196). Так Гоголь отзывался на грозное предостережение Матвея Константиновского: «Боюсь я что-то за вас — не зборовал бы вас общий враг наш...»

Хомякову, попытавшемуся хоть немного ободрить Гоголя, тот сказал: «...*Надобно же умирать, а я уже готов, и умру...*» И Толстому, попробовавшему отвлечь Гоголя житейскими предметами, которые прежде его занимали, сказал «с благоговейным изумлением: «Что это вы говорите! Мне ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!» (Тарасенков, с. 184; курсив в оригинале).

В один из последних дней Гоголя его навещает Арнольди. Врачей не было, все они после консультации отправились на второй этаж в кабинет Толстого, и Арнольди почти беспрепятственно прошел к Гоголю. Теперь он помешался не в комнате направо от входной двери, а в другой, что налево, в том же первом этаже.

В последний раз Арнольди виделся с Гоголем в Новый год, когда писатель сообщил ему, что второй том поэмы «совершенно окончен». А до этого были другие встречи — на представлении «Ревизора» в Малом театре, в доме сестры Арнольди Смирновой и т.д.

Перемена в Гоголе поразила Арнольди. Он лежал «с закрытыми глазами, худой, бледный»; «длинные волосы его были спутаны и падали в беспорядке на лицо и на глаза; он иногда вздыхал тяжело, шептал какую-то молитву и по временам бросал мутный взор на икону, стоявшую у ног на постели, прямо против больного. В углу, в кресле, вероятно утомленный долгими бессонными ночами, спал его слуга, мало-россиянин [Семен]».

Арнольди продолжает: «Долго стоял я перед Гоголем, вглядывался в лицо его и, не зная отчего, почувствовал в эту минуту, что для него все кончено, что он более не встанет».

Тут Арнольди стал свидетелем «страшного разговора между двумя служителями». Один из них предложил насильно стащить больного с постели и поводить по комнате — авось разойдется... «Да как же это можно? Он не захочет... кричать станет» — «Пусть его кричит... после сам благодарить будет, ведь для его же пользы!»

И как знать, может быть, и осуществили бы задуманное, если бы Арнольди «не уговорил их не делать этого опыта с умирающим...» (Воспоминания, с. 497—498).

В субботу первой недели поста, т.е. 16 февраля, Гоголя навещил Тарасенков. Он не видел больного около месяца и тоже ужаснулся перемене: «...Передо мной был человек, как бы изнуренный до крайности чахоткой, или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык с трудом шевелился <...> Мне он показался мертвецом с первого взгляда <...> Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но недолго мог ее удержать прямо, да и то с заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупать пульс и посмотреть язык: пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой; кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя приписать отсутствию аппетита» (Тарасенков, с. 185).

Тарасенков считал, что состояние Гоголя усугубляется упорным голоданием и отказом от врачевания. Об этом он сказал А. П. Толстому, а

тот в свою очередь митрополиту Филарету. «Филарет прослезился и с горечью сообщил мысль, что на Гоголя надо было действовать иначе: следовало убеждать его, что его спасение не в посте, а в послушании. После этого он ежедневно призывал к себе окружавших больного священников, расспрашивал их о ходе болезни, о явлениях, случающихся вне, и о поступках больного и препоручил им сказать ему от себя (сам он был болен в это время), что он его просит исполнять назначения врачевные во всей полноте» (Тарасенков, с. 187).

Совсем другое отношение, другой стиль поучений, чем у Матвея Константиновского! Недаром Георгий Флоровский называл Филарета представителем «сердечного богословия» (Флоровский, с. 184). А современный исследователь деятельности Филарета отмечает: «...Митрополит Московский был много авторитетнее ржевского протоиерея, однако выражал интересы просвещенного церковного меньшинства. Да, они оба стояли на твердых православных позициях <...>, но как же они разнятся в своем отношении к пастве. Со стороны митрополита мы видим не только большую терпимость и широту взглядов, но и понимание специфичности такой духовной деятельности, как искусство» (Яковлев, с. 181). «Понимание специфичности» искусства — это, может быть, и преувеличение, но налицо отсутствие догматизма, чуткость, бережность. Приходится лишь пожалеть, что митрополит Филарет вмешался в ход событий так поздно.

Впрочем, кое-какое действие это вмешательство возымело. 17 февраля, в воскресенье, приходскому священнику удалось убедить больного принять ложку клещевидного масла. Согласился Гоголь и поставить клизму. «Но это было только на словах, а на деле он решительно отказался, и во все последующие дни он уже более не слушал ничьих увещаний и не принимал более никакой пищи (три дня), а спрашивал только пить красного вина» (Тарасенков, с. 187).

На следующий день, в понедельник, 18 февраля Гоголь «улегся хотя в халате и сапогах, и уж более не вставал с постели» (там же). В тот же день духовник предложил Гоголю приобщиться и пособороваться маслом. «На это он согласился с радостью и выслушал все Евангелия, держа в руках свечу, проливая слезы» (Кулиш, 2003, т. 2, с. 599–600). На следующий день, во вторник, Гоголю стало как будто немного легче, но уже в среду, 20 февраля, началась жестокая нервическая горячка. Было ясно, что болезнь вступила в критическую фазу.

Утром того же дня собрался консилиум: помимо Тарасенкова, А. И. Овер, Евениус, С. И. Клименков, К. И. Сокологорский (лечивший Гоголя Ф. И. Иноземцев по причине болезни не присутствовал). Врачи решили применить радикальные средства, которые оборачивались жестокостью и мучительством больного. «Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст, что чрез него легко можно было ощупать

позвонки, то Гоголь застонал, закричал <...> Наконец, при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением: “Не тревожьте меня, ради Бога!”» (Тарасенков, с. 190).

Но врачи были неумолимы; больному ставили пиявки к носу, сделали обливание головы холодной водой в теплой ванне, прикладывали горчичники к конечностям и т.д. Врач Ворвинский, приехавший позже и не участвовавший в консилиуме, попытался отменить часть этих мер, но, по свидетельству Тарасенкова, его никто не хотел слушать. Тем более не могли повлиять на ход дела Толстой, а также навещавшие больного друзья и знакомые — среди них были И. В. Капнист, Хомяков, Погодин, Свербеев, А. М. Языков, которых, как правило, к Гоголю не пускали (см., в частности, свидетельство Свербеева: ЛН. Т. 58. С. 747).

Врачи обходились с Гоголем «как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом», — говорит Тарасенков, который, чтобы не видеть мучений страдальца, ушел на несколько часов и вернулся к вечеру. Он оставался с Гоголем до полуночи, наблюдая неуклонное ухудшение его состояния.

Пульс уже с трудом прощупывался, дыхание становилось все тяжелее, речь невнятной. Но вдруг «часу в одиннадцатом он закричал громко: “Лестницу, поскорее давай лестницу!..”» Это было расценено как желание Гоголя встать, и его подняли с постели, посадили в кресло.

«Когда его опять укладывали в постель, он потерял все чувства; пульс у него перестал биться, он захрипел, глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, наступает смерть, но это был обморок». Пульс вскоре возвратился. Но Гоголь теперь постоянно лежал на спине с закрытыми глазами и не произносил ни слова.

«В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги»; «лицо осунулось, как у мертвеца, под глазами посинело, кожа сделалась прохладной и покрылась испариной» (Тарасенков, с. 192). В таком положении Тарасенков оставил больного, чтобы утром вернуться и участвовать в консультации, назначенной на 10 часов. Но когда Тарасенков приехал часом раньше — это было уже 21 февраля, — он застал мертвое тело. Гоголь скончался в 8 часов утра (Мвед. 1852. № 24.).

### «...ЖИТЬ БЕЗ ГОГОЛЯ»

**Х**отя смерть Гоголя не была неожиданностью, она потрясла современников. «Печальная весть в несколько часов разнеслась по городу; кто горевал о потере Гоголя, кто о потере его умственного наследия» (Тарасенков, с. 192).

«Скажу вам без преувеличения, — писал И. С. Тургенев 3 (15) марта И. С. Аксакову, — с тех пор, как я себя помню, ничего не произвело на

меня такого впечатления, как смерть Гоголя. Эта страшная смерть — историческое событие, понятное не сразу; это тайна, тяжелая грозная тайна...» (Тургенев И. Письма, т. 1, с. 49–50).

О. М. Бодянский, 28 февраля: «...Я хожу, как угорелый, и на лекции по сю пору не соберусь никоим путем. Все он, один он — в уме и в глазах!» (Воспоминания, с. 448).

М. П. Погодин, 23 марта: «Жестоко поразила нас всех смерть Гоголя! И вместе нельзя не удивляться судьбе русской словесности! Только что созреет человек, только что приготовится действовать — вдруг вихорь, Бог знает откуда, и вырывает его в самую лучшую его минуту» (Письма, 1901, с. 46).

В. С. Аксакова, начало марта: «...Маменька очень плачет, да и не одна маменька и не одни женщины, плачут и тоскуют мужчины. Мне кажется, мысль о Гоголе завладевает чем дальше, тем сильнее <...> Отовсюду получают письма, полные тоски и сожаления от людей, едва его знавших» (ЛН. Т. 58. С. 751).

«Отовсюду» — это значит и из-за границы. Проспер Мериме, 14 апреля из Парижа С. А. Соболевскому: «Мне кажется, что над Вашими лучшими гениями всегда нависает страшная судьба» (Виноградов, с. 140–141).

Перед лицом страшной трагедии забывались или отступали на второй план и сложности гоголевского характера, и его капризы, и бывшие упреки или неудовольствие в связи с его последней книгой — «Выбранными местами...». С. Т. Аксаков писал своим сыновьям 23 февраля: «Я признаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени и в то же время мученик христианства» (РА. 1890. № 8. С. 199).

Панихида состоялась 23 февраля в час дня. На следующий день на 10 часов утра была назначена Божественная литургия и отпевание (Мвед. 1852, № 24) — они состоялись в церкви при университете, построенной по плану архитектора Тюрина и освященной во имя Св. Великомученицы Татианы 12 сентября 1837 года (ранее это была приходская церковь Св. Георгия, причисленная к университету; возвращена в духовное ведомство в 1834 г. — Шевырев, 1855, с. 502).

Похороны были многочисленными и, по слову одного из участников Н. В. Берга, «торжественными». Из дома гроб вынесли на плечах — упомянутый уже Берг (Воспоминания, с. 510), а также А. Н. Островский, Е. М. Феоктистов, Т. И. Филиппов, Руднев и студент Сатин (РА. 1907. Т. 3. С. 437). Идти было трудно: глубокий снег при легком морозе. «У Никитских ворот, — продолжает Берг, — мы передали гроб студентам, которые шли кругом кучами и постоянно просились нас заменить». В цер-

кви Берг увидел «многих официальных лиц высшего круга», в том числе попечителя Московского учебного округа генерал-адъютанта Назимова в полной форме (Назимов сопровождал гроб вплоть до погребения — Воспоминания, с. 510). Присутствовал и московский градоначальник граф А. А. Закревский (Мвед. 1852. № 25. 26 февраля).

Другой участник похорон Василий Васильевич Селиванов (р. 1813), археолог и чиновник, услышал в церкви чью-то реплику: «Вон <...> собрались все славянофилы». Это расстроило Селиванова, но оглянувшись кругом, он с удовлетворением увидел подходившего к гробу Грановского, человека отнюдь не славянофильской ориентации...

«Около гроба, — продолжает Селиванов, — в это время началось сильное движение: лавровый венок разрывали на части, и счастлив был тот, кому удавалось воспользоваться хотя одним листочком на память о Гоголе».

Накладывал гробовую крышку М. С. Щепкин (РС. 1877. № 12. С. 219–220); из церкви гроб вынесли профессора, и потом несколько верст, также на руках, его несли студенты до кладбища Данилова монастыря, где состоялось погребение. Гоголя похоронили недалеко от могилы Н. М. Языкова. На установленном позднее гробовом камне, представлявшем собою усеченную пирамиду из черного гранита, — слова пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеюся»<sup>1</sup>.

После похорон И. С. Аксаков писал И. С. Тургеневу: «Вчера мы похоронили Гоголя... Теперь все лопнуло. Надо начать жить *без Гоголя!*» (Письма к Тургеневу, с. 18; курсив в оригинале).

---

<sup>1</sup> Надпись на памятнике имеет свою историю. Д. Н. Свербеев сообщает Е. А. Свербеевой 29 февраля 1852 г., что «дня четыре тому назад», т.е. буквально на следующий день после похорон, он получил «при Чижове подписку на памятник Гоголю с надписью из псалма <...> “Возлюбих любящих тя, возненавидех ненавидящих тя”.<...> Я отвечал, что готов участвовать в памятнике Гоголя как писателя, а не как христианина, тем более, что такая надпись придавала бы ему религиозное направление, ревностное не по разуму. Говорят, теперь они соглашаются изменить надпись» (ЛН. Т. 58. С. 748). Варианты надписи обсуждали, как сообщил М. Погодин, в сороковой день со дня смерти Гоголя; «одна получила полное одобрение, выражая верно жизнь покойника: Из пророка Иеремии, гл. 8, ст. 20: “Горьким моим словом посмеюся” (М. П<о>годин> . Поминование по Гоголе (Отрывок из письма в Петербург) // М. 1852. № 8. Отд. 7. С. 140). Однако в качестве автора этого изречения указывали и других: Ефрема Сирина (Воспоминания, с. 510), Иова (РС. 1878. Май. С. 165). Как отметил позднее В. Ф. Лазурский, соответствующей фразы нет в русском переводе Библии, сделанном с еврейского, но есть в славянском переводе, откуда взята: «Понеже горьким словом моим посмеюся, отвержение и бедность наведу, яко бысть в поношение мне слово Господне, и в посмех весь день» (Книга пророка Иеремии, XX, ст. 8). «Это место туманно и очевидно переведено с греческого неточно». В русском переводе: «Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние» (Лазурский В. Ф. Великий меланхолик // Сборник, изданный... Одесса, 1909. С. 37).



## ПОЧЕМУ ЖЕ БЫЛ СОЖЖЕН ВТОРОЙ ТОМ «МЕРТВЫХ ДУШ»

**М**ы уже задавали аналогичный вопрос в связи с уничтожением Гоголем летом 1845 года первой редакции второго тома (см.: Труды и дни, с. 729 и далее). Новое сожжение отчасти обуславливалось прежними импульсами, вместе с тем к ним присоединились и новые — и все это было обострено мучительным, критическим, предсмертным состоянием Гоголя. Собственно акт уничтожения и выразил это состояние, поставив в судьбе писателя последнюю точку.

Относительно события, имевшего место в ночь с 11 на 12 февраля, существуют различные мнения, но все они сводятся в сущности к пяти точкам зрения.

1. Гоголь сжег второй том, его *в основном* законченную редакцию (ниже мы поясним, что значит эта оговорка), и сделал он это вполне осознанно.

2. Факта сожжения второго тома не было, так как Гоголь его не закончил и этого тома, как принято говорить, просто не находилось в наличии.

3. Писатель действительно уничтожил рукопись, но случайно, по роковой ошибке, намереваясь сжечь другие бумаги. Эту мысль высказывали авторитетные ученые. «Предположение, что Гоголь не хотел сжечь “Мертвые души” и сжег их случайно — вероятнее всех возможных других» (Гиппиус, 1924, с. 221). «Сожжение второй части “Мертвых душ” — по-видимому, красивая легенда». «Может быть, он [Гоголь] случайно сжег несколько глав вместе с другими бумагами» (*Юрий Иваск*. О Гоголе: Выход из одиночества // Мосты. 1966. Кн. 12. С. 178).

4. Рукопись второго тома была спрятана, утаена — эту сенсационную версию выдвинула в 1959 году Е. Смирнова-Чикина. Дескать, Гоголь под влиянием зальцбруннского письма Белинского резко изменил направление, написал второй том в «прогрессивном духе», что не понравилось окружавшим писателя реакционерам. Они-то и припрятали рукопись второго тома, создав легенду о ее сожжении. Сочинение Е. Смирновой-Чикиной так и называется: «Легенда о Гоголе: К истории II тома “Мертвых душ”» (Октябрь. 1959. № 4. С. 175–189).

5. Рукопись второго тома была действительно спрятана, но не врагами, а друзьями Гоголя, возможно и самим писателем. «Возможно, например, что Гоголь, следуя своему внутреннему желанию, сам сумел обеспечить своему детищу безопасность, хотя бы у митрополита Филарета или даже у наследника Александра Николаевича. Конечно, то же самое мог сделать и граф Толстой после смерти писателя, будучи хозяином его бумаг...» — пишет известный норвежский славист Гейр Хетсо, автор многих интересных работ (в частности, фундаментальной моно-

графии о Баратынском). И выражает оптимистическое мнение, что рукопись второго тома еще может найтись, так как «из надежных рук» она «могла бы легко попасть в какую-то шкатулку или к какому-нибудь частному коллекционеру, либо на Западе, либо на родине писателя» (*Xem-co Teip*. Что случилось со вторым томом «Мертвых душ»? // *Scando-Slavica*. 1989. Tomus 35. S. 137–138).

По нашему мнению (которое следует из настоящей книги), трагическое событие действительно имело место, рукопись действительно была уничтожена. Однако интерпретировать все это следует не статично, не «анкетным» способом (да — нет; было — не было), но исходя из общей логики гоголевской творческой судьбы и ее трагического финала. Но вначале несколько необходимых комментариев к только что изложенным точкам зрения.

Прежде всего — о законченности второго тома. Существует множество свидетельств в пользу положительного ответа на этот вопрос — некоторые уже приводились выше (см. параграф «Я тружусь, работаю в тишине...»). Добавим, что еще Погодин в некрологической заметке о Гоголе упоминал, что после чтения 2-го тома Шевыреву (летом 1851 г.) писатель «сам попросил напечатать в журнале известие о скором его издании вместе с умноженным первым» (М. 1852. № 5. С. 47).

Правда, сказанному как будто противоречит замечание Матвея Константиновского, что он видел только первые три и еще «должно быть» седьмую главу, а другие «были без означения» (Образцов), но это говорит о том, что Гоголь постоянно возвращался к тексту, правил, беря из общей стопки то одну, то другую тетрадку. По-видимому, семь глав он считал уже достойными чтения друзьям, остальные (предположительно четыре) намеревался доработать в течение ближайших месяцев. Поэтому можно утверждать (с необходимой оговоркой), что уничтоженная редакция текста была в основном закончена. Что же касается правки и дополнений, то Гоголь, по своему обыкновению, вносил бы их до последней возможности.

Теперь о мнении, будто бы рукопись была утаена или уничтожена А. П. Толстым и другими из низких побуждений. Мнение это сродни бытующим версиям, будто бы Дантес стрелялся с Пушкиным, надев кольчугу, или что Лермонтова убил спрятавшийся за углом наемный стрелок<sup>1</sup>. Прежде всего — окружавшие Гоголя люди отличались честностью и по-

---

<sup>1</sup> Вот характерное утверждение: «... Криминалисты <...> определили, что второй выстрел был, и он был сделан не Мартыновым, а неким третьим участником дуэли с расстояния 20 метров со стороны горы». И еще: «... Контрольный выстрел в спину со склона горы, произведенный неизвестным» (*Гонцов Сергей*. Лермонтов — командир спецназа // *Мир новостей*. 2002. 30 июля. С. 25). Совсем, как современная история с киллером и «заказным убийством»!

рядочностью, подозревать их в коварстве и нечистоплотности нелепо и смешно<sup>1</sup>. Кроме того, они имели совсем не те представления о смысле второго тома поэмы (как и вообще о творчестве Гоголя), чем литературоведы, обвинившие их в сокрытии «революционного» произведения.

Несколько слов о «случайности» уничтожения Гоголем второго тома. Гейр Хетсо дает этой версии такую мотивировку: «Почувствовав в феврале 1852 года приближение смерти, Гоголь, естественно, должен был задуматься над приведением в порядок своих бумаг. В шкафу у него, несомненно, лежали многие незаконченные рукописи, с которыми бы можно было расстаться: множество набросков на исторические темы, далее черновик пяти глав второго тома “Мертвых душ”, ставший теперь ненужным в виду завершения беловика, да и куча личных писем, среди которых, возможно, было и злополучное письмо Белинского <...> Желание писателя уничтожить подобные материалы представляется вполне естественным...» (*Гейр Хетсо*. Указ. соч. С. 130) — особенно уничтожение «опасного» письма Белинского. Случайной жертвою этого «желания» и стал второй том поэмы.

Однако представим себе еще раз картину событий: Гоголь ночью, тайком от всех, пробирается в комнату, где стоит печь, многократно молится при совершении действия, потом в изнеможении ложится на диван и плачет... Нет, ненужные бумаги так не уничтожают. Что же касается письма Белинского (кстати, наличие которого в это время у Гоголя ничем не подтверждается), то избавиться от него не представляло никаких трудностей; ну поднеси эти несколько страничек к свече — и дело с концом...

Истоки трагедии — в эволюции Гоголя, писательской, творческой, духовной; в характере замысла «Мертвых душ» как итоговой, главной книги; в особенностях созданной ею ситуации, личной и общественной.

Поэма была задумана как универсальное произведение, соответствующее универсализму мышления Гоголя. Оно должно было открыть тайну русской жизни, а через нее — и тайну человечества. Тайна раскроется со временем; приступая к произведению, Гоголь ее еще не знает, он только предчувствует ее, веря — желая верить, — что это в конце концов произойдет. Длительность написания поэмы, издание ее по частям, с большими интервалами — значащий фактор самого ее содержания. Тайна

---

<sup>1</sup> В связи со сказанным — один эпизод личного свойства. Вскоре после появления сенсационной версии Смирновой-Чикиной я написал статью-опровержение, которую принес в «Новый мир», где она с одобрения главного редактора А. Т. Твардовского была напечатана под названием «Пафос упрощения» (Новый мир. 1959. № 8. С. 257–262). При этом А. Г. Дементьев (зам. главного редактора) пересказал мне реплику из своего разговора с Твардовским: «Ишь чего надумала! Рукопись стащили... Да это были дворяне, люди честные, они и писем чужих не читали...»

созревает постепенно, напрягая ожидание читателя, обостряя его нетерпение, заставляя переходить от первоначального, подчас поверхностного, а то и превратного впечатления к другому, более глубокому. Написание и обнародование текста превращается в род общественного действия.

Нечто похожее уже бывало не раз, например, появление «Евгения Онегина» отдельными главами. Но в этом случае произведение несло в себе и постепенно открывало свою собственную тайну — судьбу персонажей, развитие коллизии и т.д. «Мертвые души», помимо всего этого, должны были раскрыть и тайну предназначения и судьбы народа. Разумеется, с субстанциальной жизнью (как тогда любили говорить) соотносился и «Евгений Онегин» (как любое великое произведение), но у Гоголя это соотношение было выведено на поверхность, заявлено во всеуслышание; произведение должно было подсказать прямой ответ, куда мчится Русь и каково ее место среди других народов и государств.

Задачу эту Гоголь намеревался решить с помощью своих читателей, что отразилось в его предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» (1846). Читателю, каким бы он ни был: образованным или невежей, обличенным «высшим чином» или «человеком простого сословия», знающим толк в искусстве или ничего в нем не смыслящим, — словом, каждому вменялось в обязанность поправлять автора, подсказывать ему верные ходы и решения. Гоголю теперь мало активного читательского интереса, направленного на ожидание и раскрытие великой тайны; читатель подключался к самому творческому процессу. Подключался не только как корректный помощник (скажем, как источник реального материала), но и как своеобразный соавтор, точнее даже, как некая высшая инстанция, нависшее над писателем недреманное око. Насколько реальны были такие ожидания или насколько прислушивался бы Гоголь к советам и наставлениям — другой вопрос (скорее всего он до конца сохранил бы за собой свободу решения). Важно уже то, что эта позиция была сформулирована и публично провозглашена, тем самым она превратилась в активный фактор гоголевского психологического настроения; ведь воображаемое и гипотетическое (особенно у таких впечатлительных натур, как Гоголь) нередко приобретает статус действительного и реального.

Тем самым нарушались устойчивые координаты гоголевского самоощущения, и год от года это нарушение ощущалось большее и мучительнее (см. подробнее: Манн, 1987, с. 212 и далее).

С одной стороны, Гоголю была свойственна величайшая скрытность и в деле творчества, и тем более, как он говорил, в «деле души». «Души моей никто не может знать...» (XII, 359). С другой — читатели получали доступ к тайнам души и творчества писателя, или если не доступ, то возможность соприкосновения, контакта, один намек на который вызывал у него болезненную реакцию.

С одной стороны, Гоголь удалился от света, вел одинокую, скитальческую жизнь человека, еще не готового к общению, всецело занятого внутренним устройством души своей. «Кто воспитывает еще себя, тому не следует и на время заглядывать в свет...» (XII, 384). А с другой — Гоголь демонстративно открывал себя всем тревоблениям публичности. «Не заглядывая» в свет, он приглашал свет заглянуть в келью художника и мыслителя, чтобы стать докучливым соглядатаем его внутреннего воспитания.

С одной стороны, Гоголю было свойственно ощущение избранности. То, что надлежит сделать, может сделать только он один. «Я» и «Россия», творец «Мертвых душ» и народ — так обозначились полюса еще в первом томе. «Русь! Чего же ты хочешь от меня? <...> Зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» Между автором и Русью нет посредников; их связь прямая и кратчайшая. По мере продвижения работы над поэмой гоголевское ощущение избранности и мессианства усиливалось. «Один, может быть, человек нашелся на всей Руси, который именно подумал более всех о самом *существенном*...» (XIII, 87; курсив в оригинале). И этот человек — творец «Мертвых душ». Но, с другой стороны, каждый читатель оказывается причастным к высокой миссии художника, получает право вмешаться в нее и диктовать свои условия. Пусть эта перспектива была во многом нереалистичной и условной, — одно ее декларирование, как мы уже сказали, не могло не оказывать обратного, угнетающего воздействия на Гоголя.

Настроение Гоголя последних лет и особенно последних месяцев его жизни, постоянные колебания и резкие, подчас необъяснимые переходы, помимо чисто физиологических причин, имели глубокую душевную подкладку. Со дна его сознания неотвратимо вставал один и тот же вопрос: получилось или не получилось? И вся длинная череда чтений поэмы представляла собою не что иное, как устроенный писателем самому себе долгий экзамен, результаты которого требовали все новых и новых подтверждений... Казалось, все склоняло к утвердительному ответу: и нелicenseмерное выражение восторга слушателей, и все растущий интерес и нетерпение, с которым они ожидали и новых чтений, и, наконец, появления второго тома в печати. Но Гоголь был недоверчив, подозрителен. В согласном хоре одобрительных голосов он улавливал диссонансы. Вот почему его так огорчил отказ Смирновой летом 1851 года еще раз послушать первую главу. И это, очевидно, был не единственный симптом.

Впоследствии, по смерти Гоголя, один из его слушателей, Ю. Ф. Самарин, подытожит настроение писателя в форме категоричного вывода: «Я глубоко убежден, что Гоголь умер оттого, что сознавал про себя, насколько его второй том ниже первого, сознавал и не хотел самому себе признаться, что он начинает подрумьянивать действительность».

«Никогда не забуду, — продолжает Самарин, — и того глубокого и тяжелого впечатления, которое он произвел на Хомякова и на меня раз вечером, когда он прочел нам первым две главы второго тома. По прочтении он обратился к нам с вопросом: “Скажите по совести только одно — не хуже первой части?” Мы переглянулись, и ни у него, ни у меня не доставало духа сказать ему, что мы оба думали и чувствовали...» (письмо к Смирновой от 3 октября 1862 г.)<sup>1</sup>.

Все эти тревожные симптомы Гоголь воспринимал и переосмысливал по-своему: значит, не сумел убедить, увлечь; значит, поставленная цель не достигнута.

По поводу дошедшего до него окольным путем (и, видимо, неодобрительного) отзыва императора о первом томе поэмы Гоголь писал А. Виельгорской (16 марта н. ст. 1847 г.): «...Все это вместе учит меня той мудрости, которой мне необходимо надобно приобрести побольше затем, чтобы уметь, наконец, заговорить потом просто и *доступно* для всех о тех вещах, которые покуда недоступны» (XIII, 256–257; курсив в оригинале). Именно «для всех»! Гоголь хотел, чтобы его книга встретила понимание и со стороны властей предержавших и людей любого звания, сословия, культурного уровня и традиций. Эта была не только задача художественная, но социальная, религиозная; это была высшая миссия, которая объяснит и оправдает, наконец, смысл его существования. «Поверьте мне, — продолжает Гоголь, — что мои последующие сочинения произведут столько же *согласия* во мнениях, сколько нынешняя моя книга произвела разногласия...» (там же, 257; курсив в оригинале). «Нынешняя» книга — это «Выбранные места...»; «последующие сочинения» — это прежде всего продолжение «Мертвых душ».

Стремясь достигнуть этой цели, Гоголь обрекал себя на бесконечный процесс изменения и совершенствования текста, а поскольку все это, в его глазах, зависело от душевного состояния, обрекал себя на бесконечный процесс самовоспитания.

Но что значит, если не получается, если не получилось? Это значит, что писателя оставляет та божественная, высшая сила, которая его вела, должна была вести к цели. Ощущение своей глухоты, черствости, недостаточной внутренней отзывчивости и взволнованности по отношению к этой силе Гоголь переживал давно, по крайней мере со времени паломничества в Святую землю. Конечно, он винил прежде всего себя, но

---

<sup>1</sup> Письмо Ю. Самарина опубликовано: *Ефимова М. Т.* Ю. Самарин о Гоголе // Пушкин и его современники. Псков, 1970. С. 146. Первоначально (с другой датировкой — 1863 г.) — в статье В. Ф. Чижа (Вопросы философии и психологии. 1903. № 9–10. С. 681). Оригинал в ОР РГБ, ф. 265, п. 40, копии писем к А. О. Смирновой. Подробнее об эпизоде чтения «Мертвых душ» Самарину и Хомякову см.: Манн, 1987, с. 275.

от этого было не легче, и результат вырисовывался объективным и неумолимым — в факторе «богооставленности».

Гоголь упорно боролся с этим чувством, и встреча с Матвеем Константиновским на первых порах помогала этой борьбе. Казалось, достаточно следовать примеру о. Матвея в выполнении аскетических правил и отношении с Богом будет восстановлено. Но Матвей Константиновский был неумолимо строг в этих правилах, рассматривая их соблюдение или несоблюдение в категориях борьбы земного, телесного, плотского с небесным, духовным, божественным. К тому же к области земного и греховного относилась им светская, художническая деятельность, примером которой являлся «язычник» Пушкин. Это особенно травмировало Гоголя, пробуждая и сопротивление и глубокую душевную боль.

К одной из последних встреч Гоголя и Константиновского относится вопрос, заданный впоследствии о. Матвеем Т. И. Филипповым:

«— Говорят даже, что Гоголь сжег свои творения, потому что считал их греховными?»

— Едва ли, — в недоумении сказал о. Матвей, — едва ли... Он как будто в первый раз слышал такое предположение. — Гоголь сожег, но не все тетради, какие были под руками, и сожег потому, что считал их слабыми». (Диалог этот передан в статье Ф. И. Образцова, присутствовавшего при разговоре о. Матвея с Филипповым — см. Образцов.)

Матвея Константиновского не раз пытались уличить в неискренности и утаивании истины (Щеглов, с. 160). Между тем он вовсе не скрывает, что советовал Гоголю уничтожить ряд тетрадок, потому что находил их содержание неверным и даже вредным; он лишь при этом уточняет: Гоголь сжег их по другим мотивам — оттого, «что считал их слабыми». И это различие мотивов в душевном состоянии обоих участников диалога вполне вероятно, и такое различие придавало особое, трагическое напряжение всей сцене.

В самом деле: Матвей Константиновский, не считая себя поклонником «светских произведений» вообще, на первый план выдвигал нравственные моменты, говоря, что изображение священника нарушает православный канон («с католическими оттенками»), искажает реальность и оттого произведет вредное влияние на читателей; отсюда вполне логично следовала мысль о греховности содержания поэмы в целом. Все это глубокой болью отзывалось в душе Гоголя, но прежде всего потому, что из услышанного он извлекал *свои выводы*. Показалось неправдой, даже вредной неправдой — значит не сумел убедить. Не сумел убедить — значит все содержание книги — главной книги! — Гоголя осталось пустым призраком, не облеклось в плоть, не ожило. Но не ожило, потому что Бог лишил его жиздательной силы, силы творить. Если же Бог лишает своего покровительства, то оставленное душевное пространство занимает сила зла, дьявольская сила.

О. Матвей, мы помним, предостерегал Гоголя: «Боюсь что-то я за вас — не зборол бы вас общий враг наш». Гоголь тоже этого боялся, он молил Бога «связать сатану», но в свою мольбу вкладывал и то значение, которое было чуждо Константиновскому: при всем его, Гоголя, несовершенстве, греховности, «нечистоте», как утверждал о. Матвей («В нем была внутренняя нечистота»), сохранить то, ради чего он жил — божественную силу творчества.

На следующий день после уничтожения рукописи Гоголь, согласно Погодину, сказал А. П. Толстому: «Вообразите как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы “Мертвых душ”, которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти» (М. 1852. № 5. С. 49). В этих словах иногда видят доказательство случайного и непреднамеренного уничтожения рукописи, но они скорее всего имели другой смысл. Возможно, прежде всего, намерение предотвратить любые расспросы о случившемся. Но, возможно и то, что это было симптомом глубокого раскаяния, сожаления, признания, что ведь не все в рукописи вышло «слабым» (как забыть восторженные отклики многих слушателей?), что Бог окончательно не покинул его, что если бы не «злой дух», трагедии бы не произошло.

О сожалении Гоголя говорили и современники. В. С. Аксакова в 20-х числах февраля писала М. Карташевской, что «он жалел потом, и может быть, это еще усилило его болезнь» (ЛН. Т. 58. С. 746). Тарасенков, очевидно, со слов графа Толстого писал, что тот, желая отстранить от Гоголя «мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал: “Это хороший признак — и прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит и теперь это не перед смертью”. Гоголь при этих словах стал как бы оживляться; граф продолжал: “Ведь вы можете все припомнить?” — “Да”, — отвечал Гоголь, положив руку на лоб, — могу, могу: у меня все в голове. После этого он, по-видимому, сделался спокойнее, перестал плакать» (Тарасенков, с. 182).

Да, Гоголь не раз начинал сначала (в том числе и второй том поэмы, уничтоженный шестью годами раньше), но силы были уже не те и вера в свои возможности и предназначение были уже подорваны.

Причиной смерти Гоголя «было такое множество условий, как бы нарочно сосредоточившихся к его гибели, что только из соображения всех их была бы возможность сделать правильное заключение» (там же, с. 192), — писал один из самых внимательных свидетелей последних дней писателя. И он же отвергал объяснение «нервной горячкой (тифом), которая имеет другие признаки», или сумасшествием, в котором Гоголя подозревали уже давно, по крайней мере со времени появления «Выбранных мест...» (там же, с. 193).



Психиатры установили у Гоголя наличие «маниакально-депрессивного психоза», который имел наследственные предпосылки (со стороны отца) и проявлялся и ранее — в приступах меланхолии, необъяснимых сменах настроения и т.д.<sup>1</sup>. Надо только добавить: каждый или почти каждый раз это состояние было связано с обстоятельствами художественного, творческого порядка.

Тем более очевидна эта связь в последнем, предсмертном гоголевском кризисе. Острота его в том, что речь уже шла не о творческих решениях, не о художественных сомнениях, пусть самых мучительных и изнурительных, но о сущности всей деятельности и ее главного результата — поэмы Гоголя. Гоголь видит, что на ней уже не почит Божья благодать. Принять смерть было легче, чем смириться с этой мыслью. Отсюда безбоязненное углубление «в созерцание предсмертного часа» (Тарасенков, с. 196), стремление его приблизить, парадоксальная легкость умирания («Надобно же умирать», «Как сладко умирать...»). По уже приводившемуся, замечательно тонкому определению Ильина, «бедный гениальный мученик» просто «свернул крылья».

---

<sup>1</sup> См.: *Баженов, Чиж*. История интерпретаций Гоголя в аспекте психиатрии — в работе И. Сироткиной «Гоголь, моралисты и психиатры» // Сироткина. С. 21–59.

## СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Произведения и письма Гоголя, кроме специально оговоренных случаев, цитируются по изданию: *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений: В 14 т. М., 1937–1952. В тексте в скобках указаны том (римской цифрой) и страницы (арабской цифрой).

Ниже приводится перечень сокращений других источников. Курсив в цитатах во всех случаях, кроме специально оговоренных, принадлежит автору настоящей книги.

Аксаков, 1988 — *Аксаков И. С.* Письма к родным. 1844–1849 / Изд. подготовила Т. Ф. Пирожкова. М., 1988.

Аксаков, 1994 — *Аксаков И. С.* Письма к родным. 1849–1856 / Изд. подготовила Т. Ф. Пирожкова. М., 1994.

Аксаков, 2002 — *Аксаков И. С.* Отчего так нелегко живется в России / Сост., вступ. ст. В. Н. Грекова. М., 2002.

Аксаков С. — *Аксаков С. Т.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1986. Т. 3.

Аксаков С., 1890 — *Аксаков С. Т.* История моего знакомства с Гоголем с включением всей переписки с 1832 по 1852 год. М., 1890.

Анненков, 1855 — *Анненков П. В.* Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. Пб., 1855.

Анненков, 1983 — *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1983.

Анненков, 1983, II — *Анненков П. В.* Парижские письма. М., 1983.

Анненков, 1984 — *Анненков П. В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина.

Б. — «Берег».

Баженов — *Баженов Н. Н.* Болезнь и смерть Гоголя. Публичное чтение в годовичном заседании Московского общества невропатологов и психиатров. М., 1902.

Барабаш, 1993 — *Барабаш Ю.* Гоголь. Загадка «Прощальной повести». М., 1993.

Барсуков — *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888–1910. Кн. 1–22.

Белинский — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959.

Белокуров — *Белокуров С. А.* Дело Флетчера. 1848–1864. Чтения Московского общества истории древностей российских при Московском университете. 1910. Кн. 3. Разд. 3.

Белоногова — *Белоногова В. Ю.* Выбранные места из мифов о Пушкине. Нижний Новгород, 2003.

Белоусов — Дорогие места / Ред. И. А. Белоусов. М., 1916.

БЗ — «Библиографические записки».

Бланк — *Бланк В. Б.* Воспоминания // РА. 1897. Т. III.

Боткин — *Боткин В. П.* Письма об Испании. Л., 1976.

Боткин, 1984 — *Боткин В. П.* Литературная критика, публицистика, письма. М., 1984.

Брянчанинов — *Игнатий (Брянчанинов), святитель.* Собрание писем / Сост. игумен Марк (Лозинский). М.; СПб., 1995.

Буслаев, 1886 — *Буслаев Ф.* Мои досуги. М., 1886. Ч. 2.

Бухарев — *Бухарев А. М.* Три письма Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1861 (на титульном листе другая дата — 1860).

БЧ — «Библиотека для чтения».

Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб., 1994.

ВЕ — «Вестник Европы».

Виноградов — *Виноградов А. К.* Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928.

ВЛ — «Вопросы литературы».

Воспоминания — Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952.

Галаган — *Гусева Е. Н.* Воспоминания Г. П. Галагана о Н. В. Гоголе // Памятники культуры. Новые открытия. 1984. Л., 1986.

Герцен — *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1966.

Гершензон — *Гершензон М. О.* Грибоедовская Москва. П. Я. Чаадаев. Очерки прошлого. М., 1989.

Гиляровский — *Гиляровский В. А.* На родине Гоголя. М., 1902.

Гиппиус — *Гиппиус Василий.* Гоголь. Л., 1924.

Гоголь, 1855 — Сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. М., 1855.

Гоголь, ак. — *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М., 2001. Т. 1; 2003. Т. 4 (новое академическое издание).

Головня — *Гоголь-Головня О. В.* Из семейной хроники Гоголей / Ред. и примеч. В. А. Чаговца. Киев, 1909.

Грешищев — *Грешищев Николай.* Очерк жизни в Бозе почившего ржевского протоиерея о. Матвея // Странник. 1860. № 12.

Григорьев А., 1985 — *Григорьев А. А.* Театральная критика. Л., 1985.

Григорьев. Материалы — Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии / Под ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917.

Гриц — *Гриц Т. С.* М. С. Щепкин: Летопись жизни и творчества. М., 1966.

Данилевский М. Г. — Г. П. Данилевский по личным его письмам и литературной переписке. 1893.

ДБ — «Домашняя беседа».

Декабристы — Декабристы. Биографический справочник / Изд. подгот. С. В. МIRONENKO. М., 1988.

- Ден — Записки Владимира Ивановича Дена // РС. 1890. № 1.
- Достоевский — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 3.
- Егоров — *Егоров Б. Ф.* Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского. М., 1982.
- Егоров, 2007 — *Егоров Б. Ф.* Русские утопии. Исторический путеводитель. СПб., 2007.
- Есипов — *Есипов Виктор.* «С Гомером долго ты беседовал один...» // Пушкинский сборник. М., 2005.
- Железнов — Заметки о К. П. Брюллове (из воспоминаний М. И. Железнова) // ЖО. 1898.
- ЖО — «Живописное обозрение».
- Зайцев — *Зайцев А. Д.* Петр Иванович Бартенев. М., 1989.
- Записки — Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
- Зеньковский, 1991 — *Зеньковский В. В.* История русской философии. Л., 1991. Т. 1. Ч. 2.
- ИВ — «Исторический вестник».
- Известия, Баку — Известия Азербайджанского гос. ун-та им. В. И. Ленина. Общественные науки. Баку. 1925. Т. 4–5.
- Ильин — *Ильин И. А.* Основы христианской культуры. Мюнхен, 1990.
- ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
- Карамзин — *Карамзин Н. М.* Соч.: В 2 т. Л., 1984.
- Киреевский — *Киреевский И. В.* Критика и эстетика. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998.
- Киреевский, 1984 — *Киреевский И. В.* Избранные статьи. М., 1984.
- Колмаков — *Колмаков Н. М.* Очерки и воспоминания Н. М. Колмакова с 1816 года // РС. 1891. Июль.
- Крутикова — *Крутикова Н. Е.* Дослідженні і статті різних років. Київ, 2003.
- Кулиш, 1854 — *Кулиш П. А.* Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854.
- Кулиш, 1856 — *Кулиш П. А.* Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. СПб., 1856. Т. 1–2.
- Кулиш, 2003. — *Кулиш П. А.* Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и его собственных писем. М., 2003, Т. 1–2. Изд. подготовил И. А. Виноградов.
- Леонид — *Леонид (Кавелин)*, архим. Историческое описание Казельской Введенской Оптиной Пустыни. 4-е изд. [Без места изд.], 1885.
- Леонтьев — *Леонтьев К.* Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни. М., 1882.

- Лернер — *Лернер Н. О.* Несколько новых слов о пребывании Гоголя в Одессе в 1850–1851 гг. // РС. 1901. Т. 108. Ноябрь.
- ЛН — «Литературное наследство».
- Лосиевский — *Лосиевский И. Я.* Русская лира с Украины. Русские писатели Украины первой четверти XIX века. Харьков, 1994.
- Лосский — *Лосский Н. О.* История русской философии. М., 1991.
- ЛР — «Литературная Россия».
- М — «Москвитянин».
- Максимович, 1854 — *Максимович М.* Родина Гоголя // М. 1854. Т. 1. № 2. Отд. 8.
- Максимович, 1871 — *Максимович М. А.* Письмо о Киеве и воспоминание о Тавриде. СПб., 1871.
- Манн, 1966 — *Манн Ю.* Комедия Гоголя «Ревизор». М., 1966.
- Манн, 1987 — *Манн Ю.* В поисках живой души. «Мертвые души»: Писатель — критика — читатель. 2-е изд., испр. и доп. М., 1987.
- Маркевич — *Маркевич А. И.* Гоголь в Одессе. Одесса, 1902.
- Матвеев — *Матвеев П.* Гоголь в Оптиной пустыни // РС. 1903. Февраль.
- Материалы — Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1–2.
- Материалы, 1954 — Гоголь: Статьи и материалы. Л., 1954.
- Мережковский — *Мережковский Д. С.* В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М., 1991.
- Мвед — «Московские ведомости».
- Миловский — *Миловский Н., священник.* К биографии Н. В. Гоголя (о знакомстве с братьями Мухановыми). М., 1902.
- Михед — *Михед П. О.* Загадка «Прощальной повести» Н. В. Гоголя // ВЛ. 1999. № 2.
- Мочульский — *Мочульский К. В.* Духовный путь Гоголя. Paris, 1934.
- Мурзакевич — *Мурзакевич Н. Н.* Автобиография. СПб., 1886.
- Мюллер М — *Müller Eberhard.* Russischer Intellekt in europäischer Krise, Ivan V. Kigeevsky (1806–1856). Köln—Graz, 1966.
- Набоков — *Набоков В.* Николай Гоголь // Новый мир. 1987. № 4.
- НВ — «Новое время».
- Некрасов — Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971.
- Никитенко — *Никитенко А. В.* Дневник. М., 1955–1956. Т. 1–3.
- Нилус — *Нилус С.* Святыня под спудом. Тайна православного монашеского духа. Сергиев Посад, 1911.
- Образцов — *Образцов Ф. И., протоиерей.* О. Матвей Константиновский (по моим воспоминаниям) // Тверские Епархиальные ведомости. 1902. № 5.
- ОВ — «Одесский вестник».
- Одесса — Одесса. Исторический и торгово-экономический очерк Одессы в связи с Новороссийским краем. Одесса, 1881.

- Оксман — *Оксман Ю. Г.* От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева. Саратов, 1959.
- ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
- ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
- Панаев — *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1988.
- Панаева — *Панаева А. Я. (Головачева).* Воспоминания. [Без места изд.], 1948.
- Паперный — *Paperni V.* Путь Гоголя в Иерусалим // Oh, Jerusalem! Jews and slaves. Pisa—Jerusalem. 1999.
- Переписка — Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1988.
- Письма, 1901 — Письма М. П. Погодина, С. П. Шевырева и М. А. Максимовича к князю П. А. Вяземскому. СПб., 1901.
- Письма к Тургеневу — Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к Ивану Тургеневу. М., 1894.
- Плетнев — *Плетнев П. А.* Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3.
- Плетнев, 1896 — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1–3.
- Полторацкий — *Полторацкий Н.* Иван Александрович Ильин. Жизнь, труды, мировоззрение: Сб. статей. [Без места изд.]: Эрмитаж, 1989.
- Пушкин — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949.
- РА — «Русский архив».
- РВ — «Русский вестник».
- РЛ — «Русская литература».
- РМ — «Русская мысль».
- РО — «Русское обозрение».
- РС — «Русская старина».
- С — «Современник».
- Сборник, 1891 — Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891.
- Сечкарев — *Setschkareff. N. V. Gogol. Leben und Schaffen.* Berlin, 1953.
- Сироткина — *Сироткина И.* Классики и психиатры: Психиатрия в российской культуре конца XIX — начала XX века / Пер. с англ. автора. М., 2008.
- Смирнова, 1929 — *Смирнова А. О.* Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929.
- Смирнова, 1989 — *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989.
- Соллогуб — *Соллогуб В. А.* Воспоминания. М.; Л., 1931.
- Соловьев — *Священник Петр Соловьев.* Встреча с Н. В. Гоголем в 1848 г. // РС. 1883. Сентябрь.
- Соловьев В. — *Соловьев В. В.* Собр. соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1.
- СП — «Северная пчела».
- Степун — *Степун Ф. А.* Соч. М., 2000.

- Стурдза, 1852 — *Стурдза А. С.* Дань памяти Жуковского и Гоголя // М. 1852. № 20. Отд. I.
- Тарасенков — *Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя // Пантелеймон Кулиш. Николай Васильевич Гоголь. Опыт биографии. М., 2003. (Здесь перепечатано настоящее соч. Тарасенкова.)
- Трахимовский — *Трахимовский Н. А.* Мария Ивановна Гоголь. По поводу статьи Н. А. Белозерской // РС. 1888. № 7.
- Труайя — *Труайя А.* Николай Гоголь. [М.]: Эксмо, 2004.
- Труды библиотеки — Труды Публичной библиотеки СССР им. Ленина. Вып. 3. М., 1934.
- Тургенев — *Тургенев А. И.* Хроника русского. Дневники (1825–1826) / Изд. подготовил М. И. Гиллельсон. М.; Л., 1964.
- Тургенев И. — *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960–1968.
- Туницкий — *Туницкий Н.* Заметка о посещении Н. В. Гоголем Московской Духовной академии // Богословский вестник. 1909. Т. 1. Март.
- Тынянов — *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Тютчев — *Тютчев Ф. И.* Соч.: В 2 т. М., 1980.
- Феодор, 1997 — Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев): pro et contra. СПб., 1997.
- Флоровский — *Флоровский Георгий, прот.* Пути русского богословия. 3-е изд. Париж, 1983.
- Филиппов — *Филиппов Т. И.* Воспоминание о гр. А. П. Толстом // Гражданин. 1874. № 4.
- Хомяков — *Хомяков А. С.* Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1900–1907.
- Хомяков, 1988 — *Хомяков А. С.* О старом и новом: Статьи и очерки. Л., 1988.
- Черейский — *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1989.
- Четвериков — *Четвериков С.* Оптина пустынь: Исторический очерк и личные воспоминания. Paris, <1926>.
- Чижевский — *Tschizewskij Dmitrij.* Gogol, Turgenev, Dostoevskij, Tolstoj. Zur russischen Literatur des 19. Jahrhunderts. München, 1966.
- Шеллинг — *Шеллинг Ф. В.* Философские исследования о сущности человеческой свободы. СПб., 1908.
- Шенрок — *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1892–1897. Т. 1–4.
- Шереметева — Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой / Изд. подготовили И. А. Виноградов и В. А. Воропаев. М., 2001.
- Щеглов — *Щеглов И.* Подвижник слова: Новые материалы о Гоголе. СПб., 1909.
- Щеглов, 1901 — *Щеглов И. Л.* Гоголь и о. Матвей Константиновский // НВ. 1901.
- Яковлев — *Яковлев А. И.* Святитель Филарет и развитие русской культуры // Филаретовский альманах. Приложение к «Богословскому сборнику». М., 2004. Вып. 1.

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Адлерберг В. Ф. 61  
Аксаков В. С. 149  
Аксаков Г. С. 186  
Аксаков И. С. 139, 157, 164, 167, 169, 170, 172, 173, 175, 178–180, 184, 188, 189, 191, 202, 222, 224, 225, 248, 249, 258, 263, 278, 280  
Аксаков К. С. 87, 100, 130, 131, 160, 161, 170, 179, 184–186, 188, 190, 200, 222  
Аксаков С. Т. 17, 45, 57, 65, 66, 67, 68, 83, 117, 132, 137, 144, 145, 157, 162, 164, 172–175, 178, 180, 184, 185, 188–193, 210, 211, 221, 222, 225, 226, 243, 247, 248, 251, 258, 259, 263, 265, 266, 279  
Аксакова В. С. 14, 65, 75–77, 110, 144, 174, 178, 180, 184, 186, 190, 221, 222, 225, 226, 243, 257, 265, 279, 288  
Аксакова Н. С. 178–180, 243, 252  
Аксакова О. С. 10, 221, 243  
Аксаковы 144, 145, 159, 160, 174, 178, 184, 188, 189, 191, 200, 221, 225, 248, 251, 252, 265  
Александр I 8, 11  
Альфонский 264  
Анненков П. В. 17, 18, 20–22, 37, 91, 95–100, 105–114, 125, 150–154, 250, 253, 255, 261, 262  
Апраксин В. В. 101, 102  
Апраксина С. П. 9–12, 54, 55, 67, 101, 116  
Аристотель 240  
Арнольди И. К. 167  
Арнольди Л. И. 125, 152, 166, 168–172, 182, 183, 222, 223, 232, 251, 257, 262, 276  
Арсеньев И. А. 182, 183  
Архипова А. В. 153  
Атуев Я. 186  
Ашукин Н. С. 133  
Ашукина М. Г. 133  
Бабст И. К. 248  
Баженов Н. Н. 274  
Базили К. М. 121–125, 128, 131, 135, 251  
Базили М. А. 127  
Байрон 92, 97, 98  
Бакунин М. 114  
Балабин М. П. 149  
Барабаш Ю. Я. 40, 43  
Баратынский Е. А. 44, 169, 282  
Барсуков Н. П. 53, 83, 131–133, 155–158, 164, 165, 173, 174, 176, 189, 218, 221, 225, 273, 274  
Бартенев П. И. 161, 212, 251  
Барятинский А. И. 19  
Бейне А.-К. А. 124, 125  
Белинский В. Г. 12, 14, 18, 29, 36, 41, 71, 82, 83, 88, 92, 96, 98, 99, 103–115, 118, 130, 150, 151, 171, 244, 252, 255, 260, 261, 281, 283  
Белов С. 153  
Белокуров 157  
Белоусов 203, 204  
Белый В. И. 134  
Бельчиков Н. Ф. 36  
Беляев И. Д. 177  
Берг Н. В. 159, 160, 176, 186, 199, 224, 225, 257, 258, 275, 279, 280  
Бестужева П. М. 85  
Блан Л. 153  
Бланк В. Б. 127  
Блудов Д. Н. 53, 54  
Богданов А. Ф. 211, 215  
Богданов Д. 233  
Бодянский О. М. 69, 177, 178, 180, 186–189, 200, 236, 249, 250, 263, 279  
Божко А. А. 247, 248  
Борх А. П. 23



- Борх С. И. 23  
 Боткин В. П. 98, 99, 100, 107, 151  
 Боткин Н. П. 10  
 Боченкова 215  
 Бруни Ф. А. 148, 149  
 Брюллов К. П. 34, 148, 149, 181, 211, 261  
 Брянчанинов Д. А. (монах Игнатий) 70, 71, 72  
 Бубнов 266  
 Бунин И. А. 142  
 Буслаев Ф. И. 266, 267  
 Быков В. И. 19, 218, 219, 243
- В**арсонофий, о. (Плеханов) 236, 242  
 Вацуро 37, 38  
 Вельгман А. Ф. 27  
 Веневитинов А. В. 197  
 Вергилий 240  
 Вересаев В. 212, 216  
 Вершинский Д. С. 55, 117, 118  
 Виельгорская А. М. 15, 16, 53, 63, 81, 120, 145, 146, 160, 164, 165, 175, 193–197, 199, 216, 286  
 Виельгорская Л. К. 35, 58, 62, 63, 64, 67, 90, 193, 196, 197  
 Виельгорские 100, 101, 193, 195–197, 199  
 Виельгорский И. М. 19, 57, 149  
 Виельгорский М. Ю. 11, 61, 62, 64  
 Виноградов И. А. 162, 279  
 Виноградская Н. Л. 134  
 Волгин И. 17  
 Волконская А. П. 149  
 Волконская З. А. 230  
 Вольф Ф. А. 35  
 Ворвинский 278  
 Воробьев М. Н. 215  
 Воронцов М. С. 210  
 Воропаев В. А. 162, 199  
 Вяземский П. А. 64, 68, 78, 82, 85, 91, 92, 164, 165, 210, 263
- Г**ааз Ф. П. 264  
 Галаган Г. П. 142  
 Гегель Г. В. 237–239  
 Гедеонов А. М. 154  
 Георгиевский Г. 233, 235, 241  
 Гербель Н. В. 251
- Герцен А. И. 98, 104, 110, 117, 118, 253–255  
 Гершензон 227  
 Гиллельсон М. И. 90  
 Гиппиус В. В. 27, 117, 240, 255, 281  
 Глебов–Стрешнев Н. П. 86  
 Глинка 181  
 Гмелин И. Г. 249  
 Гнедич 36, 38  
 Гоголь А. В. 199, 218, 220  
 Гоголь Е. В. 206, 218–220, 234, 243  
 Гоголь М. И. 41, 119, 206, 218, 219  
 Гоголь О. В. 204, 218, 220  
 Гоголь С. П. 56  
 Голенищев–Кутузов П. В. 23  
 Голицын 245  
 Головня В. Я. 130, 204, 220  
 Голубинский Е. Е. 246  
 Гомер 178, 192  
 Гонцов С. 282  
 Гончаров 150–152  
 Гончаровы 169  
 Грановский Т. Н. 280  
 Григорович В. И. 150–153  
 Григорьев А. А. 45, 80, 176, 254, 256  
 Гриц Т. С. 256  
 Грот Я. К. 14, 165, 166, 182, 213  
 Губер Э. 106, 107  
 Гурьева Д. А. 11  
 Гусева Е. Н. 142  
 Гюго В. 240
- Д**авид 206  
 Давыдова Е. Е. 100  
 Даль В. И. 13, 15, 37, 167  
 Данилевская У. Г. 68, 203, 218  
 Данилевские 138, 139, 142, 143, 156  
 Данилевский А. С. 44, 68, 131, 135–138, 142, 144, 153, 188, 200, 204, 218, 220, 247  
 Данилевский Г. П. 219, 225, 249–252, 258, 259  
 Данилевский М. Г. 225  
 Дантес 282  
 Дашкова С. А. 53  
 Деменитру А. Л. 208, 214  
 Дементьев А. Г. 283  
 Демидов П. 181

- Державин Г. Р. 183  
 Диккенс Ч. 93, 97, 98  
 Дмитриев-Мамонов Э. А. 145  
 Долгоруков В. А. 86  
 Долгорукова С. А. 213  
 Достоевский Ф. М. 14, 15, 16, 17, 35, 42, 48, 115, 153, 226  
 Дружинин 150, 152  
 Дурново А. 11, 12, 13  
 Дурново П. Д. 11  
 Дюма А. 240  
 Дюр Н. О. 25
- Е**вгений, архимандрит 246  
 Евениус 277  
 Евфимий, иеромонах 232, 233, 235, 241  
 Егоров Б. Ф. 27, 87, 111  
 Елагина А. (Е.) П. 41, 203, 250  
 Елагина Е. А. 41  
 Ершов И. З. 175  
 Ершов И. И. 175  
 Есипов 36, 40  
 Ефимова М. Т. 286
- Ж**елезнов М. И. 148, 149, 260, 261  
 Живокини В. И. 263  
 Живокини Д. В. 263  
 Жилярди Д. 159  
 Жуковская Е. А. 26  
 Жуковский В. А. 7, 11, 17, 19–21, 24–26, 35, 36, 39–41, 44, 54, 62, 78–80, 85, 88, 119, 124–127, 130, 133, 138, 148, 154, 160, 169, 173, 189, 191, 193, 203, 210, 212, 234, 256
- З**агоскин М. Н. 259, 260  
 Загоскин Н. М. 51  
 Загоскин С. М. 260  
 Зайцева И. А. 154, 256  
 Закревский А. А. 280  
 Зеленецкий К. П. 209  
 Зеньков (Зенков) П. Ф. 147, 148  
 Зеньковский 228
- И**ванов А. А. 117, 119, 124, 139, 147, 148, 154, 211, 254, 263  
 Илларион, о. 235  
 Ильин И. А. 73, 74, 272, 289  
 Ильин Н. П. 211, 217
- Иноземцев Ф. И. 277  
 Иоанн Никольский, о. 273  
 Иордан Ф. И. 16, 91  
 Иосиф, о. 237, 240  
 Исаак Сирий 228, 230, 238–240, 242
- К**авелин К. Д. 112, 114  
 Казначеев А. И. 209, 210  
 Капнист В. В. 21  
 Капнист И. В. 136, 181–183, 278  
 Карамзин А. Н. 85, 93  
 Карамзин Н. М. 8, 31, 91, 153, 165, 192  
 Каратыгин П. А. 251  
 Каратыгин П. П. 251  
 Карташевская М. Г. 14, 65, 75, 144, 149, 174, 180, 190, 221, 225, 226, 243, 288  
 Карташов А. В. 244  
 Киреевские 202, 203, 231  
 Киреевский И. В. 33, 87, 93, 157, 174, 176, 226–231, 236, 237, 239, 242  
 Клейнмихель П. А. 164, 165  
 Клименков С. И. 277  
 Климент, о. 236  
 Колмаков Н. М. 185  
 Колосова Н. П. 12  
 Комаров А. А. 150–153  
 Конобеевская И. Н. 95  
 Константиновский М. А. 55, 119, 127, 128, 130, 131, 144  
 Корейша И. Я. 274  
 Костомаров Н. И. 141, 142  
 Котельников В. 232  
 Кошелев А. 186, 191, 236  
 Кошелевы 261  
 Краевский А. А. 14  
 Крестовоздвиженский В. В. 245  
 Кронеберг И. Я. 151  
 Крутикова Н. Е. 181  
 Крутов М. И. 122, 123  
 Кукольник Н. В. 180, 181  
 Куликов Н. И. 154  
 Кулиш П. А. 124, 140, 168, 172, 200, 202, 203, 206, 207, 209, 219, 222, 223, 255, 263, 264, 273, 275, 277  
 Кюстин А. де 30
- Л**аваля И. С. 23  
 Лазурский В. Ф. 280

- Ланской Л. Р. 116, 158, 263  
 Лебедев А. А. 246  
 Леонид, о. (в схиме — Лев) 236  
 Леонтьев В. Ю. 226, 236  
 Лермонтов М. Ю. 44, 214, 241, 282  
 Лернер Н. О. 36, 208, 214  
 Лесков Н. С. 141, 142  
 Лешков В. Н. 224  
 Лосский 87, 89, 94  
 Лотман Л. М. 42  
 Лукашевич В. А. 206  
 Лукашевич Н. 148, 149  
 Львов В. В. 69  
 Лютер М. 231
- М**айков Ап. 252  
 Макарий, иеросхимонах (Иванов М.) 226, 233–240, 242, 264  
 Максимович М. А. 142, 158, 177–180, 186, 188, 189, 200–204, 231  
 Маргулиес Ю. 153  
 Маркевич А. В. 136, 206  
 Марков К. И. 192, 206  
 Марков К. М. 70  
 Маркович А. М. 142, 143, 156, 203  
 Мартынов А. Е. 154, 214, 282  
 Марья Николаевна, вел. кн. 224  
 Матвей Константиновский, о. 232, 237, 242, 267–273, 275, 277, 282, 287, 288  
 Машковцев Н. Г. 148  
 Меншиков А. С. 19  
 Мережковский Д. С. 267  
 Мерзляков 174  
 Мериме П. 279  
 Мерсье Л. 27  
 Мещерский Н. И. 23  
 Мизко Н. Д. 208, 209  
 Миловский 80, 81, 87, 90  
 Милютин В. А. 96, 97  
 Михайлова А. Н. 23  
 Михед П. 43, 44  
 Михельсон М. И. 133  
 Михневич И. Г. 208  
 Моисей, архимандрит 201, 231, 233, 234  
 Мокрицкий А. Н. 261  
 Мольер (наст. имя и фам. Жан Батист Поклеен) 18, 212
- Мочульский К. В. 27, 79, 115, 130, 267, 269  
 Муравьев В. 87  
 Муравьев М. Н. 182, 183, 188  
 Мурзакевич Н. Н. 133, 208, 211  
 Муханов А. И. 23  
 Муханов В. А. 23, 24, 80, 81, 87, 90  
 Муханов Н. А. 23  
 Мухановы 87  
 Мюллер Э. 230  
 Мяснов П. 87
- Н**абоков В. 168  
 Надеждин Н. И. 240  
 Надимов П. П. 216  
 Назимов В. И. 224, 243, 248, 280  
 Нащокин П. В. 133, 266  
 Невахович А. Л. 154  
 Неводчиков Н. В. 132, 133, 216  
 Некрасов Н. А. 14, 150–152  
 Нессельроде К. В. 11, 12, 61, 103, 147  
 Нессельроде М. Д. 103  
 Нечаев В. 30  
 Никитенко А. В. 22, 25, 44, 57, 58, 59, 157  
 Николай I 25, 33, 36, 38, 39, 61, 62, 63, 88, 192  
 Никольский Т. 58  
 Нилус С. 233, 235, 241  
 Новосильцев П. П. 156  
 Носов В. Д. 42
- О**боленский Д. А. 170, 172, 222, 248, 249  
 Образцов Ф. И. 269, 271, 282, 287  
 Овер А. И. 184, 277  
 Огарев Н. П. 103  
 Одоевский В. Ф. 11, 27  
 Оксман Ю. Г. 110, 111  
 Окуловы 165  
 Орлай Ал. И. 208  
 Орлай Анд. И. 208  
 Орлай И. С. 135, 208, 209  
 Орлов А. Ф. 205  
 Орлова П. И. 215  
 Оруэлл Дж. 27  
 Островский А. Н. 176, 177, 186, 224, 279  
 Отон Ц. Л. 211, 212, 217

- Павлов Н. Ф.** 41, 51, 80, 104, 118, 161  
**Павлов П. В.** 142  
**Павловский М. К.** 210  
**Паисий Величковский** 239  
**Паламарчук П. Г.** 42  
**Паллас П.-С.** 249  
**Панаев И. И.** 150, 151, 153, 256  
**Панаева А. Я.** 151, 152  
**Панов В. А.** 251  
**Паскаль Б.** 228  
**Пашенко И. Г.** 137  
**Пашенко Т. Г.** 130  
**Перовский Л. А.** 205  
**Петр I** 165  
**Пий IX** 255  
**Пирожкова Т. Ф.** 175  
**Плетнев П. А.** 14, 20–25, 36, 40, 51, 57–60, 62, 63, 72, 78–80, 84, 87, 101, 127, 137, 143, 145, 148, 163, 166, 173, 183, 209, 210, 218, 223, 224, 234, 247, 252, 259, 263  
**Погодин Д. М.** 155  
**Погодин М. П.** 41, 52, 53, 78, 83, 116–118, 127, 128, 133, 144, 147, 154–158, 163, 165, 176, 177, 179, 186, 189, 225, 236, 258, 269, 273–275, 278–280, 282, 288  
**Погодина А. М.** 155  
**Полонский** 208  
**Полторацкий** 273  
**Понятовский Станислав Август,** польск. король 7  
**Попов А. Н.** 144  
**Порфирий (Успенский), архимандрит** 122, 123  
**Порфирий, монах (Григоров Петр Александрович)** 231–233, 235, 241  
**Присниц В.** 19  
**Прокопович Н. Я.** 16, 82, 104, 105, 106, 109, 137, 145, 150, 153  
**Пропп В. Я.** 129  
**Протасов Н. А.** 58  
**Протопопов Д. С.** 166  
**Пушкин А. С.** 11, 12, 23, 33, 36–40, 44, 86, 134, 135, 140, 165, 169, 171, 173, 183, 193, 210, 211, 232, 241, 246, 262, 271, 273, 282, 287  
**Пушкин Л. С.** 132, 135, 140, 208, 210, 214, 217  
**Пыпин А. Н.** 222, 223  
**Рамазанов Н. А.** 263  
**Растрелли В.** 222  
**Репнин В. Н.** 207, 208  
**Репнина В. А.** 207  
**Репнина В. Н.** 210  
**Репнина Е. П.** 205  
**Репнины** 207, 212, 215, 217  
**Розанов В. В.** 73, 272  
**Розен Е. Ф.** 118  
**Россет А. О.** 19, 24, 72, 77, 96, 248  
**Россет К. О.** 168, 172  
**Россет О. О.** 175  
**Ростопчин А. Ф.** 12  
**Ростопчин Ф.** 12  
**Ростопчина Е. П.** 11, 12, 13, 146, 176  
**Рубенс** 30  
**Руднев** 279  
**Сабанеев** 135  
**Сабина М. С.** 251  
**Саводник В. Ф.** 36  
**Садовский П. М.** 256, 258  
**Салтыков-Щедрин М. Е.** 103  
**Самарин М. Ф.** 16, 23  
**Самарин Ю. Ф.** 21, 98, 157, 158, 168, 190, 191, 285, 286  
**Самойлов В. В.** 154  
**Самойлов В. В.** 215  
**Санд Ж.** 114  
**Сахаров В. И.** 180  
**Свербеев Д. Н.** 29, 38, 66, 188, 189, 261, 278, 280  
**Свербеева Е. А.** 21, 85, 145, 261, 280  
**Северин Д. П.** 9  
**Селиванов В. В.** 280  
**Сенковский О. И.** 104, 107  
**Сергий Святгорец** 216, 217  
**Серединский Т. Ф.** 55, 116–118, 120  
**Синельникова М. Н.** 220, 225, 265  
**Сироткина И.** 274, 289  
**Скалон В. А.** 136, 143, 182, 218  
**Скалон С. В., урожд. Капнист** 136, 181, 218  
**Скотт В. 92**

- Скуридин М. С. 79, 253  
 Случевский Л. 227  
 Смирнов Н. М. 102, 167, 175  
 Смирнов С. И. 246  
 Смирнов С. К. 156  
 Смирнова (Смирнова-Россет) А. О. 7, 10–12, 15, 19, 25, 47, 48, 53, 59–61, 63, 73, 76, 78, 80, 81, 87, 101, 102, 125, 127, 145, 146, 163, 164, 166, 168–175, 183–187, 189, 191, 192, 199, 201, 202, 204–206, 210, 222–224, 232, 234, 250, 262, 263, 266, 269, 276, 285, 286  
 Смирнова-Чикина Е. 158, 281, 283  
 Смирновы 168  
 Соболевский С. А. 279  
 Соколов А. И. 211, 215  
 Сокологорский К. И. 277  
 Соллогуб В. А. 15, 53, 67, 102, 154, 163, 195–197, 199  
 Соллогуб С. М. 76, 163, 175, 200  
 Соловьев В. 228  
 Соловьев П. 122, 123  
 Соловьев С. М. 178, 226  
 Сосницкий И. И. 52  
 Софокл 240  
 Софоний, о. 216  
 Сперанский М. М. 92  
 Сталь Ж. де 239  
 Станкевич А. В. 66, 104  
 Стеффенс Ф. 228  
 Строганов С. Г. 69, 156, 157  
 Строганова С. С. 22, 69  
 Строев П. М. 157  
 Стурдза А. С. 9–11, 131–133, 135, 200, 205, 208, 216  
 Субботин Н. И. 243  
 Суворин А. С. 150, 151  
**Т**  
 Талызин А. С. 158, 182, 187, 225, 258  
 Тарасенко А. Т. 42, 263, 264, 266, 268, 270–278, 288, 289  
 Татаринов В. И. 180  
 Татишев Н. Н. 87, 187  
 Твардовский А. Т. 283  
 Тегнер Э. 213  
 Теннер Дж. 33  
 Тимковский И. Ф. 203  
 Титов П. П. 136, 208  
 Тихонравов Н. С. 46, 134  
 Тициан (Тициано Вечеллио) 30  
 Тойбин И. М. 32  
 Толстая А. Е. (урожд. княжна Грузинская) 197  
 Толстой А. К. 172, 201, 205, 206  
 Толстой А. П. 10, 17, 18, 23, 32, 56, 66, 70, 79, 86–88, 90, 99, 101, 102, 116, 118, 120, 121, 127, 128, 158, 159, 162, 167, 170, 171, 193, 197, 201, 202, 216, 243, 264, 267, 270, 273, 275, 276, 278, 281, 282, 288  
 Толстой И. П. 22, 69  
 Толстой Ф. П. 9, 10, 11  
 Толченев А. П. 208, 211–215, 217, 251  
 Трахимовский М. Я. 143  
 Трахимовский Н. А. 143  
 Тройницкий Н. Г. 132, 134, 135, 217  
 Трошинский А. А. 132, 134, 206, 207, 209, 218  
 Трошинский Д. П. 132  
 Трубецкая А. И. 23  
 Трушковский Н. П. 225, 232, 242, 248  
 Трушковский П. А. 57  
 Тургенев А. И. 11, 90–93, 98  
 Тургенев И. С. 16, 110, 151, 249–253, 255, 256, 258, 259, 263, 278, 279, 280  
 Тургенев С. И. 211  
 Тынянов Ю. Н. 50  
 Тюрин 279  
 Тютчев Ф. И. 85, 87, 103  
 Тютчева Э. Ф. 103  
**У**  
 Уваров С. С. 156  
**Ф**  
 Фейербах Л. 238  
 Фенелон Ф. 228  
 Феодор, о. (Бухарев Александр Матвеевич) 243–246, 269  
 Феоктистов Е. М. 279  
 Фердинанд II, король Обеих Сицилий 120  
 Филарет (Дроздов В. М.) 18  
 Филарет, иеромонах, митрополит 231, 233, 234, 236, 246, 275, 277, 281  
 Филиппов Т. И. 177, 269, 279, 287

- Флетчер Дж. 156, 157, 177  
Флоренский П. 228  
Флоровский Г. 28, 71, 231, 237, 277  
Фон-Брин С. Ф. 260, 261  
Фонвизин А. А. 162  
Фонвизин И. А. 162, 187, 238
- Х**  
Халчинский И. Д. 128  
Халчинский И. Ф. 147  
Халчинский Ф. Л. 147  
Хетсо Г. 281–283  
Хитрово В. И. 18  
Хитрово Е. А. 212, 213, 217  
Ходаревская Е. И. 220  
Хомяков А. С. 18, 85, 87, 88, 89, 90,  
93, 94, 96, 98, 103, 161, 178, 180,  
186, 188, 190, 191, 201, 218, 237,  
264, 265, 273–275, 278, 286  
Хомякова Е. М. 161, 264, 265
- Ц**  
Циммерман 116  
Цюревская (Щуревская) 204
- Ч**  
Чаадаев П. Я. 161, 261  
Черницкая А. М. 199  
Черныш В. В. 136  
Черныш. Г. Г. (Суперфин Г. Г.) 251  
Чернышев А. И. 181  
Чернышев А. Ф. 260, 261  
Чернышева С. П. 11  
Чернышев-Кругликов И. П. 10  
Чиж В. Ф. 286  
Чижевский Д. 115  
Чижов Ф. В. 55, 138, 139, 147, 161,  
168, 176, 280  
Чулков Г. И. 103
- Ш**  
Шатобриан Ф. Р. де 193  
Шаховской А. И. 200  
Шевченко Т. Г. 148
- Шевырев С. П. 8, 32, 36, 43, 45, 47,  
52, 56, 60, 69, 80, 85, 90, 105, 116,  
117, 121, 127, 131, 138, 145, 157, 159,  
173, 182, 186, 207, 224, 225, 230,  
248, 249, 258, 261, 265, 279, 282
- Шекспир В. 92  
Шеллинг 228, 237–239, 240  
Шемякин Д. 200  
Шенрок В. И. 19, 24, 29, 38, 41, 66,  
69–71, 73, 74, 102, 103, 122, 124,  
125, 133, 135–138, 142, 143, 150,  
161, 166, 183, 195, 197, 199, 200,  
206, 210, 212, 216, 220, 232, 234,  
236, 238, 243, 260, 264, 267
- Шереметева Н. Н. (урожд. Тютчева)  
57, 119–121, 127, 128, 131, 145, 162,  
163, 187, 188
- Ширинский-Шихматов П. А. 205  
Шуберт В. 215  
Шумский С. В. 215, 257–259
- Ш**  
Шеглов И. 73, 232, 235, 268, 287  
Щепкин М. А. 253  
Щепкин М. С. 51, 53, 84, 215, 250, 251,  
253, 255, 256, 258, 263, 266, 267, 280  
Щепкин Н. М. 66, 104  
Щербатов А. 261  
Щербатов Г. А. 156
- Ю**  
Юзефович М. В. 139–142  
Юм Д. 92
- Я**  
Языков А. М. 161, 163, 261, 278  
Языков Н. М. 7, 8, 14, 16, 17, 21, 46,  
55, 56, 57, 60, 66, 85, 152, 169, 193,  
208, 254, 261, 264, 280  
Языков П. М. 161  
Яковлев 277  
Якушкин Е. И. 248  
Якушкин И. Д. 188  
Якушкина А. В. 57

# СОДЕРЖАНИЕ

От автора ..... 3

## Книга 3 1845–1852 годы

<i>Часть первая</i> .....	7
Рим: зима и весна 1846 года .....	7
«Новый Гоголь явился...» .....	14
«Бесперывная дорога» .....	17
Остенде — Франкфурт-на-Майне .....	22
«Исходы, средства и пути...» .....	26
«Гомеровский вопрос» .....	35
О тайне «Прощальной повести» .....	41
«Среди разъездов, среди хлопот и дел...» .....	50
Неаполь: конец 1846 — начало 1847 года .....	54
«Выбранные места...»: «Мне теперь тяжело взглянуть на мою книгу...» ..	65
Последний вояж в Центральную Европу .....	79
На берегу Северного моря .....	85
Английские мотивы .....	90
«Душа моя изнемогла...»: спор с Белинским .....	103
«Ближе к выгрузке на корабль» (Неаполь, ноябрь 1847 — декабрь 1848 года) .....	115
Средиземное море .....	121
На Святой земле .....	123
<i>Часть вторая</i> .....	131
Возвращение .....	131
Месяц в столицах .....	144
Московский житель .....	154
Экзамен для «Мертвых душ» .....	168
Встречи со знакомыми и незнакомыми .....	175
Продолжение экзамена .....	189
«...Бог не даром сталкивает так чудно людей...»: Гоголь и Анна Виельгорская .....	193
Путешествие на Юг .....	200
Одесса: октябрь 1850 — март 1851 года .....	207
Весенние переезды .....	218

<i>Часть третья</i> .....	221
В Москве и Подмосковье: июнь—сентябрь 1851 года .....	221
Гоголь в стенах и у стен Оптиной .....	226
Три дня в Абрамцеве .....	243
«Я тружусь, работаю в тишине...» .....	247
Новые встречи: Г. П. Данилевский, И. С. Тургенев .....	249
Герценовский эпизод .....	253
Театральные встречи .....	256
Встречи в конце года .....	259
1852-й год .....	262
Гоголь и Матвей Константиновский .....	267
6–21 февраля .....	273
«...Жить без Гоголя» .....	278
Почему же был сожжен второй том «Мертвых душ» .....	281
Список принятых сокращений .....	290
Именной указатель .....	296